90 коп. Индекс 70331



ЗНАМЯ 5 1990

ISSN 0130-1616

ЗНАМЯ

1990

Май

МЕМУАРЫ
Андрея Дмитриевича
САХАРОВА

будут опубликованы в журнале «Знамя» в конце 1990-го и в 1991 году:

Книга первая. «Воспоминания» (окончена 15 февраля 1983 г.)

Книга вторая. «Горький—Москва, далее везде» (заканчивается рассказом о работе I Съезда народных депутатов СССР)



Ежемесячный
литературно-
художественный
и общественно-
политический
журнал

Выходит
с января 1931 года

ОРГАН
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

5

**МАЙ
1990**

Содержание

Москва
Издательство
«Правда»

Григорий Бакланов

ВЫСОТА ДУХА

Мы так долго шли к победе, так бесконечен был этот путь, что когда свершилось, мы оказались словно бы застигнуты врасплох. Осталась у меня фотография: 9 Мая, День Победы, последний наблюдательный пункт. Это — Австрия. Мы стоим в окопе, вольно сидим на бруствере, и командир батареи куда-то указывает вдаль: это мы уже позируем. А вчера еще отсюда я корректировал огонь по уходящему немецкому эшелону, и радовались мы попаданию. Теперь палили вверх из автоматов, бухали из карабинов в небо, потом старшина, нахлестывая коней, стоя в рост в бричке, вместе с ней подпрыгивая на выбоинах, только за вожжи и держась, привез бочку вина. А все равно чего-то самого главного не хватало, мы еще толком не понимали, чего. Нам в этот победный день не хватало тех, кто не дошел, не дожил до него. Минет время, и Твардовский скажет за всех за нас:

...И только здесь, в особый этот миг,
Исполненный величья и печали,
Мы отделялись навсегда от них:
Нас эти залпы с ними разлучали.

Внушала иам стволов ревущих сталь,
Что нам уже не числиться в потерях,
И, кроясь дымкой, он уходит вдаль,
Заполненный товарищами берег...

Стволов победных сталь гремела не здесь, а в Москве, за тысячи верст отсюда, здесь же по всей линии, что недавно звалась фронтом, пушки смолкли, зачехлили стволы. И победные застолья сами собой нередко становились поминальными: один за другим вставали живые и называли имена тех, кто, может, более других заслужил встретить этот день, но кому жить теперь только в нашей памяти. Когда хоронили, не плакали, да и хоронить не всегда удавалось, а тут не стыдились слез: война кончилась, видимо, нервы отпустили.

Знаем ли мы хотя бы теперь, какой ценой далась нам победа? Счет все еще идет и колеблется не на тысячи даже, а на миллионы жизней. Где-то когда-то было постановлено официально: мы потеряли в войне двадцать миллионов человек. А вот уже печатно называют цифру вдвое большую, и это все тоже — гадательно. Но до сих пор кости непохороненных, тех, кто родину спас, лежат по лесам, и втягивают их в себя болота, и мохом поросли, стали частью его. И доныне лемеха плугов выпахивают их в полях, а над другими безвестными уже стоят города.

Наша историческая наука столько раз переписывала историю в угоду тем, кто правит, что уже и концы с концами не сведешь. То Десять Сталинских Ударов, как десять заповедей, которые полага-

лось заучивать, то Курская дуга, поскольку там был Хрущев, а то уже и Малая Земля начала выдвигаться в разряд главнейших, одной из самых славных битв. Потом усиленно заговорили о партизанском движении в Карелии, к которому имел отношение Андропов. Последним из военного поколения, но уже вовсе не воевавшим, не видевшим фронта даже издали, как видели его предшественники, был Черненко. Этот всю войну был нужен родине в тылу. Но уже зашелестел слух о какой-то заставе, на которой будто бы он служил, поживи он еще, и эта застава нашла бы свое место в истории Отечественной войны. Впрочем, и так называемое искусство, и кинематограф не отставали, дали позорнейшие образцы, и это тоже предмет позднейшего исследования. А солдаты, а народ оставались во всем этом безликой массой, фоном, на котором великие творили историю. Да вот беда, великих-то, как выясняется, и не было.

И чем дальше отходим мы от тех, уже неподвластных нам времен, которые даже не требуют, чтобы мы осмыслили их и чему-то научились, а это время придет неминуемо, не мы, так грядущие, отринув сиюминутные страсти и соображения, уже не озабоченные стремлением себя поместить в историю, осмыслят достойно, может быть, извлекут уроки, и уже этим станут умнее нас,— так вот, чем больше отдаляемся мы, тем очевиднее становится, что всей этой страшной беды, войны этой — и Второй мировой, и нашей Отечественной — могло не быть. Не было фатальной неизбежности, мир не был обречен, и только-только набиравшую обороты фашистскую военную машину на ранних этапах можно было остановить. Но народами правили ничтожные трусливые политики и преступники, и вот это вело к войне. А еще и то вело к войне, что сознание людей XX века уже было отравлено, новый век выходил, вырастал из окопов Первой мировой войны, он уже вдохнул на ее полях отравляющих газов, и танки увидел, и бомбовозы над собой, как библейское предсказание. Первой мировой войной уже было преступлено то, чего сознание века девятнадцатого преступить не смело. И хотя в дальнейшем что-то попытаются запрещать задним числом, на что-то влиять, невозможное стало возможным, свершилось однажды, и с естественной неизбежностью следовал за этим незримый пока еще гриб атомного взрыва над Хиросимой, символ конца света, о чем, казалось бы, и помыслить было нельзя. Но и это придет, и на это решатся с легкостью, не способные ведать, что́ переступают, к чему делают гибельный шаг. И вновь апокалипсическое решение будут принимать ничтожные люди, которых даже невозможно соразмерить, сопоставить с тем, что зависело от их слова, опять и опять — неужели есть тут какая-то закономерность?

У нас все спорили и спорят и не доспорят никак о роли личности в истории, а когда и личности-то нет никакой, и все же хватает возможностей и сил спихивать историю с рельсов... Неужели такова судьба: распинать мудрецов, провидцев и пророков и воспаленно следовать за ничтожеством, способным смутить разум? Неужели по-прежнему нет пророка в своем отечестве, когда отечеством человека становится весь мир?

Те, кто жил в предвоенное время, помнят, как перед каждым праздником, а праздник у нас непременно начинался докладом, говорилось: мы встречаем этот праздник в особенно напряженной международной обстановке. Теперь мы знаем, что и по ту сторону встречали свои праздники во все более и более напряженной международной обстановке, там, по ту сторону, нами пугали, нас изображали главным врагом. Да, международная обстановка была напряженной, но ее и напрягали; да, угроза войны была, но она и требовалась: давно уже отмечено, что угроза войны — лучшее время для правителей, народ в это время не требует реформ и готов терпеть то, что есть, лишь бы не стало хуже.

Ведь и после победы угроза войны с новой силой стала витать над нами, угроза реальная, но и мнимая, она-то и позволяла делать с нами что угодно. Уже и Сталина не стало, Хрущев пришел к власти, и его благодарили простодушно за то, что нет войны, лишь бы войны не было, а все остальное мы перетерпим. Даже и Брежневу на первое время от этой благодарности перепало, а победители уже давно жили хуже побежденных, в униженное положение поставлены были перед ними. Да разве смог бы Сталин со всеми его подручными превратить страну в огромный ГУЛАГ, если бы не эта, всеми средствами нагнетавшаяся угроза войны, отгородившая нас от всего мира. И перед настоящей войной обезглавили армию, уничтожили цвет ее и мысль, обогнавшую свое время, а потом продемонстрировали в Финляндии полную нашу неумелость, что и помогло Гитлеру решиться, не кончив одну войну, начать войну с нами.

События легче развязать, чем остановить, и логика событий сильнее логики людей. Когда фашистские армии уже стояли, изготовясь, у наших границ, когда весь мир по дипломатическим и иным каналам предупреждал, что война неминуема, а наша разведка (о именах и подвигах наших разведчиков дано было нам узнать только через десятилетия, да и теперь мы всего не знаем) сообщила заранее даже день и час вторжения в нашу страну, вот тут, поняв, быть может, что́ совершил, казня и уничтожая лучших, какие грядут последствия для нас, не готовых к войне, тут и начал Сталин позорно задабривать врага, которым пугал страну все эти годы. И прозвучало трусливое заявление ТАСС: «...По данным СССР, Германия так же неуклонно соблюдает условия Советско-германского пакта о ненападении, как и Советский Союз, ввиду чего, по мнению советских кругов, слухи о намерении Германии порвать пакт и предпринять нападение на СССР лишены всякой почвы, а происходящая в последнее время переброска германских войск, освободившихся от операций на Балканах, в восточные и северо-восточные районы Германии связана, надо полагать, с другими мотивами, не имеющими касательства к советско-германским отношениям...»

Гитлер даже не отреагировал на это «прошение о пощаде», пренебрег. И тем не менее до последнего момента мы гнали и гнали эшелоны с хлебом в Германию, чтобы насытить фашистскую армию, создать ей запасы, гнали цистерны с нефтью, чтобы они горючим заливали баки своих танков, металл гнали исправно,— перелитый в снаряды, он и обрушился на нас. Даже в ночь начала войны все еще шли от нас в Германию эшелоны, немцы писали потом с изумлением, как пассажирский поезд, весь освещенный, пересек границу, подтверждая тем самым, что нет, мы не изготовились, войны не ждем. И хотя приграничное население все знало и видело, и командиры ближних к границе частей на свой страх и риск пытались сообщить наверх по инстанции очевидное, предлагали меры, кто-то просил хотя бы семьи командного состава разрешить вывезти в тыл, ничто не помогало, за это карали, как за проявление трусости, называлось это боязнью врага и паническими настроениями. 21 июня 1941 года, когда до фашистского нашествия оставались считанные часы, Берия направил Сталину докладную записку, в которой, в частности, говорилось:

«...Начальник разведупра, где еще недавно действовала банда Берзина, генерал-лейтенант Голиков жалуется... на своего подполковника Новобранца, который врет, будто Гитлер сосредоточил 170 дивизий против нас, на нашей Западной границе... Но я и мои люди, Иосиф

Виссарионович, твердо помним Ваше мудрое предначертание: в 1941 году Гитлер на нас не нападет!..» И вторжение началось, а над многими властвовал еще обезоруживающий приказ: на провокации не отвечать.

Страна спала, когда на города и на заставы обрушились первые бомбы, война шла на нашей земле, а будить властителя решились не сразу.

Мы знаем теперь, что потери наши в высшем командном составе, который, собственно говоря, и должен являть собой мозг сражающейся армии, мыслью побеждать мысль, выигрывать сражение до того, как оно началось, потери наши в высшем командном составе за четыре года войны были меньше, чем расстреляно было перед войной. И не сама по себе добрая воля властителя, а угроза гибели, нависшая над страной, вызволяла из лагерей уцелевших; там они, враги народа, руки назад, ходили под охраной конвоя и овчарок. На войне стали они полководцами, маршалами. И зная славные их имена, уже вошедшие теперь в историю, мы можем только отдаленно догадываться, насколько иным был бы начальный ход войны, а значит, и вся война, если бы не обезглавили перед войной армию, если бы не только эти, немногие, а весь тот слой будущих полководцев, выдвинувшихся талантом и волей, все лучшее не было снято, как снят был самый трудолюбивый, самый хозяйственный слой крестьянства, как снят был целый пласт интеллигенции и мысль заменена страхом. И под победные марши и хвастливые песни страх этот охранял самую главную тайну, которая только для нас оставалась тайной: нашу неготовность к войне. Год 41-й, поражение первых месяцев войны было неминуемым следствием года 37-го и более ранних годов, и никогда нам не счесть и уже не узнать, сколько миллионов могли остаться в живых.

Так не чудо ли спасло нас, если в первые же месяцы были захвачены врагом и Украина, и Белоруссия, и немецкие армии подошли к Москве, и обложили Ленинград, а все тяжелое вооружение и склады военного снаряжения остались там, в приграничных районах, и большая часть авиации была уничтожена в первые же часы и дни, а под Москвой, на километр фронта приходилось всего по семь легких орудий и те часто — без снарядов, и были дни, когда ни один снарядный завод страны не работал (одни — захвачены, другие — на колесах, третьи только еще строятся в тылу), и даже простых винтовок не хватало на фронте, не чудо ли спасло? Нет, не чудо.

В истории остаются сиять имена полководцев, а рядовым имя — легион, они в истории безымянны. Но каждый из них имел и свое имя, и свои надежды, а, идя в бой, кого-то оставлял на этой земле. И еще хуже, если на нем род обрывался.

Сколько родов оборвалось! Мы сейчас как бы и не чувствуем рядом с собой этих зияющих пустот: дело забывчиво, тело заплывчиво. Вот и на теле народа как бы заросли, заплыли раны... Но так не бывает. Мы потеряли невосполнимое.

Родину спас народ, вставший на ее защиту. И матери благословляли сыновей на этот бой, святой и правый. В этот час, который для малодушных казался часом гибели, возник совершенно особый нравственный климат. Только великий народ способен в годину бедствия не потерять себя, а сплотиться, обрести несокрушимую силу духа. Здесь, под Москвой, у последней черты, потому что осознали: дальше отступать некуда, решился исход войны. Потом были еще битвы, в которых, как считают и военные, и историки (в каждой стране — в свою пользу), вновь и вновь решался исход войны, но решился он здесь, под Москвой, хотя война длилась еще три с половиной года.

И решил исход войны — народ: и то, что уцелело в боях от кадровой армии, и те, срочно сформированные части, которые бросали с ходу — в бой, с ходу — в бой, и Московское ополчение, в котором погиб, быть может, цвет будущей нашей науки, если даже судить по немногим ныне известным именам уцелевших, и подошедшие столице на помощь сибирские дивизии, и лыжные батальоны — все, что удалось собрать, потому что были дни, когда Москва была совершенно не прикрыта. И те, кто продолжал сражаться в окружениях, оттягивая на себя силы немцев, они тоже спасли Москву. В ту пору, как, впрочем, не раз еще в годы войны, народ дал нашим полководцам время и возможность научиться побеждать.

В историю нашей родины вместе с именами Суворова, Кутузова войдет и уже вошло имя маршала Жукова. Его железная воля совершила тогда, под Москвой, то, что никто бы, наверное, кроме него, совершить не смог. Но и он в ту пору только еще учился воевать, и все наступление наше под Москвой — это не стратегическая операция, подобная Сталинградской, мы больше вытесняли, выбивали, выдавливали немцев с их позиций, а люди воевавшие знают, скольких это стоит жизней, как дорого дается такая наука.

Потом будет Сталинград и Сталинградское окружение, откуда так и не вырвалась 6-я немецкая армия, и даже будут спорить после войны, а не правильней ли было планировать и осуществить окружение большего масштаба, куда попали бы и отходившие с Кавказа немецкие армии, и хватило бы у нас на это сил, и не совершили ли мы стратегической ошибки, но все эти бумажные споры не меняют того, что совершилось, не отнимают славы у Сталинградской битвы.

Повторяю, дорого давалась учеба. Уже под Берлином, на фронте, которым командовал тогда маршал Жуков, а командующим одной из армий был генерал Берзарин, применили наступление с прожекторами, и об этом в дальнейшем немало писалось.

Так уж получилось, что я видел, как впервые эту идею попытались осуществить. Тогда, зимой 42-го года, Берзарин командовал на Северо-Западном фронте нашей 34-й армией. Морозы стояли сорокаградусные. И вот в час, что ли, ночи или в двенадцать, но это была уже совсем глухая ночь, вспыхнули прожектора, ослепили сосредоточение немецкой артиллерии у деревни Ямник, ударила «катюша», и по сигналу ее пошли в атаку несколько танков, все, что у нас имелось, и — пехота по снежному полю бегом за ними. И грянул из репродукторов «Интернационал». Но одного наша разведка не знала, что у немцев вырыт противотанковый ров, а его ведь за короткий срок в такие морозы не выроешь. У рва один за другим вспыхнули подбитые танки, пехота залегла, ее глушат минометами, репродукторы гремят над полем, а прожектора светят... И даже не всех раненых удалось вытащить, многие из них, беспомощные, замерзли на таком морозе. Кто видел войну не из штабов, а с поля боя, кто сам был малой частью этих нацеленных стрел и стрелочек, которые так красиво вычерчивают на картах, для того война совсем другая.

Там же, на Северо-Западном фронте, вызревал полководческий талант Черняховского. Тремя нашими ослабленными и голодными армиями (фронт не главный, кормили в последнюю очередь) мы окружили и все сжимали 16-ю немецкую армию, а раздавить ее не было у нас ни сил, ни умения. Черняховский же предлагал, как рассказывали, простую вещь: разрезать и захватить аэродром, прервать связь и снабжение, и она сама развалится. Но был он в малых чинах, кто бы его слушал? И мы вновь и вновь брали высоты у деревни Белый Бор, не единственные такие высоты, которые почему-то нам требовалось брать во что бы то ни стало. И даже придумано было политсоставом вручать вот такие маленькие флажочки, кто первый с этим

флажком на высоту добежит... И добегали, и оставались там навечно. А какие ребята приходили с новыми маршевыми ротами! Кто там, на фронте, вступал в партию, тот не искал выгод, шли в бой, хорошо зная, что коммунистов немцы в плен не берут, шли, свято веруя. Я не обсуждаю здесь ни стратегию, ни тактику, я хочу только одно сказать: сколько там полегло народу, наших стриженых ребят,— на высотках этих, которые брали бессчетно, в болотах,— столько там, наверное, и сейчас не живет.

Помню, рассказывал на встрече маршал Конев, как шла Берлинская операция: у него было четырнадцать армий, а у Жукова — одиннадцать, на такой-то день и час его фронт был уже там-то и обходил Берлин с юга, а Жуков еще был там-то, и если бы не изменили направление его фронту, он бы первым взял Берлин. А у меня перед глазами был тот морячок-штрафник, с которым мы ехали после войны, сидели рядом в жестком вагоне. И на другой лавке напротив тоже фронтовики сидели, нашлось и выпить, и морячок этот, сидевший с краю, так ловко да умело приобнял проходившую мимо проводницу, что она рассмеялась рассыпчатым смехом: «Руки-ноги тебе отшибить!» А он, тоже со смехом, возьми да и задери обе штанины, а там у него — вместо ног — металлические протезы: «Они у меня уже отшиблены...» Ноги свои он оставил под Берлином.

Генерал армии Горбатов, участник того сражения, единственный осмелился сказать в своих мемуарах, что Берлин нам вовсе и не нужно было брать. Понятно, почему Черчилль, на два года оттянувший открытие второго фронта, устремлялся взять Берлин первым. Понятно, почему и наш властитель не мог уступить ему этой чести. И пошло сверху вниз и упиралось приказом в тех, кто подымался в атаку. Пятьсот тысяч жизней потеряли мы в той, последней операции, в том общем наступлении, полмиллиона человек, а единицы уж — не в счет. Но судьба страны, судьба войны, судьба народа нашего решалась не под Берлином, а под Москвой. Не в том ли, кстати говоря, причина, что искусство наше, как его ни побуждали воспеть, как ни подталкивали в послевоенные десятилетия, так и не воспело эту победную операцию, если не считать известных фильмов, отношения к искусству не имеющих?

Войны остаются в памяти грядущих поколений главными своими битвами. Но для солдата, где бы он ни воевал, ни голодал, ни мерз, война была войной, и каждый день ее был длиннее многих жизней.

Есть известная скульптура Вучетича: «Перекуем мечи на орала». Гигант, почему-то голый, бицепсы, как ягодицы, и весь из мускулов, как из шаров (такие фигуры сверхчеловеков любили ваять в германском рейхе, там они очень радовали глаз, а сегодня такие накачанные мускулы разве что у культуристов), вот этот голый гигант, согнув несгибаемый меч, занес над ним, кажется, молот: перековывает... Когда мы, демобилизовавшись, возвращались домой, в Россию, и под стук колес родная земля летела мимо глядевших в окна вагонов, а был конец декабря сорок пятого года, снег прикрыл, принарядил сгоревшие развалины городов, разбомбленные, сгоревшие станции и полустанки, среди всеобщего этого разорения мелькнуло на миг и запомнилось мне: печные трубы пустой деревни, как памятники на кладбище, безлюдье, даже дымов не видать, хотя бы из-под земли, из землянок, и — двое, мальчик и девочка, лет, наверное, по десяти, замотанные во что было, силятся двуручной пилой перепилить лежащее бревно. Вот им досталось подымать жизнь, одолевать запустение, перековывать мечи на орала. И — солдатам, возвращавшимся с фронта, и вдовам и матерям солдатским, они кормили фронт. Помните в картине Довженко, женщины, впрягшись, тянут плуг, это ведь не в картине только, так в жизни было. И — заводскому люду, всю войну по двенадцать, по четырнадцать часов стоявшему у станков и печей, а среди них были и те, что приходили детьми и становились здесь мужчинами. И вечно посрамляемой нашей интеллигенции, чей интеллект создавал оружие, которым мы победили. А еще и за проволокой лагерей — как бы незримые, неслышимые для остальной страны рати, даже когда на фронте не хватало винтовок, хватало винтовок их охранять. И они всё пополнялись, пополнялись и после победы, такие же эшелоны, такие же теплушки, в которых возвращались победители, но только зарешеченные, везли из немецкого плена в наши лагеря солдат и офицеров минувшей войны: им дважды выпало расплачиваться за то, что мы к войне оказались не готовы, за все наши поражения. Эти люди рыли шахты, ставили электростанции на реках, на «стройках коммунизма», как тогда их называли, ими воздвигнуты города, около которых легли они навечно в мерзлую землю. Но и теперь, спустя десятилетия, находятся люди, которые твердят: «Зато порядок был!..»

Об обществе судят по тому, как живется в нем детям и старикам. А я скажу, еще и по тому надо судить об обществе, как относятся в нем к ветеранам. Миллионы ушли, не ощутив даже малой заботы о себе. Вначале и взять было неоткуда, полстраны разрушено. А потом за гигантскими нашими планами — все не до них было, не до них, постепенно старящихся, теряющих силы, и до сих пор, если говорить серьезно,— не до них. «Кем же теперь стал наш солдат: победитель в войне или жертва войны? Сразу и не разобрать. Через 45 лет воина-победителя пора поставить в обществе в подобающее ему положение»,— пишет из Свердловска бывший солдат В. С. Бекетов. За те малые льготы, которые, серьезно говоря, и льготами-то назвать нельзя, в обществе — и это особенно стыдно — возникла неприязнь к этим, теперь уже старым людям, спасшим родину. И разве вообще льготами измеряется уважение к ратному подвигу, к честно прожитой жизни, да, наконец, просто к старости, уважение, без которого общество превращается в безнравственную толпу, где каждый — за себя и себе стремится урвать. Вот пишет мне бывший фронтовик и тоже артиллерист, длинное это письмо и горькое и написано с достоинством. Есть в нем такая мысль: представим себе вовсе пока для нас немыслимое — вдруг всего стало хватать, исчезли очереди, а значит, исчезнет и то единственное, чем пока что отличили, отблагодарили солдат Отечественной войны, и что же, больше отличить станет нечем, никакой чести? К слову говоря, фронтовики, бывшие окопники — и солдаты, и офицеры,— они, как правило, выстаивают длинные очереди: совестно лезть впереди народа, впереди вдов тех солдат, что не вернулись с полей войны, а матерей уже не стало. Да и наслушаешься такого, что и день и месяц потом будешь переживать. Лезут за правами чаще всего те, кто был подальше от передовой, там смелел; удостоверение в руку и — вперед, стыд не дым, да и поздоровей они, лучше здоровье сохранили.

Трудное сейчас положение у страны. И опасное. Из-под гнета да сразу к свободе, к демократии, это все равно, как с большой глубины всплыть на поверхность: кровь закипает. И видим, вскипела уже в разных регионах страны, уже пролилась. А еще и те, кто в прошлой жизни не по таланту, не по заслугам уютно разместился в креслах, построил уже для себя свой собственный мини-коммунизм, они и подогревают события, растравляют обиды, разжигают зло, свой собственный крах пытаются выдать за крах страны. И менее всего защищены материально при всех возможных переменах — старики, пенсионеры. А ветеранов Отечественной войны не-пенсионеров сегод-

ня нет уже; по возрасту, если даже и работают все еще, они перешагнули эту черту. И тут пора сказать: армия, не обременяющая себя заботой о своих ветеранах, которые создали ей славу, неминуемо теряет уважение сограждан. Она теряет не только уважение, но и привлекательность для молодых: они видят, какой итог их ждет.

Вот вспомнили — как раз и дата подошла, семьдесят пять лет с начала Первой мировой войны,— вспомнили солдат, офицеров, полководцев той далекой войны, тех, кто тогда шел защищать родину. И вглядываемся в уцелевшие фотографии, они волнуют, о многом думается. И уже с выставки фотографий говорят в репортаже по телевидению: «Посмотрите, какие у них особенные лица!» А лица те же, что и у солдат Отечественной войны, те же черты. Неужели должно минуть еще лет тридцать, уйти из жизни последнее поколение ветеранов, чтобы тогда по фотографиям отдать им долг памяти и уважения?

В Первой мировой войне грозило России военное поражение. В минувшей, Отечественной, не угроза поражения нависла над страной, а угроза всеобщей гибели, и уже на оккупированных землях сжигали деревни вместе с жителями, дымили трубы крематориев, и миллионы наших сограждан, эшелонами свозимых в топку, вышли дымом из этих труб. Шел бой с фашизмом, а фашизм нес геноцид, истребление, а уцелевших ждало рабство — на тысячелетие вперед. Бой воистину шел ради жизни на земле.

Сменяются десятилетия, и многое из того, что возглашалось у нас и превозносилось как славные деяния, которые переживут века, померкло. Но этому подвигу, подвигу народа в Отечественной войне, суждено навсегда остаться в истории.

И вновь я думаю, что же было все-таки в основе нашей победы? Только лишь безмерные жертвы и героизм народа? Или то, что в полководческом искусстве в конце концов превзошли врага? Или просторы нашей родины? Или оружие, которое выковали в тылу взамен утраченного и лучше того, что создавалось в Германии? И я вспоминаю тот нравственный климат, все то поразительное, что открывалось в людях в те годы. Но пусть об этом скажет ныне покойный писатель Вячеслав Ковалевский. Тогда же, на Северо-Западном фронте, когда фронт наступал и входили в отбитые у немцев деревни, сожженные дотла, он задавал жителям один и тот же вопрос:

«— Какой вы дадите нам совет? Вот мы придем в Германию, что нам сделать с немцами за все то, что они натворили у нас?

...И вот женщина торопливо, как бы боясь запоздать с ответом, просит (записываю дословно):

— Будьте добры, не трогайте ихних детей и женщин!

У меня навертываются слезы...

Боже мой, что же это за народ, где же граница его долготерпения?

Женщина показала рукой на толпившихся около нее детей и сказала:

— Ведь он, окаянный, вот таких бросал в огонь! Разве они виноваты? Если бы была шапка-невидимка, подошла бы к нему сзади, оглушила бы колом и самого бы бросила в огонь. Нет, будьте добры, детей ихних не трогайте!»

Вот эта высота духа и была в основе нашей победы, не только военной победы над врагом. И это то, чего больше всего нам сегодня не хватает, быть может, даже больше не хватает, чем хлеба насущного.

Владимир Соколов

ЛИРИКА

●

Какая осенью
младая
В душе тоска —
Как колокольчик, дар Валдая,
Издалека!

Окно от дома до сарая
Бросало луч.
Какая терпкая, сырая
Стояла ночь.

И ветер в соснах, беспокоясь:
А где вокзал,
Все время наезжал, как поезд,
И исчезал.

И наступала тут такая
Вдруг тишина,
Что только бабочка ночная
Была слышна.

И снова поездом сосновый
Гул налетал.
И юный стих о жизни новой
В душе витал.

Но громом в воздухе осеннем
Вставала тишь,
Как перед светопреставленьем,
Провалом крыш...

И только стих, пока молчала
Ночь у крыльца,
Все жаждал жизни без начала
И без конца.

●

О, где ж этот мальчик, которому
Хотелось бы тихо помочь,
Что к кинотеатру «Повторному»
Подходит в метельную ночь.

И фильм начинается сызнова
(Не снятый уже и еще)

О музе, которая вызвала
На улицу чадо ничье.

Опять начинается музыка,
В которой такая печаль,
И улочкой узенькой-узенькой
В метельную тянется даль.

●

Дайте мне почитать мою новую книгу.
Я ее не читал еще... и не писал...

Этот черный, как после дождя, тротуар...
Он становится космосом... И — это чудо,
Я иду по нему. Это чудо и дар.
Я шагаю и, на пустоту наступая,
Вижу звездочки там, у себя под ногами.
И созвездья, и луны, и дальше и глубже —
Сонмы точек светящихся, перебегая
Путь-дорогу друг другу,
во тьме погибая
И рождаясь опять...
Голова закружилась.
Надо встать, прислонясь к облетающей липе,
И прижаться щекой к ее мокрой коре
И услышать в дверном неприкаянном скрипе
Горе дома заброшенного, во дворе,
Где мерцают, как лужицы, битые стекла.
Надо голову вскинуть. И на облака,
Придавившие крышу, взглянуть...
Все поблекло
После чуда, исчезнувшего, как строка,
Только двор, не готовый к внезапному сдвигу,
Той же грустью навис, как вчера
нависал...

Дайте мне почитать мою новую книгу!
Я ее не читал еще и не писал.

●

Прекрасно стать забытой книгой
И промерцать, когда найдут,
Давно прошедшего веригой,
Цепочками его минут.

И ржавое великолепье —
Свидетельство былых оков
Окажется златою цепью
И украшением веков.

●

Когда цепенел я и маялись кости,
Желая отмаяться хоть на погосте,

Взглянул я глазами в пустые глазницы:
Сквозь ночь проходили там звезд вереницы —

И встретился взглядом я с тою звездою,
Что медленней всех говорила со мною.

Я сразу узнал ее между другими.
И было мне страшно назвать ее имя.

Сказал я: пора уже, Господи-Боже!
Пусти меня выше, чем тесное ложе.

Уже я сказать ничего не умею.
Пусти меня выше, чем то, что имею.
Я там еще молод!..
И небо и сушу
Просил я домой отпустить мою душу.
И Бог даровал мне продление жизни
И стих как моленье и грусть
по отчизне.

Виктор Некрасов

ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ВСЕГДА И СО МНОЙ...

СТРАНИЦЫ НАСЛЕДИЯ

Рукопись Виктора Платоновича Некрасова «Праздник, который всегда и со мной...» я читал в одном из кафе, совсем рядом с домом, где жил писатель, и которое он называл своим «утренним» кафе,— а потому читал с особенным чувством причастности не только к месту, где сиживал автор «Окопов Сталинграда», но и в какой-то мере с чувствами, испытываемыми, как мне думается, самим Виктором Платоновичем, когда он писал эту вещь,— печали и одиночества, потому что и для меня Париж был чужим городом, где у меня, кроме пригласившего и приютившего Виктора Кондырева, пасынка Некрасова, не было не только близких, но даже просто знакомых людей.

Я пил пиво, закусывая круасаном, и листал рукопись... В кафе все так, как описывал В. Некрасов: и ловко орудующий за стойкой хозяин, бывший борец, и несколько маленьких столиков, и бесконечные «мерси, месье», которыми обмениваются между собой хозяин и посетители, и мигающие огнями «дьявольские машины» — игровые автоматы... Я листал рукопись, и это было словно бы разговором, в котором Виктор Платонович рассказывал мне о Париже, и я с болью думал, что, проживи он какие-то полтора-два года, я мог бы сидеть с ним здесь — с живым, и я бы говорил ему о наших русских делах, о том, в каком журнале что опубликовано, о том, как проходили в Москве вечера, посвященные семидесятилетию Солженицына, о том, как возвращаются имена забытых, а то и совсем не знаемых нами писателей, о том, какие дебаты шли на съезде Советов... Да нет, проживи он еще немного, мы могли встретиться бы и в Москве, посидеть в ресторане ЦДЛ или в квартире Аси Берзер — его большого друга и редактора, или... Да мало ли где мы могли встретиться и посидеть, договаривая то, что не успели договорить при первой встрече в Париже в 1983 году...

Да, до боли обидно, что до возвращения писателя на родину не хватило каких-то полутора-двух лет. А он тосковал, очень тосковал по России. Тогда он говорил мне: «Не по березкам я соскучился — березки и здесь есть — я соскучился по общению, по друзьям». Но, наверное, скучал и по Киеву, и по Москве, и по Питеру... И когда мы читаем, что пишет Некрасов о Париже, о всех его достопримечательностях, мы ощущаем, почти в каждой строчке ощущаем, его неизбывную тоску по России. Вот одна из таких строчек: «...Продолжаю пить кофе с круасаном. Чувствую на себе косые взгляды соотечественников. Расселся, мол, в своем парижском кафе, кофеек попивает, да еще с круасаном, а тут не то что круасана не достанешь, а... Вот, недавно приехал человек из Рыбинска, рассказывает, что... Тут я начинаю краснеть,.. живу я в Париже в силу сложившихся обстоятельств, и если уж проводить параллель, то житель Рыбинска может в любой момент поехать в Москву, хоть за продуктами, хоть за чем-нибудь другим, а я — нет! Вот так-то...» Сколько горечи, боли в этом «Вот так-то...».

И мне кажется, что Виктор Платонович, описывая праздничный Париж с его не одной сотней кафе, магазинов, музеев, короче, весь этот «праздник, который всегда» и с ним,— праздника в душе не чувствовал, потому что и невооруженным глазом видно, как вся эта вещь наполнена рвущейся из-под строк непроходимой тоской изгнанника, не имеющего возможности вернуться на родину хотя бы на день, хотя бы на час... Это неизбывное чувство всей нашей русской эмиграции — и первой, и второй, и третьей волны, какое не испытывают эмигранты из других стран, для них всегда возможно возвращение назад...

В первый же день моего приезда во Францию, а было это 9 мая, в День Победы, Виктор Кондырев повез меня прямо с вокзала на Русское кладбище, где я долго стоял около могилы Виктора Платоновича, вспоминая, как говорил он мне, что самым тяжелым днем для него за границей был День Победы. В этот день он бродил по Парижу в безуспешных поисках хотя бы одного русского, который бы воевал, чтобы с ним, а не одному выпить рюмку водки за этот горький, но великий праздник, но, увы, не находил... И мне повезло, что я попал в Париж именно к этому дню, что смог постоять у могилы Виктора Платоновича и мысленно поздравить его как фронтовик фронтовика...

И вдова писателя Галина Викторовна, и Виктор Кондырев, и радиожурналистка Фатима Калказанова, дружившая с Виктором Платоновичем, все они говорили мне, как жадно читал Некрасов советские газеты и журналы, как радовался тому, что тронулся лед в стране, что начались так ожидаемые всеми перемены. Наверняка в его душе все больше и больше разгоралась надежда на то, что вот-вот еще немного пройдет времени и вернутся его книги в Россию, а может, и сам он вскоре сможет пройтись по любимому им и родному Крещатику...

Понимая необратимость свершившегося, с какой-то безысходной мукой — уже нет даже негодования! — читаешь строки Виктора Платоновича из эссе «Кому это нужно?», написанного со сдержанной, но такой горькой обидой и недоумением. Действительно, кому был нужен унизительный, сорокадвухчасовой обыск, кому было нужно исключение писателя из партии, в которую он вступил в разгар Сталинградской битвы, кому нужно было изгонять писателя из СП, кому была нужна высылка его — иначе не назовешь этот вынужденный отъезд из страны, а затем и лишение гражданства.

«Кому это нужно? — спрашивает Виктор Платонович.— Стране? Государству? Народу?» Нет! Нужно это было абсурдной системе, при которой каждый мыслящий самостоятельно человек, кем бы он ни был, хоть гением,— выталкивался из общества, выталкивался из страны, потому что уже только одним своим существованием выявлял ее порочность и бесчеловечность.

Сейчас все это, слава Богу, позади, в прошлом... Но навсегда ли? Будем надеяться, что навсегда. Будем надеяться, что успеет вернуться на родину еще один изгнанник — великий русский писатель Александр Исаевич Солженицын.

Но как нестерпимо больно, что никто из нас уже не сможет сказать: «Здравствуйте, Виктор Платонович. С возвращением вас домой». Увы, никто и никогда... Опоздали мы, опоздала страна. Но не опоздала смерть...

Вячеслав Кондратьев

Кому это нужно?

Несколько дней тому назад я проводил во Францию Владимира Максимова, хорошего писателя и человека нелегкой судьбы. А до этого проводил большого своего друга — поэта Коржавина. А до него Андрея Синявского. Уезжали композитор Андрей Волконский, кинорежиссер Михаил Калик, математик Александр Есенин-Вольпин. И многие другие — писатели, художники, поэты, просто друзья.

А Солженицына выдворили — слово-то какое нашли! — у Даля его, например, нет — словно барин работника со двора прогнал.

Уехали, уезжают, уедут... Поневоле задумываешься. Почему? Почему уезжают умные, талантливые, серьезные люди, которым не просто было принять такое решение, люди, которые любят свою родину и ох как будут тосковать по ней? Почему это происходит?

Задумываешься... И невольно, подводя какие-то итоги, задумываешься и о своей судьбе... И хотя судьба эта твоя, а не чья-либо другая, это все же судьба человека, родившегося в России, всю или почти всю жизнь прожившего в ней, учившегося, работавшего, воевавшего за нее — и не на самом легком участке,— имевшего три дырки в теле от немецких осколков и пуль. Таких много. Тысячи, десятки тысяч. И я один из них...

Почему же, подводя на 63-м году своей жизни эти самые итоги, я испытываю чувство непроходящей горечи?

Постараюсь по мере возможности быть кратким.

Случилось так, что в 35 лет я неожиданно для себя и для всех стал писателем. Причем сразу известным. Возможно, нескромно так говорить о себе, но это было именно так. Первая моя книга «В окопах Сталинграда», которую вначале немало и поругивали, после присуждения ей премии стала многократно издаваться и переиздаваться. Потом появились и другие книги. Их тоже и ругали и хвалили, но издавали и переиздавали. И мне стало казаться, что я приношу какую-то пользу. Свидетельство этому — 120 изданий на более чем 30 языках мира.

Так длилось до 8 марта 1963 года, когда с высокой трибуны Н. С. Хрущев подверг, как у нас говорится, жесточайшей критике мои очерки «По обе стороны океана» и выразил сомнение в уместности моего пребывания в партии. С его легкой руки меня стали клеймить позором с трибун пониже, на собраниях, в газетах, завели персональное партийное дело и вынесли строгий выговор за то, что в Америке я увидел не только трущобы и очереди безработных за похлебкой. Само собой разумеется, печатать меня перестали.

Падение Хрущева кое-что изменило в моей судьбе. Оказалось, что в Америке есть кое-что, что можно и похвалить, и злополучные очерки вышли отдельной книжкой. На какое-то время передо мной открылся шлагбаум в литературу, пока в 1969 году опять не закрылся — я подписал коллективное письмо в связи с процессом украинского литератора Черновола и позволил себе выступить в день 25-летия расстрела евреев в Бабьем Яру.

Заведено было второе персональное дело, закончившееся вторым строгим выговором, и наконец, почти без передыха, в 1972 году родилось третье партийное дело. На этот раз без всякого уже повода — за старые, как говорится, грехи — опять подписанное письмо, опять Бабий Яр... Тут уже из партии исключили. Как сказано было в решении: «...за то, что позволил себе иметь собственное мнение, не совпадающее с линией партии».

Так отпраздновал я — чуть ли не день в день — тридцатилетие своего пребывания в партии, в которую вступил в Сталинграде, на Мамаевом кургане, в разгар боев.

С тех пор я как писатель, то есть как человек, не только пишущий, но и печатающийся, перестал существовать. Рассыпан был набор в журнале «Новый мир», запрещено издание двухтомника моих произведений в издательстве «Художественная литература», изъяты из всех сборников критические статьи, посвященные моему творчеству, выпали мои рассказы из юбилейных сборников об Отечественной войне, прекращено производство кинофильмов по моему сценарию о Киеве. Одним словом, не получай я 120 рублей пенсии, пришлось бы задумываться не только о творческих своих делах.

За десять лет три персональных дела — это значит по три-четыре, а то и шесть месяцев разговоров с партследователями, объяснений в парткомиссиях, выслушивания всяческих обвинений против тебя (а в последнем случае просто клевета и грязь)... Не слишком ли это много?

Оказывается, не только не много, но даже мало.

17 января сего, 1974, года девять человек, предъявив соответствующий на это ордер со всеми подписями, в течение 42 часов (с перерывом, правда, на ночь) произвели в моей квартире обыск. Нужно отдать должное — времена меняются — они были вежливы, но настойчивы. Они говорили мне «извините» и рылись в частной моей переписке. Они спрашивали «разрешите?» и снимали со стен картины. Без зуботычин и без матерных слов они обыскивали всех приходящих. А женщин вежливо приглашали в ванную, и специально вызванная сотрудница КГБ (какая деликатность, ведь могли бы и сами!) раздевала их донага и заставляла приседать, и заглядывала в уши, и ощупывала прически. И все это делалось обстоятельно и серьезно, как будто это не квартира писателя, а шпионская явка.

К концу вторых суток они все поставили на место, но увезли с собой семь мешков рукописей, книг, журналов, газет, писем, фотографий, пишущую машинку, магнитофон с кассетами, два фотоаппарата и даже три ножа — два охотничьих и один ножик хирургический. Правда, два из семи мешков были заполнены журналами «Пари матч», «Лайф» и «Обсерватер», и часть вещей уже возвратили (в том числе и ножи, поняв, очевидно, что я никого резать не собирался), но основное: мои черновые, даже не перепечатанные на машинке рукописи до сих пор еще изучаются.

В ордере на обыск сказано, что он производится у меня как у свидетеля по делу № 62. Что это за дело, мне до сих пор неизвестно, кто по этому делу обвиняется — тоже тайна. Но по этому же делу у пятерых моих друзей в тот же день были произведены обыски, а трое были подвергнуты допросу. На одного из них, коммуниста-писателя, заведено персональное партийное дело. Всех их в основном расспрашивали обо мне. Что же касается меня самого, то я после обыска шесть дней подряд вызывался на допрос в КГБ к следователю по особо важным делам.

Как сказано было в том же ордере, цель обыска — «обнаружение литературы антисоветского и клеветнического содержания». На основании этого у меня были изъяты, кроме моих рукописей, книги Зайцева, Шмелева, Цветаевой, Бердяева, «Один день Ивана Денисовича» на итальянском (!) языке (на русском не взяли), однотомник Пушкина на языке иврит (вернули), «Житие преподобного Серафима Саровского» (вернули), «Скотный двор» Оруэлла оставили себе, немецкие и украинские газеты периода Сталинградской битвы, ну, и упомянутые «Пари матчи», которые вернули, но не все, какие-то — в частности,

номер, посвященный Хрущеву (октябрь 1964),— показались предосудительными.

Кто может дать точное определение понятия «антисоветский»?

В свое время антисоветскими были такие писатели, как Бабель, Зощенко, Ахматова, Булгаков, Мандельштам, Бунин — сейчас же их издают и переиздают, хотя и не злоупотребляют размерами тиражей.

Ну, а речь, допустим, ныне здравствующего В. М. Молотова на сессии Верховного Совета в октябре 1939 года — как надо рассматривать: как про- или антисоветскую? А ведь он в ней, переосмысливая понятие агрессии, говорил, что воевать против гитлеризма нельзя, так как война с идеей (гитлеризм — это идея!) — абсурд и преступление. Если бы нашли, например, у меня газету с этой речью — ее изъяли бы или нет?

А речи Берия? Его биографию с громадным потретом в Большой Советской Энциклопедии подписчикам рекомендовали вырезать, а вместо нее прислали страничку про Берингово море. А миллионы погибших при Сталине — это что, советские или антисоветские действия? Кто ответит на это?

Итак, затрудняясь дать точное определение понятию «антисоветский», я понимаю, что фашистская газета остается фашистской газетой, но архив писателя — это все же архив писателя. Он для работы, он и просто собрание интересующих писателя по тем или иным причинам вещей. Утверждаю, не боясь ошибиться, что архивы таких писателей, как Максим Горький, Алексей Толстой или Александр Фадеев, по количеству так называемой клеветнической литературы во многом превосходят мой. Не ошибусь, если скажу, что и у многих из ныне здравствующих и занимающих положение писателей подобных материалов не меньше, а может быть, и побольше, чем у меня. Но ни обысков у них не проводят, ни допросам не подвергают.

Обыск — это высшая степень недоверия государства к своему гражданину. Допрос — это обидная и оскорбительная (при всей внешней вежливости) форма выпытывания у тебя, зачем и для чего ты хранишь ту или иную книгу, то или иное письмо. И вот я задаю себе вопрос: с какой целью это делается? Запугать, устрашить, унизить? Впрочем, куда унизительнее рыться в чужих письмах, чем смотреть, как в них роются люди, получающие за это зарплату, и немалую, и считающие, что, увозя из библиотеки писателя стихи Марины Цветаевой, принесли государству пользу. Кому все это выгодно? Кому это нужно? Неужели государству? А может, думают, что, попугав, пригрозив, принудят на какие-то шаги?

Во многих инстанциях — а сколько у меня их было, и высоких, и пониже, и всесильных, и послабее — мне говорили — кто строго, кто с улыбкой,— что давно пора сказать народу, по какую сторону баррикад я нахожусь. Как сказать? И подсказывали. Кто попрямее, кто более окольными путями, что вот, дескать, есть газеты, а в газету люди — и какие люди! — пишут письма... А вы что же?

И вот тут мне остается только удивляться. Неужели кто-либо мог серьезно подумать, что порядочный человек может позволить себе включиться в этот позорный поток брани, который вылился на голову достойнейших людей нашей страны—Сахарова и Солженицына? Неужели такой ценой зарабатывается право работать и печататься? А ведь вам, уважаемый товарищ,— говорили мне во всех инстанциях, с улыбкой или без улыбки,— надо писать и писать. Читатель ждет — не дождется, все в ваших руках...

И я могу ответить. Прямо и не лукавя. Нет, пусть лучше уж читатель обойдется без моих книг, он поймет, почему их не видно. Он, читатель, ждет. Но не пасквилей, не клеветы, он ждет правды. Я никогда не унижу своего читателя ложью. Мой читатель знает, что я писал иногда лучше, иногда хуже, но, говоря словами Твардовского, «...случалось, врал для смеха, никогда не лгал для лжи».

Но тут же сразу возникает другой вопрос. И куда посложнее. Писатель может не печататься, но не может не писать, не может молчать. Это его обязанность, это его долг. Но как его выполнить, когда в любую минуту вежливые люди с ордером могут к тебе войти и неостывшие листы того, что ты пишешь, забрать и унести?

У меня унесли не дописанную еще работу — небольшую, но очень важную для меня — о Бабьем Яре, о трагедии сорок первого года, о том, как сровняли после войны с берегами овраг глубиной в сорок метров, замыли его и чуть не забыли, а потом на месте расстрела поставили скромный камень, а памятника до сих пор нет; о том, как приходят туда люди с венками, цветами каждый год 29 сентября и какие события там происходят.

И вот рукопись унесли и альбом с моими фотографиями Бабьего Яра на всех этапах его замывания тоже унесли. И пленку тоже... Вернут ли? Не знаю... Рукопись я восстановлю. Опять придут, опять заберут. И так что же? До скончания века? А пленку? Сожгут?

Вот я и подошел к концу невеселых своих размышлений и подведения каких-то итогов. А друзья уезжают. И я их не отговариваю, хотя знаю, что у каждого есть своя (а может быть, у всех общая?) причина на столь решительный и, может быть, даже трагический шаг. Не отговариваю, хотя каждый из уехавших друзей — это отщипнутый от сердца кусочек. И не только твоего сердца, но и сердца России. Не отговариваю, а просто вытираю слезу. И задумываюсь. Очень крепко задумываюсь...

Кому это нужно? Стране? Государству? Народу? Не слишком ли щедро разбрасываемся мы людьми, которыми должны гордиться? Стали достоянием чужих культур художник Шагал, композитор Стравинский, авиаконструктор Сикорский, писатель Набоков. С кем же мы останемся? Ведь следователи из КГБ не напишут нам ни книг, ни картин, ни симфоний.

А насчет баррикад... Я на баррикадах никогда не сражался, но в окопах, и очень мелких, неполного профиля, сидел. И довольно долго. Я сражался за свою страну, за народ, за неизвестного мне мальчика Витю. Я надеялся, что Витя станет музыкантом, поэтом или просто человеком. Но не за то я сражался, чтобы этот выросший мальчик пришел ко мне с ордером, рылся в архивах, обыскивал приходящих и учил меня патриотизму на свой лад.

Москва, 5 марта 1974

Как я печатался в последний раз

Как-то, сидя вечерком и посасывая что-то спиртное в одном из подмосковных писательских домов творчества, я спросил у одного милого, немолодого литовского писателя о том, как он издавался в своей маленькой Литве до того, как она стала четырнадцатой или пятнадцатой среди равных.

Он слегка улыбнулся. «Ну как издавался? Приносил издателю рукопись». — «Понятно». — «Издатель взвешивал ее на руке и спраши-

вал — про что? Я отвечал, про то-то...» — «Дальше?» — «Дальше шел к метранпажу».— «И?..» — «Бутылочка вина или немножко водки. А вскоре и гранки».— «И книга?» — «Ну, через месяц, два. А то и раньше...»

Я вздохнул. Моя книга лежала в издательстве второй год. И это считалось нормальным.

Но это было давно — тогда меня еще печатали. Потом перестали.

Как же это все происходит, когда тебя перестают печатать?

На собственном опыте могу сказать — очень галантно.

Началось это давно — года три тому назад, а может быть, и больше. Прихожу в редакцию солидного московского журнала, в котором уже лет двадцать печатаюсь, и говорю, что хочу предложить им рукопись такого примерно содержания. Я в ту пору еще был уважаем, из партии не исключен. Со мной милы и любезны. Заключают договор, дают аванс 60%. Я, пожав всем руки, благодарю и уезжаю домой. Через какой-то там срок являюсь в редакцию с рукописью. Ее читают, делают кое-какие, я бы сказал, незначительные замечания и сдают в набор. Через день-два получаю гранки, вычитываю их и...

Здесь позволю себе маленькое отступление. Все это происходило в марте 1972 года. А в январе того же года ко мне на квартиру явилось двое джентльменов и, предъявив соответствующий ордер, вежливо поинтересовались, не находятся ли в моей библиотеке книги, не дозволенные нашим законом. К концу визита выяснилось, что такие книги есть — «В круге первом», «Доктор Живаго» и мемуары Надежды Мандельштам,— и пришлось мне с ними расстаться.

Это было в январе. А в марте...

Короче — пришел я с выправленными гранками в редакцию, и тут-то отводят меня в сторону и шепотом сообщают: «Набор-то рассыпан... только никому ни гу-гу...» С невинным видом захожу к главному редактору — человеку симпатичному и ко мне расположенному.

— Знаете ли,— говорит он, не сморгнув,— я перечитал рукопись, и мне кажется, что для того, чтоб она стала еще лучше, стоило бы вам тут кое-что добавить. В вашем стиле. Кое-какие рассуждения. Что вы на это скажете?

— Ладно,— говорю я, делая вид, что предлагаемые рассуждения, действительно, улучшат книгу.— Ладно,— говорю и уезжаю в Крым, что-то добавить в моем стиле.

Проходит лето. Приезжаю в Москву. Иду к редактору. Мил и любезен, как всегда.

— Как отдыхалось? Как работалось?

— Прекрасно.

Отдаю ему дополнительные размышления в моем стиле. Через день все тот же редактор — человек безусловно добрый и расположения ко мне не потерявший,— поговорив о том, как он высоко ценит мой талант, и глаз, и еще что-то, предлагает (для того, чтоб вещь стала еще лучше, он в этом не сомневается) вот в этих двух местах, и в этом тоже...

Больше мы с ним не виделись. Просто я вручил его заместителю заявление с просьбой рукопись мне вернуть и заплатить оставшиеся деньги. Бог ты мой, как все этому обрадовались. Из вежливости, правда, понегодовали — «Вот всегда у нас так, тянем, тянем,— а в результате теряем авторов...», но радость свою, что наконец расстались с нелегким автором, скрывали с трудом.

Погоревал я, погоревал, но пришли туг друзья и сказали:

— Не горюй, братец, а иди-ка ты к такому-то, в такой-то журнал, и неси рукопись. Главный редактор там фронтовик, кажется, даже сталинградец, должен тебя любить.

Я что-то там помэкал насчет профиля журнала, но меня подняли на смех, и я, взяв рукопись под мышку, пошел к фронтовику-сталинградцу.

Принят был с распростертыми объятиями. Наутро рукопись прочли, заключили договор, заплатили 60%, и я, потирая ручки, поехал домой. Обещали напечатать в таком-то номере.

Прошел месяц-другой. Наступила осень. И принесла она с собой не только дожди, но и кое-какие изменения в моей судьбе. Вызвали меня как-то на партком Союза писателей и сказали, что, обозрев мой жизненный и литературный путь, пришли к выводу, что в рядах партии мне оставаться нельзя. Что ж, стал я ходить на беседы к партследователям, на разные парткомиссии, но это уже другая история, о ней как-нибудь в другой раз. В журнале же, куда я заглянул как-то весной, очень огорчились. «Сами понимаете, в каком мы положении. И хочется напечатать, и нельзя... Вот кончится все у вас благополучно, тогда сразу же, мигом. Ведь вещь-то хорошая...»

Но кончилось не благополучно. Из партии исключили.

Перед отъездом за границу зашел я в редакцию. Здесь, в этом журнале, хоть и профиль у него другой, никто не радовался. Даже огорчались — вещь-то хорошая. И заявления я здесь никакого не писал — заплатили оставшиеся 40% и пожелали на прощание — «Ну что ж вам пожелать? Успехов...» Расстались друзьями.

К слову — когда я прощался в Киеве с высокими партийными руководителями, которые вызывали меня для беседы, я, как человек воспитанный, пожелал им успехов: старшему по положению — на общественном поприще, его помощнику, к тому же, писателю — на литературном. Они оба приложили руку к груди, но мне ничего не пожелали.

Ну, вот и все. Рукопись я привез с собой. Интересно, что мне скажут в третьей редакции. Авось, как с моим давнишним другом, взвесят на руке, спросят, про что, и отправят к метранпажу. А через 10—12 дней... Но это было в маленькой Литве. И давно. И бумага была дешевле.

1975

Геннадий Шпаликов

(К 10-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ)

— Вика, возьми меня с собой... Возьми меня в Париж.

Так говорил мне в последнюю нашу встречу милый мой, любимый забулдыга-друг Генка Шпаликов, он же поэт, сценарист, режиссер Геннадий Шпаликов. Ему надоело вдруг жить, этому веселому, талантливому и такому, казалось, беспечному человеку, и он сам наложил на себя руки. Совсем молодым, тридцати семи лет. Глубокой осенью 74 года.

Передо мною его книжка «Избранное» — сценарии, стихи, разрозненные заметки,— изданная через пять лет после его смерти. На форзаце его портрет художника М. Ромадина — с гитарой в руках на фоне Москвы, его любимой Москвы, окраин и переулочков, с трамваем, с прыгающей через скакалку девочкой, пивным ларьком где-то вдали.

Он был очень талантлив. И как поэт, и как человек. Его все любили. И я в том числе. В предисловии к книге хорошо о нем сказано: «Во ВГИКе появился студент, сразу же очаровавший всех — и преподавателей, и слушателей. Он был очень юн, незадолго до этого окончил Суворовское училище, был всем мил и приятен обаянием, «суворовской» подтянутостью, доброжелательностью и явной талантливостью.

Жизнь в ту пору была к нему необычайно нежна и приветлива. И он отвечал ей тем же. Все было прекрасно вокруг — и друзья, и девушки. И казалось, что он не просто ходит по институту, а словно все время взбегает вверх по лестнице. Жизнь его соткана была как бы из эпизодов его будущих сценариев. Легких и веселых переездов с квартиры на квартиру с томиком Пастернака под мышкой, беспечного студенческого безденежья, когда деньги все же добывались каким-то неведомым алхимическим путем, таинственных путешествий в другие города вслед за любимой, ночных шатаний и дурачеств с друзьями. И Патриаршие пруды, милые Патрики, и Арбат, и гитара, и вобла на газете на полу в облезлой комнатенке товарища, и неожиданный приезд из провинции друга-офицера... Но ничего из увиденного не проходило мимо, все шло в дело. В его душе совершалась сложная и тонкая работа. Он впитывал в себя дух времени».

Так вспоминают о нем — тех юных дней — Евгений Габрилович и Павел Финн, авторы предисловия. Да, пил, гулял, веселился и впитывал. И писал об этом. И в стихах своих, которые нигде никогда не печатались, и в песенках, облетевших позднее весь Советский Союз, и в сценариях лучших фильмов тех лет, начала 60-х годов — хуциевского «Мне двадцать лет» и «Я шагаю по Москве» Данелия. Они разные, эти фильмы, в чем-то даже противоположные, но общее в них — это молодость, это поиски каких-то путей — более сложных у Хуциева, более веселых у Данелия. Но в обоих весь Шпаликов — и сложный, и веселый. Он был и таким, и таким. И, как выяснилось, это очень трудно сочетать. Поэтому он и ушел из жизни так рано.

В книге, выпущенной издательством «Искусство», советским издательством, естественно, не говорится о последних его днях, когда лестница, по которой он весело взбегал в двадцать лет, оказалось, ведет вовсе не туда. Все оказалось куда сложнее, куда менее радужно. И об этом очень правдивый, грустный, единственный поставленный самим Шпаликовым фильм — «Долгая счастливая жизнь». Фильм называется именно так, но рассказывается в нем вовсе не о длинной и счастливой жизни, а о мимолетной встрече, вспыхнувшей и тут же погасшей любви, о чем-то несостоявшемся, к слову, прекрасно сыгранном Кириллом Лавровым и Инной Гулая.

Предисловие к книге также озаглавлено «Долгая и счастливая жизнь». А жизнь-то оказалась и не долгая, и не счастливая. Впрочем, несмотря на трагический конец, в ней было много и счастливого — много любви, много дружбы.

Мы с Генкой дружили. Несмотря на разницу в возрасте в 25 лет. Познакомились у Марлена Хуциева.

Я писал уже об этом. Семь лет тому назад, в журнале «Континент». «Где и когда мы с тобой познакомились? — писал я тогда, обращаясь к ушедшему уже из жизни другу своему.— Все у того же Марлена, у которого я и с Васей Шукшиным познакомился. И опять же на каких-то именинах, любил он их, что поделаешь. Нас послали за пополнением. А может, мы и сами вызвались. Мчались по каким-то переулкам, боялись, что закроют магазины... Таким я тебя запомнил — легким, быстрым, проворным, в эту очередь, в ту, в кассу, веселым, смеющимся. Мальчишка! Мальчишкой ты для меня остался на всю жизнь.

Нам с тобой тогда было очень весело. Почему? Тебе от молодости, от того, что работал вместе с Марленом, в которого был тогда влюблен. Мне? Бог знает от чего, может, от того, что тебе было весело. Ох, как был ты тогда молод, как все у тебя было впереди. И ты верил. И я тогда еще (в сорок-то с лишним лет!) тоже...»

А потом?

На «Заставу Ильича», которую мы с Марленом, как раз, когда мы познакомились, делали,— потом она стала называться «Мне двадцать лет» — вдруг навалились. И виновником был я. Позволил себе расхвалить не вышедший еще фильм, расхвалить за то, что молодые герои сами, без чьей-либо помощи ищут жизненных путей. «Спасибо Хуциеву и Шпаликову,— писал я тогда,— что не вытащили они за седеющий ус старого рабочего, который всех и всему поучает...» Что тут только началось! С легкой руки Никиты Сергеевича. И рабочий класс оскорблен, и партия, и руководящая роль... И пошло, и пошло... Готовый уже, всех видевших потрясший фильм (помню слова Анджея Вайды — могу сейчас же, не выходя из зала, вторично посмотреть от начала до конца...) — заставили сокращать, резать, переделывать, переснимать, перезаписывать... Увы, лучше от этого он не стал.

Такие события оставляют после себя след. И заметный. Последующее было уже не так легко и весело. И привело к тому, к чему привело.

— Вика, возьми меня с собой! — говорил он мне в тот последний наш с ним вечер, за чашечкой кофе у стойки гостиницы «Украина».— Возьми меня в Париж. Не могу я больше. Не могу ни ЦДЛ, ни ВТО, ни Дома журналиста, ни Мосфильм, ничего... Возьми меня в Париж. Честное пионерское, завяжу. Ну, иногда, только с тобой, в какомнибудь бистро, пивца какого-нибудь ихнего, светлого...

На этом мы расстались. Я усадил его в такси и больше не видел.

О смерти его я узнал уже в Париже. На похоронах были только его друзья, товарищи самые близкие. Те самые, о которых он писал:

> Ах, утону я в Западной Двине
> Или погибну как-нибудь иначе,
> Страна не пожалеет обо мне,
> Но обо мне товарищи заплачут.

Да, Гена, ты угадал, в той своей песенке — говорю я уже сейчас: не было утром траурных газет, и гимна над тобой не сыграли, и воинский салют ты сам отменил, а вот насчет страны могу прямо тебе сказать — жалеет она по тебе, и очень жалеет. Не та, черненок и громык, которая борется за мир, проливая кровь в Афганистане, а другая, которая истосковалась по правде, которой нужны стихи и такие поэты, как ты...

Гена, милый мой Гена... Я не проводил тебя в последний путь, не поднял свой стакан на поминках, но здесь, в Париже, я часто вынимаю кассеты, записанные у меня в Киеве, на кухне.

И слушаю тебя... И вижу тебя.

Генка Шпаликов, Геннадий Федорович Шпаликов, талантливый и умный, тонкий, забулдыга, пьяница, человек, которому так много было дано и который умел давать нам, но недодал, Генка Шпаликов, который сам себя увел из жизни, потому что не мог дышать.

Не хватало воздуха...

Без него поэту жить нельзя.

Париж. Ноябрь 1984.

Мамаев Курган на бульваре Сен-Жермен

Начало — более чем идиллическое. Весна. Апрель. Первое после дождей запоздалое солнышко. Зеленое кружево платанов на бульваре Сен-Жермен. Парижане высыпали на улицу, расселись за столиками кафе. Что-то потягивают. Среди них и я. Греюсь. Тяну пиво. Разглядываю прохожих.

Друзья из родных краев, кое-кто и осуждает. Развалился, мол, на соломенном стульчике, покуривает. В Москве за такую кружку пива битву выдержать надо, настоявшись в очереди, если удастся где-то на окраине бочку обнаружить. А потом — никакой тебе не стульчик, а отходи в сторонку, сдувай пену, ругай себя, что сразу две не взял.

И мне чуть-чуть совестно. И все же сижу себе и посасываю, покуриваю, млею на солнце.

Происходит это в кафе «Аполлинер», в двух шагах от древней колокольни Сен-Жермен-де-Прэ, когда-то, в мушкетерские времена, большого монастыря, от которого сохранилась только церковь. Я люблю это кафе не только потому, что оно носит имя любимого французского поэта — его маленький и очень некрасивый бюстик, изваянный Пикассо, стоит в скверике возле церкви. Люблю еще и потому, что на противоположной стороне бульвара стоит милый моему сердцу дом под номером 137. Гранитный его фасад с пилястрами словно перенесен из Ленинграда, с Каменноостровского проспекта, ныне Кировского. Таких там много, с красно-коричневыми каменными фасадами, такими же пилястрами, гирляндами, женскими головами. Начало века, первые работы прославившихся потом Щуко, Белогруда, Лидваля.

Такой, лидвалевский, дом чудом сохранился и на Крещатике. На первом этаже контора АПН, которую «держал» всеобщий любимец Сева Ведин, «хозяин Крещатика», как звали его друзья. Там всегда можно было застать и их и побаловаться рюмочкой-другой, отведать селедочки — рядом магазин «Рыба», куда Сева, как свой, заходил со двора. Вот и его, приветливо улыбающегося, с вечной шуткой на устах, увы, покойного, вспоминаю, сидя за мраморным столиком, покуривая, вздыхая...

Весна... Пожилой, небритый садовник меняет круглые решетки у молоденького, недавно посаженного платанчика. Работает старательно, что-то прилаживает, как будто не для фланирующих бездельников, а для самого себя. Что-то не получается, потащил тяжеленный сегмент решетки через улицу, лавируя между машин. Приволок другую. Бросил на землю. Я не отрываю от него глаз, поражен добросовестностью. Обеденный час, парижане жуют свои салаты, запивают панаше, а он все трудится. Опять куда-то ушел. Вернулся...

Приволок откуда-то — и я обомлел — кирко-мотыгу! Стал землю разрыхлять.

Кирко-мотыга... Милая, дорогая, сколько же лет я тебя не видел? Тридцать, сорок? А если не полениться, подсчитать, то сорок четыре, со времен Сталинграда.

Не было в Сталинграде ничего более ценного, чем она. Не автомат, не диск, не патроны, не даже ушанка, валенки или заячьи рукавицы, а именно они — лопата, топор и кирко-мотыга — бесхитростное счастье сапера. Их воровали друг у друга, за ними охотились, хранили как нечто самое дорогое.

Саперную большую или малую лопату знали больше по картинкам из наставления по инженерному делу — их было только две на всю дивизию — в штабдиве, и чудом, у меня, полкового инженера 1047 полка. Как я ее раздобыл — умолчу.

Главное дело полковых саперов — землянки, блиндажи. Дела посерьезнее — минные поля, проволочные заграждения, это уж обязанность дивизионных саперов. Впрочем, кроме спирали Бруно, ни одного классического проволочного заграждения на кольях я ни разу за всю войну не видел. Даже у немцев, таких аккуратистов.

Землянок же и блиндажей нарыли мои саперы за зиму и не подсчитаешь. И в крутом, волжском берегу, в виде штолен, обложенных бревнами, и полегче, в откосах оврагов, в один, иногда в два наката, в зависимости от каприза начальства.

Топоры были на особом счету. Лопаты в основном колхозные, непрочные, ломкие, ржавые, с левого берега. Настоящая, большая, саперная, с удобной, длинной, гладкой, без заусенец ручкой, с крепким, стальным, полукруглым, чуть изогнутым лезвием, как некий раритет — кстати, она была немецкой, трофейной,— хранилась в углу нашего с командиром взвода блиндажа и выдавалась только для особо важных заданий, под расписку — головой отвечаешь.

А вот с кирко-мотыгами происходило всегда что-то непонятное. Они то появлялись, то исчезали, и вечно из-за них происходили скандалы.

Один из них до сих пор в памяти, как будто вчера произошел. Утром того дня командир взвода Кучин — ловкий, хитрый пройдоха — раздобыл для нас аж пять кирко-мотыг. Это было великим событием. Как всегда, разведчики пронюхали, где и когда разгружается катер «Ласточка» с инженерным имуществом, и Кучин оказался там первым. Набрал противопехотных мин, спирали Бруно, но главное — пять кирко-мотыг. Подарок!

Штолен, как в первые дни обороны, мы уже не рыли, нас перебросили в овраг Долгий, но грунт был мерзлый, колхозные лопаты ломались. Кучин сиял.

К вечеру еще один подарок — пополнение. И тоже он оказался первым, отобрал ребят пожилистей. Среди них запомнился мальчонка Федя, фамилию забыл. Совсем молоденький, розовощекий, похожий на девочку. Но работник, землекоп оказался на диво — неутомимый и безропотный.

Взвод наш к тому времени — стоял январь, морозный, скрипучий, последний месяц сталинградской войны — малость поредел. Пополнение, пять человек, было в самый раз. Стало нас двенадцать — давно такого не было.

Вечером Кучин выстроил новичков перед землянкой. Их приодели, выдали телогрейки, стеганые штаны, валенки, меховые ушанки. Вид стал вполне боевой. Кучин, заложив руки за спину, ходил важный взад-вперед, читал нотацию:

— Бойцы Красной Армии, а вы сейчас бойцы не какой-нибудь, а прославленной 62-й армии, которая насмерть стоит на этом берегу Волги, должны помнить с утра до вечера, и ночью тоже, что вверенное вам имущество священно. Это государственное имущество, и беречь его вы должны, как собственную голову. Выдается вам сейчас каждому по кирко-мотыге. И расставаться с ней вы не имеете права никогда. Кто потеряет, лучше на глаза мне не показывайся. Убью. На месте. И домой отпишу, старикам, что не оправдал надежд сын ваш. Погиб бесславно. Ясно? Вопросы есть? Нет? Получайте по инструменту и берегите, как невесту ненаглядную. А теперь — кругом, шагом марш в расположение.

Насмерть перепуганные мальчишки затопали, крепко вцепившись в рукоятки своих «невест».

Прошло какое-то время, недели две, пожалуй. Сидим мы как-то с командиром пешей разведки Ванькой Фищенко, пьем. В последние дни на передовой стало совсем тихо, заданий новых нет, все нужные НП для командира полка сделаны, можно и расслабиться. Расслабляемся.

Вдруг в дверях появляется усатый помкомвзвода Казаковцев. Встревоженный.

— ЧП, товарищ начинж. Лейтенант Кучин просит вас в расположение срочно прийти.

Иду. Фищенко тоже пошел. В землянке саперов накурено, не продохнуть. Кучин, красный, злой, сидит в кресле — раздобыли солдаты где-то в руинах барское, с гнутыми ножками, очень им гордились. Бойцы вдоль стен, на корточках. Посередине стоит весь белый, никакого румянца, руки по швам тот самый, похожий на девочку солдат Федя. Моргает глазами.

— Поглядите, товарищ капитан,— прохрипел Кучин.— Видали разгильдяя? Мало сказать разгильдяй, преступник. Кирко-мотыгу потерял! В боевых условиях, когда враг не дремлет, государственное имущество не уберег. Хорош боец? Ну что с ним делать, а, товарищ капитан? В штрафной что ли послать?

Бедный Федя стоит ни жив ни мертв, слова выдавить из себя не может.

— Как это произошло? — спросил я, чтобы что-то спросить.

— Не знаю, товарищ капитан,— заикаясь, начал Федя.— Сам не знаю. Никогда с ней не расставался, ни днем, ни ночью, ни на минуту.— Смотрит на меня круглыми, испуганными глазами.— А вчера после задания пришел, НП для артиллеристов кончали, завалился, а ее под голову положил, а утром, хвать, нету...

— Вот так вот нету? — перебил Кучин.

— Нету...

— Украли, что ли? Товарищи твои? Можешь указать? Или так, растаяла сама по себе?

Федя молчит, еще больше побелел.

— Так вот, товарищ боец,— изрек Кучин.— Товарищ капитан, я думаю, того же мнения. Если к утру не найдешь инструмент, пеняй на себя, кара будет такая, что и во сне тебе не снилась. Правильно я говорю, товарищ капитан?

Мне жалко было парнишку, никогда никаких замечаний не имел, но на фронте железный закон — потерял, найди, другого выхода нет. Я молча кивнул головой.

— Понятно тебе, а? — заключил Кучин.— Кровь из носу, но чтоб утром явился с инструментом. Иначе... Выполняйте, товарищ боец!

Федя стоял недвижимо, и вдруг по щекам его потекли слезы. Большие, детские, одна за другой. Потом повернулся рывком и в дверь.

Когда мы с Фищенко возвращались ко мне, не доходя до землянки, он вдруг остановился.

— Не нравится мне что-то это. Иди к себе, капитан, а я через минуту...— и побежал в сторону Волги.

Минут через двадцать ввалились оба. Федя весь мокрый, с головы до ног. Дрожит. Зуб на зуб не попадает.

— Видал? — Чубатый Фищенко ткнул в него пальцем.— Топиться пошел. Я точно почувствовал. Поймал его на берегу Волги. Полынью нашел. Еле вытащил его оттуда... Ох и герой...

Выдали мы ему полстакана водки. Малость оклемался. Размазывая по щекам слезы, говорит:

— Главное, что он старикам бы написал. Грозился... Ну, как это пережить, как?!

— Ладно,— рассмеялся Фищенко.— Посиди, погрейся, потом со мной пойдешь. Помогу я твоему горю. Чтоб навек запомнил, что такое разведчики. Ну, давай еще по одной.

Утром, ни свет ни заря, явился сияющий Федя. На щеках опять румянец. В руках «бесценное государственное имущество».

А где-то в это же время, в другом полку, другой комвзвода распекал своего такого же Федю, грозился штрафным батальоном. Пошел ли тот топиться? Этого мы не знаем.

В конце февраля, бои давно уже закончились, наш полк грузился на машины — нас вроде отправляли в тыл, отдыхать. Отдыха не получилось, оказались мы на Украине, но в тот солнечный февральский день все были веселы. У подножия Мамаева кургана стояли разбомбленные железнодорожные составы. Один с солью, другой почему-то с синькой. Бойцы старательно нагружались и тем и другим. На Украине затем это превращалось в сало, сметану, а то и в самогон.

Проверяя, что взято, что забыто, мы с Кучиным шли вдоль машин.

— Глянь-ка туда,— ткнул меня в бок Кучин.— Видал героя?

В одном из могучих «студеров» сидел наш Федя и за спиной его болталось, как винтовка, то самое «государственное имущество» — заветная кирко-мотыга.

— Я же велел, дурень, помкомвзвода ее сдать. Под расписку. Чего ж ты?

Федя улыбнулся во весь рот.

— Нет, ученый я теперь. Никаких расписок... Так вернее...

Много лет спустя, в Киеве, мы с Фищенко вспоминали иногда нашего несостоявшегося утопленника.

Где он, как он, не знаю. Если жив, демобилизовался, не расстался, думаю, со своей «невестой», кирко-мотыгой, долбает землю у себя в огороде.

Вот что вспомнилось мне в тот весенний день на бульваре Сен-Жермен, у кафе «Аполлинер». А ведь думал, что никогда уже о войне писать не буду. И еще подумалось мне. Ведь Феде сейчас столько же, сколько этому небритому садовнику. Один где-то у себя в Сибири, другой — в Париже, а кирко-мотыга вроде одна и та же.

1987, Париж

Праздник, который всегда и со мной...

День начинается так. Проснувшись, делаю небольшую прогулку километра на три-четыре. Выйдя из дому, сворачиваю сразу же налево и через аркады Лувра, потом через мост Карусель выхожу на набережную Вольтера. Дальше вдоль Сены, мимо закрытых еще букинистических лотков, до небольшого моста О-Дубль, где сворачиваю налево и, минуя Нотр-Дам, по Аркольскому мосту выхожу на правый берег Сены, к площади Отель-де-Вилль. Дальнейший путь опять же вдоль Сены, на этот раз уже по ее течению. Дойдя до Лувра, сво-

рачиваю направо и по Рю-Риволи до моего дома уже рукой подать. Иногда я совершаю прогулку в другую сторону — через площадь Согласия до Эйфелевой башни и обратно. После прогулки иду в ванную и, как говорят радиодикторы, приступаю к водным процедурам.

Вся прогулка отнимает не больше трех-четырех минут. Быстрота ее объясняется тем, что совершаю я ее не ногами, а глазами. Над моим диваном висит громадный, два на полтора метра — план Парижа, и это первое, что я вижу, проснувшись утром. План этот необыкновенный, это плод двадцатилетнего труда художника Пельте, умудрившегося нанести на него ВСЕ дома Парижа. Все до единого. И не просто нанести, а дотошно нарисовать в аксонометрии, с птичьего полета. Я не представляю себе, как это можно сделать, но это сделано. Кропотливейшим образом нарисованы все жилые дома, дворцы, церкви, соборы, мосты, парки и бульвары, памятники, отдельные скульптуры, лестницы, спуски к Сене. Если сесть в противоположный конец комнаты и взять бинокль, создается полная иллюзия, что ты летишь над городом в самолете. Впрочем, есть даже и преимущество — с самолета надо догадываться, что под тобой, а здесь всюду надписи...

Так двадцать лет тому назад начинал я свой очерк «Месяц во Франции», напечатанный в журнале «Новый мир».

Теперь, хотя над изголовьем моим висит такая же картина, прогулки по тем самым набережным Вольтера, Аркольским мостам и Рю-Риволи я совершаю уже не глазами, а ногами.

Тогда, слоняясь глазами по карте, я все мечтал о том счастливом дне, когда опять попаду в Париж. Мечтал, отдаленно даже не представляя себе, что попасть-таки попаду, но отнюдь не уважаемым (уточним, не всегда, но тогда был уважаемым) советским писателем, в компании еще более уважаемых К. Г. Паустовского и Андрея Вознесенского, а на этот раз изгнанником, в компании жены и собаки.

Хемингуэй в одном из писем своему другу писал:

«Если тебе повезло, и ты в молодые годы жил в Париже, то, где бы ты ни был потом, он до конца дней твоих останется с тобой, потому что Париж — это праздник, который всегда с тобой».

Так и озаглавил он — «Праздник, который всегда с тобой» — свои воспоминания о молодых годах в Париже, подернутые элегической дымкой.

Теперь этот праздник со мной. Уже десять лет, как я живу в городе, где когда-то в незапамятные времена в компании двух других карапузов кормил уточек в парке Монсури. И сейчас, несколько погрузневший и поседевший, я опять прихожу сюда, и сопутствует мне дама, в те далекие дни тоже резвившаяся на этих лужайках, а теперь приезжающая издалека, и мы вместе кормим других уже, но совершенно таких же, как и тогда, пестреньких уточек, и говорим... Впрочем, это наше уже дело, о чем мы говорим, есть у нас и свои секреты, но о Париже говорим тоже, говорим всегда. И суждено, очевидно, одному из этих двоих, кормящих уточек в парке Монсури, перейти в лучший из миров именно из того, лучшего в мире города — Парижа...

Вот так-то...

Я не знаю еще, как будет озаглавлено то, что пишется сейчас. Заглавие дело нелегкое — в одном, двух, трех, максимум пяти словах («На Западном фронте без перемен», тот же «Праздник, который всегда с тобой») надо передать мысль, дух, в каком-то смысле содержание того, о чем пишешь. У меня это не всегда получается. Кстати, название хемингуэевской повести или рассказа в русском переводе звучит куда лучше, куда точнее, чем у самого автора. У него по-английски называется «A Moveable Feast», что значит «передвигающийся, переносящийся, не связанный с определенной датой праздник». Кто придумал это название, не знаю, повесть увидела свет уже после смерти Хемингуэя, и редактировала ее его жена, но насколько лучше русское «Праздник, который всегда с тобой». Именно с тобой. Не какой-то там, к чему-то привязанный, а именно с тобой...

Так вот, Париж сейчас со мной. И, надеюсь, навсегда. Если не случится нечто, во что я, к сожалению, не верю, поэтому и говорить не хочу. И преподнесли мне его, этот праздник, не кто-нибудь, а наша родная партия, наше родное правительство (я даже подумал, не назвать ли свою вещь «Праздник, подаренный мне партией и правительством», но потом раздумал, расхотелось, ну их, решил, и так осточертели, а в названии придумаем что-нибудь поэлегантнее... Время есть...).

А не подсчитать ли мне мои встречи с Парижем?

Первая в совсем юные годы. Расстался с ним в разгар первой мировой войны четырехлетним мальчишкой, не знающим ни одного русского слова. В памяти обрывки воспоминаний — парк Монсури, пруд, уточки, театр-гиньоль, марширующие по «Фортифам» (остатки старых, времен франко-прусской войны, укреплений, фортификаций) солдаты в красных еще штанах и кепи, ночной цеппелин над городом и двое раненых в мамином госпитале, которым я приносил что-то «вкусненькое». Вот и все. Еще проносящиеся мимо огоньки в парижском метро.

Вторая и третья встречи через пятьдесят лет. Мимолетности. Пересадки по дороге в Рим и обратно. Четвертая посолиднее, описанная в очерке «Месяц во Франции». К слову сказать, очерки эти так и не увидели б свет (к этому времени я был уже раскритикован с высокой трибуны дорогим нашим Никитой), если б не визит де Голля в Москву. Срочно потребовалось что-то хвалебное о Франции, и меня не менее срочно затребовали в Москву, в ЦК, что-то уточнять и дописывать («У вас совсем ничего нет о рабочем классе, Виктор Платонович, как же это так? Допишите, допишите». И я дописывал какого-то выдуманного электромонтера).

Впечатлений в ту поездку было много, но, может быть, самое яркое — это утро следующего дня после приезда. Не успев еще позавтракать, я сразу же ринулся к газетному киоску, первое, что меня всегда манило в заграничных поездках,— дух захватывало от разнообразия и пестроты обложек. И нужно же, чтоб в первом же журнале, который я купил, «Пари матч», я наткнулся на отрывок, как вы думаете, из чего? Из солженицынского «Ивана Денисовича». Самое поразительное было то, что свеженький, пахнувший еще типографской краской, второй номер «Нового мира», где повесть была напечатана, я самолично привез вчера и тут же, по просьбе Твардовского, отвез Жан-Полю Сартру. На следующее утро я не верил глазам своим. За одну ночь перевести и тиснуть в готовый уже номер — ошеломляюще! И само сочетание — Сартр — «Пари матч», нет, не может быть, какими-то другими путями попал. До сих пор теряюсь в догадках...

Итак, первое впечатление от Парижа — газетный киоск. И в этот раз, и до этого, в аэропорту Орли, пересаживаясь с самолета на самолет. Сразу же к киоску, где рядом со всякими буржуазными «Таймсами» и «Мондами» сиротливо серела наша родная «Правда». Сейчас к этому ошарашивающему нормального советского человека феномену я привык, но тяга к нему по-прежнему осталась.

Каждое утро, до кофе еще, я отправляюсь за газетой, в мага-

зинчик «Журно» («Газеты») возле автобусной остановки. Хозяева, он и она, мило улыбаются, мы дружим, и я им даже книжку свою подарил. Взяв обычное свое «Фигаро», по вторникам «Синема», а по четвергам «Пари матч» (дружба наша скреплена, как говорится, кровью — два туго набитых мешка этого журнала отволокли от меня в свое время гебешные мальчики),— я удаляюсь и вспоминаю свой киевский киоск, по выходе из Пассажа. «Спутник пропагандиста», «Блокнот агитатора», «Политическое самообразование», «Старшина-сержант», что-то профсоюзное, такое же серенькое, «Работница», «Советская женщина» с какой-нибудь уныло улыбающейся ткачихой на обложке («Советский экран» со знающей, как сниматься, Гурченко или Леонеллой Скирдой обычно держат под прилавком), ну, а если появляется «Неделя», сразу очередь. И только однажды я задержался у этого киоска. Увидел за стеклом открытку с изображением Шильонского замка, знаменитого швейцарского замка — тюрьмы на берегу Женевского озера, где томился воспетый Байроном узник Бонивар. Что такое, почему? Купил. Оказывается — прочитал на обороте,— «По ленинским местам. Шильонский замок, который весной 1904 года посетили В. И. Ленин и Н. К. Крупская». Это было самое интересное, что я в этом киоске за всю свою жизнь купил.

А у моей парижской газетчицы? Не спрашивайте. Сегодня, например, раскошелился и приобрел зачем-то «Граффити веспасьяно» (Веспасиан — римский император, первый задумавшийся о нуждах пешеходов и приказавший соорудить на улицах Рима публичные уборные) — альбом, состоящий сплошь из фотографий разрисованных с большой фантазией стен общественных уборных Парижа, Берлина и других столиц, перед которыми бледнеют туалеты Казанского или Курского вокзалов... Об остальном, что можно купить, говорить не буду, от одного «Плейбоя» у советского таможенника или тов. Шауро из ЦК затряслись бы руки.

Итак, день начинается с киоска. После киоска кафе. Тут уместно сложить в честь него оду. Их в Париже миллион. Ну, может быть, пару нулей надо скостить, но не более — на каждом шагу, на каждом углу — какой-нибудь «Ше Морис» или «Ше Крисоф», по имени хозяина. У каждого своя клиентура — окрестные работники, шоферюги, почтальоны, конторщики или просто служащие, забегающие до работы проглотить свой стаканчик вина или чашечку кофе. Есть и задерживающиеся подольше, листающие за чашечкой «гран-крем» — кофе с молоком — свою утреннюю «Фигаро», «Матэн», «Либерасьон» или «Котидьен де Пари». К ним отношусь и я. Листаю «Фигаро», закусываю свежим, хрустящим круасаном, по-моему, лучшим хлебобулочным изделием французов. За «Фигаро» парижские интеллектуалы смотрят на меня косо — они правы, положено читать «Ле Монд»,— но я люблю карикатуриста Фезана, от него ежедневно достается то Миттерану, то очередному премьер-министру. К тому же «Монд» — газета вечерняя.

Утреннее мое кафе называется «Сентраль», напротив — «Ту ва бьен», что значит «Все хорошо». В обоих, кроме стойки, за которой ловко орудуют хозяева, и нескольких столиков для неторопливых посетителей, обязательно стоят дьявольские машины, в которых что-то мигает, зажигается, тухнет, источающие к тому же не очень мелодичные звуки. Перед ними, как правило, три-четыре бездельника в джинсах, кожаных курточках, с серьгой в ухе. Что вызывает их азарт, я до сих пор уловить не могу, но мой внук, ставший уже настоящим французом, утверждает, что один из завсегдатаев моего «Сентраля» выиграл за один день чуть ли не тысячу франков. Возможно. Но мне это не светит. Продолжаю пить кофе с круасаном. Чувствую на себе косые взгляды соотечественников. Расселся, мол, в своем парижском кафе, кофеек попивает, да еще с круасаном, а тут не то что круасана не достанешь, а... Вот, недавно приехал человек их Рыбинска, рассказывает, что... Тут я начинаю краснеть, зная, что в Рыбинске с продуктами туговато, но, что поделаешь, живу я в Париже в силу сложившихся обстоятельств, и, если уж проводить параллель, то житель Рыбинска может в любой момент поехать в Москву, хоть за продуктами, хоть за чем-нибудь другим, а я — нет! Вот так-то...

И назло всем веду вас в «Эскуриал». Это на углу бульвара Сен-Жермен и Рю-де-Бак. Оно, на взгляд француза, дороговатое, но для меня удобное, выскакиваю прямо из своей линии метро (Рю-де-Бак — улица Парома — знаменита тем, что на месте дома № 1, выходящего на набережную Вольтера, находилась казарма мушкетеров, тех самых...).

Итак, чашечка кофе. Примостимся направо от входа, так, чтобы видеть (стены здесь стеклянные) прохожих, бульвар Сен-Жермен и афишную тумбу, специализирующуюся по концертам.

Кафе «Эскуриал» — место моих встреч. Во Франции это очень распространено — встречаться в кафе. Эту французскую привычку я прочно усвоил, хотя, как ни странно, другие, очень типичные для этой нации, ко мне не привились — ни обязательный после обеда сыр (во Франции, говорят, их 400 сортов), ни пышный зеленый салат как отдельное блюдо, ни даже вино, подумать только, французское вино, без которого у них в глотку ничего не лезет. Я предпочитаю пиво — «Хейнекен» «Кроненбург» или «Гинес». Водку брать не рекомендуется — тут она дорога и подают ее микроскопическое количество.

«Эскуриал» и кафе, и ресторан. С пяти часов у рояля молодой человек, в прошлом называвшийся «тапер», к счастью, исполняющий не современные роки и попы, а что-то старое, из прошлого, даже «Утомленное солнце» в том числе. Подают почему-то камбоджийцы, а может быть, это и вьетнамцы, тоненькие, желто-оливковые, в длинных белых передниках. Раньше они назывались «гарсон», сейчас это не принято, только очень уже немолодые парижане, помнящие еще «белль эпок», счастливые дни начала века, позволяют себе эту вольность; мы же, новички, переключились на «мсье» или машем рукой.

Пока еще пустовато, но через час негде будет сесть. С 12 часов начинается «пти дежене», и тут, пусть небо раскалывается над головой, француз должен перекусить. К 12 все магазины закрываются и открываются только к трем-четырем часам. Когда я к этому часу оказываюсь в районе Шампз-Элизе — Елисейских полей, я, как бы ни был занят, обязательно забегаю в угловое кафе «Верне» на авеню Жорж Сэнк. Там работает лихой бармен, от которого я не могу оторвать глаз. Я всегда получаю наслаждение от красивой, четкой, ловкой работы. Вы б посмотрели, как он, этот молодой симпатичный парень, молниеносно разливает и подает крохотные чашечки кофе-эспрессо или высокие бокалы пива. Как успевает тут же вымыть и вытереть стаканы, щелкнуть что-то в кассе и подать сдачу на блюдечке, кому-то улыбнуться, пожать руку — «са ва?» — ничего не значащее французское «Ну как? Идет?» — и опять подставить сразу пять чашечек под краны и ловко, через голову другого бармена, бросить грязное полотенце и откуда-то выхватить чистое. И ни разу он ни с кем не столкнулся, никого не задел, а за стойкой их трое, да еще толстяк, очевидно, хозяин. Красота!

А в метро я любуюсь расклейщиками афиш. Удивительно ладно у них почему-то это получается. Раз-два, шваркнет плоской кистью вдоль и поперек, потом кисть в мешок, висящий на заднице, и ловким

движением расправляет четверть афиши. Раз-два — по ней же кистью, и тут же за вторую. И все у него сразу совпадает. Через пять-шесть минут тебе улыбается со стены белозубая красавица и убеждает купить именно эти чулки или бежать в магазин «Прэнтам», там с сегодняшнего дня «сольды» — скидка. Расклейщики афиш — парни уже немолодые, но всегда веселые и всегда насвистывающие, к тому же очень музыкально... Всегда злюсь, когда появляется вдруг поезд метро и заслоняет от меня этого работягу-художника. Ей-Богу, красивая работа — тоже искусство.

Наш «Эскуриал» начинает заполняться. Поэтому уступим место этой явно голодной молодой паре, расплатимся — просто положим 16 франков мелочью на стол, тут так положено — и направимся вдоль по бульвару Сен-Жермен в сторону Сены.

Бульвар Сен-Жермен в Париже — это мой парижский Крещатик.

Там, на Крещатике, в юные годы мы с друзьями «прошвыривались» по вечерам, конечно же, осаждали кино — в «Корсо» ковбойские фильмы, в «Экспрессе» салонные с Полой Негри и Гретой Гарбо, в любимом нашем «Шанцере» — там у нас знакомый администратор — три серии «Индийской гробницы», «Багдадский вор» и «Знак Зеро» с непревзойденным Дугласом Фербенксом. Кино мы жили, знали все и всех, не пропускали ни одного фильма.

В последние, предотъездные годы Крещатик стал главной трассой моих прогулок с мамой. От Пассажа, где мы жили, до бывшей Царской площади и обратно. Неизменными нашими спутниками были мой старый, довоенный еще, институтский друг Исачок Пятигорский и его жена. Так, вчетвером, не торопясь, топ-топ-топ, мы совершали нашу традиционную прогулку, на обратном пути покупали свежий батон и шли пить чай.

Все это позади и никогда уже не вернется. Мама умерла, Крещатик уже не тот, понастроили что-то новое, громоздкое, пышное, совсем не крещатицкое, ну, и я далеко от всего этого, в Париже.

По бульвару Сен-Жермен я гуляю обычно один. Или вожу приезжих — москвичей, ленинградцев, киевлян. Он широк, красив, обсажен платанами, тянется от Сены к Сене, по левому берегу, «Рив гош», начинаясь от моста Сюлли и заканчиваясь у Палаты депутатов возле моста Конкорд. Наиболее оживленная, прогулочная часть — средняя треть его, от церкви Сен-Жермен-де-Прэ до бульвара Сен-Мишель. Здесь больше всего магазинов, кафе, ресторанов, кино. В теплые весенние и летние вечера не протолкнуться. Все столики, выползшие на тротуар, заняты. Уличные певцы, гитаристы, скрипачи с разной степенью таланта ублажают слух болтающих, обнимающихся, целующихся, сосущих свой оранжад или кофеек парижан. А на маленькой площади перед Сен-Жермен-де-Прэ фокусники и акробаты. Вокруг толпа. Полиция не трогает — крутись себе, вертись на здоровье. И никто из вертящихся и глядящих на них не помнит, а может, просто не знает, что три с лишним столетия назад, с конца XIII века до середины XVII, на этом самом месте стоял позорный столб, где подвергались публичной порке взяточники, банкроты, лжесвидетели, фальшивомонетчики, богохульники, развратники, сводники и сутенеры. А в 1557 году по приказу короля Генриха Второго здесь были живьем сожжены два гугенота Никола Ле Сен и Пьер Ковар, отказавшиеся признать себя виновными, за что у них был вырван язык... В 1636 году по приказу Людовика Тринадцатого позорный столб аббатства Сен-Жермен был наконец снесен, но тюрьма аббатства сохранилась. А я-то и не знал, сидя часто в садике возле аббатства и любуясь шестиэтажным домом на противоположной стороне улицы, очень напоминающим мне дома на Каменностровском, ныне Кировском проспекте в Ленинграде, что на его месте была тюрьма и снесли ее только в 1857 году, когда началась реконструкция бульвара Сен-Жермен. Сооружена она была в 1522 году, имела собственный трибунал, прокурора и охрану, и юрисдикция ее распространялась на всю округу вплоть до долины Гренель. В годы Великой французской революции она прославилась так называемой Сентябрьской резней 1792 года. На основании некоей листовки, которая утверждала, что раскрыт заговор аристократов и священников против простого народа, были схвачены, судимы на месте революционным трибуналом и убиты тут же, у входа в тюрьму и во дворе ее, 317 человек. Ценные вещи поделили между собой судьи и палачи, а белье и носильные вещи приобрела за 375 ливров некая предприимчивая женщина, которая, отмыв кровь, бойко стала ими торговать. Все остались довольны. Стены тюрьмы видели и знатных пленников, как мадам Ролан, жену министра иностранных дел, писавшую в камере свои мемуары, а потом гильотинированную. Узником тюрьмы был и Бомарше, и несколько дней Шарлотта Корде, убийца Марата. Одним словом, мрачным стенам этим было, что вспомнить. Сейчас стен уже нет, аббатство власти не имеет, а церковь, считающаяся одной из старейших в Париже (сооружена в 990 году), то ли по пятницам, то ли по субботам приглашает всех желающих на концерты органной музыки.

Против паперти, через площадь,— знаменитое на весь мир кафе «Де Маго» — «Два болванчика» — подразумеваются китайские статуэтки с качающимися головами. В этом кафе и соседнем, «Кафе де Флор», в свое время собирались экзистенциалисты во главе с Жан-Поль Сартром и Борисом Вианом. Увы, все это в прошлом — публика теперь разношерстная, никаких споров, никаких дискуссий. Потеряла свое лицо и знаменитая когда-то «Брассри Липп», где собирались журналисты и назначали встречи различные политические деятели.

Заглядываю и я иной раз в «Де Маго», тоже с кем-нибудь встретиться, но, в общем, больше меня тянет к книжному магазину «Ла Юн», между двумя кафе,— магазину в основном книг по искусству. И тут я гибну. Сейчас задерживаться в нем не будем — о книгах в другой раз, особо, а потоптавшись немного возле художников — они расположились вдоль стен аббатства со своими картинками и рисуночками, более или менее одинаковыми, мало чем отличающимися от монмартских,— пройдемся по улочкам, ведущим к Сене — Рю-де-Сен, Рю-Бонапарт, Рю-Мазарин, Рю-Дофин и пересекающую их Рю-Жакоб. Здесь можно провести весь день. Здесь антиквариат, здесь же и картинные галереи.

Оторваться от антикварных витрин невозможно. Античные торсы, коротконогие губастые африканские божки, ацтекские маски, средневековые латы, самурайские мечи, умопомрачительные модели испанских галионов и каравелл, карты времени Магеллана и Васко да Гама, водолазные медные скафандры, расшитые золотом генеральские кепи, может быть, самого Жоффра или Фоша, и книги, книги всех веков, в кожаных переплетах с металлическими застежками и старинными гравюрами. Внутрь я заходить опасаюсь — не уйдешь.

Несколько спокойней я прохожу мимо галерейщиков. Если там не выставляется кто-нибудь из моих друзей, я, в общем-то, и не захожу. Посмотрю сквозь витрину на какие-то радужные пятна или скрученные из разной толщины проволоки непонятности, и как-то не тянет меня внутрь. Я консерватор и ретроград. Помню, на одной из больших весенних выставок я подошел к чему-то, очень напоминающему самогонный аппарат, и прочитал на табличке слева предложе-

ние нажать кнопку. Я это не без тревоги сделал, и аппарат замигал тысячами огоньков — даже красиво,— а из рупора донесся хриплый голос, как выяснилось потом, Махатма Ганди...

Нет, консерватор, консерватор — дальше французских импрессионистов, Сезанна, Матисса, Пикассо — люблю его скульптуры, керамику — не иду. Ну, еще Сальватор Дали — рисовальщик он великий, непревзойденный, а фантазия почище, чем у Иеронима Босха...

Пройдя галереи и антикварщиков, повздыхав у очередной колумбовской «Санта Марии», идем к Сене. Тут букинисты.

Три самые знаменитые вещи в Париже! Ответьте быстро, не задумываясь.

И я ответил — Эйфелева башня, Шампз-Элизе и Лувр.

На меня печально-иронически посмотрели.

— Банальнее трудно ответить. Три самые знаменитые, самые парижские вещи — это кафе, музыканты в метро и букинисты вдоль Сены.

Мне нечего было возразить. Да — кафе! Хотя и прочитал недавно с грустью, что за последние десять лет количество их уменьшилось со 112 тысяч до 17-ти. Да — музыканты! Вы представляете себе скрипача в метро на площади Революции? «Чего ты тут распиликался? А ну, давай!» А здесь, где-нибудь в подземном переходе на Сен-Мишель или Шатлэ, целый ансамбль, мексиканский или аргентинский, и вокруг толпа, и хлопают, и сыплются франки в кружечку. И в вагонах метро то гитарист, то парочка, то трио, то даже — повесит занавеску в конце вагона и под веселую музыку магнитофона печальный роман двух кукол а-ля Образцов. И все это так естественно, весело, просто...

Ну, и наконец букинисты. Те самые, на набережных Сены. Их ящики, по-французски «буат», вытянулись по обоим берегам Сены не меньше, чем на несколько километров. Книги, журналы, открытки, виды Парижа, старинные гравюры и увражи. Старые карты. Само по себе это уже живописно и естественно входит в пейзаж города — фонарь, платан, сам букинист в берете и накидке, и все это на фоне Нотр-Дам. Но главное — ройся в этих книгах, сколько хочешь, и, поверьте, всегда найдешь что-нибудь интересное. Я люблю старые журналы. Могу часами рыться в допотопных «Иллюстрасьон» и потом волочить их целый пуд в свою берлогу.

Помню, как в Ленинграде меня по знакомству допустили до спецхрана так называемой Публички — библиотеки имени Салтыкова-Щедрина. Я листал старые «Правды» и не мог оторваться. Начиная еще с летних месяцев 1917 года. Потом гражданская война, нэп, тридцатые годы, процессы... И я понял — ну, конечно же, нормального советского человека на пушечный выстрел нельзя подпускать к этим архивам. Одно лицезрение первого состава Политбюро уже преступление. Нет, не подпускать! Подальше, подальше! Нечего ворошить прошлое. Читай и перечитывай Черненко, любуйся его физиономией. О, как я жалею теперь, что, уезжая из Киева, оставил подшивки «Огонька» за тридцатые годы. А до войны у меня хранились и тот же «Огонек», и «Красная нива», и ленинградская «Красная панорама», и «Прожектор», и «Вокруг света», и «Тридцать дней», и «Всемирный следопыт». Вспоминаешь — слюнки текут. Ни за какие деньги сейчас этого не достанешь. А у меня все это аккуратненько хранилось — немцы сожгли!

Всего этого у парижских букинистов, увы, нету. Зато есть другое. И этим другим я уже забил все свои полки. В основном я охочусь — впрочем, зачем охотиться, само в рот лезет — за «Иллюстрасьон» периода Первой, как мы ее когда-то называли, империалистической войны. Тогда, мальчишкой, я переживал все бои под Верденом и на Сомме по журналу «Природа и люди», который был у моего старшего друга. Сейчас, через 60, а не через пять лет, как тогда, я с не меньшим интересом упиваюсь героизмом защитников форта «Дуамон» или «Во» под Верденом. Теперь, к тому же, могу сесть и поехать туда, где все бережно хранится и тысячи, тысячи крестов на могилах... Роюсь и выуживаю у букинистов немецкий, издававшийся во Франции во время оккупации, журнал «Синьяль». Там много о Сталинграде. Впрочем, это сначала очень много. Бомбежки, бомбежки, пылающий город, руины... Потом все меньше и меньше... Первый номер «Синьяля» за январь 1943 года. Последний разворот, посвященный Сталинграду. Наши позиции, снятые с Ю-87, «Штукас» — немецкого пикировщика, ох, и не давали они нам покоя. Я сквозь лупу рассматриваю аэрофотоснимок Мамаева кургана. Мне кажется, что я нахожу даже наши окопы, блиндажи... Над ними летящие на нас бомбы. А рядом смеющаяся физиономия летчика лейтенанта Йекеля, совершившего только что свой 600-й вылет. На шее «Железный крест», в руках бутылка, сейчас отправится в 601-й рейс... Снимочек не очень свежий, месяца полтора как уже не появлялись над нами ни «Юнкерсы», ни «Хенкеля», и лейтенант Йекель уже не улыбается, сидит без дела... Потом номера три журнала «Синьяль» совсем не вспоминают Сталинград. И только в мартовском статья «Честь и слава Сталинграду»: и рисунки, не фотографии, а рисунки последних дней сопротивления — изможденные, замерзшие, но несгибаемые воины со сжатыми челюстями и горящими глазами. «Альказар в степи!», «Фермопилы на Волге», «Герои!» О, как напомнили мне эти сжатые челюсти других героев — на памятнике в Бабьем Яру. Та же несгибаемость, та же уверенность в конечной победе. Бог ты мой, как похожи эти два режима. Впрочем, не во всем. Я не видел, правда, ни одного «Огонька» периода Сталинградской битвы, но не уверен, что на страницах его было столько полуголых девиц, сколько в немецких журналах. Немецкое начальство заботилось о своих солдатах, облегчая им хоть так любовное томление. А у нас — обойдетесь и без фотографий... Ну что ж, и обходились...

Так, от букиниста к букинисту, я собрал почти весь 42-й год и три первые месяца 43-го. И «Иллюстрасьон» номеров двадцать периода той войны...

Но, пожалуй, самое интересное, что я обнаружил на берегу Сены — это журнал «Жар-птица». У меня, к сожалению, только три номера — за 1922, 1923 и 1926 гг. Издавался он сначала в Берлине — в начале 20-х годов там был центр русской эмиграции, а с 1926 г.— в Париже. Издание превосходное. На беловой бумаге с цветными вклейками, ну почти как «Аполлон» или «Золотое руно». Весьма достойные авторы — Бор. Зайцев, Куприн, Бор. Пильняк, В. Ходасевич, В. Сирин (тот самый, что стал потом Набоковым), любимый мной И. С. Соколов-Микитов, живший тогда в Берлине. Художники в журнале один другого лучше — А. Бенуа, Сомов, Григорьев, Ларионова, Билибин. Все добропорядочно и красиво, никаких поисков нового. И Советской власти будто и не существует. Выставка скульптора Аронсона. К юбилею Левитана. Большая статья о творчестве А. Бенуа — Версали, Версали, Версали. В Париже журнал, кажется, недолго просуществовал, очевидно, просто прогорел... Бывает... Даже знаменитый американский «Лайф» и тот не выдержал конкуренции телевидения...

Что же, пройдем через мост Карусель и пройдемся по той стороне. Может, где-нибудь и «Жар-птицу» найдем. А может — чего не

бывает,— и «Красную ниву» с фотографией Бухарина на обложке. Был у меня такой номер, не помню, за какой год,— Бухарин, в кепочке, с прищуром, дает обещание комсомольцам бросить курить. Ох, боюсь, что не найду. С горя пойду в советский книжный магазин «Глоб» и куплю там «Огонек» с Черненко...

Есть у Тютчева такие строчки:

Когда в кругу убийственных забот
Нам все мерзит—и жизнь, как камней груда,
Лежит на нас—вдруг, знает Бог откуда,
Нам на душу отрадное дохнет,
Минувшим иас обвеет и обнимет
И страшный груз минутно приподнимет.

Так вот, когда мне все «мерзит», я отправляюсь к Сене. В Ленинграде — это Нева, в Париже — Сена. Иногда я беру с собой фотоаппарат и что-то там щелкаю — мосты, баржи, тихонькие парочки на скамеечках, силуэт Нотр-Дам или «Вер галант» — Генриха Четвертого на мыске острова Ситэ. А летом, в жару — валяющихся прямо на камнях набережных, ищущих солнца и загара парижан, почти совсем как у Петропавловской крепости в Ленинграде.

И бродя по этим набережным, в обычное время пустынным — у подножия Лувра, между Пон-Рояль или Пон-Неф, или вокруг островка Сен-Луи, по таким неудобным, крупным, но пахнущим осетриной булыжникам, присаживаясь иногда на скамеечку, покуривая, ты вдруг успокаиваешься, и сваливается с тебя та самая тютчевская груда камней...

Но вот однажды я обнаружил вдруг на каменных стенах набережных каких-то непонятных, но очень веселых, таинственных белых человечков. Их было очень много, этих белых человечков. Сделанные тремя-четырьмя мазками, белой краской, величиной в человеческий рост, они плясали. По-разному — размахивая руками, дрыгая ногами, подскакивая, падая. И так чуть ли не от моста Конкорд до Пон-Неф на острове Ситэ. Что это значит? Кто их нарисовал и зачем? И нужно сказать, очень они меня как-то развеселили, хотя, откровенно говоря, я не являюсь поклонником граффити — очень модного сейчас увлечения расписывать стены. В этом смысле все рекорды побил Нью-Йорк, там это просто бедствие. Стены стенами, Бог с ними, в конце концов, но в Нью-Йорке исписаны, разрисованы, размалеваны почти все вагоны метро, и не только стены вагонов, но и окна, так что прочесть, например, названия станций сквозь стекло просто невозможно...

Я жалел, что не взял с собой фотоаппарат, и решил, что завтра обязательно приду и сниму их, этих веселых белых танцоров. Но кто их придумал? И что все это значит? И вот, на следующий день, в газете «Журналь де диманш», наталкиваюсь на фотографию одного из этих человечков и на заметку в рубрике «Тайны Парижа», под названием «Нашествие белых человечков». Оказывается, в Париже их уже больше двух тысяч, и не только в Париже, но и в Тулузе, и даже не больше не меньше, как в Иерусалиме, и в Сен-Жан-Д'Акре, где начинается пустыня Негев. Действительно, нашествие! И автором их является молодой, 23-летний художник Жером Мессаж, который еще года два назад разрисовал этими фигурками некую заброшенную фабрику, а потом даже демонстрировал их в Гран-Пале на выставке молодых художников.

Его философия? Эти белые фигурки — это рождение жизни, светлой, идеальной, свободной, лишенной всякой суеты. Некое возвращение к простому, может быть, даже дикому прошлому. Им, этим пляшущим человечкам, в общем-то, на все наплевать, у них нет забот, им весело. И вот по ночам, с ведром белой краски и кисточкой, бродит Жером по набережным и рисует человечков. Каждый из них отнимает у него не более двух минут. И, как видим, у него появились последователи, даже в далеком Израиле.

Но в заметке этой я прочел и следующее: парижская мэрия, мол, считает, что множество этих загадочных фигур (кстати, на публичных зданиях их нет) могут отвлечь внимание автомобилистов, поэтому... И на следующий день, когда я уже с фотоаппаратом отправился на остров Сен-Луи, я увидел, что все они старательно замазаны. Бросился на набережные Сены — там только начали замазывать, кое-что я успел все же сфотографировать. Кончается заметка тем, что Жером Мессаж решил с белой краски перейти на флюоресцирующую. И что первые цветные братья этих человечков появились уже в старинном квартале Марэ. Надо спешить туда, пока не замазали.

И скажу от себя — мне все это нравится. Есть искусство протеста, борьбы, вопля, негодования — такова знаменитая «Герника» Пикассо или почти все творчество Кете Кольвиц. А в свое время был «Мир искусства», с задумчивыми «Версалями» Александра Бенуа и петербургскими каналами Добужинского или Остроумовой-Лебедевой. А это — искусство жизнерадостного веселья, пусть даже плюющего на все окружающее, но веселья! И второе, это тоже важно — оно само идет к людям, это искусство, оно не томится в душных и тесных залах музеев, оно на свежем воздухе, под открытым небом. И рядом река, мосты, Париж.

Кто был в музее Родена или югославского скульптора Миштровича в Сплите, тот знает, как легко дышится скульптурам, когда они не в стенах, а в саду, среди вольной зелени. И я рад рождению искусства Жерома Мессажа. Я радуюсь его человечкам, они в чем-то облегчают жизнь. А ведь и это — одна из целей искусства.

После парижских набережных — тихих, задумчивых, с влюбленными парочками — ринемся туда, где шумно, многолюдно и не всегда спокойно. Ринемся под землю, в метро.

О нем рассказывают массу ужасов (впрочем, о нью-йоркском еще больше) — убийства, ограбления, торговля наркотиками,— и тем не менее парижане его любят. И я в том числе. В нем своя поэзия.

Я вообще склонен влюбляться в разные движущиеся предметы, как то: паровозы и трамваи в детстве, самолеты и стремительные экспрессы — повзрослев. Конечно же, и в московское метро влюбился, когда впервые его увидел. Придуманное Сталиным, сотворенное под эгидой Кагановича, имя которого оно носило до тех пор, пока этого деятеля не прогнали, оно поражало нас роскошью, мраморами и уральскими самоцветами, а главное, своей четкостью и чистотой.

Увы, парижское чистотой похвастаться не может, особенно в дни, когда бастуют мусорщики, и все же оно одно из лучших в мире. Главное, это то, что оно охватывает весь город и практически в любой пункт можно относительно быстро добраться, тем более, что расстояния между станциями не более 500—600 метров. В день метро провозит до 4 миллионов пассажиров. А в самом Париже жителей 3 миллиона. На этом с цифрами покончим.

Чуть-чуть истории, не слишком увлекаясь ею.

Несколько месяцев тому назад парижскому метро минуло 84 года. (Лондонское постарше, ему 120 лет, нью-йоркскому — 115.) Торжественное открытие первой линии с востока на запад «Вэнсенн — Порт-Майо» длиной в 10 км состоялось 16 июля 1900 года. Приуроче-

но было к Всемирной выставке и стало одной из ее достопримечательностей.

Отцом парижского метро всеми признан инженер Фюльжанс Бьенвеню, руководивший строительством. Портрет его — маленького, седоусого, седобородого, со смеющимися глазами бретонца — можно увидеть на станции, носящей его имя: «Монпарнас—Бьенвеню». Кавалер всех четырех степеней ордена Почетного легиона. И было за что. Говорят, что 75% линий метро сооружено еще до первой мировой войны. И все при его участии. Умер он в 1936 году в возрасте 84 лет. На могиле его на кладбище Пер-Лашез бронзовая пальмовая ветвь от города Парижа.

Еще с одним именем связана история парижского метро. С его внешностью, декоративной стороной. Это молодой архитектор Гектор Гимар, имя которого сначала гремело, а потом, как это часто случается, было забыто. Это его фантазия родила знаменитые входы в метро, которые, увы, не все сохранились, а те немногие, что дожили до сегодняшнего дня, оберегаются теперь как архитектурные памятники. Это изысканный изящный стиль «модерн» начала века — решетка, щит с надписью большими буквами «Метрополитен» и по бокам два фонаря в виде склонивших головки фантастических ландышей. Иногда еще стеклянный изогнутый навес. Думаю, что сохранилось не более 10—15 таких входов в станции, число которых перевалило уже за триста. Черты этого, модного тогда модерна — надписи, виньетки — сохранились еще на старых вагонах, которые я еще успел застать, теперь их уже нет. Последний поезд из таких вагонов — зеленый второго класса, красный первого — был снят с вооружения в прошлом году. Было устроено торжественное прощание с ним, с речами и музыкой. Это очень по-парижски.

Конечно же, сами станции не похожи на то, к чему мы привыкли в Москве или Ленинграде. Роскоши никакой, зато полно реклам. И эти рекламы тоже лицо парижской подземки. Рекламируется все — от туалетной бумаги (голозаденькие детишки на горшках) до полицейских фильмов с наведенными на тебя пистолетами и прочими ужасами. И сделано с умением, со вкусом, почти всегда с юмором. И расклеивают эти громадные плакаты быстро и ловко, всегда что-то насвистывая, те самые ребята с лесенками — о которых я писал уже.

С несколько меньшим удовольствием бросишь взгляд еще на одну обязательную принадлежность метро — на спящих на скамейках, а чаще всего дующих вино прямо, как у нас говорят, «с горла», клошаров — полунищих, полубродяг, которых никто не обижает, не презирает, но которым и не очень завидуют.

Есть среди станций метро и специально архитектурно оформленные, без реклам. Это станция «Лувр», с копиями скульптур знаменитого музея, станция «Варенн», посвященная Родену (рядом его музей), со знаменитым «Мыслителем» и запахнувшимся в халат Бальзаком. Станция «Сен-Жермен-де-Прэ» посвящена старинной церкви того же названия и знаменитым посетителям не менее знаменитых в свое время кафе «Де Маго», «Флер», «Липп» — Апполинеру, Камю, Жан-Полю Сартру — на стенах большие их портреты...

Вот таково парижское метро, в честь которого складываются даже песенки — веселые и грустные. Одна из них заканчивается словами: «Метро — это жизнь, а я люблю жизнь со всеми ее треволнениями и суетой, поэтому и метро люблю!» Присоединяюсь к её словам, хотя в часы «пик» или забастовок не всегда легко и сладко в нашем парижском метро. И все же — люблю!

С ужасом замечаю, что становлюсь однообразен. Более того, без конца повторяюсь. Обычно люди моего возраста сваливают все именно на возраст, склероз и так далее. Но есть однообразие, склонность к повторению, связанные отнюдь не с возрастом. Речь идет о Париже. Да, о нем можно говорить без конца — Сена, Лувр, Нотр-Дам, Булонский лес, кафе и кабачки, Латинский квартал, таинственный ночной мир Пляс-Пигаль и Сен-Дени,— но больше всего хочется говорить о книгах.

Я никогда не был особым книголюбом, не гонялся за раритетами, библиографическими ценностями, просто любил, чтоб у меня на полках стояли любимые книги, и когда хочется перечитать Чехова или «Трех мушкетеров» — протянуть руку и взять. Были у меня кое-какие книги по искусству, архитектуре (Корбюзье даже из Франции прислали), несколько так называемых антисоветских книг, привезенных мною из Америки и Парижа (Набоков, Авторханов, журнал «Мосты», за который мне потом крепко досталось) — вот и все.

Пополнялась моя библиотека редко и не систематически. Покупать-то, в общем, было нечего. Зайдешь в книжный магазин — а в Киеве их раз-два и обчелся — полки заставлены снизу доверху, а покупать не хочется. Иногда по знакомству достанешь что-нибудь в магазине иностранной книги или по списку в лавке Литфонда, и целый день счастлив, хвастаешься друзьям...

Ну, а здесь, в Париже?

Книги мои уже девать некуда. Долго соображаешь, куда бы сунуть эту новую, только что приобретенную. В подвале — слава Богу сухой — скоро тоже некуда будет ставить. Там у меня — ссылка не ссылка, но что-то в этом роде — Федин, Шолохов, Симонов, не выкидывать же — подшивки журналов, кое-что и эмигрантское, наименее интересное... Одним словом, ставить уже некуда, и все же я покупаю, покупаю, без конца.

Отправляюсь в город, даю себе зарок — сегодня никаких книжных магазинов! Есть свободное время, зайди на выставку: в Бобуре — Кандинский, в Гран-Пале — Ватто, с другого входа — примитивист Руссо... Ладно. Иду на выставку, брожу по залам, устаю, мечтаю о доме и— бац! — оказываюсь вдруг во ФНАКе или «Глобе»... Сами ноги принесли.

ФНАК на Рю-де-Ренн — это три этажа книг и пластинок. Ре-де-Шоссе к тому же радио- и фотоаппаратура. Книги на всех европейских языках (кроме русского), всех специальностей и для всех возрастов. Народу больше всего (особенно по субботам) у «банд-дисинэ», книг с картинками, которые у нас называются комиксами. Дети всех возрастов, устроившись прямо на полу, тут же читают их — это никому не возбраняется. Немало и взрослых. Одно время даже я увлекся. Не так, правда, содержанием, как изумительным исполнением — художники на этом деле набили уже руку. Две книжечки похождений знаменитого Лукки-Лука стоят у меня на самом почетном месте, и фигурка его, с неизменной прилипшей к губе сигаретой, красуется на полочке с дорогими моему сердцу мелочами.

Кстати, о неизменной сигарете. Лукки-Лук — лихой ковбой, не расстающийся с пистолетами и этой самой, прилипшей к губе сигаретой, плод кисти бельгийского художника Мориса де Бевера, прославившегося под именем Морис,— покорил весь мир. Скачет, стреляет, побеждает. Неизвестен он был только в Штатах. И вот недавно на своем верном Джолли Джемпере он прискакал в Америку вместе с не отстающей от него самой глупой в мире собакой Ран-Тан-План... Но... Мы всегда считаем, что хуже советской цензуры на свете ничего нет. А вот американская, впуская знаменитого ковбоя к себе в стра-

ну, потребовала, во-первых, убрать сигарету (Америка борется с никотином!) — и, во-вторых, — противники Лукки-Лука, над которыми он обычно издевается и в конце концов побеждает, не могут быть неграми и представителями прочих развивающихся стран — вот так вот, а говорят — расизм...

И въехал отважный Лукки-Лук в свободную Америку без сигареты — изо рта теперь торчит травинка.

Не буду рассказывать, что можно купить и что я за десять лет уже купил в этом самом ФНАКе. Скажу кратко — купить можно все! Я ж покупаю в основном книги по искусству, фотографии, кино и, если куда-нибудь еду, путеводители и карты дорог — о них можно целую книгу написать. Последнее, что я купил во ФНАКе, — две книжечки о Бразилии (собираюсь туда) и прекрасно изданный альбом (автор — Франсуа Перо) — современные французские витражи. Издано «Международным центром витражей» в Шартре, городе, где в соборе самые знаменитые в мире средневековые витражи. И должен признаться, что, даже глядя на фотографии (цветные), я понял, что абстрактное искусство, к которому я отношусь более или менее скептически, в этой области (витражной), мало сказать, уместно — прекрасно! Абстрактные, и если не чисто «абстрэ», но очень современные витражи Амброзелли в церкви Святого семейства в Валь-де-Марне, Сильвен Годен в церкви Нотр-Дам в Дуэ, Марселлы Лекамп в базилике на бульваре Менильмонтан, Жана Ля Шевалье на хорах парижской Нотр-Дам, Жана Ле Моаль в соборе в Сан-Мало — произведения большого, настоящего искусства, нисколько не спорящего, а прекрасно дополняющего архитектуру средних веков. Я не говорю уже об Анри Матиссе, Марке Шагале, Корбюзье — тут уж имена говорят сами за себя... Как в свое время московский пожар 1812 года, так и последняя война во многом способствовала украшению разрушенных и восстановленных теперь французских храмов... Бывает и такое.

Минуя с вами десяток прекрасных книжных магазинов — как «Смит» или «Галиньяни» на Рю-Риволи, «Арт-Курьяль» на Рон-Пуэн и даже «Глоб», филиал московской «Международной книги» на Рю-де-Бюси (здесь я покупаю все советское, о чем москвичи, ленинградцы, киевляне могут только мечтать, от Евтушенко до Цветаевой и Булгакова, от Окуджавы или Высоцкого до Мандельштама и Ахматовой, любые подписные издания, роскошные альбомы по искусству «Авроры», отпечатанные в Хельсинки, Лейпциге, Милане). Так вот, минуя все эти соблазны, мы направимся с вами к Шекспиру.

Хозяин этого двухэтажного, нет, не магазина, а книжной лавки, именно лавки, на набережной Сены, очень милый, знающий все языки мира, вплоть до русского, старик, и если вы ему понравитесь, разрешает чуть ли не жить в его книжной лавке. Во всяком случае, вас в этом милом, уютном, таком домашнем заведении угостят и чаем, и кофе, а если хотите, то и чем-нибудь покрепче. Во всех углах, креслах, на диване или просто на полу сидят люди и читают. Никто никому не мешает. Говорят вполголоса. Иногда что-то жарят или варят на маленькой плите на втором этаже. Все по-домашнему. Книги не ахти какие, но много, а если хотите что-нибудь особенное — закажите. Через неделю-другую, как правило, достанут. Есть у «Шекспира» и несколько полок книг, изданных по-русски. Больше советских и не очень нужных — Серафимовичи, Фадеевы, Николаи Островские... Только одну книгу я там купил — ленинградской театроведки Беньяш «Без грима и в гриме», про советских киноактеров, в том числе и про Смоктуновского, про фильм «Солдаты», о котором теперь не очень-то пишут...

Было время, зашли бы мы с вами и в «Дом русской книги», к Каплану, года три тому назад умершему старому одесситу, к которому в незапамятные времена заходили мы с Паустовским, когда были с ним в Париже. У Каплана я купил те самые злополучные «Мосты» — прекрасный, к сожалению, уже не выходящий альманах, который у меня потом нашли при обыске и долго впоследствии по поводу этого мытарили.

Было б время, зашли б в магазин «ИМКА-Пресс» на Рю-Монтань-Сент-Женевьев — там можно даже полного Брокгауза и Ефрона купить, но все это уже в следующий раз.

Когда впервые приехавшую в Париж Наталию Горбаневскую спросили, что ее больше всего поразило в этом городе, подразумевая, что речь пойдет о витринах, она сказала:

— То, что можно зайти на любую почту и сделать за один франк фотокопию любого документа, любой бумажки. А у нас за это в тюрьму сажают.

Меня же, привыкшего к Парижу, долго еще поражало, как это люди на улице, подойдя к стене, вдруг вынимают оттуда деньги! Есть возле банков такие вмурованные в стену то ли ящики, то ли сейфы с загадочно открывающейся дверцей. Для этого надо всунуть в щель над этой дверцей специальную карточку (называется она «карт-бле» — «голубая карточка»). Дверца открывается, и перед тобой ряд кнопок. Набрав особый, только тебе известный номер, потом цифру нужных франков, и они, новенькие, гладенькие, совсем не мятые тихо вылезают из другой щели. Дело в шляпе! Карточка, сделав свое дело, тоже выползает, ты ее берешь — и пошел по своим делам. Инстинктивно озирнувшись, не попал ли в поле зрения какого-нибудь гангстера...

Теперь остается только эти деньги потратить. На что?

Помню, в какой трепет привели меня парижские витрины, когда я впервые попал на Елисейские поля, лет тридцать тому назад. «Сплошное стекло, — писал я потом в своих очерках "Первое знакомство", — гектары стекла, и за ним, в пустоте закрытых магазинов, медленно вращаются умопомрачительно сверкающие, сверхобтекаемые восьми-, десяти-, двенадцатицилиндровые лимузины, кабриолеты и что-то, чему я не могу даже дать названия, — такие они длинные и ни на что не похожие. А рядом, в витрине поменьше, лениво переливаются на бархате кольца, браслеты, диадемы и, по-моему, даже короны. Я никогда не думал о том, как короли и королевы приобретают короны. Получают по наследству или тоже хочется иметь новые, по последней моде? Постоит вот так, вроде меня, у этой витрины какое-нибудь королевское величество; потом зайдет внутрь: "Мужские, 52-й размер есть?" — "Пожалуйста"».

Много лет спустя, уже эмигрантом, я все еще млел перед женевскими витринами: Женева — город ювелиров.

«Часы, — вспоминал я об этом в очерке "По обе стороны стены", — поверьте мне, если бы вы захотели их купить, имея даже много денег, вы бы стали в тупик... Нет, тупик это не то слово. И "растерялись" тоже не то слово. Перед вами россыпи, водопады, Ниагара, Виктория-Ньянца, сокровища индийской бегумы! Бриллиантовые, платиновые, золотые, серебряные. Круглые, овальные, квадратные, продолговатые, в виде трубочки, звезды, солнца, Юпитера, Сатурна, кометы Галлея, в виде перстня, домика, кареты с четверкой коней, откроешь дверцу, а там часы. И все это умещается в руке... Я стоял перед витриной магазина на Рю-де-Рон в Женеве и, ей-Богу, разинул

рот. В четырех витринах этого магазина было выставлено — я не поленился, подсчитал — 488 пар часов! И это только ручных и дорогих, не меньше 500 швейцарских франков. Предел, дальше некуда».

А теперь поговорим по существу. Шутки шутками, короны коронами, но, ей-Богу, я не вижу ничего зазорного в желании купить что-то. Даже джинсы. Им нет сносу, их не надо гладить, к тому же, как сказал Пьер Карден или кто-то другой из законодателей моды, они всегда будут модны. И мама или папа юного москвича, оказавшись в Париже и питаясь в основном мелким частиком, покупают своему отпрыску джинсы «Ливайс». И тот на седьмом небе от счастья. Почему ж его не доставить?

Кто-то очень метко определил, что жизнь советского человека соткана из маленьких радостей. Постоял часок в очереди, добыл батарейку для фонарика, пуговицы, туалетную бумагу и радуешься. Здесь ты лишен этих маленьких радостей. Помню, как разочарована была Милка, жена сына, когда покупка поднесенных ей ко дню рождения туфель отняла не больше пятнадцати минут: «Чтоб купить такие туфли у нас в Кривом Рогу, мало в Днепропетровск на толчок съездить, иной раз и до Одессы доберешься. Потом идешь, как королева, все заглядываются. А тут? Хоть бы кто глянул на мои туфли. Обидно...»

Обилие — в этом особая трагедия. Обилие и разнообразие. Глаза разбегаются. Даже видавший виды знаменитый Михаил Козаков, когда я завел его в магазин грампластинок, сказал: «Я не знаю, что делать. Мне хочется все!» А другой мой друг, великий любитель строгать, пилить, стучать молоточком, попав в необозримых размеров подвальный этаж универмага ВНУ, чуть не расплакался: «Я очень хочу эту пилку, и эту стамеску, и эту струбцинку, и все эти гвозди, и эти крючочки, и защипку, дверную ручку, и звонок с мелодией из "Доктора Живаго", а какой из клеев я хочу, я просто не знаю. И топорик этот тоже хочу... Помоги, Вика, я умираю!»

А над нижним этажом с крючочками и гвоздями еще пять. И на каждом из них можно провести полдня. Это «Прентам», два корпуса. Рядом — «Лафайет», тоже два корпуса на пять этажей. А напротив «Маркс и Спенсер» — это уже поскромнее, всего два этажа.

На тротуарах, перед магазинами, тоже не протиснешься. Звонкоголосые торговцы соблазняют тебя всем самым дешевым и удобным. Изящнейшая модельерша тут же примеряет халатик, а рядом веселый дядька бодро моет каким-то составом нечто вроде витрины. И хочется купить этот халатик и, не задумываясь, бежать домой мыть окна...

Все само лезет тебе в рот. А проглотить не можешь.

Помню, как стоял я, изумленный, перед мясной лавкой в Фонтенбло. На тротуаре лежал олень. Самый настоящий, с ветвистыми рогами, из соседних королевских лесов. И кто его купит, недоумевал я. И зачем? Где его зажаришь, такого большого, красивого? На следующий день на его месте лежал кабан, ни дать ни взять убитый Генрихом Четвертым... И все это, дорогие мои друзья, называется миром потребления.

Просматриваю свои старые, двадцатилетней давности записи о Париже (был у меня такой очерк «Месяц во Франции», опубликованный в 1965 году в «Новом мире»), в которых рассказывается о моих парижских впечатлениях — вместе с Паустовским и Вознесенск м мы были во Франции в декабре 1962 года.

Я узнал из этих записей кое-что о планах «будущего» Парижа. А сейчас это «будущее» стало прошлым. Не было тогда ни знаменитого района Дефанс, ни Фронт-де-Сан, ни Монпарнасской башни. А сейчас все это есть, выросло и стало Парижем...

Дефанс — это запад Парижа, даже за чертой самого города — маленький Нью-Йорк. За продолжением Шанз-Элизе (Елисейских полей) и авеню Великой Армии, за мостом Нейи, выстроен целый район небоскребов и башен. Район главным образом деловой — в башнях сотни фирм, компаний и прочих деловых организаций. Вокруг основного нагромождения башен — жилые районы: Курбвуа, Пюто, Нантер. Внешне все очень эффектно и современно, к тому же и связь с Парижем очень удобная: так называемая PEP — скоростное метро — за три минуты уже у Триумфальной арки... И тем не менее (скажу по секрету) жить в районе этого самого Дефанса не очень хочется — мои друзья там живут и очень тоскуют по Парижу, хотя каждый день в нем и бывают.

Фронт-де-Сан — это другое небольшое скопище небоскребов на левом берегу Сены возле знаменитого моста Мирабо и длинной, вдоль по течению реки стрелки с венчающей ее статуей Свободы — маленькой, 15-метровой копии нью-йоркской. Когда-то на этом месте были мрачные парижские трущобы, сейчас — отели и опять же башни, нашпигованные фирмами.

О знаменитой Монпарнасской башне я писал тогда как о нашем нескором будущем. А сейчас я часто сижу у ее подножия в кафе «Тур» (что и значит «башня») и листаю газеты, попивая кофе.

Эту пятидесятидевятиэтажную башню на углу бульвара Монпарнас и Рю-дю-Рена парижане сначала приняли в штыки — мол, нарушает веками сложенный ансамбль старого Парижа,— а теперь ничего, проглотили, привыкли.

Привыкли так же, как и к не менее знаменитому Бобуру, центру Помпиду. Это громадное, разноцветное, сотканное из каких-то труб сооружение, напоминающее грандиозный самогонный аппарат, расположилось в самом центре древнего Парижа — недалеко от Отель-де-Вилля и башни Сен-Жак...

Сначала все ахнули от ужаса, а сейчас Бобур один из самых посещаемых в мире музеев современного искусства, а площадь перед ним — самое популярное у молодежи место встреч и гулянок...

Короче — Париж все проглатывает и переваривает, и желудок его никогда не портится. В этом прелесть этого города.

Ультрамодерным стал и район бывшего «Чрева Парижа» — Лэ Аль. Долгое время на месте снесенных рыночных павильонов зияла мрачная дыра — между старой биржей и церковью Сен-Эсташ. Сейчас половина дыры — «тру» по-французски — уже застроена в основном магазинами, уходящими под землю на три этажа,— вторая же половина превращается в некое подобие сада — очертания его только намечаются...

Но, пожалуй, наиболее современный, даже вроде как в абрисах двадцать первого века — это район Ла Вилетт. В прошлом — бойни и рынок крупного скота, сейчас эта часть северного Парижа превращается в некую выставочную территорию. Строится громадный, а-ля Бобур, корпус науки и индустрии. Построен уже концертный зал и главная достопримечательность — Геод — громадный, сверкающий шар, внутри которого какой-то особый, 180-градусный кинотеатр. Я в не · еще не был, но говорят, что очень впечатляюще...

И — наконец — мечта всех мечтаний — это возможный Диснейленд в самом пригороде Парижа — Марн-ла-Валле. Там совершенно новый город-спутник, знаменитый в основном домами испанского архитектора Бофиля. И сейчас в самом разгаре торговля города Парижа и района Иль-де-Франс с мощнейшей фирмой Диснейленда

и Диснейуорлда. Его развлекательные центры есть уже в трех местах земного шара — в Калифорнии, Флориде и Токио. Сейчас подыскивается место в Европе. Конкурируют между собой Париж, Барселона и Аликанте. Кто победит, пока еще не ясно. Ясно только, что Париж и Иль-де-Франс уже ассигновали деньги. Государство тоже помогает.

Что ж, будем ждать. Если выиграет Париж, то, кроме туристов, будет аттракционом обслужено тридцать миллионов посетителей из окрестных районов. Ну, а дальше? Дальше — радость и веселье. Я был в лос-анджелесском Диснейленде. Окунаешься в детство и все забываешь. Как это сейчас необходимо в наш суетливый, неспокойный век.

Авось Париж выиграет. Давайте пока хоть помечтаем...

УРА! УРА, КРИКНУЛ Я, ПОДОБНО БОЛЬШИНСТВУ ПАРИЖАН. УРА! МЫ ПОБЕДИЛИ! ПОБЕДИЛИ БАРСЕЛОНУ! ДИСНЕЙЛЕНД, ЕВРОДИСНЕЙЛЕНД БУДЕТ СТРОИТЬСЯ В ПАРИЖЕ. К ВЕСНЕ ИЛИ ЛЕТУ 1991 ГОДА ВСЕ ПРИГЛАШАЮТСЯ НА ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ЭТОЙ ГЕНИАЛЬНЕЙШЕЙ ВЫДУМКИ УОЛТА ДИСНЕЯ.

Уолт Дисней — гений! Я в этом не сомневаюсь. Не помню, он ли самолично изобрел мультипликации, но он родил Бэмби, родил Белоснежку и Семь Гномов и этим заслужил уже памятник. Бэмби я видел миллион лет назад, с тех пор он мне как-то не попадался, но в памяти трогательный этот олененок занял свое место рядом с Мюнхгаузеном и Дон-Кихотом Доре, с Алисой в Стране чудес, с Дюймовочкой Андерсена. Недавно я смотрел диснеевского «Робин Гуда в лесах» и должен признаться, что после всех сверхкассовых «Рокки» и «Рембо» я получил просто-напросто удовольствие, которого давно не испытывал. Изящество, вкус, фантазия, блистательный рисунок, бездна юмора,— и все это в сочетании с музыкальнейшей динамикой, от которой мы за последнее время совсем отвыкли.

Но это все же только экран, а Диснейленд — мир... Это подарок человечеству, замученному заботами, страхами, мыслями о невыплаченных налогах. И подарок этот преподнес человечеству Уолтер Дисней...

В Париже откроется уже четвертое из существующих на земле диснеевских чудес. Первому Диснейленду — под Лос-Анджелесом — минуло уже тридцать лет. Второй — Диснейуорлд, во Флориде, открылся в 1971 году, третий, в Японии, возле Токио, в 1983 году. И вот четвертый, через пять лет, недалеко от Парижа, возле нового города Марн-ла-Валле.

Газеты полны цифр, но, прежде чем добраться до них, несколько слов о первом, лос-анджелесском Диснейленде.

— Как, вы не были в Диснейленде? — хором ахнули мои друзья, узнав, что я действительно в нем не был.— Это преступление! Вы никогда себе не простите...

— Но у меня билет на самолет на завтра...

— Чепуха! Обменяем.

— Да, но... Меня ждут...

— Ну и пусть ждут. Мы вас не отпустим.

— А если...

— Никаких если... Яша, заводи машину.

И мы поехали в Диснейленд. И действительно я никогда не простил бы себе, а заодно и Яше и его жене, если бы не совершил это путешествие...

Путешествие в детство! А так как не было на свете еще человека, у которого не было бы в детстве чего-то хорошего, то значит, что это путешествие в хорошее. Ручаюсь, попади в это царство любой затруханный советский министр, козелецкий секретарь райкома или завмаг из Золотоноши или Пупырей, на лицах их появится и целый день не будет сходить глупая, но счастливая улыбка, пусть они даже не подозревают о существовании Марка Твена, пароход которого хлопает своими плицами по почти всамделишной Миссисипи.

Между прочим, улыбка — это одно из обязательнейших условий, которое должен круглосуточно выполнять каждый служащий Страны сказок... Если даже какой-нибудь оболтус в десятый раз спросит вас, как пройти в уборную, вы каждый раз, варьируя улыбки, обязаны, не раздражаясь, указать ему, как кратчайшим способом туда пройти.

Не улыбаются в этом мире только крокодилы, удавы, стреляющие в вас из лука индейцы, болтающиеся на ветках шимпанзе и орангутанги да замогильным голосом пугающие вас духи и привидения таинственных, покинутых замков. Только им разрешается вас пугать, заставлять сильнее биться сердце, а то и загонять его в пятки. Все остальное должно только радовать и веселить. И я битых 12 часов радовался и веселился, как ребенок.

Несколько цифр. На востоке Парижа освоено будет около 2000 га пустынной сейчас территории. Кроме всякого рода аттракционов и городов прошлого и будущего, построено будет около десятка отелей на 5000 мест, 30 тыс. кв. метров различных магазинов и 300 тыс. кв. метров бюро и учреждений. Работой обеспечено будет не менее 25 тысяч человек, а обслужено — до 60 тысяч посетителей ежедневно. Строительство должно обойтись в 15 миллиардов франков.

Переговоры велись два года, предлагали свои услуги около ста городов Европы. К финишу вышли Париж и Барселона, но ленточку порвал Париж. Почему? Причин много — и популярность города, и обилие летом в нем туристов, наличие в городе двух международных аэропортов — Орли и Руасси,— и в не меньшей степени так называемое РЕР, скоростное метро, которое уже сейчас доходит до Марн-ла-Валле и требует продления до территории парка не больше чем на десять километров. Для задыхающихся от обилия автомобилей современных городов это неоспоримый плюс.

Есть, конечно, у этой затеи и враги. Разного рода владельцы территорий, конечно же, экологисты и, что там ни говори, шовинистически настроенные французы, считающие, что Диснейленд — чисто американская затея. И все же друзей оказалось больше, договор подписан, и в январе примутся за детали — что, где, как и когда.

Первый день открытия первого в мире Диснейленда Уолт Дисней вспоминал как «черное воскресенье». Свежий асфальт на Мэйн-стрит расплавился, и женщины на своих «шпильках» практически не могли передвигаться. На территории «Земли фантазий» обнаружилась утечка газа, и аттракцион пришлось срочно закрыть. Знаменитый пароход Марка Твена, набитый сверх меры безбилетниками, стал тонуть. Во всех парках не оказалось питьевых фонтанчиков, и вскоре Диснею было предъявлено обвинение в том, что подобным образом он поддерживал продажу прохладительных напитков. Но постепенно все наладилось, и за последние 30 лет через ворота его парка прошло 250 миллионов посетителей. Среди них три года тому назад был и я.

Ни минуты не сомневаюсь, что в день своего 80-летия я окажусь одним из первых посетителей дворца то ли Спящей Красавицы, то ли Синей Королы в только что открытом Евродиснейленде. Осталось только — дожить до понедельника.

Минуло двадцать лет с того дня, когда выдающийся архитектор современности Ле Корбюзье (к тому же прекрасный пловец, добавлю) утонул в волнах Средиземного моря.

Судьба его, как и большинства великих людей, сложилась если и не плохо,— имя его гремело и при жизни по всему миру,— но все же не так, как он этого заслуживал. Масштабы задуманного им были куда грандиознее всего осуществленного. Начав с маленьких вилл, вошедших, правда, в историю архитектуры, к концу жизни он одержим был идеей создать совершенно новый, «лучезарный», как он его назвал, город. Увы, все его проекты реконструкций — Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и Буэнос-Айреса (1930), Женевы, Стокгольма и Антверпена (1932), Парижа (1925, 1936), Алжира (1942), Сен-Дизье (1945), Сен-Годана и Ля Рошели (1945—46), Боготы (Колумбия) и Измира (Турция) (1951), Марселя (1951) — так и остались на бумаге. Только Чандигарху, столице Пенджаба в Индии, повезло — Ле Корбюзье удалось осуществить там свой проект правительственного центра...

Москва тоже может гордиться одним из осуществленных проектов Ле Корбюзье — зданием Центросоюза на улице Кирова, в котором сейчас находится Центральное статистическое управление. Возможно, получи он первую премию на Международном конкурсе, еще одно здание по его проекту украшало бы нашу белокаменную. Речь идет о Дворце Советов, который так и не был построен,— ученые умы поняли, что никакой грунт, никакой фундамент не выдержит задуманную архитектором четырехсотметровую вавилонскую громаду. И появился в центре Москвы плавательный бассейн вместо остроумнейшего, продуманного во всех деталях, легкого и изящного здания Дворца, предложенного Ле Корбюзье. Но, что поделаешь, Сталину втемяшилось в голову, что архитектура должна быть роскошной и богатой, и с легкой тяжелой его руки страна обогатилась (правда, только в архитектуре) тысячами колонн, портиков и башен.

И все же, несмотря на то, что половина и, по мнению самого Корбюзье, наиболее значительных и принципиальных его проектов не была осуществлена, имя его прочно заняло свое место в истории мировой архитектуры.

Мы, студенты-архитекторы 30-х годов, само собой разумеется, влюблены в него были по уши. Он был нашим учителем, кумиром, божеством. Результаты конкурса на Дворец Советов буквально нокаутировали нас и повергли в глубокий траур. И влюбленные ученики послали своему Мэтру соболезнующее письмо, в котором клялись ему в верности до гробовой доски (лет пять спустя мы угодили бы за это в лагерь, но тогда как-то пронесло...). Мэтр ответил. Мы, потрясенные, тут же поставили ему ряд вопросов. И он опять ответил! Это была бомба! Весь институт только об этом и говорил, на нас указывали пальцами.

Тридцать лет спустя, удостоившись встречи с ним, я напомнил ему об этой переписке, но события тридцатилетней давности его уже не интересовали, он целиком посвятил себя проблемам урбанизма и ни о чем другом говорить не мог. Переписку нашу он забыл.

С возрастом (сейчас мне столько же лет, сколько было ему в день нашего с Вознесенским посещения его мастерской на Рю-де-Севр) мое преклонение перед ним несколько померкло, но когда я прочитал в газете о выставке в Центре Помпиду, посвященной одному из ранних его творений, вилле Савой в Пуасси, я тут же на нее ринулся. Выяснилось к тому же, что сама вилла, очень пострадавшая в период оккупации, сейчас реставрирована и по субботам и воскресеньям она открыта для осмотра. Я ринулся и туда.

Возможно, всякое пустое здание смотрится не так, как обжитое,— а в вилле Савой нет ни мебели, ничего, одни стены и пространства,— но поразила меня не так архитектура — я с юношеских лет знал ее по сотням фотографий, глядя на которые мы, студенты, пускали только слюнки,— какая простота, какой лаконизм, ничего лишнего, все продумано до каждой ступеньки! — поразило меня обилие посетителей. Почти как в Мон-Сен-Мишель, знаменитом монастыре в Нормандии, облюбованном всеми туристами мира... И это радовало. Не забыли, значит, старика, помнят о нем еще французы, не пожалели потратить на него свой уик-энд...

А я бродил по этим лишенным мебели и человеческого уюта комнатам, нет, не комнатам, а переливающимся одно в другое пространствам, соединенным винтовыми лестницами и пандусами, смотрел сквозь горизонтальные, ленточные, придуманные им же, Ле Корбюзье, окна на окружающий пейзаж, на длинное, скучное здание нового лицея, из-за которого чуть не снесли саму виллу — общественность запротестовала и, слава Богу, спасла,— смотрел и думал. Думал об авторе, творце этого, вернувшегося к какой-то странной, музейной не музейной, но ничем не заполненной жизни маленького шедевра. Хотелось ли бы мне в нем жить? Мне, любителю развешанных по всем стенам фотографий, картинок и рисунков? Не запротестовали ли бы против непрошеного вторжения стены, любящие пустоту, в крайнем случае допускающие только самого Ле Корбюзье или Озанфана? Не воспротивились ли бы они петербургским пейзажам Остроумовой-Лебедевой, итальянским акварелям моего прапрадедушки или пестрым, левацким рисункам старшего моего брата Коли (его, возможно, и приняли б...). Нет, не хотелось бы мне здесь жить...

И еще об одном думал я — как извилист и непредсказуем путь творца. Ведь это именно он, великий Ле Корбюзье, певец логики и рационализма в архитектуре, памятником которому была вилла, по которой я бродил, ведь это именно он, а не кто-нибудь другой через 20 лет создал свой истинный шедевр — на холме зеленых предгорий Вогезов — капеллу Роншан. И именно он, в свое время ответивший нам в своем письме на один из поставленных вопросов: «Меня не интересуют никакие церкви, меня интересуют города!»,— именно он сумел сделать и подарить человечеству произведение, капеллу, где нет никакого рацио, а только эмоцио, где дух победил все материальное. Сочетание острых, как лезвие ножа, углов, наклонных плоскостей и шершавых, мягко-извилистых стен с лучами солнца, проникающими внутрь сквозь цветные стекла маленьких квадратных окон-амбразур в стенах, и тишина, и мигающие, потрескивающие у алтаря свечи, и зеленое раздолье холмов вокруг — все это не город, не XX век с его жестокостью и рационализмом. Под сенью этой часовни хочется молчать, молиться, даже мне, безбожнику, хочется погрузиться в самого себя и думать только о вечном, непреходящем...

А выйдя из виллы Савой, мы сразу стали соображать, где б выпить кофейку и удастся ли сразу припарковаться. И кто-то из нас сказал: «Какая хорошая, неутомительная вилла — за десять минут, и все ясно...»

А после капеллы Роншан мы долго шли молча, только один из нас, самый умный, сказал: «Следующий раз приеду сюда один, совсем один, ну вас всех в баню...»

Сотни, тысячи туристов. И парижан тоже. Стоят вдоль набережных, очень много на Пон-дез-Ар — Мосту искусства, на проплывающих «бато-муш», экскурсионных пароходах. И все фотографируют. Что? Пон-Неф, Новый мост, тот самый, который называется Новым, хотя он самый старый в Париже. И все щелкают фотоаппаратами. Сколько потрачено пленки за эти последние две недели сентября, такого ясного и солнечного в этом году? Думаю, несколько раз земной шар можно перевязать, завернуть этой отснятой пленкой...

О, идея! Подсказать ее Христо...

Кому? Христо! Какому Христо? Как, вы не знаете, кто такой Христо? Самый популярный сейчас в Париже человек. Скульптор, фантаст, энтузиаст! Неужели вы ничего не слышали о нем?

Да, популярнее Христо в эти дни не было никого в Париже. У всех букинистов вдоль Сены, во всех газетных киосках и магазинах с сувенирами продавались открытки, плакаты, постеры с изображением его произведений. Их бойко раскупают. А заодно и фотопленку. И щелкают, щелкают своими фотоаппаратами, направленными в сторону Пон-Неф. И в метро, на улицах вас останавливают и спрашивают, как проехать, пройти к мосту.

Чем же этот мост, вернее, два моста, пересекающие западную оконечность острова Ситэ, привлекли всеобщее внимание? А тем, что он завернут!

Как завернут? Чем? И зачем?

А вот так — завернут, упакован, и все. Специальной тканью. И обвязан канатами. Вместе с фонарями и тротуарами. На вопрос «зачем» молодые люди в голубых комбинезонах вручат вам листовку, там все написано. Если хотите, они могут с вами сфотографироваться на фоне этого самого завернутого моста. И вы фотографируетесь — чем вы хуже других, вы тоже уже отравлены.

Кто же такой Христо?

Он болгарин. Ему 50 лет. Родился в Габрово. Христо его имя, фамилия Явичев, но ее никто не знает — Христо и Христо, тот самый, что все заворачивает. И тем прославился...

Он окончил Академию изящных искусств в Софии в 1956 году. Делал портреты Ленина и Сталина. На время каникул студентов мобилизовали на некую стройку коммунизма — создавать иллюзию счастливой страны, потемкинские деревни вдоль трассы знаменитого «ориент-экспресса». По окончании учебы Христо уехал в Чехословакию, а оттуда бежал на Запад — в Вену, Женеву, затем в Париж. Там и зародилась идея «заворачивания». Сначала это были бутылки, стулья, тачка, мотоцикл, автомобиль. Затем живая женщина. И, наконец, исторические памятники-здания, скульптуры, монументы. Его объектом были, когда он уже прославился, Музей современного искусства в Чикаго, Кунстхалле в Берне, стена Марка Аврелия в Риме, памятники Виктору Эммануилу и Леонардо да Винчи в Милане. Сейчас вот в Париже, Пон-Неф. На очереди берлинский Рейхстаг... А был и... просто воздух. Называлось это «Упаковка 5.600 куб. метров воздуха» — полая, рвущаяся в небо колбаса, высотой 85 метров и диаметром 10. На это произведение искусства ушло 2000 квадратных метров ткани и уйма канатов. Событие это произошло в Германии, в городе Касселе, в 1968 году.

Но не только заворачиванием, упаковкой, по-французски «амбаляж», прославился Христо. Я впервые узнал о нем, натолкнувшись в каком-то журнале по искусству на его проект под названием «Бегущая ограда».

Это металлические столбы, на них натянута проволока, к проволоке прикреплена нейлоновая белая материя. Высотой сооружение 55 метров и тянется, извиваясь, через поля, луга, населенные пункты, пересекая шоссе и дороги (там разрыв) на 40 километров. Все это в Америке, в штате Калифорния.

В Австралии Христо обложил тряпками кусок берега, в Париже, на заре своей деятельности, в 1964 году, загородил узенькую улицу Висконти в Латинском квартале стеной из раскрашенных в разные цвета керосиновых бидонов и назвал это «Железным занавесом».

Но, пожалуй, наиболее сенсационным из его произведений было «окружение» одиннадцати маленьких, безлюдных островков в Мексиканском заливе возле Майами, во Флориде. Каждый из островков был окружен плавающей материей из полипропилена розового цвета шириной в 60 метров. Любоваться можно этим с пароходов и вертолетов за весьма умеренную плату.

В перспективе — неосуществленная мечта — так называемая Мастаба в Абу-Даби (Саудовская Аравия). Это нечто вроде усеченной пирамиды высотой в сто с лишним метров, сложенной из бочек из-под нефти. По мысли автора, это должно *возвеличивать* нефтяное величие аравийского эмирата и затмить собой египетские пирамиды.

Вот пока и все. По-моему, достаточно...

Что ж я могу по поводу всего этого сказать? — спросят меня. Откровенно говоря — ничего. В вопросах искусства я консерватор, и такой вид искусства, мягко выражаясь, мне чужд.

Моя большая приятельница, художница, специально приехала из Англии в Париж посмотреть на наш Пон-Неф, спросила:

— По-твоему, некрасиво?

Я пожал плечами:

— Занятно, что и говорить. Особенно то, что всех это интересует... И тебя в том числе... По мне же, этот старик куда красивее без тряпок.

Приятельница весело расхохоталась и сказала:

— Давай все же снимемся на фоне его, строгий, седой любитель прошлого.

И мы снялись.

Но на вопрос, на какие деньги делается и зарабатывает ли на всем этом и сколько прославленный Христо, ответить я не смог. В книгах о творчестве Христо — а их уже очень много — пишется, что реализуется все это за счет фотографий, которые продаются на каждом шагу. И мы — что там ни говори, чтобы помочь художнику,— купили каждый не меньше, чем по десятку открыток. Как-никак искусству надо двигаться вперед... А я как-нибудь уж потопчусь на месте — нет, не новатор я.

1985, Париж

Некрасов... Светскость, как определяющее, как положительное начало. Все мы монахи в душе, а Некрасов — светский человек. Мы — закрытые, мы — застывшие, в своих помыслах и комплексах. Некрасов — открыт.

Всем дядюшкам и тетушкам, всем клошарам, всем прогулкам по Парижу... Светский человек среди клерикалов. Ему недоставало трубки и трости.

И посреди феодальной социалистической литературы — первая светская повесть

— «В окопах Сталинграда».

Странно, что среди наших писателей, от рождения проклятых, удрученных этой выворотной, отвратной церковностью, прохаживался между тем светский человек. Солдат, мушкетер, гуляка, Некрасов.

Божья милость, пушкинское дыхание слышались в этом вольном зеваке и веселом богохульнике.

Член Союза писателей, недавний член КПСС, исключенный, вычеркнутый из Большой энциклопедии, он носил с собой и в себе этот

*вдох свободы. Человеческое в нем удивительно соединялось с писательским, и он был человеком пар экселянс!
А это так редко встречается в большом писателе в наши дни.
Дядюшка в Лозанне... Как это подошло
— в Лозанне...
Преждевременный некролог? Я понимаю.
Нехорошо, что преждевременный. Но и как воздать?! Если не преждевременно? Если все мы уходим и уходим, и никто не стоит за нами с подъятыми факелами в руках!
Потому и тороплюсь. Надеюсь. Не умрет...
А его Хемингуэй? Наш российский, наш советский, наш дурацкий Хемингуэй!
Как он был нам важен, необходим
— этот дядя Хэм.
Почти как «Дядя Ваня», как «Хижина дяди Тома».
В нашу сызмальства религиозную жизнь Хэм,
дядя Хэм, вносил почти запретную, подпольную
тему человека.
Ничего особенного: человек? Человек.
Человек? — Человеку. Но это уже было так значительно, так осмысленно посреди толпы, принявшей либо звериный образ, либо — еще страшнее — ореол напускной святости.
Спасибо тебе, дядя Хэм...
Некрасов выше, Некрасов чище, чем кто-либо из всех нас, любил Хемингуэя. Да ведь и то сказать — он был старше нас, и старше и живее. Как я сказал — был больше всего человеком среди писателей, а человек — не с большой, а с маленькой буквы — это много дороже стоит.
Почему я все это сейчас пишу?
Когда Некрасов еще не умер?
Чтобы, если он выживет, подарить ему эти странички как очередную медаль — за отвагу.
А потом, скажите, что мне делать сейчас,
если о нем не писать?
Чем помочь ему, кроме такого вот
прижизненного некролога?
Толпиться в больнице? Звонить по врачам? Да всех врачей уже обзвонили, и они затыкают уши и не хотят больше слушать этих настырных, неизвестно о чем думающих русских.
«В окопах Сталинграда»... Нужно же было родиться и кончить свои дни в Париже, чтобы где-то посредине написать — в око-пах Сталин-града... Да! Нужно. Нужно же было уехать из Киева, из России, чтобы, приехав в Париж, тебя разрезали пополам и выкачивали бы гной
из брюшины, из почек и из легких?
Не лучше ли было бы там, не проще ли было бы в Киеве и окончить дни, отмеченные «Литературной газетой»?
Куда лезешь? Зачем летишь?
Глоток воздуха. Последний глоток свободы...*

А. Синявский
1 июня 1975

---

1 июня 1975 года умирал русский писатель Виктор Некрасов. 27 мая его положили в госпиталь, очень хороший парижский госпиталь, и больше трех часов оперировали, пытаясь спасти от перитонита. Хирург сказал, что любой француз умер бы за пять дней до такой операции и что, хотя операция прошла хорошо,— положение безнадежно.

1 июня врачи объявили, что положение резко ухудшилось, что надежды нет и что пора сказать правду жене. И что пора прощаться.

Был поздний вечер. Зареванные, мы сновали по коридорам госпиталя, перешептываясь, обмениваясь длинными, горестными взглядами, кругами ходили вокруг бедной жены, которая еще ничего не понимала, а мы уже знали, что к утру ей быть вдовой. Иногда заглядывали в палату. Там, на очень высокой кровати, как на катафалке, лежал полуголый, почерневший Некрасов, обмотанный сетью каких-то трубочек и проводочков. Некрасов был без сознания...

И вот тогда Андрей Синявский (а они очень дружили в тот первый для Некрасова год эмиграции) сказал, что есть одно средство, крайнее средство и что он попробует...

И Синявский написал Некрасову некролог. При жизни.

Это была попытка хоть чем-то помочь, мысленно, словесно, заговорить Смерть в те роковые часы. Эти беглые строки не очерки и не статья, не письмо и не дневник. Скорее это — полуплач, полузаклинание. Что-то вроде колдовства. И вместе с тем попытка сказать самому Некрасову, что такое Некрасов, потому что всякому писателю очень важно знать, что же он написал в жизни свое, незаменимое, за что мы все и чтим, и любим, и помним его, как слово нашей эпохи. Не перечисление заслуг, а уяснение лица, стиля жизни и речи.

А к утру Некрасов очнулся: вопреки всем медицинским прогнозам и правилам очень медленно он стал поправляться. Что его тогда спасло? Могучий ли организм, или антибиотики, или напряженная, сосредоточенная любовь друзей, которая тоже иногда не дает отлететь человеческой душе в иные дали,— не знаю... Но Некрасов выбрался из той могилы и прожил еще двенадцать лет.

Это были очень тяжелые для него годы — годы эмиграции, и скрашивались они, в основном, бесчисленными путешествиями (как он любил ездить!), встречами с друзьями из той, из прошлой жизни («А ты знаешь, кто приехал?»), а последний год — новой оттепелью дома. Как он надеялся на нее, как следил и как радовался каждому новому слову оттуда! Даже послал в один из московских журналов статью о Корбюзье...

А тогда, в том далеком 75 году, 17 июня, в день рождения, когда Некрасову исполнилось 64 года, ему был преподнесен «прижизненный некролог», как очередная медаль «За отвагу». Некрасов прочел и сказал: «Как жаль, что такие про меня слова нельзя напечатать сегодня. Сделайте это после моей смерти...»

Он умер 3 сентября 1987 года.

М. Розанова

Несколько встреч и вся жизнь

Летом 1989 года (почти четверть века спустя после написания) вышла наконец отдельным изданием моя давнишняя повесть «Мертвым не больно». Именно этой горемычной повестью я обязан знаком-

ству с Виктором Некрасоым. Вскоре после ее журнальной публикации в «Новом мире» он прислал мне в Гродно дружеские слова поддержки и несколько советов, среди которых было: «не обращать внимания, не читать, держать хвост пистолетом, потому что правда на нашей стороне, а это в литературе главное». Советы его были весьма кстати и как бы приглушили на время грохот критических залпов против повести, гремевших в московской и местной печати. К тому времени я, конечно, знал имя Виктора Некрасова, благоговел перед его «Окопами», перед замечательными военными рассказами. Разумеется, его слова были для меня лестны, и они укрепляли веру в правоту правды, которую тогда исповедовали не только писатели-фронтовики.

В последующие годы было несколько случайных встреч, короткие письма и открытки из Киева и Ялты — все больше с советами и подбадриванием, так как мои злоключения с «Мертвыми» не кончились, вернее — начались с другими повестями. О себе он почти ничего не писал, но слухи о его житье в любимом им Киеве ходили по Москве, проникали в Минск, и я знал, что живется ему весьма несладко. А потом стало и вовсе скверно. После того как он, преследуемый и гонимый, уехал на Запад, всякое печатное упоминание о нем стало у нас невозможным. Когда весной 1975 года на союзном совещании по военной литературе я назвал его бессмертные «Окопы», в Белоруссии поднялся литературно-чиновничий переполох, от меня потребовали объяснений... Но с тех пор много воды утекло, и кое-что в нашей жизни все-таки изменилось, вышла наконец моя книга, сведшая нас в согласном писательском братстве. Но увы!... Его нет, и мне уже не послать ее в Киев, на благословенный Крещатик, где некогда жил Некрасов.

Наверное, ангел справедливости всегда опаздывает.

Снова и в который раз мы оказываемся перед тем малорадостным фактом, когда истинное признание пророка происходит за пределами его земной жизни, когда по отношению к нему приходится употреблять глагол «был» вместо «есть». Хотя, что касается Виктора Некрасова, это утверждение справедливо лишь отчасти: все-таки, не в пример многим, он изведал при жизни и читательскую признательность, и писательскую славу, и даже эфемерное, изменчивое и кратковременное одобрение властей. Но все же, все же... Как было бы хорошо, если бы не было того, что, к сожалению, было, если бы наша литература развивалась так, как ей полагалось бы развиваться в условиях цивилизованного, истинно демократического общества, на основе единственно возможной для нее ценности — масштаба личности и таланта. Талант, как это у нас повелось с некоторых пор, не гарант признания, чаще — причина и повод для поношения, побивания камнями. Гарантом признания совсем еще недавно были иные, ничего общего с литературой не имеющие качества. Может показаться, что говорить обо всем этом спустя годы и годы не совсем подобает, но и не говорить, умолчать о самом, может быть, главном в трудной судьбе художника тоже невозможно. Это как раз тот случай, когда умолчание — синоним оскорбления его памяти, если не хуже.

Для меня, как для читателя, проза Виктора Некрасова — прежде всего честный, незамутненный человеческий взгляд на войну, на проклятую и великую нашу войну с немецким фашизмом. Не знаю, каким способом удалось ему в обстановке, так мало подходящей для человечности, воспитать в себе и сохранить этот взгляд и эту человечность. Как он его реализовывал и отстаивал в литературе, мы знаем, мы этому были свидетели и видели, что далось ему это ценой невероятного упорства и противостояния столь же невероятному по силе давлению среды — бытовой, литературной, партийной и государственной. Далее, для меня чрезвычайно важно, что Виктор Некрасов (может быть, первым в нашей литературе) явил миру правоту и высокую сущность индивидуальности на войне, значение личности — если не в противовес, то хотя бы наряду с правотой и сущностью класса, коллектива, общества. Хотя бы — наличие индивидуальности в среде, менее всего для нее уместной, той уродливой, противоестественной среде, какой являются война и армия, с их абсолютом подчинения одного всем, с жестким нивелированием всякой разности.

Виктор Некрасов увидел на войне интеллигента и, в отличие от расхожего в нашей литературе взгляда на него как на хлюпика, жизненную никчемность, человека не от мира сего, утвердил его правоту и его значение как носителя духовной ценности в условиях, так мало способствующих какой-либо духовности. Впрочем, это правомерно и понятно: сам, будучи в высшей степени явлением духовности, он и выразил то, что должен был выразить в литературе. Наверно, это было не просто: в стране, где уничтожено крестьянство, деклассирован рабочий класс, интеллигенция оказалась единственно возможным фактором духовного прогресса, и потому именно она испытывает на себе все то, что судьбой уготовано испытать любому историческому авангарду.

Конечно, во многом В. Некрасов опередил свое время и, как это нередко случается в искусстве (и не только в искусстве), в итоге был за это сурово наказан. Ибо нет пророка в отечестве своем — слова, принадлежащие земной вечности и более всего подходящие для того, чтобы значиться на его надгробии. И может ли нас утешить мысль, что не только на его надгробии. То, что случилось с Виктором Некрасовым, недавно еще было нашим национальным бытом, судьбой, главной сущностью политики государства по отношению к чести и достоинству вообще. Недавно еще казалось: иначе и не может быть, потому что иначе и не было никогда. И обелиски, кресты, струхлевшие пеньки на могилах лучших сыновей Отечества рассыпались по всему необъятному пространству страны и за ее пределами — от заселенной безвестными могилами Колымы до не менее заселенного Женевьев-де-Бовуа под Парижем. Что ж, мы привыкли: это наша судьба и наша история, доселе, к сожалению, еще не воплотившаяся в нашу объективную историографию.

В который раз мысль о нем превращается в чувство, и чувство это (конечно, при более-менее честном отношении к себе) не может не напоминать о покаянии. За то, что не вступились, не защитили, не завопили в конце концов, когда с ним вершилась несправедливость, когда могли и обязаны были что-то для него сделать. Как наверняка сделал бы он по отношению к любому из нас. Но, как почти и всегда, раскаяние — чувство праздное, запоздалое и потому, в общем, лишенное смысла...

Что ж, остается уповать на его книги. На его бессмертную художественную прозу о войне, его публицистику и его эссеистику. На его некогда потрясшие мир, исполненные прекрасной, особой некрасовской правды «Окопы Сталинграда». Это тоже немало. Даже очень и очень много, потому что книги — может, самое лучшее из всего, что способны оставить после себя сыны человеческие. Тем более такие книги. Может быть, они сослужат свою благородную службу в утверждении правды и справедливости — качеств и сегодня, как и всегда, весьма дефицитных на нашей святой и грешной земле.

Василь Быков

Семен Липкин

СТИХИ ИЗ ДВУХ БЛОКНОТОВ

На смерть А. Д. Сахарова

Он говорил без восклицаний,
Шел в наступленье без атак.
Санкт-Петербургские дворяне
Порой грассировали так.

Смертельной бомбы водородной
Он был страдающим отцом,
Бессмертной думы всенародной
Он был твореньем и творцом.

Болезненный, он был всесильным.
Казалось, заживо зарыт,
В закрытом городе был ссыльным,
Но мирозданию открыт.

Могучий, был он беззащитным,
Но слабых, нас, он защитил
И стал реактором магнитным,
Источником грядущих сил.

Явил он снова, что Востока
Не умолкают голоса.
Ребенка, ангела, пророка,—
Нам не забыть его глаза.

Сельский житель

Обтерпелся понемногу,
Отдыхает у пруда,
Те года забыл, когда
Потерял под Курском ногу.

Вспоминает старину:
«Дед на фабрике сукоиной
Зарабатывал законно.
Помер в прошлую весну.

Никакой тебе субботник:
Получал, себе в доход,
Два отреза каждый год
От хозяина работник».

В доме внук растет — Мишук,
Есть жена и дочь без мужа.
Как пришли зима да стужа,
Грыжа выбухнула вдруг.

Отвезли на слободу.
Резал главный врач Премыслер.
И, очнувшись, он размыслил:
«Подыхать я подожду».

Из больницы вышел, выжил,
Понабрался теплых сил.
В сроки всю траву скосил
И картошку помотыжил.

Две машины закупил
Он украденных дровишек.
Был водитель не из выжиг
И десятку уступил.

Как проснется, слышит: птицы
Песнопение творят,
И, как солнышко, горят
Две лампадки у божницы.

●

Слышу, как везут песок с карьера,
Просыпаюсь, у окна стою,
И береза смотрит светло-серо
На меня, на комнату мою.

Голубое небо так сверкает,
Почему ж в нарушенной тиши
Ужас пониманья проникает
В темную вещественность души?

Разве только нам карьер копали,
Разве только мы в него легли?
Матерь Утоли Мои Печали
Не рыдала ль плачем всей земли?

Туман

Лес удивляется белесой полосе,
А мир становится безмерней:
Как будто пахтанье, густеет на шоссе
Туман поздневечерний.

Врезаемся в него, не зная, что нас ждет
За каждым поворотом чудо.
Сейчас нам преградит дорогу небосвод
С вопросом: «Вы откуда?»

А я подумаю, что эта колея
Бесплотней воздуха и влаги:
Она низринута с горы сверхбытия
В болота и овраги.

Дуб

Средь осени золотоцветной
Как шкурка молодой лисы,
Стоит как муж ветхозаветный
Дуб нестареющей красы.

Ему не надобно движенья—
Он движется в себе самом,
Лишь углубляя постиженье
Всего, что движется кругом.

И он молчит. Его молчанье
Нужней, прочнее тех словес,
Что в нашем долгом одичанье
Утратили свой блеск и вес.

Принять бы восприятьем дуба
День, час, мгновенье в сентябре,
Но вечности касаюсь грубо,
Притронувшись к его коре.

В ковчеге

Просило чье-то жалостное сердце,
Чтобы впустили и меня в ковчег.
Когда захлопнулась за мною дверца
И мы устраивались на ночлег,
Забыл я: кто я? Отпрыск иноверца
Иль всем знакомый здешний человек?

Лицо мне щекотало тело львицы,
Я разглядеть не мог других людей.
Свистя, вертелись надо мною птицы,
То черный дрозд, то серый соловей.

Я понимал, что нет воде границы,
И что потоп есть Дождь и Вождь Дождей.

Я также понимал, что наши души
Остались там, в пространстве мировом,
Что нам теперь уже не надо суши,
Что радость есть в движенье круговом,
А за бортом вода все глуше, глуше,
Все медленней, а мы плывем, плывем...

Воспоминание

Райский сад не вспоминает,
Просто дышит и поет,
Будущего он не знает,
Прошлого не сознает.

И лишь наша жизнь земная
Думает о неземном,
И, быть может, больше рая
Память смутная о нем.

●

Чудный свет, хотя и бестелесный,
Так сияет нынче на снегу,
Будто бы ласкает Царь Небесный
Своего слугу.

Во дворце зимы никто не нищий,
Он богаче Зимнего дворца.
Хорошо, что нет в моем жилище
Края и конца!

Как близка мне бедностью наряда
Сосен титулованная знать!
Мимо изб иду, и сердце радо
И страдать, и ждать.

В Самарканде

Готовлю свое изделье
Во всей восточной красе,
Тружусь в самаркандской келье
Старинного медресе.

Художница-ленинградка
За толстой стеной живет,
И тень огонька лампадка
Бросает на тусклый киот.

Отца единого дети,
Свеченье видим одно,
А голуби на минарете
Об этом знают давно.

Хлопок

Белый шах растянулся на площади перед театром
И под солнцем свое сушит царственное одеянье.
Все ветра, все дожди на пути одолел он превратном,
Излучая сиянье.

А в аллеях от сладкого воздуха люди хмелеют,
И платаны беседуют с ними чуть слышно и робко.
У афиши театра две славных девчонки белеют —
Две коробочки хлопка.

Волокнистою стала, как хлопок, душа человечья,
И так мало ей нужно, а то, что ей нужно, — безгласно.
Притаились в коробочках грезы, раздумья, наречья,
Правит шах самовластно.

Были суфии некогда здесь, астрономы, поэты,
Но засыпал песок живописные стены раскопок,
Все исчезло, ушло, и сменяет былого приметы
Белый шах — белый хлопок.

Кавказ

Я видел облака папах
На головах вершин,
Где воздух кизяком пропах,
А родником — кувшин.

Я видел сакли без людей,
Людей в чужом жилье,
И мне уже немного дней
Осталось на земле.

Но преступление и ложь,
Я видел, входят в мир
С той легкостью, с какою нож
В овечий входит сыр.

1919

Разбит наш город на две части,
На Дерибасовской патруль,
У Дуваржоглу пахнут сласти,
И нервничают обе власти.
Мне восемь лет. Горит июль.

Еще прекрасен этот город,
И нежно светится собор,
Но будет холод, будет голод,
И, ангелам наперекор,
Мир детства будет перемолот.

Бегство из Одессы

В нем вспыхнул снова дух бродяжеский,
Когда в сумятице ночной,
Взяв саквояж, спешил по Княжеской
Вдвоем с невенчанной женой.

Обезображена, поругана,
Чужой становится земля,
А там, внизу, дрожат испуганно
Огни домов и корабля.

Еще друзья не фарисействуют,
Но пролагается черта,
ЧеКа пока еще не действует
У Сабанеева моста.

И замечает глаз приметливый
Дымок, гонимый ветром с крыш,
И знает: будут неприветливы
Стамбул, София и Париж.

Нельзя обдумывать заранее
События предстоящих лет,
Но озарит его в изгнании
Дороги русской скорбный свет.

Ахматовские чтения в Бостоне

Здесь все в себе таит
Вкус океанской соли.
В иезуитской школе
Здесь памятник стоит
Игнатию Лойоле.

А та, что родилась
На даче у Фонтана
В моей Одессе, — Анна
Здесь подтверждает связь
Невы и океана.

Пять светлых, важных дней
Богослуженья мая,
Соль вечности вдыхая,
Мы говорим о ней,
О жительнице рая.

Жил в Москве, в полуподвале

Жил в Москве, в полуподвале,
Знаменитейший поэт.
Иногда мы с ним гуляли:
Он — поэт, а я — сосед.

Вспоминал, мне в назиданье,
Эвариста Галуа,
И казалось: мирозданье
Задевает голова.

Говорил, что в «Ревизоре»
Есть особый гоголин.
В жгучем, чуть косящем взоре
Жил колдун и арлекин.

Фосфор — белый, как и имя —
Мне мерцал в глазах его:
Люцифер смотрел такими
До паденья своего.

Майская ночь в лесу

Какая ночь в лесу настала,
Какой фонарь луна зажгла,
Иль это живопись Шагала —
Таинственная Каббала?

А что творится с той полянкой,
Где контур сросшихся берез,—
Как будто пред самаритянкой
Склонился с просьбою Христос.

О, как понять мне эти знаки,
И огласовки, и цифирь,
Когда в душистом полумраке
Ликует птичий богатырь.

Он маленький, почти бесцветный,
И не блестящ его полет,
Но, гениально-неприметный,
Он так поет, он так поет...

Валерия Нарбикова

ПРОБЕГ—ПРО БЕГ

1

Сначала нужно получить права, а потом научиться водить, сначала нужно жениться, а потом влюбиться, сначала нужно построить коммунизм, а потом накормить народ, для этого сначала нужно кончить школу, а потом поступить в институт.
Когда Петя любила Бориса, она страшно хотела его разлюбить, чтобы потом никого не полюбить, и когда она полюбила Глеба Ил. И., она страшно не хотела его разлюбить, чтобы потом кого-нибудь не полюбить. Глеб Ил. И., Борис? Глеб или Борис? Все, что в Глебе Ил. И. было плохого,— было от человека, поэтому можно сказать, что он был неплохим человеком. И все, что в Пете было хорошего,— было в ней от женщины, поэтому можно сказать, что она была хорошей женщиной. И это прекрасно, прекрасно, когда прекрасная погода, и в небе летают последние особи — самые экзотические — птицы-воробьи, потому что все остальные воробьи уже вымерли, зато плодятся самолеты, спутники, мощные и стальные, чувствуют себя хорошо в небе, радуют глаз своим птичьим полетом, жизнь — прекрасна, и все наши республики, наша гордость, у которых нет даже права на самоопределение — по горизонтали, они не могут отделиться направо или налево, могут только — по вертикали — взлететь в воздух, когда их будут отстреливать в воздухе, как территорию-мираж, воображаемую территорию с воображаемыми границами, и все республики, отсоединившись по вертикали, заплачут от слезоточивого газа слезоточивыми слезами, ты говоришь, что мучаются люди на земле, сами мучаются и мучают все живое, что есть на земле, и если каждый человек в отдельности прав, то почему-то все вместе не правы, ведь в Люксембурге жить хорошо, а в Союзе, что, тоже хорошо? — тоже хорошо, потому что все мы — патриоты, а они просто люди, ты говоришь: «хороший салат, но что-то в нем мешает»,— «мешает то, что чего-то не хватает», и молока сегодня нет, оно приходит завтрашним числом, а газета — вчерашним; что нам мешает жить хорошо, чего нам не хватает? нам мешает то, что чего-то не хватает, и солнца сегодня нет, погода приходит завтрашним числом, а жизнь проходит вчерашним.
Вот это да — одновременно два праздника — День солидарности трудящихся и день воскресения Христа. «Христос воскрес!» — «Воистину воскрес», а гуляем первого и второго мая. Дорогой трудящийся, коммунист и атеист,— «Христос воскрес!», честный христианин, ты постился и не ел мяса всю весну, с Первым мая тебя, с Днем солидарности трудящихся.
— Христос воскрес!
— С Первым мая!
Когда Петя разлюбила Бориса, образ его так стерся в памяти, и даже черты его лица так стерлись, что она даже и не пыталась их восстановить, потому что теперь ее представление о нем имело туманное

сходство с реальным человеком — Борисом, которого она когда-то любила. И чтобы окончательно не забыть о том, что она его действительно когда-то любила, то есть чтобы не забыть просто о самом факте любви, она его окончательно забыла всего целиком, и от живого чувства осталось мертвое знание. Он остался в ее памяти только как ископаемый, и сама любовь осталась в памяти как ископаемая, ничего живого в ней не было от любви, и когда Петя сказала об этом Глебу Ил. И., он подумал и сказал:

— так всегда бывает, когда люди больше не любят друг друга.

— значит, и наша любовь может стать ископаемой, если мы друг друга разлюбим?

— любая любовь может стать ископаемой.

— именно поэтому я не хочу тебя разлюбить, и зря я так хотела разлюбить Бориса, какая разница, Борис или Глеб Ил. И.

Глеб Ил. И. рассмеялся, в общем он часто смеялся, когда другим людям было не смешно, но ему, в частности, это показалось смешным, и вообще, то, что в других людях в общем кажется плохим, в Глебе Ил. И., в частности, казалось хорошим. И Петя не обиделась, она только спросила:

— ты тоже не хочешь разлюбить меня по этой причине?

— совсем по другой причине,— сказал Глеб Ил. И. А что это была за причина, Петя не знала, а может быть, и сам Глеб Ил. И. не знал, может быть, он так же беспричинно смеялся, как и беспричинно любил.

В их любви была полная гармония: Петя не любила Глеба Ил. И. ровно настолько, насколько и он не любил ее. Когда она начинала любить его меньше и чувство это готово было иссякнуть, она чувствовала, что и Глеб Ил. И. любит ее уже немного меньше, не так, как раньше. Если бы он по-прежнему так же сильно продолжал любить ее, такая сильная любовь могла бы быть ей в тягость, но этого не происходило: как только ее чувство ослабевало,— и его чувство становилось слабее, зато когда она вдруг опять влюблялась в него, он тут же влюблялся в нее с такой же силой. Когда Петя расставалась с Глебом Ил. И., это не значило, что она возвращалась к другому мужчине. У нее не было выбора между Глебом Ил. И. и кем-то другим. У нее был только Глеб, или Глеб Ил. И. И когда они встречались, было острое желание друг друга и тупая боль после разлуки, зато потом была острая боль после разлуки и тупое желание предстоящего свидания. «Ты — чудовище»,— иногда говорил ей Глеб Ил. И. «Не такое уж я чудовище,— успокаивала себя Петя,— если он по-прежнему меня любит».

А чтобы такая любовь продолжалась, чтобы она была постоянной, они не могли быть друг с другом постоянно, и они расставались. Они расставались, чтобы потом встретиться. И они встречались, чтобы потом расстаться. Зато столько радости было, когда они встречались, и столько грусти было, когда они расставались, что их любовь была то грустной, то радостной. Они встречались уже в течение года, но в течение этого же года они и расставались, поэтому если сложить все часы их свиданий в течение года, то получалось, что непрерывно они виделись всего три дня. И тут пора сказать о главном: что в один (прекрасный?) день они решили уехать навсегда на три дня, то есть чтобы непрерывно провести вместе за три дня все то время, которое они вместе провели за год. И эти три дня...

Глеб Ил. И. принес карту Советского Союза и ткнул посередине, он попал пальцем в небо, которого не было на карте. Глеб Ил. И. был волосатый и большой и в какой-то степени напоминал обезьяну, если хоть в какой-то степени обезьяна напоминает человека.

— я туда не поеду,— сказала Петя,— пока мы туда доедем, она может отделиться, и мы окажемся за границей.

— в принципе, любая республика может отделиться.

Пока они спорили, они накрылись газетой, чтобы голыми не замерзнуть, и пока они шуршали, пока любили друг друга, первая полоса в «Правде» устарела, потому что шел уже другой год и другое число. Погода была нелетная, и они полетели в свою республику на поезде, который летает даже в нелетную погоду. В поезде было хорошо, там не было проводницы, и паспортистка впустила их в двухместный номер, не проверив, есть ли штамп в паспорте. Они оказались в купе вдвоем как любовники и пассажиры одновременно, как мсье и мадам. В купе нельзя было ничего делать: ни пить, ни курить; они закрыли дверь и открыли окно. На колесах неслись в обратную сторону деревья и дома, и вся жизнь сосредоточилась вдоль линии. За первым планом домов была только перспектива полей и лесов. Гостиница на колесах пошатывалась во сне. Они приехали после того, как не выспались. Небо было серое и низкое, и только за этим серым и низким угадывалось синее и высокое, как будто бы цвет просвечивал сквозь цвет: синий сквозь серый, и дул ветер. И пока Петя с Глебом Ил. И. здесь затерялись, пока мощно неслась земля с мощностью во столько-то лошадиных сил, когда за единицу измерения берется лошадиная сила, чтобы было живое представление, что земля несется в упряжке и скачет вокруг солнца, которое тоже скачет в упряжке вокруг того, что его притягивает. И мощность двигателя автомобиля тоже измерялась лошадиными силами, и он уносил их вперед по дороге, которую притягивал к себе дом, а перед домом была уже другая дорога, узкая и заросшая, на которой нельзя развить большую скорость, и Петя с Глебом Ил. И. пошли пешком мимо пыльных эвкалиптов и огромных кур. У самой хозяйки дома было много детей, и у этих детей было много детей. И рядом с большим домом им показали маленький домик, где все было маленькое, хотя в нем было много места. Окна выходили туда, сюда, и туда, и сюда, и кроме окон была еще дверь, и это было чистой условностью, что дверь открывают и входят, а окна открывают и смотрят. Окно было для созерцания, чтобы можно было, находясь в одной точке, отпустить свой взгляд вдаль, а дверь была для того, чтобы самому следовать за своим взглядом. И они вошли в дом. Утром их разбудила чистая музыка, которая неслась с гор, как будто на вершине горы стоял рояль, и от белизны клавиш и снега, черного лака рояля и огромной синей тени, которую он отбрасывал на склон горы, было сладко на душе от звуков, рассыпанных в воздухе, которые разносили птицы по всей округе, и они спускались с горы вниз вместе с прохладой.

Но в людях, которые шли к дому, не было этих звуков, в них был гул.

— что там?

— как птицы,— сказал Глеб Ил. И.,— проснутся и галдят.

Но люди не просто галдели, как птицы, собранные в стаю, на их лозунгах был начеркан совсем не невинный птичий лепет, они слетелись сюда не для того, чтобы погалдеть и разойтись, это был не просто птичий базар, их базар имел явно политическую окраску. Они все вместе кричали «долой!» и «да здравствует!». Но и птичьего ума достаточно, чтобы понять, что «долой!», а что «да здравствует!», долой старое, да здравствует новое, с добрым утром!

А дальше стало ярче и стало жарче, и солнце в толпе стало жарче, и толпа стала крепче в своем зное, и уже в зените появились лидеры, и, отделившись от толпы, они становились все четче, и голоса их

звонче, и когда раздался стук в дверь, Глеб Ил. И., сам не веря своему голосу, кротко спросил:
— кто там?
— откройте!
— так открыто,— сказал Глеб Ил. И.
И в комнату вместе с солнцем и зноем в зените вошли, так сказать, пять человек. Они как вошли, как переглянулись, как сели, как заговорили, их поток слов был как горный поток, который невозможно остановить, и Петя и Глеб Ил. И. так и поплыли по течению в этой бурной стихии слов, они плыли туда, куда они говорили. И оказались иностранцами в конце речи. Глеб Ил. И. сказал: «все!», чтобы остановить их стихийную речь.
«Республика отделилась, земля разорена, реки отравлены, едим огурцы, и считаем, сколько съели яду, но не в огурцах дело: в частной жизни развод — это бедствие, каким же бедствием должен быть развод, когда делят границы, а не двухкомнатную квартиру. А если мы хотим зажить простой патриархальной жизнью с барашками и виноградниками, без первого в мире балета и первого в мире человека в космосе, то есть чтобы дальше было то, что было раньше».
— а мы вернемся к себе на родину,— сказала Петя,— все так просто...
Но все оказалось не так просто, все оказалось хитро и сложно. Эти хитрецы, пятеро послов, стали хитрить и лукавить, но Глеб Ил. И. их хитрости не поддался, и ему казалось, что своей бесхитростностью он их перехитрит.
Разговор их зашел в тупик — о стихах.
— вы же поэт?
— кто? — сказал Глеб Ил. И.,— я не занимаюсь политикой, то есть я живу жизнью страны, как каждый гражданин, но форма стиха, поэтическая структура, а не политический строй, не форма власти... А вам не кажется, что поэтическая структура — самая совершенная: рушатся цивилизации и формы власти; мы знаем твердую стихотворную форму — например, сонет, и свободную — верлибр — и та и другая совершенные формы, мы знаем твердую политическую власть — диктатуру — и знаем свободную — демократию, но ни та, ни другая не совершенны.
— конечно, это и есть ваше согласие на наше предложение,— ласково сказал самый хитрый из послов,— мы утверждаем республику, которая будет совершенна по форме и содержанию, как стихотворение, которое может быть совершенно по форме и по содержанию, и законы должны быть так значительны по содержанию, так, чтобы они были совершенны по форме.
— но это же абсурд! Абсурд в стихах — не так плохо, абсурд в жизни — это хуже.

Глеб Ил. И. имел такую запоминающуюся внешность, что, один раз его запомнив, его нельзя уже было забыть, ему, например, нельзя было быть шпионом, и он им не был.

Если, например, в двух словах описать его внешность, то эти два слова — увеличенный китаец — как раз дадут самое точное представление о его внешности. Как будто взяли китайца и, пропорционально его увеличив, сделали из него Глеба Ил. И. И когда незнакомые люди, многие из людей, встречались с Глебом Ил. И., очень многим из них приходила в голову такая фантазия, что где-то они уже с ним встречались. Но когда они к нему присматривались лучше, то узнавали в нем китайца, самого обыкновенного, но увеличенного в размерах. У Глеба Ил. И. был рост, может быть, естественный для американца или шведа, но великоватый для китайца, и при таком большом росте у него были глазки, приемлемые для японцев, китайцев

и некоторых других народов, но маловатые для европейца. То же самое и нос: он был приплюснут чуть больше; а вот руки, их кисти, несмотря на большие ноги, их ступни, были маленькие. Он был стойким и выносливым, как китаец, но часто неприспособленным, как европеец, и часто он стойко выносил свою неприспособленность.
— вот это уехали,— сказала Петя.
— да, приехали,— сказал Глеб Ил. И.
— какая-то глупость,— сказал он, когда послы ушли, дав Глебу Ил. И. возможность подумать до утра. Он должен был подумать и согласиться. И когда Глеб Ил. И. высунулся за дверь, то он обнаружил почетный караул, который с почтением ему сказал, что лучше не высовываться до утра.
Все-таки Глеб Ил. И. еще разок высунулся за дверь, после того, как Петя заснула после любви, к которой он ее склонил, которая была ей в тягость, после всех тягостных разговоров. Паренек из почетного караула принял сигаретку, которой угостил его Глеб Ил. И. Усевшись на ступеньку, они, покуривая, разговорились.
— никуда я не убегу,— сказал Глеб Ил. И.,— но и держать меня здесь глупо, я даже одну женщину не могу сделать счастливой, не говоря уже о целом народе.
— сделать женщину счастливой почти невозможно,— сказал вохр,— и нечего зря терять силы, легче сделать счастливым целый народ. Когда у мужчины с женщиной — равенство, в этом нет ничего хорошего, а когда мужчина женщине предоставляет свободу — ужас, если она этой свободой пользуется, а ведь ничего лучшего, кроме свободы и равенства, нет.
— ты скажи еще — «братства», чтобы я как педераст любил ее как брата,— сказал Глеб Ил. И. явно со злостью. Но добрый паренек не придал значения его злым словам и по-доброму продолжал:
— а потом еще никогда ни один вождь не был счастлив в личной жизни, и власть над всем народом — это разрядка — невозможность власти над одним человеком, и вождь удовлетворяет свои желания, властвуя над всем народом, не удовлетворив своих желаний с одним человеком, легче удовлетворить всех, чем одного.
Вохра нарочно приставили к Глебу Ил. И., чтобы Глеб Ил. И., как плод, созрел в своих взглядах за ночь, и с первыми лучами солнца упал в руки народа, сочась любовью к нему. Глеб Ил. И. вернулся в комнату таким же несозревшим, каким зеленым и вышел.

Петя лежала в постели как шпионка: она не только все слышала, она все это слышала от Глеба Ил. И. и раньше, например, то, что он не может сделать ее счастливой.

Что еще было в Пете от шпионки, на ней были: узенькие темные очки, чтобы свет от настольной лампы не бил в глаза, шорты с множеством карманов, которые она набила разными необходимыми вещицами, а именно: имелся перочинный ножик, фляжка, записная книжка, с таким количеством телефонных номеров, что если все их последовательно набирать, то звон в ушах не прекратился бы и за неделю. Увидя ее в таком снаряжении, Глеб Ил. И. ни о чем не спросил, потому что знал, что так надо. Выпрыгнув из окна и обойдя настоящего, но спящего часового, часы которого показывали час-ноль-три во сне, они оказались за оградой, где стояла лошадь, запряженная в тройку машин, и подкормив лошадь, они сели на нее, угнав три автомобиля на гибкой сцепке. Последние два, что оторвались и разбились, ну и разбились, а оставшийся один — в хвосте у лошади, Петя оседлала, отпустив лошадь, она села за руль и погнала, а Глеб Ил. И. сидел рядом и болтался из стороны в сторону, как в кибитке, хотя Петя так заботилась о нем, как о наследнике престола. Глеб Ил. И. плохо перено-

сил автомобиль, и то, что Петя обожает машины, не слишком нравилось ему. Но на все его замечания у нее было одно замечание: что нет ничего прекрасней скорости и быстрой езды. Она сказала, что все равно в прошлом веке она была бы наездницей, как тургеневские девушки; а тургеневские девушки, и княжна Мэри, и Анна Каренина в двадцатом веке все равно бы водили автомобиль. Глеб Ил. И. уже не спорил, его только сильно мутило от такой быстрой езды, все-таки хорошо, что от лошадок не пахнет бензином, но и «н-но!» вместо педали газа, и «тпр-ру!» вместо тормоза нравилось ему куда больше.

Но все вместе: что Петя как шпионка и что она его везет, нравилось ему не меньше. Она загнала машину в тупик, в такое темное, дикое место, где было темно и дико.

Когда говорят: «во имя страны!», не считаясь с желанием маленькой республики, то не права страна; когда говорят: «во имя республики!», не считаясь с желанием семьи, то не права республика; когда говорят: «во имя семьи!», не считаясь с желанием человека, то не права семья, а прав человек, потому что самое маленькое оказывается самым большим, а самое большое — маленьким. А самое ужасное не то, что у слова может быть несколько значений, а то, что у смысла — несколько смыслов. В чем смысл добра — в многообразии смыслов, в том смысле, что когда прямо противоположные смыслы, которые разные люди вкладывают в смысл добра, взаимоисключат друг друга, смысл добра потеряет всякий смысл, если только не появится переносный смысл. Ночь была на уровне ночи, и на уровне луны — луна, и дальше уже — подуровни звезд, каждая на своем уровне — неописуемая картина мира — с человеком с глазами. Волны подкатывались к ногам, и ноги откатывали волны, и все отдельное — было вместе. Вместе — со всем, отдельное от себя. И ласково хотелось думать обо всем, любезном сердцу. И сердце, которое болит за весь мир, это не печень, которая болит, в которой много желчи, а в сердце — много ударов в сердце. Оно бьется даже сильнее моря, то есть сильнее волны, с частотой, близкой к частоте волн, когда ветер, но еще чаще. Оно готово выскочить, как волна из моря, оно — в груди. И все, любезное сердцу, было как в первый раз, не было ни одного такого чувства, которое хоть раз уже было пережито до этого.

И когда захлопнулась дверь машины, и когда Петю обдуло ветром, когда Глеб Ил. И. стал спускаться за ней к морю, севшая на лунную дорожку птица оторвалась вместе с тенью от ветки, и когда она взлетела, оторвавшись вместе с веткой от тени, непонятно было, откуда это все? то, что они выехали, ехали, приехали, уехали, заехали — даже не это, то есть не это откуда, а вот это все, в этот миг, откуда это все? Оттуда, откуда и загробная (вечная?) жизнь — как первая любовь. Ведь вторая любовь хоть и вторая по счету, но ведь тоже первая по качеству, и на примере второй любви можно примерно сказать о вечной жизни, о которой нет памяти, как о первой любви, с начала и до конца, от первого и до последнего поцелуя, не потому что не было этой первой любви, а потому что она слишком была, поэтому она абсолютно забыта. Вот мы сейчас живем, а в который раз? Времени, конечно, нет. Ведь день и ночь — это не время, это отсутствие и присутствие солнца, и мы не помним о первой любви, так же как забудем о второй, если она не будет последней. Когда Петя полюбила второй раз, то все, что было связано с Глебом Ил. И., казалось, происходит в первый раз. И когда она никогда не целовалась до Глеба Ил. И., когда она целовала его впервые, когда ее никогда не обнимал никто, потому что до того как мы в первый раз родились, сколько раз мы умирали всего раз, и когда Петя с Глебом Ил. И. вернулись в машину, чтобы не замерзнуть от любви от луны, он стал с ней делать то, что она любила больше всего с ним, до него, что было не так удобно делать в машине, но он видел, что ей это нравится безумно, сейчас, как всегда, и собственно три слова, которые они повторяли, и когда она повернула к нему лицо, ему показалось, что она вульгарна при луне, у нее жутко блестели глаза, когда она сказала: «все». И как-то даже странно было видеть одну ее вещичку, застрявшую на руле.

— ты куда? — спросила Петя.

— сейчас,— сказал Глеб Ил. И., и начался дождь.

Он лупил по крыше и по стеклам, и Глеб Ил. И., вернувшись, подал Пете ее туфли, которые были почему-то на переднем сиденье, а сама она была на заднем, и он впервые ей сказал: «люблю»,— хотя, может быть, он ей это сказал в сотый раз, но в сотый раз он ей это сказал впервые.

«и когда я еще полюблю в третий раз, всегда, никогда, это будет то же самое еще раз?» — она отхлебнула еще раз из фляжки, и мысли понеслись от напитка, который уже кончался.

— я не хочу тебя разлюбить, чтобы больше никого не полюбить,— сказала Петя.

И Глеб Ил. И. сказал: «спи».

И приток звезд, их взвешенное состояние в прострации неба, на которое никак не влияет земля, ни своим весом в обществе светил, ни тягой к солнцу, ничем, ну ничем абсолютно. А каждая женщина подсознательно относит себя или к Деве Марии или к Марии Магдалине, к кому-то из одной, одной из двух, и если одна из них была матерью Христа и возлюбленной Бога, то вторая была той самой, которая так сильно полюбила Христа, что не могла после него полюбить ни одного мужчину. А можно ли после Христа полюбить другого мужчину? Можно ли изменить Христу с каким-нибудь другим мужчиной? Если можно, то с каким? с живым? и если можно, то почему? потому что он живой? а если Христос воскрес, то где он сейчас? А ведь это нарочно так было задумано, чтобы у таких разных женщин было одно имя — Мария, чтобы был выбор между белым и белым, черным и черным, добром и добром, злом и злом, Марией и Марией. И она, и она, о н е, обе з н а л и Е Г О.

В этой прохладе, в этой прохладе, спускающейся с гор, был разлит порок счастья, которое не было безмятежным. Пока Петя спала на руке Глеба Ил. И., она не способна была зачать от Бога, но в нее мог бросить камень каждый, в ком не было греха. Она была скорее Магдалиной во сне, с разлитой во сне страстью к противоположному полу, которая не персонифицировалась во сне, и она не видела во сне Глеба Ил. И., она была отвлеченной женщиной с отвлеченной страстью к отвлеченному мужчине, она спала, пока град камней, брошенных в машину, которая в своем чреве содержит блудницу, не разбил стекло. Глеб Ил. И. выскочил из машины. Он был отброшен назад. Он стоял, как памятник с заломленными назад руками, которые эстетически памятнику не нужны, потому что их некуда деть.

Одна скотина трахнула машину сзади, и пока автомобиль, полностью обесчещенный, стоял с открытым багажником и там рылись четверо, выпятив зад, Глеб Ил. И. сказал: «скоты».

— где? — заорал на полтуловища зарытый в багажник.

— что? — спросил Глеб Ил. И., не зная «что? где?» Он получил в зубы, и когда он услышал: «вот!», его отбросили назад с такой силой, что, пока не сработала сила трения, он катился под действием силы качения и силы скольжения. Машина рванула вперед, развернулась и рванула вперед — назад в город, и Глеб Ил. И. рванул назад к выпавшему из багажника листочку, призывавшему к миру, любви, свободе, где

простые мысли были прокомментированы такими туманными мыслями, сквозь которые бессмысленно было продираться. И пополз туман. Глеб Ил. И. сидел в тумане с листочком, на котором была такая графика: рисунок протектора остался на призыве: «мы призываем к свободе, но под свободой мы понимаем не зависимость, а независимость от кучки свободных людей, навязывающих нам такую свободу, которая есть не свобода, а зависимость от них». Глеб Ил. И. гадал. Пока он гадал об одном, началось все вместе. Вместе с наползающим туманом поползли из тумана люди. И у Глеба Ил. И. был такой затуманенный взгляд, что его взяли под руки и повели. Потом его живого осыпали, как мертвого, цветами и мертвого от усталости привезли с почестями в город — с музыкой. Его водрузили в тот же сад, в тот же дом, в ту же самую комнату. Как только он прилег, в комнату вошел и присел юноша, и он был такой удивительной наружности, что на ней стоит остановиться подробнее. Он присел, и Глеб Ил. И. привстал, чтобы его получше рассмотреть.

— Сверчок,— позвали юношу из сада. Он приложил ухо к двери и прислушался.

— Сверчок,— прикрикнули за окном, и потом из глубины сада кто-то присвистнул.

Сверчок приоткрыл занавеску и, присмотревшись к темноте, признал кого-то из своих, но прикинув, что его так и не опознали, он пригнул голову и присел на стул, а Глеб Ил. И. опять прилег.

Сверчок был только в третьем поколении русским, а во всех остальных поколениях он был эфиопом, потому что русский царь привез его прадедушку в качестве подарка в Россию. В качестве какого подарка? арапчонка, человечка, попугайчика? а может, эфиопы все такие талантливые, и если завозить их в Россию, они будут национальной гордостью, и только эфиопы смогут написать энциклопедию русской жизни?

Сверчок мало интересовался политикой, но даже не будучи причастным к одной кровавой демонстрации, он был выслан из столицы в среднюю полосу России. И то, что он увидел там, как на картинке, было картиной неописуемой красоты. В этом натуральном пейзаже было все, что только способно восхитить человека. И ни одного человека до самого горизонта не было видно, кроме того, кто на всю эту красоту смотрел. И человеческий взгляд, устремленный вдаль, сам по себе восхищал того, кому этот взгляд принадлежал.

Дом стоял немного на пригорке, и перед домом открывалось поле, а за полем блестела речка: за речкой — небольшая роща, и только стоило Сверчку подумать, что недостает звуков, как вдалеке за речкой пошел поезд, и стук колес был слаще всякой музыки. Картина была действительно прекрасной, и справа на пригорке виднелся золотой купол церкви, а чуть стало темнеть, и купол скрылся — над речкой встала луна. Сверчок был потрясен этой картиной как эфиоп, но непосредственно высказал свое потрясение как русский, отдавшись всей душой — стихам... Его русский язык был простой и чистый, потому что русский язык, сделавшись его родным языком, был принесен ему в дар, точно так же, как его прадед был принесен в дар русскому царю. А самый простой дар — бесспорнее самого упорного труда. Но Сверчок отличался и умом и усердием; и подаренным ему русским языком он овладел так, что когда глаголы овладевали им, он умел им найти и место и время. То же самое и название вещей — поскольку первозданность этих вещей ум его отметил сразу, он не боялся поставить рядом розы и слезы, что побоялся бы сделать искушенный русский ум, уставший от привычного однообразия родных звуков... И когда Сверчок написал: «черт догадал меня родиться в России...» — это было бы смешно услышать от русского, где же ему родиться как не в России, но от эфиопа это услышать не смешно. Он видел то, что он слышал, и то, что он слышал, он видел. Он хотел съездить за границу, не как ездит русский, чтобы проветрить зрение и слух — а чтобы отдохнуть от родины, как от семьи. Но граница для него оказалась закрытой, и он решил жениться, чтобы с головой уйти в семью.

Накануне свадьбы он устроил мальчишник, чтобы было не так грустно, но было не так весело. Конечно, он женился по любви, был счастлив со своей женой, как простой человек, но как человек сложный он не мог найти счастья в семье. И когда Глеб Ил. И. получше присмотрелся к Сверчку, то отметил, что тот совсем уже не юноша, а женатый усталый человек, к тому же большой поэт. И в этом дивном уголке земли, где всего лишь испортилась погода — южное солнце поменялось на северное, и соответственно южные дожди — на северные, и южное море— на северное,— должно было появиться на днях одно историческое лицо, абсолютно узнаваемое и известное именно своей непримечательностью; человек не глупый, но и не умный, немец по происхождению, но лучше всего англичанин, а еще лучше американец, а самое лучшее — самый обычный француз. И как только скажут, где он родился, всем будет ясно, кто именно это, а когда скажут, как он умер, каждый догадается, кто это был, и как только скажут, что он сделал, будет ясно, что это мог сделать только он. Наполеон сделал известной Св. Елену, Пушкин сделал известным Дантеса, декабристы сделали известным — декабрь.

Но это должно быть такое историческое лицо, которое не сделало известным какое-то время или место, или человека, но которое само сделалось известным то ли благодаря какому-то времени, то ли месту, то ли человеку, и таким образом вошло в историю. Но при том, что у нас достаточно и исторического места, и исторического времени, у нас явно недостаточно исторических персонажей, поэтому обратимся к вымышленному. Петя с Глебом Ил. И. уехали не для того, чтобы расставаться, а чтобы все в р е м я быть вместе, и когда у них отнимали это время, время соответственно переставало двигаться, и геологическое, и историческое в том числе. И если шла какая-то война, то она замирала, пока они не виделись, и если нарождался какой-нибудь гений, то он останавливался в своем развитии, пока они не виделись. Время останавливалось именно в том часу, в котором Петя расставалась с Глебом Ил. И. И Глеб Ил. И. даже не думал, что с Петей может что-то случиться, пока ее нет рядом, как может что-то случиться, когда останавливаются колеса, затихают войны и не развиваются гении. И как только Петя добралась на попутных машинах в город, потому что попутки шли попутно остановившемуся времени, когда она добралась автостопом, потому что та машина, на которой ее увезли как шпионку, замерла у первой же стоп-линии, Глеб Ил. И. показал ей Сверчка, который вздремнул где-то посередине своего исторического времени. И как только Петя с Глебом Ил. И. встретились — возобновились войны и пошел тот самый дождь, который, было, перестал. События стали развиваться с той силой, которая на эти события давит.

Оставшись вдвоем в комнате, после того, как Сверчок ушел, медленно, но неотступно двигаясь к своей дуэли, Глеб Ил. И. сказал следующее:

— он будет убит. Посмотришь.

Она посмотрела вдаль, и вдали было небо, замутненное дождем, и в небе творились судьбы.

— если он по происхождению эфиоп, если его прадедушку подарили

русскому царю, если его выслали из столицы, не выпустили за границу, он женился и счастья нет, то он будет убит на дуэли. А если, например, кто-то родился на Корсике и завоевал всю Европу, то он умрет на Св. Елене, а прах потом повезут через океан,— сказал Глеб Ил. И.

— а если родился в Симбирске, был выслан за границу, хорошо плавал, женился, не имел детей, значит, сделаешь революцию и умрешь в Горках,— подсказала Петя.

Глеб Ил. И. ничего на это не сказал, потому что то, что сказала Петя, было политикой, а то, что сказал он, было уже историей. Глеб Ил. И. охотно говорил об истории, но неохотно — о политике, потому что если скажешь, что ты не любишь Наполеона или Петра Первого, то тебя не посадят в тюрьму, а если скажешь, что не любишь Ленина, то могут и посадить. Глеб Ил. И. не любил сидеть в тюрьме, на всем казенном, где плохо кормят, жестко спать и проходят лучшие годы, которые проходят зря.

А небо, в длину и в ширину, в длину, умноженную на ширину, когда получались тыщи кв. км, и умноженное на высоту, когда получались тыщи куб. км, было без звезд, было.

Вся власть сосредоточилась у Глеба Ил. И.— он со страшной силой принадлежал народу, так же как и народ со страшной силой принадлежал ему. Народ видел, что он не рвется к власти, поэтому, по всей видимости, власть сама рвалась к нему. И так же, как жаждут крови, жаждал речи. Глеб Ил. И. не знал, что сказать. Все, что он хотел сказать, он сказал в стихах. Народ буквально кипел. Была масса народу. Не каждый человек в отдельности, а именно масса тел, сплошная масса жизни, единая в своем поту, иногда из массы вырывались отдельные руки, ноги, головы, масса шла на ногах и шевелила руками, некоторые головы катились поверх массы голов, а потом тонули в общей массе. По плотности своей — то, как масса откатывалась назад и подкатывалась вперед, человечество напоминало тяжелую жидкость; эту жидкость с трудом можно было разгрести. Петя разгребала, пробиваясь вперед, а масса отталкивала ее назад. Легко было утонуть. И не только Петя, каждый мог потонуть в человеческой массе. И вся масса могла сама в себе захлебнуться. Удивительно, что вода не тонет в воде — она однородна, но человек тонет в человеческой массе — она однородна. Глеб Ил. И. начал глухо читать стихи. Эффект был поразительным — в человеческой массе, как в тяжелой жидкости с большой плотностью, явно произошла реакция (химическая?) под воздействием температуры? кислорода? света? — масса явно поглощала кислород и выделяла углекислый газ, а растений, которые были призваны самой природой поглощать углекислый газ и выделять кислород, не было вокруг, толпа стала задыхаться на вдохе и стала разбегаться, чтобы выдохнуть за углом. Стихи встали поперек горла — стихии было не до стихов. Если Христос воскрес, то где он сейчас? Господи, человек не в цене, а может, он не человек, если у него нет прав человека, может, он тяжелая человеческая масса. Людей спишут. Их спишет система. Он самый беззащитный, наш человек, он горит и тонет, а вообще люди — загорают и плавают, его может защитить только мама и папа, он беззащитен, как слон. Но если слонов истребляют из-за слоновой кости, чтобы японцы из нее делали безделушки, то зачем у нас истребляют человека? потому что человека не жалко? потому что людей много, а слонов мало? потому что слоны рождаются раз в четыре года, а люди раз в девять месяцев? люди чаще, а слоны реже? все-таки что-то не так! Господи, пусть они повесятся на своих газопроводах, если хоть один младенец сгорит от газа, и казахи не скоты, чтобы облучать их, зачем у нас дворянство заменили номенклатурой, Господи? для того, чтобы что? а то, что если директор рыбного совхоза проворуется, он станет директором пионерского лагеря, а если он проворуется, то станет директором дома инвалидов, а если он проворуется, то станет директором зоомагазина, он вечный директор, как Вечный Жид, только не хочется быть той рыбкой, тем пионером и тем инвалидом в этой вечности.

А может, человек достоин той жизни, которой он живет, может, он заскучал бы в пасторали среди хорошеньких коровок и лужков, как заскучали Адам и Ева без греха, скучно жить без греха людям, и если люди не будут давиться в очередях и в автобусах, если они не будут злы, они ведь не будут добры и не научатся летать, не потому что у них нет перьев, не потому что не приспособлены, а потому что потому. Петю прибило к самой трибуне, и Глеб Ил. И. втащил ее туда. Следом за Глебом Ил. И. читал Сверчок, и поскольку ряды слушателей поредели и масса стала пожиже, а Сверчок все равно читал, похоже, он читал облакам, солнцу — вечным слушателям. Нельзя было сказать, хороши ли его стихи. Наверное, они были очень хороши, главное, невозможно было их оценить, один слушатель мог бы сказать, что это хорошие стихи, но это бы говорило о нем самом как о человеке, а совсем не о стихах, точно так же и тот, кто сказал бы, что это плохие стихи, сказал бы о себе больше, чем о самих стихах. Петя с Глебом Ил. И. подались с трибуны вниз. Они осели у себя в комнате, и Петя, не зная, что сказать после такого провала, чтобы взбодрить Глеба Ил. И., сказала:

— обычное дело.

Что — обычное дело? митинг, стихи, слезоточивые газы и прочие газы, трупы, сухие пайки! Обо всем можно сказать: послушать по радио и посмотреть по телевизору, как мучаются люди, сами мучаются и мучают все живое, что есть на земле, это обычное дело?

— вы поедете на бал? — в комнату вошли без стука, а потом раздался такой стук в дверь, такой тук-тук, после того, как вошли дважды два человека. Это было официальное приглашение на бал.

Какой роман обходится без бала, какое сердце не рвется на бал — нет такого романа и нет такого сердца. И нет такого бала, который обходится без романа, какой бал не рвется к сердцу!

— какой еще бал,— сказал Глеб Ил. И., вертя в руках приглашение на два лица, после того как дважды два пригласили и ушли вчетвером,— при таком всеобщем маразме вдруг — бал.

— обычное дело,— сказала Петя,— во времена Директории,— и она пересказала Глебу Ил. И. от него же полученную информацию, не будем пересказывать.

Петя готовилась к балу, как птица к перелету, тщательно чистила перышки и запасалась красотой. А у Глеба Ил. И. заныл зуб. Он ныл под щекой, потом он стал ныть в сердце и в животе. Глеб Ил. И. не выдержал и пожаловался.

— сходи к дантисту,— посоветовала Петя.

Мудрый совет. Глеб Ил. И. бежал от боли. Хорошо, что даже когда заводы не работают, дантисты работают. Глеб Ил. И. открыл рот и показал все свое великолепие. Глеб Ил. И. никогда бы не умер, как кенгуру, от голодной смерти, от того, что у него стерлись зубы, он бы вставил новые, и ни один бы человек не умер голодной смертью без зубов, потому что люди умирают от смерти, а кенгуру от голодной смерти, и никто кенгуру не вставит протезы, пока кенгуру не станет человеком и сам себе не вставит, но когда это еще будет? скоро уже; когда опять на земле не останется ни телевизора, ничего, но опять останутся пирамиды, потому что пирамиды — для вечности,

а телевизор — для кайфа, потому что кайф проходит, а вечность остается — для кайфа.

Дантист положил Глебу Ил. И. на зуб ватку, и велел два часа не есть. Бал был на высоте. В буквальном смысле — в горах, почти в тучах. И когда зубная боль утихла, грянула музыка. Первый танец Глеб Ил. И. пропустил, так же как пропустил второй и третий. Он не танцевал. С первым Петя танцевала — с Николаем. И когда Глеб Ил. И. увидел ее с Николаем, как он недозволенно обнимал ее так, как было дозволено в танце, то есть когда до него дошло, что это не просто первый Николай, с которым она танцует, а Николай Первый, он мгновенно понял, что именно это историческое лицо застрелит Сверчка, потому что Сверчок был погублен царизмом, следовательно — Николаем Первым. Они танцевали. То, что было вокруг, отступило: эти горы, деревья, обрывы оказались вроде бы и не материальными, они были из чего-то вроде воздуха и разлетались как дым. Как утренний туман, это была такая среда. Петя с Николаем парили. Он ее бросал — и ловил, она улетала — и возвращалась. Под водой, то есть в подобии воды они подплывали и отплывали. Музыка, сопровождавшая их танец, включала в себя стук колес удаляющегося поезда, свист самолета, он присвистывал, когда Николай пристукивал каблуком. И гром, и гудки автомобилей и теплоходов на горизонте — все, все было музыкой. И Петя сказала: «государь», и Николай сказал: «мадам!» В нем была чисто русская кровь, никакой примеси татарской, ну может, еще татарская и была, но никакой немецкой, но даже если и немецкая была, никакой американской примеси точно не было. Да, они танцевали в такой среде, среди призрачной H_2O, это была такая среда, и кто может знать формулу этой среды, а в четверг ровно в полночь — все горы встали на свои места: ряд к ряду, вершина к вершине, формула к формуле и подкатилось море — волна к волне. Это была уже всем известная среда, это было вчера — в день летнего солнцестояния, когда день длится ровно один день, а ночь ровно одну ночь, когда длинный день длится не за счет короткой ночи; после этого дня — дни сразу стали намного короче, короче, свет пошел на убыль, а тьма стала прибывать. И нетанцующий Глеб Ил. И. посмотрел на танцующую Петю и пританцовывающего Николая, на все уплывающее, смеющееся, ликующее, мерцающее, на все уще-ющее, выпил еще одну обжигающую рюмку и затанцевал. И когда он увидел, что Петя все еще танцует с Николаем,— он протрезвел, и как только он обнял ее — он опьянел. В отличие от легкого Николая, Глеб Ил. И. был тяжелый. Он висел на Пете на три четверти и шесть восьмых. Если с Николаем она танцевала с горки, то с Глебом Ил. И. она танцевала в гору, и гора становилась все круче. И тут он увидел, что он идет в горку сам, а Пети нет в его объятиях, она была где-то в объятиях горизонта. И пока Глеб Ил. И. об этом думал, он совсем потерял ее из виду, она куда-то исчезла с Николаем, он нашел ее за кулисами, они говорили о политике. За кулисами бала шли войны, митинг, кое-где — пикники. Монархи делили границы на столе — на карте, а живые люди делили их живьем — на земле, монархи по-настоящему теряли сон, а люди — по-настоящему — головы, печень, сердце, когда головы отрывались как резиновые, а члены — как тряпочные. И в истории оставались имена монархов, и общее число голов, а общее число желудков, печени, ног, глаз, потерянных на войне,— было астрономическим, об этом знали только астрономы — об отдельных органах убитых на войне. Глеб Ил. И. воспользовался властью, издал указ, запрещающий дуэли, запрещающий Николаю Первому танцевать с Петей, и вообще он запретил бал, а поскольку ему ничего нельзя было есть, он распорядился выдать парадный ужин

сухим пайком. И пока гости, покинув зал, жевали в горах печенье и вскрывали консервы, Петя устроила Глебу Ил. И. бурю слез, она сказала, что он ей испортил бал. Он видел, что она ненавидела его, она видеть его не могла, а он не мог видеть это.

— диктатор,— сказала она ему,— ты мне испортил вечер. Но путем льстивой ласки и ласковой лести он добился от нее признания, что она не хочет его разлюбить, чтобы опять кого-нибудь не полюбить.

— кого, Николая? — спросил Глеб Ил. И.,— Первого?

— второго,— сказала Петя,— какая разница, может, Александра. Кроме того, к этому указу было издано еще несколько инструкций. И эти инструкции запрещали Пете не только танцевать с Николаем, они запрещали ей танцевать вообще. Она прочитала эти инструкции залпом, как шпионский роман, не как стихи, смакуя каждую строчку. В конце инструкций ей стало ясно, что она никуда не смеет выходить, только дом и территория сада — вот место, где она может находиться. Все-таки быстро сбывается то, о чем долго мечтаешь. Глеб Ил. И. долго мечтал посадить Петю на необитаемый остров, чтобы она не могла никуда сбежать, и вот ей некуда сбежать.

Этот дом, где теперь они обитали, ничуть не напоминал дворец, и республика, которая отделилась, меньше всего напоминала заграницу, и Глеб Ил. И. почти не напоминал монарха, да и все остальное — солнце, небо, звезды, деревья напоминали себя ровно настолько, насколько было нужно, чтобы совсем о них не забыть. Петя затосковала по северным звездам — тусклым и холодным, а эти — яркие и горячие — резали глаза, а щебет экзотических птиц — резал слух. Петя затосковала по воробьям.

— надоело,— сказала.

— капризы,— сказал.

Они пили коньяк и закусывали его творогом, редкостная гадость, закуска явно неподходящая или напиток, неподходящий к закуске, но еще не пришла та корова, которую подоит та хозяйка, чтобы они могли купить то молоко. И сад совсем не напоминал царский сад: в одном углу слушали радио, в другом тетка орала на собаку, «может, голодовку объявить?», разумно объявить голодовку, когда нечего есть. Может, стать вегетарианцами, раз нечего есть? не такие уж они благородные, эти вегетарианцы — не едят мяса — едят самых беззащитных, кто не умеет говорить — едят немых, если они немые, то их можно есть? рыбу, овощи и фрукты, особенно рыбу, она не закричит, она не мясо. Глеб Ил. И. ревновал Петю к Николаю, как монарх к монарху. А если бы здесь был Наполеон, он бы ревновал к Наполеону, а если бы Пушкин — то как поэт к поэту. Как только ватка высохла, у Глеба Ил. И. опять заболел зуб. Он собрался к дантисту, Петя сказала: «и я с тобой». По крайней мере к дантисту Глеб Ил. И. ее не ревновал: дантист был как бы не соперник. Дантист слегка усыпил Глеба Ил. И., пока смотрел ему в рот, Петя смотрела дантисту в рот, ловя каждое его слово, а слов было немного, и все они были легкие и пустые!

Кто был ничем, тот стал всем, а кто был кем-то, того не стало. Дантист никогда не был кем-то еще, он всегда был только дантистом. Он был дантистом при любом строе. Его душа не колебалась, выбирая, что ей по душе. Он был. Он вырывал и вставлял. Он строил мосты. Перекрывал реки. Вокруг люди, кто они, эти люди? все — советские люди. Ни одного миллионера, но есть подпольные. Все мечтают о машине и мясе. Они встают ночью, чтобы утром уже быть на работе. Они давятся, когда едут туда, и давятся, когда едут оттуда, они давятся — в магазине, под солнцем — в Сочи, под дождем — в кино.

Друг на друга злы так, и злость их такая, и может иногда вскипеть так, что они пошлют друг друга так — они могут друг друга убить. Преступников становится все больше, а гениев все меньше, потому что преступники развиваются в своей преступности, а гении не развиваются в своей гениальности, а города развиваются и растут, и названия городов развиваются: Ленинабад, Ленинск, Лениногорск, с Ленинградом во главе, но построил-то его Петр. Дантист был в высшем смысле — средним человеком, не как Средняя Азия, которая запоминается, не как средняя полоса России. Он велел Глебу Ил. И. прийти завтра и отпустил его с Богом. Дома Петя обнимала Глеба Ил. И. и говорила ему глупости. Они играли в короля и королеву, мальчика и девочку, в пьяного рабовладельца и юную рабыню. То, что неприлично, но доставляет удовольствие,— нравственно, как сон. Она была во всем, он был без всего. Но и ничего лишнего на ней не было. Мальчик, который хочет девочку, король, который хочет королеву, рабовладелец, который хочет рабыню. Она хотела, чтобы как будто было два короля, или два мальчика, лучше — два короля, а потом два короля и еще один слуга, потом еще один слуга, потом король ушел в монастырь, а слуги стали монахами, тоже пьяными, и новенькая монашенка, она ничего не знала об их намерениях, нет, совершенно голая, прямо в келье, нет, в кино, прямо в зале, на последнем ряду, в баре, в лифте, на пятом этаже, и у монахов был ключ от гостиницы, и там его ждала королева, короля, а пришли три солдата, в гостиницу к монашенке, к шведке, к школьнице-восьмиклассннце, и она была невинна, а солдаты взяли ее в плен и продали рабовладельцу в ночном кафе, на пароходе, в поезде, и там никого не было, на пляже, и она купалась голая, а они за ней подглядывали, два иностранца за шведкой, и когда она вышла, нет, да, вторая девушка, когда она вошла в воду, они тоже были голые, и она исповедовалась, и он сказал, что только чистая исповедь очистит твою душу, святой отец, и когда оставалось совсем чуть-чуть до конца игры — раздался выстрел — это было на рассвете 27 января. Он его убил.

Речка была совершенно черная на фоне белого снега, а капли крови — синие на общем фоне крови. Человек, который был убит,— был Сверчок, и он был убит. Сначала даже было неважно, кто его убил, важно было только то, что он убит. А убийцей мог быть любой, но только тот, кто проснулся на рассвете, зарядил пистолет и выстрелил. Много людей просыпается на рассвете, но немногие заряжают пистолет, а еще меньше — стреляют. И если не считать всех тех, кто не проснулся в это утро, если затем не считать тех, кто не зарядил пистолет, и если не считать тех, кто не стрелял, то тех, кто проснулся, зарядил и стрелял,— останется два, а из двух останется тот один, кто убил. Но кто? кто те два? и кто тот один?

Хоронить Сверчка пришло море народу, и было море — цветов, и море — слез, гроб покачивался, как на волнах. Он был убит за стихи, за то, что он писал стихи, он был убит. Только за это и больше ни за что. И тот, кто его убил, плевал на стихи. Он плевать хотел на стихи и на того, кто пишет стихи. Он убил его в живот. И тот, кто убил поэта в живот за стихи, все равно не заслуживает смертной казни. Но если убил царь, то его надо разжаловать в рядовые, а если убил рядовой? то как его разжалуешь, если он и так стоит в низшем ряду. А если убил убийца, если он профессионал, если это его профессия — убивать. Тогда не надо писать стихи, не надо быть поэтом и не надо иметь живот, чтобы по нему можно было пальнуть. У каждой истории есть своя предыстория. Начало истории с убийством совпало для России с началом истории литературы. История литературы стала развиваться после истории с убийством. Народ спал

и вдруг проснулся, когда убили поэта. Не то чтобы поэтов не убивали раньше, но после этого убийства поэтов стали просто убивать. Оказывается, поэтов легче всего убить, они сами смертны, это стихи их бессмертны, а так поэты — смертные люди. Их стали убивать на каждом шагу, и убийство так разыгрывалось, точно так же, как в первой истории с убийством. То есть в конце истории получалось, что поэт не просто убит и все, а то ли он убит на дуэли, то ли его убил гром, то ли солнце, то ли его съели, то ли даже говорили, что он убил себя сам, но это не так; как только после первого убийства стало ясно, что поэта можно убить, их стали убивать. И исторически история литературы развивалась вместе с историей убийства. И чем литература становилась авангарднее, тем и убийство становилось авангарднее. В самом деле, классическому периоду литературы соответствовало классическое убийство. От этого убийства осталось даже живое тело, которое перед смертью успевало сказать живое слово, а от самых авангардных убийств не оставалось ни тел, ни слов.

— скорее всего, Николай.

— дантист, скорее.

Они стали убивать Сверчка, кто скорее, и скорее Николая мог быть только дантист, который скорее его проснулся, скорей зарядил и поскорее выстрелил. И скорее всего убил. Скорее, ранил. Скорее, Николай был воздухом, которым Сверчку трудно было дышать — в присутствии Николая, а дантист скорее был пулей, которая просвистела и сразила Сверчка, потому что пули летают только в воздухе, благоприятном для их полета. Скорее всего, все было не так. А так, как всегда, когда пейзаж, благоприятный для взгляда: яркое солнце, безоблачное небо, без одного облачка, на котором мог бы остановиться взгляд, кусты и деревья, разбросанные с такой щедростью вдоль, и море — с морскими волнами и с запахом моря — все-все вдруг поменялось на пейзаж, благоприятный для выстрела, а именно: белый снег, черные деревья, красную кровь. То, что Сверчок был влюблен в свою жену, и дантист был влюблен в нее, и Николай был в нее влюблен, и полчеловечества могло в нее влюбиться за ее красоту, даже все это вместе не значит, что из-за ее красоты пуля должна была убить Сверчка. Если бы жена Сверчка была бы такой же красивой, а дантист таким же метким, а Сверчок таким же ранимым, все равно об этой истории с убийством никто бы не вспомнил, как и о других историях, когда стреляют из-за любви. Если женщина и была причиной, то все равно стихи были следствием того, что Сверчок был убит.

И даже если стихи были причиной, то все равно женщина была следствием того, что Сверчок был убит. То есть он был бы убит в любом случае — даже если причина и следствие менялись местами. То есть это был тот случай, когда он не мог быть не убит. Он был бы убит в любом случае: и в случае войны, в случае дождя, и в случае отсутствия подходящего случая. И страшно не то, что происходит, а то, что не может не произойти. И когда все утонуло в действительности, когда сама действительность в себе утонула, осталось только то, что было недействительно, то, что действительно быть не могло, вот что именно: Николай отдал долги за Петю и Глеба Ил. И., они действительно наделали много долгов, пока Глеб Ил. И. был у власти, пока власть была у Глеба Ил. И., и Николай щедро за них расплатился — щедро рукой царя. Сверчка он не убивал и никакого царя не разжаловал в рядовые, дантист его убил и уехал в другой город, и там жил и умер от смерти, а дальше было то, что было раньше: если раньше была жизнь, то и дальше была жизнь, а если раньше была смерть, то и дальше была смерть. Все, что происходит на этом свете,— все не ново, ново только то, что не происходит.

2

Мы живем в такую эпоху, какой еще не было ни в одну эпоху, такое настоящее вокруг, какого еще не было ни в каком прошлом, такое, какое живет уже будущим днем. И такие люди, наши современники, вокруг нас, о которых только современник может сказать, что своим современником он считает других современников, современниками по духу он считает не тех, что являются его современниками по времени, он считает своими современниками по духу тех, что по времени были чуть раньше — в то время, которое было и прошло, а не в то, которое идет и есть. С теми современниками, которые были современны прошлой эпохе, все ясно, потому что они мертвые, а с теми, которые современны современной эпохе, ничего не ясно, потому что они живые.

Живые сейчас это не значит мертвые потом. И то, что они живут, это не значит, что они умрут. А вдруг не умрут? Но так бывает. А вдруг всегда так бывает, а в этот раз так не будет. Вдруг эти современники будут всегда современны современной эпохе.

А ведь так и будет. В чем ужас и красота — в том, что умрет не один современник, а все современники вместе. Ни от одной эпохи не остался еще в живых ни один современник. Они все мертвые, все до одного, и с ними отмирает эпоха. Так умер восемнадцатый век со своими современниками, так и девятнадцатый — со своими, так и двадцатый — с нами. И в конце двадцать первого века — двадцатый вымрет совсем — ни одного современника не останется от него, ни одного гения, ни одного дегенерата, все вымрут как один, все современники двадцатого века, все свидетели, не останется ни одного живого свидетеля, который вспомнит, какие были деньки в двадцатом веке, какое вино, какие девушки, какие монстры, метры, какой ловили кайф, как блефовали, торчали, ходили на работу, какие были колеса, тачки, видики, дебильники, шорты, как гоняли, любили, подставлялись, писали, читали, рисовали... и вообще, а скоро рассвет.

Республика как отсоединилась — так и присоединилась, люди как не вышли на работу — так и вышли, как объявили голодовку, так и прекратили, так как человека теперь нельзя продать, но зато его можно купить.

Сколько у власти было диктаторов, столько, сколько же было у власти плохих поэтов. А если у власти будет хороший поэт, то вдруг он будет хорошим диктатором, но такого еще не было в истории, никогда у власти еще не было хорошего поэта, зато у власти были плохие поэты — Нерон, Мао Дзэ-дун.

Ни в одном уголке земли еще так стремительно не менялась земля. Только у нас на земле можно погулять по дну моря, посмотреть в пустыне на морской флот. Строим каналы не для воды, а для геометрии, это же теорема: два параллельных канала не пересекаются, ч. т. д. Виноградники сажают, у нас — вырубают, везде человек живет — у нас вымирает, поэтому везде жизнь идет — у нас кипит. После того как республика опять присоединилась, оказалось, что она — для отдыха — это курорт, сюда приезжает тысяча людей, чтобы поправить здоровье, которое они портили на месте — в своих республиках, завтрак, обед, ужин, яйцо без сальмонеллы: белок, желток, чай. Напротив подъемные краны, краны стоят. Понятно, зачем производят так много подъемных кранов, чтобы они стояли на каждом объекте, гиганты на фоне синего безоблачного неба — Магриб. И не безумие ли это, когда на фоне всеобщего безумия происходит безумная любовь как часть безумия, когда на фоне безумной любви происходит всеобщее безумие. После того как республика присоединилась, Глеб Ил. И. оказался не у власти, то есть не у дела. И Петю с Глебом Ил. И. не поселили в одном номере, потому что они были не муж и жена, а если бы они были дочь и отец, то поселили бы, и если бы были брат и сестра, то поселили бы, и если бы мать и сын, то поселили бы, может, легче было бы и пожениться, но еще легче было усыновить и удочерить, и она его усыновила, и он ее удочерил, и как раз она пришлась ему сестрой, а он ей братом, и когда у них были в полной исправности документы, что она ему — мать, а он ей — отец, когда у них все было в порядке с пропиской, что она прописана — у него, а он — у нее, что, следовательно, они прописаны — в одном месте и в одно время, а время здесь всего отстает на час. Они купили последнее вино — смертное, из тех виноградников, которые были уже до смерти вырублены. Забастовка. Когда общественный транспорт не работает — такси работает. Вино не продается в ларьках, но продается с наценкой в ресторане. А жизнь та же самая, но только дороже. Вот идеальное место, чтобы никуда не сдвинуться с места. Можно, но нельзя. Мы можем поехать, но не можем. Мы можем даже купить, но и это не можем. На рынок, но рынок свернули. Пешком, но пешком до ближайшего угла. Остается сидеть и вращаться на месте, но можно искупаться. Но может выскочить шальная пуля или выскочить ножик из воды. Не может. Может.

И территория, которая просматривается до горизонта,— свободна, но она занята, как ночь. Поехать в город — а если нас убьют, если меня убьют, ты меня похоронишь, а если тебя убьют, я тебя похороню, а если ранят, если отобьют руку или ногу и мы будем калеками — этого не будет, будет солнце — раз в день, и луна — раз в ночь, которая с середины ночи движется в обратную сторону, мы поедем в город, море себе течет, солнце себе светит, он себя — три точки. В каждом номере — писатель, или жена писателя, или сын писателя, или дочь писателя, или муж и жена — оба писатели. На душу населения здесь приходится писателей больше, чем крестьян, рыбаков, охотников. И если бы писатели все были реалисты и описывали окружающий их абсурд как реалисты, то все равно бы получалась литература абсурда. Но чем жизнь была абсурднее, гем они выбирали такую жизнь для своей литературы, какой уже не было в жизни, и стройки строились, плоды плодились, рыбаки рыбачили, то есть предметы, порождающие действия, полностью им соответствовали, а писатели отдыхали, а на самом деле перед обедом надо хорошо поесть. Рыбу кормят курицей, а курицу — рыбой, и у курицы — рыбий запах, а у рыбы — куриный, а масло пахнет нефтью. И хоть черная икра и съедобная, но потомство из нее не выведешь, потому что она синтетическая. Средства массовой информации тяжелы, как средства передвижения, так далеко не уедешь. Симпатичный министр-эмвэдешник так же привирал по телевизору, как и начальник лавочки и директор автобуса. Было не совсем понятно: информация так бедна оттого, что так беден его русский язык, то ли наоборот: русский язык его так беден из-за того, что так бедна информация. О беспорядках в республике: «мы проезжали и видели, что столпотворений нигде не видно. Мы пролетали и видели, что никаких столпотворений не... мы проплывали...» — зто уже стихи.

Прорвало канализацию, и теперь к нам плывет «привет из Сочи». Мы так разложились, что, может быть, нас так уже и не сложить. Вот арифметика: чтобы посадить одного Иосифа, требовалась подпись царя, а чтобы пересажать полчеловечества, требовался один росчерк Иосифа, получается, что при царском режиме было внимание к одному человеку, а при советском — ко всему народу, но это уже химия. Если в одном номере Петю с Глебом Ил. И. не поселили, то за один

стол их посадили. Не было ничего безнравственного в том, что они сидят за одним столом. Опять они встречались. Кроме них, за столом сидело еще одно лицо, которое они ни разу не видели в лицо. Для этого лица даже приносили блюда, лицо не приходило, блюда оставались. Могло даже показаться, что это жертвенные блюда какому-то божку, который к ним не прикасается. И однажды утром во время завтрака, точнее, на столе стоял суп — в обед, и стоял кефир, следовательно — в ужин, на этом лжеместе появился Лжедмитрий. Никто его на это место не сажал. Выдавая себя за Дмитрия, он занял его как самозванец. Наружность у него была обманчива. В его наружности ничего не говорило о том, что это его наружность. Он явно старался походить на Дмитрия, и люди ненаблюдательные могли его даже принять за Дмитрия, но когда он представился, пристально глядя на Петю: «Дмитрий»,— и покраснел, и Пете и Глебу Ил. И. стало ясно, что это Лжедмитрий. Как самозванец, он сразу же принялся завоевывать их сердца. Где их место для жизни? почему в Австралии? потому что они европейцы, им меньше тридцати, и у них есть высшее образование. Но почему европейцу с высшим образованием и в двадцать с чем-то нельзя жить при социализме, потому что при социализме жить нельзя. «Только не надо нами управлять! вот этого не надо!» — «Сколько у нас живет вообще?» — «двести с чем-то миллионов»—«А сколько из них живет хорошо?»—«-надцать миллионов номенклатуры». Не такой большой процент живет хорошо, чтобы ради этого процента делать революцию; что плохо? что так много живет хорошо или плохо? что так много живет плохо? Русская красавица может осчастливить шведа, и не дура, если выйдет за него, но шведы что, дураки, если женятся на русских красавицах, они же валютные проститутки, а там они хорошие жены, до чего можно довести русских красавиц! до чего можно довести шведов, и у шведов разбиты сердца, они разбиты, как разбиты шведы под Полтавой, но ведь Полтава — это территория, но область сердца — это тоже территория. Понадобились тыщи лет, чтобы стало ясно, что за яблочко съели Адам с Евой. Они съели плод, в буквальном смысле слова отравленный в конце двадцатого века. А чем он отравлен, нитратами, концентратами, от нитратов еще никто не умирал, выгонят из рая и все, выгнали. Мы живем в аду в буквальном смысле, в колхозном с-аду... Муравьи живут при тоталитарном режиме — они фашисты, или они египтяне, потому что строят пирамиды, люди живут при социализме, капитализме и маразме, а комары — это настенная живопись. Люди стоят перед закрытой решеткой в магазин, они в тюрьме, когда откроют магазин — это будет свобода. Всегда плывешь по диагонали, а ходишь под прямым углом, диагональ — это плавание, а прямой угол — суша.

Лжедмитрий был лживый наполовину — Лже-demi-трий. Оставалось загадкой, за какого Дмитрия он себя выдавал, за какого-то такого, за того, из которого он состоял наполовину. И одна половина в нем отрицала другую, в этом смысле он был человеком: он состоял из двух половин наполовину. Он был симметричен. У него была одна голова, но на ней было два глаза и один нос о двух ноздрях. Имея две руки, он ходил на двух ногах — он был само совершенство, наполовину Лже-demi-трий. Поджидая жену (которую он называл Татья-Ныванна, которой накануне их свадьбы приснился сон, как и пушкинской Тане: и снег, и медведь, и пистолет, все было, как в том сне, и хорошо, что Таня не вышла за Онегина, потому что он бы ее обманывал, а Татья-Ныванна вышла, и он ее обманывал), он уже в третий раз зашел в магазин, который был закрыт на обед — с завтрака до ужина,— и, спросив с черного хода вина, он получил ответ: «вина нет» — «а какого у вас вина нет?» — «„Алазанской долины" нет» — «и за сколько» — «за пять» — нет, удивительно не то, что его за три нет, а то, что оно за пять есть, виноградники вырубили, а вино все еще есть, человек, он умер, а он все еще живет. То, что Татья-Ныванна была красавицей и к тому же русской, и то, что она не вышла замуж за шведа, а вышла за Лжедмитрия, говорит о том, говорит Москва, московское время шесть часов утра, гимн.

Мы говорим совсем о другом. А надо говорить о другом. Надо объясниться в любви, но только так, чтобы об этом никто не знал. Надо письменно. И ты на своей записке напишешь мне, что ты любишь меня больше всего и больше всех. Я напишу, что я — тебя, и мы еще напишем, как мы любим друг друга вместе, во всех подробностях, чтобы было ясно тому, кто это будет читать,— как. Не так просто. И мы сдадим эти записки в ЦГАЛи. И когда мы умрем, нет, когда пройдет двадцать лет, нет, когда пройдет сто, когда умрут все, кто мог бы к этому описанию приревновать, пусть вскроют записки. И они увидят, что ничего особенного в этом нет: мы любили друг друга как люди, как умеют люди, как люди умеют — как? И перелетные птицы на занавесках, и цветы, и бездна чувств — все в одной комнате, и король с королевой, и шестерка с семеркой, и седьмая взятка, которую надо взять, иначе — в минус, все в одной комнате, где можно — все, но только — не лететь, хотя бы взлететь, нет, взлететь и полететь, нет, взлететь, полететь и приземлиться и опять взлететь, неужели мы умрем? Невозможно в это поверить, потому что поверить в это совершенно невозможно. Если это светское занятие— думать о смерти и о живописи, то все мы на рауте, непонятно, что значит — мертвый, значит, жизнь ушла, а куда она ушла? не могла же она уйти в никуда, значит, она куда-то ушла, куда? вдаль! Она ушла вдаль. И если мертвый вскочит и побежит за ней, он поймает ее вдали, если он полетит за ней, если он поплывет за ней, а если он пойдет пешком, то не поймает ее, а если он будет лежать как мертвый, то он упустит ее, и это будет смерть, но ведь неприлично бегать за собственной жизнью, и ни один европеец за ней не побежит, ни англичанин, ни француз, и русский не побежит — потому что это н е п р и л и ч н о — приличнее умереть.

Сначала был дождь. И дождь был все. А потом он уже был сначала с конца. И от царской России осталась только погода: тот же серень
кий дождик, облака и снег зимой. Но таких царских сугробов уже не осталось; как они ни скапливались при царском режиме — при Романовых,— другой режим, парниковый эффект, их разгреб. Почти не осталось снега. Если он выпадет, то он тут же и растает. А если он сам не выпадет, то его выпадут и растают. Такое насилие над природой не проходит для человека незамеченным. Ведь человек такой же ветреный, как и погода, и если человек сам не выживает, то его выживут и умрут. То, что мы живем в пассиве, то, что нас ходят, нами слушают радио, потом нас уйдут. И если мы не хотим, чтобы нас ушли, мы должны крепко стоять, мы должны покрепче встать, но все равно нас могут встать и уйти. Но все-таки нас не живут — мы живем, потому что нас вдохновляют те, кто жили и выжили в активе — Николай Степанович. Если позволено будет обратиться к Вам с такой просьбой — письменно, устно, по телефону, через друзей, посредством дождя или как-нибудь, Николай Степанович,— Вас любят, до сих пор Вы любимы, как, может быть, мало кто из живых, Вы возлюбленный, и в некоторых домах даже висит Ваша фотография, где Вы в офицерской форме с Вашей женой и Вашим маленьким сыном, и в прошлом году наконец издали Ваши стихи, и теперь их читают все, кто их знал, и все, кто их не знал,— с такой просьбой, она нем-

ножко может показаться странной, прошу Вас ответить: Вы живы, если Вас убили? или Вы, наоборот, мертвы? ведь если Вы не умерли своей смертью, а были застрелены, ведь сердце Ваше не остановилось по своей воле, и значит, та сила, с которой оно толкало кровь со страшной силой, где-то есть, где, Николай Степанович? Хотя бы ответьте так: «да» или «нет». Например, если Вы живой и если, например, завтра ровно в двенадцать пойдет дождь — то тогда Вы — живой, а если нет — то — нет. Остается довериться погоде, только не надо слушать сводку погоды на завтра, это дело божественное, и никто об этом сегодня не должен знать. И вот что было божественного в голосе диктора, когда он стал передавать погоду на завтра, в телевизоре начались такие помехи, которые помешали Пете и Глебу Ил. И. узнать погоду на завтра. Впрочем, помехи были не только в телевизоре: особенности Петиного номера заключались в том, что все надо было делать особенно. Например, кран. Холодную воду надо было закрывать так, поворачивая краником, чтобы он, дойдя до определенной упругой точки, приостановился, но поскольку вода еще продолжала бежать тонкой струйкой и капала на мозги, нужно было сделать легкое движение одним пальчиком, как в балете Чайковского «Лебединое озеро», и в этот момент вода замирала и наступала божественная тишина, но если это движение не удавалось и краник чуть-чуть прокручивался, то вода с бешеным напором вырывалась из крана, и кран приходилось закрывать снова; а также, чтобы закрыть дверь, ее приходилось слегка приподнимать плечом; а также, чтобы зажечь свет, нужно было дернуть за веревочку два раза, а в третий раз веревочку натянуть и чуть-чуть подержать; а также старательно обходить целый газон паркета, который скрипел, но это же не газон! но если не подвернуть, не подхватить, не придержать, не обойти, то предмет и не будет выполнять свою функцию, данную ему с рождения с детства, почему нужно как-то особенно садиться на унитаз, чтобы он не качался, потому что у нас унитаз еще не родился, он еще в зародыше, только бесконечные дырки зияют по всей России, черные дыры плюс электрификация всей страны.

Пропустили, проспали и не видели — живой или нет; был дождь или нет. Но кажется, был, кажется, живой. Лучше не знать.

Декоративность кавказских кустарников в обрамлении любви или любовь в обрамлении декоративных кустарников так замечательны, что никто не скажет, что неприлично целоваться в таком приличном месте. Зато в кустах средней полосы России — это действительно недекоративно, неэстетично, а следовательно, неприлично. К тому же трава на Кавказе необыкновенно высока, приспособленная скорее для доисторических животных (людей?), эта доисторическая трава — бамбук. И люди на дне бамбука — совсем маленькие и беззащитные в своих откровенных поцелуях.

Но никуда мы не поедем, никуда: не из кустов, не из кустарников, ни в какие саванны, прерии, джунгли, даже если у нас не будет условий для жизни, у нас никто не отнимет условий для смерти, и как бы эти -надцать миллионов голов не создавали нам поголовно идеальных условий для выезда: что нам здесь не место, нам здесь не время, у нас не тот образ действия, никуда мы не уедем, как бы им этого ни хотелось, пусть лучше хуже, чем здесь, чем лучше, чем там.

Татья-Нываннa была волшебно красива, ее лицо менялось как по волшебству, лишь иногда оно было некрасиво-красным, и это был не румянец, который озаряет щечки, это была красная краска гнева. И это было чистым волшебством, что Лжедмитрий не замечал, как красива Татья-Ныванна. Ее лицо имело золотое сечение и черты лица соотносились как три к пяти, оно все сбегалось к носу и разбегалось к воло-

сам. Ее правдивые глаза были настолько честны, и ее честный рот был настолько правдив, что, честное слово, она была, правда, без единого лживого изъяна. И Лжедмитрий особенно ненавидел ее, когда она была особенно хороша. Она мало говорила, и мало того, она не любила, когда много говорят другие, и мало прислушивалась к тому, что они говорят.

Это был редкий день, то есть редкое утро, которое могло перейти в редкостный по красоте день: редкостное по красоте море с редкими лучами солнца прорывалось сквозь на редкость легкие облака, и редкие породы деревьев, нередко встречающиеся на этой широте, вдоль ширины дорог — смешно.

Петя с Глебом Ил. И. и Татья-Ныванна с Лжедмитрием восседали за столом и доедали еду: Петя допивала компот, в то время как Лжедмитрий только еще доедал суп, а Татья-Ныванна, не доев второе блюдо, как раз тоже приступила к супу, который уже успел немного остыть, пока Глеб Ил. И., так и не доев закуску, зато съев весь суп, приступил ко второму блюду, и пока он его ел, Петя запивала его компотом. Мысль, которая пришла Пете в голову во время обеда, совершенно отравила ей обед. Мысль была как бы даже и не мысль, а немыслимое по легкости волнение, охватившее ее, может быть, это и называется легкомыслием, но ей показалось, что она не хочет разлюбить Глеба Ил. И. только потому, что и не любит его. Что для того, чтобы разлюбить, надо любить, для того, чтобы хотеть разлюбить, надо хотеть любить, а для того, чтобы не хотеть разлюбить, надо хотеть любить. И по своему легкомыслию, она подумала, что она именно хочет любить, но не любит, что «хотеть любить» и «любить» — это совершенно разные вещи. И она сказала: «не хочу»,— когда Глеб Ил И. спросил, хочет ли она его компот.

И тут началось нечто такое, что не поддается никаким объяснениям, кроме самых легкомысленных.

В зал вошел молодой человек необыкновенно некрасивый какой-то особенной красотой и, выбрав в сию же минуту соперника, направился к нему быстрым шагом. Его соперник был толстоват, лысоват, но замечательно подвижен. И когда они встали друг против друга, лицом к лицу — как шальная птица прошмыгнула меж их лицами — пощечина, за которой, как рассвет, должна была последовать — дуэль.

У двух этих соперников не было в этом современном мире ни одного современника, и потому наша история могла бы показаться нашим современникам несовременной, если бы дуэль оборвала чью-то из них жизнь. Но жизнь Николая Степановича кончилась смертью, только более авангардной, оставив дуэль где-то позади. Смерть не оставила после жизни не только тела — пусть обезжизненного, пусть на краткий миг приконченного пулей,— смерть не оставила даже места, где оставила бы тело в покое, ни тела, ни места — в авангарде. Но самое авангардное в этом убийстве было то, что Николай Степанович, будучи убит, был убит своей смертью: то есть он был последним в той истории человеком, умершим своей смертью, он был последним героем в своей истории, который успел умереть таким же, каким он жил, тогда как после этой смерти — самой авангардной, была уже та, которая убивала прежде, чем человек умирал — он умирал еще будучи живым, он выживал уже будучи мертвым. И ведь выжил! пусть! пускай произошла перемена пола, когда женщины стали мужчинами, а мужчины — женщинами, перемена сторон света, когда солнце встает на востоке, а садится на западе, обогревая реки, которые текут вспять; и другие перемены; и поменялось местами и добро — и зло; и все — и все остальное, ведь функции остались у человека те же са-

мые: он ест, спит, бодрствует и занимается любовью под оперу «Кармен», а под какую оперу Кармен занимается любовью — неизвестно.

Кошмар начался в разгар сезона и длился всю осень, когда улетели демисезонные птицы и прилетели демисезонные пальто. Кошмар был освещен и лучами палящего солнца, и солнцем заходящим, и приходящим на следующее утро.

Лучше не купаться совсем, чем купаться в пуленепробиваемых жилетах, лучше купаться голыми. Петя с Джедмитрием случайно встретились под водой после того, как накануне их ноги случайно встретились под столом. Под столом это невинное соприкосновение осталось ни для кого не замеченным, так же как и под водой. Таким образом они стали встречаться. И не только три раза в день, когда принимали пищу, а чаще, когда Петя уезжала на рынок, когда Глеб Ил. И. спал днем, и когда Джедмитрию удавалось обмануть Татья-Ныванну. После их первого свидания под водой Петя решила, что никакого второго свидания ни под водой, ни под землей, ни под луной не должно быть ни за что, во что бы то ни стало, но несмотря ни на что, как раз вопреки всему, независимо ни от чего — оно произошло. Ночью — когда как будто Петя осталась у себя в номере, пожаловавшись Глебу Ил. И. на головную боль и разжалобив его, а Джедмитрий как будто остался в соседнем городишке из-за того, что транспорт как будто не ходил,— они встретились как раз под луной. Что за бред — строить любовь в рамках супружества, что за бред — строить капитализм в рамках социализма. Совместные предприятия, акционерные общества, фермеры без земли — двойной адюльтер. Отказаться от супружества и впасть в любовь, отказаться от социализма и впасть в капитализм. Трудно отказаться. Нелегко. Да и кто даст. За нами присматривают муж и жена и -надцать миллионов номенклатуры. Хотя Петя переживала больше, чем Джедмитрий.

«Чего тебе бояться, ты же не замужем»,—увещевал ее Джедмитрий. В том-то и дело. Сначала надо было бы выйти замуж за Глеба Ил. И., чтобы потом развестись, чтобы все было честно, надо было разлюбить Глеба Ил. И., чтобы потом полюбить хотя бы Джедмитрия, но Петя не хотела разлюбить, пусть лучше будет нечестно, пусть лучше будет хуже, пусть лучше будет такая жизнь, чем военный переворот, пусть лучше вредно жить, чем полезно умереть. Или тогда сразу все вместе — без выстрелов и крови, отравим землю и выпустим атмосферу — в космос, отравим сердце и отпустим душу. Все вместе. «Я разведусь»,— сказал Джедмитрий, потому что он уже был женат, и следовательно, ему уже не надо было жениться на Татья-Ныванне, чтобы потом развестись с ней.— «Это лишнее». Излишне говорить о том, что лишний час, который они провели вместе, был не лишен очарования. В купальнике, без купальника, под водой, у воды, под луной, у луны.

Вот оно, невоплощенное царство божье, сереньким утром, когда то местное небо, где должно появиться солнце, то небесное место — уже розовое, но солнца еще нет. Голому в воде мысль о женском и мужском поле как таковом кажется мелкой по сравнению с глубиной моря. И кажется, что вот еще одна невоплощенная способность человека — если бы он был способен жить в воде, он был бы чище не в смысле чистоты, а в смысле глубины, может, так кажется, пока не хочется есть и спать, но легкое тело, которое легко держится на воде, неужели это то же самое тело, которое еле-еле передвигается по земле на высоких каблуках. Возможно, андрогин — существо морское: человек стал женщиной и мужчиной на суше, а в воде женщина и мужчина — человек. И у этого андрогина, в смысле человека, было

две спины, две попки и два затылка, то есть он был мужчиной и женщиной вовнутрь, или наоборот, он был мужчиной и женщиной наружу и раскололся по спине? или он был взаимопроникающим человеком, андрогин, то есть если поставить мужчину и женщину лицом к лицу и слить их, и если они будут обладать способностью проходить сквозь тело, то женщина окажется у мужчины за спиной, точно так же как и мужчина, пройдя сквозь женщину, окажется у женщины за спиной. А если их поставить спиной к спине и опять же сохранить эту способность проходить сквозь тело, то пройдя сквозь друг друга, они опять окажутся лицом к лицу, это ли и есть андрогин? это ли человек? Против советского человека молоко и мясо, которое в антисоветских текстах не дают советскому человеку, но ведь их ему действительно не дают, и в антисоветских текстах гибнут реки и казахи, но ведь они действительно гибнут в советской жизни, и тунгусы, тогда почему такая жизнь называется советской, а тексты — антисоветскими? потому что про это нельзя писать, про это можно только жить, и номенклатура, которая ворует в антисоветских текстах, ведь она действительно ворует в советской жизни, значит, номенклатура и живет антисоветской жизнью. А мы живем советской жизнью. Только трудно советскому человеку жить советской жизнью: не воровать, а покупать. Покупать нечего, а воровать плохо. Но как же так можно! как можно! как! можно! мы же развалимся, как Рим, уже развалились, но после Рима остался Капитолий, а после нас останутся блочные дома и еще то, что, может, останется, что осталось нам от России: улицы, храмы, деревья и дома, улиц уже не осталось. И нелегко жить при власти, при которой вся власть принадлежит народу, и вообще власть довела человека до того, что вообще труд стал понятием бессмысленным: зачем сажать, когда все равно выбрасывать, зачем жить, когда все равно умирать. Совсем невыгодно трудиться, и жить невыгодно, и есть вредно, и жить вредно. Остается только божественная сторона явлений, ради которой стоит жить, это: погода — дождик и снег, и ветер; звезды — ночью и солнце — утром; и осенние деревья с весенними почками, и зимние ручейки со снежной водой; и бесконечные леса с редкими деревьями; чудесные птицы с охрипшими голосами; и семейные собаки с одинокими хозяевами; и беременные кошки с бездетными девушками, и все-все живое, за что болит душа, которую отрицают материалисты, потому что у них болит голова. И нет у них души, раз так сильно они ее отрицают, но у нас-то она есть, есть и все! и от всей души разрешите поздравить всех, у кого она есть. А может, то, что мы мучаемся — это нормально. И Пушкин был антисоветчиком при царском режиме, и Достоевский, и декабристов забрали в милицию. Хорошо, что в Австралии — живут хорошо, а пишут — плохо, или плохо, что у нас живут плохо, а пишут хорошо? Да здравствует плохая жизнь ради хороших текстов, и не жалко поэта, который живет плохо, а пишет хорошо. Но людей жалко, которые ничего не пишут, а живут плохо. Они-то за что мучаются не в текстах, а в жизни? чтобы быть живой тканью в живых текстах! ку-ку! Спасибо русским крестьянам, которые мучились, чтобы Пушкин писал хорошо! ку-ку! Спасибо всем советским людям, которые мучаются, чтобы советский писатель писал хорошо. И пусть всем советским писателям, которые пишут плохо, будет стыдно, что ради них мучается советский народ, который живет плохо, потому что в Австралии не стыдно писать плохо, потому что народ живет хорошо, потому что у нас стыдно писать плохо, потому что народ живет плохо, потому что ку-ку.

В этих искусственно созданных условиях для искусственной жизни кое-что было и настоящим, но была искусственность общения, когда

искусственно созданная общность не хочет быть общностью, но хочет быть человеком (женщиной и мужчиной), родом (мамой и папой) и нацией (французом, американцем, татарином).

Джедмитрий поджидал Петю и смотрел вдаль. Он смотрел и смотрел, а она все не шла и не шла. Достоинство этого места (там, где он ее ждал) определялось его недостатками. Для любого другого места всех этих достоинств было бы уже много, но именно для этого места даже всех недостатков было мало.

Великая вещь — асимметрия,— на которую только была способна природа, присутствовала здесь в каждой клетке живой материи. Если одно дерево клонилось в одну сторону, то другое склонялось непременно в другую. Если ряд облаков с одной стороны неба был чуть выше, то с другой стороны неба, похоже, облака были чуть ниже и совсем были не похожи на облака. И ряды гор были изрезаны неправильными линиями лесов, там же были и пастбища, имеющие искаженную форму в перспективе. Даже самые обыкновенные электрические провода добавляли в этот асимметричный пейзаж особый штрих, подчеркивая неправильность рельефа своей бесконечно длинной длиной. И вся ширина — вширь, и длина — вдаль были приятны глазу, и глаз отдыхал.

Джедмитрий после ужина, так и не доев ужина, поджидал Петю, и так и не дождавшись, пока сядет солнце, пока он сидит, пошел вдоль берега в ожидании, когда выйдет луна, пока он идет. Самым чудесным было то (хотя чудес не бывает), то, что Глеб Ил. И. ни разу не спросил Петю, где она была, когда она с ним не была. Не дав ей однажды честно соврать, где она была без него, остановив ее на полуслове, чтобы она поняла, что он не то что не хочет знать, где именно она была, а именно он хочет не знать, где именно она была. Это было великое желание не знать. И сам он был великолепен в своем желании не знать. Почти так же, как она хотела его любить, почти так же он хотел не знать, что она бы этого хотела.

Петя увидела Джедмитрия, когда он просто стоял и посматривал на море. Он не смотрел на море с самозабвением, оно не поглощало его взгляд, он смотрел на него, как на шоссе, как будто из-за горизонта должен был появиться автомобиль. И когда он увидел Петю, когда увидел, что она видела, как он смотрел на море, когда он увидел, что она увидела в этом взгляде что-то неприятное, он сделал вид, что он ее не видел. И только когда она подошла почти вплотную, он сделал вид, что только сейчас ее увидел. Он обладал потрясающей способностью врать. Наврав Татья-Ныванне, что он поехал на аэродром встречать одного друга (это вранье было само совершенство, т. к. оно включало в себя и длинный и краткий период, т. к. он, если нужно, может быстро встретить друга и вернуться, а если нужно — самолет опоздает, и он сможет вернуться только к утру), он наврал Пете, что Татья-Ныванна поехала на аэродром встречать одну знакомую, и теперь он совершенно свободен. Он даже предложил вещь совсем уж невероятную — зайти к нему в гости. Петя сказала «да нет», и они пошли вдоль берега. Берег был чем-то вроде дороги: куда он их вел, туда они и шли. Так они шли и шли, вокруг темнело, темнело — и стемнело. И не дойдя до большого скопления огней, они свернули на дорогу, где было огней не так много, они были мутными и скорее не освещали улицу, а искажали ее своим неправильным освещением. В самом деле, побывав на этой улице днем, при дневном освещении, Джедмитрий запомнил один дом, но при этом искусственном освещении он теперь никак не мог его найти.

— этот что ли?

— а что ты ищешь? — спросила Петя.

Перед ними был длинный одноэтажный дом, уходивший в ночь, как поезд вдаль. Кое-где в окнах горел свет, Джедмитрий искал окно.

— это что ли?

— а кого ты ищешь? — спросила Петя.

Он постучал в тускло освещенное окно, там мгновенно выключили свет, и после этого кто-то изнутри открыл окно.

— залезай,— сказал Джедмитрий Пете.

— куда?

— давай я тебе помогу.

Он взял ее на руки и посадил на подоконник. Он влез следом за ней, и они вместе спрыгнули в темную комнату. Он нашел выключатель и включил маленький свет. В комнате не было никого и ничего особенного. Почти никакой мебели и почти никаких признаков жизни, кроме стакана с недопитым чаем.

— экзотика,— сказала Петя.

Она вполне предполагала, что сейчас может начаться э т о. Но э т о не начиналось. Джедмитрий спокойно расхаживал по комнате, и пока он ходил, она сидела, он допил чай и закрыл окно... Э т о все еще не начиналось, и Петя подумала: скорей бы кончилось.

И когда Джедмитрий подошел к ней и обнял ее сзади за плечи, она подумала: началось. Но началось не э т о, а то, что при совсем других обстоятельствах уж когда-то кончилось. Но началось именно то, что началось. И началось как-то естественно. Петя услышала, что за стеной читают стихи. И сначала их читали вполголоса, и только по ритму можно было определить, что читают стихи, а не просто разговаривают. И Петя спросила:

— это что, общежитие?

— может, и общежитие.

— такие комнаты,— сказала Петя,— как камеры.

Она подошла к окну и посмотрела в сад.

— может, это тюрьма?

— может, и тюрьма,— сказал Джедмитрий,— тюрьма — в саду.

И потом за стеной стали читать стихи громче. И все громче и громче. И уже было слышно каждое слово.

— чьи это стихи? — спросила Петя.

— не узнаешь?

И стихи и голос были самого настоящего Николая Степановича. И когда он кончал читать стихи, начинал говорить кто-то другой, имя которого, конечно, известно в истории, и поскольку оно так уж известно, то не хочется этого другого называть по имени, просто потому что убийца мог носить любое имя, и имя могло носить любого убийцу, но поэт, который читал стихи, мог носить только одно-единственное имя — Николай Степанович.

И между убийцей и поэтом в перерывах между чтениями шел вполне мирный разговор, они по-приятельски говорили. И надо быть большим убийцей, чтобы вот так по-приятельски говорить, а потом по-приятельски — убить. И в один миг все стихло. И слово, и все. И даже не было слышно выстрела за стеной, потому что в этой как бы тюрьме был как бы подвал, куда как бы уводили, и где — убивали. Просто в один миг стреляли в живого человека, и он в один миг становился мертвым. И этот миг длился вечность. И совершенно известно, что всех, известно кого, перестреляли, неизвестно где закопали. Совершенно неизвестно. Только известно, что не у этого моря, а у того, и не в этом году, а в том, и не под этим солнцем, а под тем, и не в этот август, а в тот, а вот какого числа — неизвестно.

И начался дождь. И как только он начался, сплошной стеной отгоро-

дил от окна сад и море, все, что было за стеной дождя, было по ту сторону дождя, а все, что перед дождем, было по эту сторону зла. Выпрыгнув из окна и пройдя сквозь стену дождя, Петя с Джедмитрием побежали, и чем дальше они убегали от дождя, тем слабее становился дождь, явно он шел не во времени, а в пространстве. И он совсем кончился, когда кончилось то пространство, на которое он распространялся. И хорошо бы, если бы выглянуло солнце, но выглянула луна, и вместо того, чтобы осушить их одежду, она обдала ее таким ледяным холодом, что им стало совсем холодно. Может, и от луны. Когда они подошли к корпусу, жизнь кипела только с одной стороны, с той, где была открыта дверь.
Петя сказала:
— все, я пойду.
— погоди,— сказал он,— не уходи.
— меня ждут,— сказала она,— все.
Петя подошла к лифту, и пока лифт ехал сверху вниз, Джедмитрий смотрел на нее сверху вниз, и она посмотрела на него снизу вверх и сказала: «все, до завтра».
— погоди,— сказал он,— знаешь, что...
Дверь лифта открылась, «что? — сказала Петя,— заходи».
И Джедмитрий вошел в лифт, Петя пошла к лестнице, но Джедмитрий успел выскочить из лифта и догнал ее у лестницы.
— не уходи сейчас,— сказал он.
Она поднялась на свой этаж, и хотя это был не его этаж, он пошел за ней по коридору. Она открыла свой номер, и Джедмитрий вошел в него как в свой собственный. Он снял с себя одежду, которая была совершенно мокрая, и лег под одеяло.
— иди ко мне,— сказал он.
Его простота была просто великолепна, он ее достал.
Не это ли заповедь нашего века, не она ли? — «не доставай и не достанутым будешь»... Он подошел ее. Он постоял ее. Он сел ее. Он лег ее. Она продолжала стоять, не доставай—и не достанутым будешь, не доставай сам и не будешь достанутым, не доставай ее и не будешь достанутым ею, не доставайте их и не будете ими достануты, не доставайте нас и не будете нами достануты. Все равно достанут! достанут во что бы то ни стало, чтобы во что бы то ни стало достать. Достанут и будут... достанут и будут сами... достанете и будете сами — достануты, не убивай — но убитым будешь, не кради — но обкраденным будешь, не люби — но любимым будешь, люби — но не будешь любимым. Но не доставай — и не достанутым будешь.
Легче всего было бы всего тяжелее свести все к юмору и вместе посмеяться. Смешно. Ничего смешного. Смех ангельский, божественный смех, клокочущий воздух в груди, смех очищающий, вселяющий жизнь, смех сквозь слезы — не смешно. То, что Петя стояла, Джедмитрий — лежал, луна — светила, море — блестело, солнца — не было, Николай Степанович был убит — было полной бессмысленностью.
Почему Петя, как Бедная Лиза, но только не утопилась; как пушкинская Таня, но только не вышла за другого замуж; как Анна Каренина, но только не бросилась под поезд? Потому что потому.
— давай завтра увидимся,— сказала Петя Джедмитрию,— а сейчас иди.
— ты врешь,— сказал Джедмитрий.
И Петя ничего не сказала, потому что, правда, врала.
— я хочу тебя понять,— сказал Джедмитрий.
— я хочу, чтобы ты ушел.
— и что?

— и все.
— почему?
— потому.
И больше не о чем говорить. И все неправильные глаголы, и все правильные, причастия, тире, весь синтаксис, кино — достали. Он, Джедмитрий, мог теперь ее достать везде — в воздухе, в поезде и на экране, при любом движении, парении, статике, при любом разговоре. Механизм доставания примитивен: говоришь «да» — говоришь «нет», говоришь «нет» — говоришь «да». И все. И весь механизм. Какая простота. Поедем — не поедем, черное — белое, заходи —выходи. Скажешь «лучше умереть», скажет «лучше пожить», скажешь «живи», скажет «умру». Приехали.
— все, приехали,— сказала Петя,— вылезай!
Грубо. Но по-другому не доходит. Он был в ярости, и он был голый. А голый человек в ярости очень беззащитен. Как откровенное животное. Нет, еще откровеннее. Человеческое чудовище. Нет, еще чудовищней. Обезоруженный монстр с двумя кулаками во лбу. И никакого нет выхода, только дверь или окно. Или заповедь, которую соблюли: «Не доставай и не будешь достанутым».
Он оделся, помолился, поел, поспал, попил и сказал:
— я тебе не нравлюсь. Зачем ты пришла? Вчера на свидание.
— прости,— сказала Петя,— сама не знаю.
— а я знаю,— сказал Джедмитрий,— ты никогда — никого, и не полюбишь. Это несчастье.
Не было никакого счастья стоять рядом с человеком, несчастным и живым, несчастливым. И если бы он был счастлив, он бы ушел. Он был несчастлив и не уходил. И она не могла его осчастливить.
— ну, будь счастлив,— сказала Петя и открыла ему дверь.
И он ушел и ничего не сказал, и поэтому ничего не соврал. В первый раз. Божественный Джe-demi-трий, наполовину божественный. Кончился эпизод. Пора спать. И если жизнь состоит только из эпизодов, а не из жизни, то тем более пора спать. Всем вместе. Счастливого пути! Во сне еще увидимся!
Вот таким образом, отпустив свои части тела поплавать по частям в части света, в частице Мирового океана, подзагорев, отдохнув таким образом, отоспавшись, поднабравшись сил, Петя с Глебом Ил. И. собрались с духом и стали собираться домой — в свое единственное, драгоценное, самое красивое, великолепное, самое любимое — Великое княжество Московское. И если все республики отделятся, если они разлетятся как перелетные птицы, то не улетит одно-единственное Великое княжество Московское. И если улетит на север — Великое Новгородское княжество, и если отлетит Киевская Русь, и улетит Речь Посполитая и Золотая Орда, то все равно останется в Москве — Великое княжество Московское. Говорят, под Москвой есть море, и, говорят, там можно купаться под землей, и говорят, ни одна черепашья мама никогда не видела своего ребенка, и ни один черепаший ребенок никогда не видел свою маму, и почему-то черепашье яйцо мудрее человеческого эмбриона, и почему-то новорожденная черепаха умнее новорожденного человека, а ведь человек — венец творенья, почему?

Шота Нишнианидзе

И страх и горечь одолеть не просто:
В тени, а вовсе не под солнцем славы,
Я подрастал так долго, Боже правый,
Что не приметил собственного роста.

Благодарю, судьба. Достойней доли
Не пожелаю, лучшего не надо:
Я не играл трагические роли,
И мне чужда любая клоунада.

Но если ждать последних дней осталось,
О, Господи, пусть повторится действо—
Пошли рабу замедленную старость,
Незримую и тихую, как детство.

Перевел с грузинского Ян Гольцман

Е. А. Керсновская

НАСКАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ

Скитания. «Сибирское гостеприимство»

Приходила ли мне в голову мысль о побеге? Да, разумеется, еще в первый вечер неволи, в вагоне, на станции Флорешты, когда я на закате солнца смотрела на камыши, растущие вдоль Реута.

Тогда я эту мысль отогнала. Мотивы моего решения уже излагались.

А дальше... Дальше я могу посоветовать любопытным прочесть у Виктора Гюго о переживаниях человека, попавшего в зыбучие пески, которые его медленно, но беспощадно засасывают.

Разве он не захотел бы вырваться—любой ценой—из смертоносных объятий зыбуна?! Разве он не предпочел бы поплыть в открытый океан, без всякой надежды его переплыть — лишь бы не этот медленно засасывающий ужас?

Итак, я ринулась «вплавь через Океан»...

Сначала мною руководила лишь одна отчаянная мысль: не умереть на глазах у Хохрина, и я пошла... на восток (луна заходила за спиной, со стороны Суйги).

А затем...

Тут надо признаться: я и по сей день хорошо помню, что и как я делала, но... затрудняюсь объяснить—почему?

С того самого мгновения, как я перешагнула через черную прорубь, я не искала смерти; а после того, как мне почудилось прикосновение маминой руки и я вспомнила слова старика Кравченко: «крепко, ох, крепко о тебе кто-то молится, Фрося!»,— во мне пробудилось желание бороться — за жизнь, за победу...

Но сознательно я ничего не решила. Может быть (хоть это и звучит нелепо), помогло то обстоятельство, что у меня был жар и, кажется, я шла в полубессознательном состоянии.

Когда и почему я повернула на запад—не помню. Должно быть, ветер дул с востока, и я повернула по ветру, так было легче.

В 1941/42 году снега, по словам старожилов, выпало на редкость мало, сантиметров 50—60; «на ваше счастье, бессарабцы!»—посмеивались сибиряки и рассказывали о снегах в два метра. Для беглеца, не имеющего лыж, это было действительно счастье... К тому же образовался плотный наст, так что снег выдерживал такого истощенного субъекта, как я. Но, само собой, не в чаще, где снег рыхлый, а по опушкам и по руслам рек.

Выбирая, где идти полегче, я придерживалась русла замерзших рек, которые к тому же текли в одном направлении: на запад, куда идет наклон местности, между Обью и Енисеем.

Но не следует думать, что это было легко, что-то вроде туристического похода. Куда там! Речки, замерзшие на минимальном уровне воды, были сильно захламлены: тут был и плавник, и бурелом, и стволы подмытых и рухнувших деревьев, иногда совершенно перегораживающие русло. Иногда речка разливалась, превращаясь в озеро или болото, и на противоположном берегу я не находила русла и продолжала путь напролом, через заросли кустарника или нагромождения валежника.

Окончание. Начало см. «Знамя» №№ 3, 4 за 1990 год.

Ужасный это был путь! Недаром тайгу сравнивают с морем и перефразируют поговорку: «Кто в тайге не бывал, тот Богу не маливался...»

Может быть, поэтому я никак не могу ответить на вопрос: почему в эти самые безнадежные дни я не испытывала ни страха, ни отчаяния? Как будто я уже перешагнула черту, когда все страдания становятся нереальными. Не физические, разумеется, а душевные, к которым и относится отчаяние.

Откуда брались силы, чтобы идти? И что заставляло меня просыпаться, когда я, обессилев, ложилась, зарываясь в снег и укутавшись одеялом, была на волосок от «вечного сна»? Что давало мне силы встать и идти дальше?

Меня не покидало чувство, будто Смерть сторожит мой сон... но это меня нисколько не пугало!

Говорят, что самая ужасная из моральных пыток это пытка надеждой. Я считала, что надеяться мне не на что, но попытаться можно. И я шла...

Значительно позже — уже в неволе, во время бесконечных допросов — у меня добивались узнать: кто давал мне советы, кто руководил моими поступками, кто ознакомил меня с местностью, по которой предстояло идти?

И тогда выяснилось, что я воспользовалась единственным шансом на спасение: я пустилась в путь 28-го февраля, когда уже самые страшные морозы позади, но, с другой стороны, трясины еще не опасны, так как под неглубоким снегом мох и трава хоть и «зыблятся», но выдерживают вес человека, а «окна» покрыты льдом; шла я прямо на запад, не уклоняясь ни к северу, ни к югу, где были лесосеки, на которых меня могли бы приметить и, может быть, задержать. Как смогла я без компаса никуда не отклониться — не знаю, но это так, иначе за трое суток я бы не дошла до Оби, то есть не отмахала бы 150 верст по прямой...

Непонятно, как я смогла пройти через Большую Гарь?

Я слышала рассказы о Большой или Великой Гари. Это — что-то вроде легенды. Расскажу то, что знаю.

В начале прошлого века, сухим летом, случился пожар. Говорят, брат поджег избу родного брата из-за ревности, но погиб и сам, а участок тайги — 250 × 130 верст — полностью выгорел. То ли по причине «Каинова проклятия», то ли по какой иной причине, но ни лес на этом месте не возобновился, ни пни обгорелые не сгнили, а постепенно вся эта «гарь» превратилась в бескрайнюю трясину: 300 ручьев туда впадает и... ни одного не вытекает. А черные смолевые пни так и стоят поныне. И каждая группа пней похожа на людей, сцепившихся не на жизнь, а на смерть. Ни зверь туда не забежит, ни птица не залетит, а человеку там и подавно делать нечего. А если случайно кто и попадет, то... не вернется.

Но эти подробности узнала я значительно позже.

Впрочем, сказать могу лишь одно: шла я больше суток по шершавому льду и... вокруг меня двигались странные черные фигуры: не то звери, не то люди, но больше всего они напоминали борющихся голых негров.

Остановлюсь, гляну пристально — обгорелые деревья, пни, почерневшие сучья; двинусь — и они зашевелятся, сплетаясь руками и изгибаясь в бесшумной борьбе...

И еще казалось мне, что я — не одна: кто-то шел за мною и говорил мне что-то шепотом. Я знала, что это что-то для меня важное, но как только я напрягала внимание, переставала слышать этот шепот. Краем глаза я смутно видела расплывчатую фигуру, следовавшую за мной, но стоило мне резко обернуться, как все исчезало.

Казалось бы, можно с ума сойти от ужаса? Но мне нисколько не было страшно. Напротив, мне казалось, что я смотрю откуда-то со стороны на эту жалкую фигуру, которая бредет одна через Великую Гарь. Куда? Кто скажет — куда?

Я помню утро. Третье? Четвертое?

Бред покинул меня, и я впервые сознательно оглянулась вокруг.

Я вышла из лесу. Уже рассвело: было 10 ч. утра (часы — папины часы — мирно тикали за пазухой: завод у них был на неделю). Передо мной расстилалось... пустое пространство. Морозный туман. Густой иней превратил все в елочные украшения.

Что впереди? Поляна? Таких больших полян здесь нет... Озеро? Река? Безусловно — река: прибрежный тальник повален ледоходом, значит — река. Какая? Обь? Енисей? Сибирские реки текут на север; тальник повален вправо; я на правом берегу. Значит — Обь; будь Енисей — тальник был бы наклонен влево. Да, это — Обь!

Мне надо идти на юг. Значит, влево. Но сперва — перейти на тот берег, на левый.

Почему мне обязательно нужно перейти на левый берег?

Причин много: левый берег — выше правого, болотистого; идти мне придется не вдоль самого берега, а маленько отступя вглубь. Вдоль берега — населенные пункты и, следовательно, НКВД. Затем: такая река, как Обь, — препятствие, лучше, чтобы оно осталось позади, и, кроме того... Да что там хитрить! На этом берегу — Хохрин. С Богом! И я шагнула на лед.

Солнца не было видно, и вскоре берег скрылся в тумане. Не было ветра. Не было под снегом ледяных торосов. Никакого ориентира! Может, я иду вдоль реки? Может — кружусь?

Шаг за шагом, час за часом, и — ничего не видать! Белесая мгла. Жгучая, мучительная жажда. Последние силы тают. Скудные дары сердобольных женщин давно съедены. Даже не помню — когда. Жар, бред, которые меня подхлестывали, кончились. Остается лишь безграничная, бесконечная слабость. И... воля к жизни! А потому — продолжаю шагать.

Смеркается. Туман редеет. Появляются звезды и — берег. Высокий, будто реет в вышине. А по нему вьется дорога вниз на реку. Присматриваюсь: прорубь. Еще одна, и еще. Это — водопой...

Ура! Селенье близко! Я спасена!!!

Вот уже видны избы.

У прорубей я останавливаюсь. Лед разбит недавно, намерзший новый ледок тонок. Разбиваю его и пью.

Быстро из рюкзака извлекаю полосатую юбку и клетчатый платок. Юбку напяливаю поверх штанов, платок — поверх шапки.

Теперь — вперед.

О! Поскорее бы добраться до жилья, до тепла! Мне кажется, что я бегу. В действительности же я едва-едва плетусь. Подъем бесконечен. Скорее, скорее!

И вот я в деревне. Но... Домов не видно. Вдоль улицы — забор. Нет, не забор, а средневековый крепостной частокол. Ворота огромные, с крышей. В воротах — калитка. Возле ворот — колода со стесанным верхом.

Стучу в ворота. Яростный лай. Стучу еще. Пес лает, гремит цепью. Стучу, стучу, стучу...

— Это кто еще там?

— Впустите обогреться.

— Проваливай, откуда пришла!

— Я очень устала, озябла...

— Вот спущу пса, враз взбодришься!

Шаги удаляются. Пес продолжает заливаться. Псу простительно, на то он и пес...

Иду к следующим воротам. Повторяется тот же диалог. С тем же результатом.

8 изб в деревне, 8 ворот, 8 псов и... 8 бессердечных людей, способных прогнать от своего порога измученного странника, прогнать в морозную ночь. На страданье, на смерть. Обессилев, падаю на колоду у последних ворот. Дальше тайга. Холодная, безжалостная.

Отчаяние сжимает горло. И вспоминаются рассказы Афанасьева и многих других ссыльных. Говорили они о том, как многие из них пытались бежать из ссылки на родину... И сколько из них погибло: кто утонул в трясине, кто — с голоду сгинул, но хуже всего было встретиться с местными жителями из приобских деревень.

— Бездушные, жестокие живут там люди! — говорил Афанасьев. — Они охотились на людей, как на зверя: выслеживали, подстерегали, собаками травили. Кто им попадался, то, если бедный, — сдавали его властям, за них премию выплачивали. Но ежели, бедолага, при вещах, особенно если украинский кожух овечий, шапка смушковая или что из носильных вещей, то не было ему спасения: убивали. И не то чтобы их нужда заставляла...

Нет. Жили они зажиточно: лошадей, коров помногу держали, извозом промышляли, пушниной, опять же — рыбой. Они тогда, однако, единолично жили, но душа у них без жалости, звериная.

Тогда я слушала в пол-уха и не верила. А вот теперь мне одна дорога — в тайгу.

Я встала и шагнула в сторону тайги. Но что это? Там, где кончается забор, за околицей, как будто свет в лесу? Нет, это ближе. Вроде свет в окне?

Подхватив рюкзак, я опять набралась сил и зашагала.

Дом. На отшибе: ни забора, ни крытого двора. Маленький навес. Стожок сена. Даже собаки нет! Постучала в дверь и, не получив ответа, дернула. Дверь открылась, и я вошла в сени. Нащупала дверь, отворила ее и... замерла от удивления на пороге.

Ярко горели смолевые дрова в печи; то — желто-оранжевые, то — красные, почти бордовые блики перебегали по стенам и потолку, освещая довольно-таки странную группу в глубине просторной, почти пустой комнаты: на грубой, самодельной скамье сидела женщина, в руке — весы. Она не была похожа на Фемиду, потому что это были римские весы — с одной чашкой. Кроме того, на глазах не было повязки. Перед ней стояли три девочки-погодки. И выражение лиц, и сами их позы олицетворяли глубочайшее разочарование и даже отчаяние.

Взор мой упал на то, что было на чашке весов. А лежал на ней кусок хлеба. И он, словно магнит, заставил меня шагнуть вперед. Я вышла из темноты на середину комнаты, освещенную полыхавшим в печи пламенем.

Не успела я поздороваться, как женщина обратилась ко мне, будто мое присутствие было само собой разумеющимся:

— Вот, тетка, видишь: мы с мужиком оба работаем в лесу и получаем 800 граммов хлеба; они же, иждивенцы, получают по 200... Однако мы хлеб делим всем поровну! А они недовольны, хнычут: «мало, мол, хлеба нам даешь!» Так вот я отвешиваю им то, что положено: пусть поймут, что такое пайка!

Я слышала ее слова, но видела хлеб. Только хлеб. И чувствовала, что мне становится дурно, и я вот-вот упаду. Трясущимися руками я вытащила из-за пазухи деньги, замотанные в платок — мою последнюю получку, — 123 рубля, протянула их все женщине и, прошептав заплетающимся языком: «Продай мне хлеба!» — опустилась без сил на пол.

Очнулась я возле печки. Женщина поила меня кипятком.

— Хлеб — это жизнь. Моя и детей моих. Хлеба продать я не могу... Но у нас в леспромхозе пала от чесотки лошадь, и между рабочими поделили мясо. Вот мяса я тебе могу продать. И возьму только 1 рубль. Принеси ей, сынок, кусок мяса на рубль!

Тут я увидела, что в комнате было еще двое мальчишек. Один из них вышел и вскоре вернулся с куском почти черного мороженого мяса — граммов 400 — 500.

Должно быть, оно и без того было предельно жестким... и еще замороженное. Как смогла я его изгрызть? Откуда взялась сила в челюстях? Должно быть, и на самом деле существует «сила отчаяния»: в одном случае она помогает изнеженному Арамису приподнять своими тонкими руками каменную плиту, придавившую Портоса.., в другом — дает возможность сгрызть и разжевать такое мясо.

Затем, разомлев от еды и тепла, я свалилась там же, возле печки, прямо на пол и уснула тем самым сном, который недаром называется мертвым.

— Вам удивительно повезло, Фросинька! — сказал мне значительно позже — уже в 45-ом году — д-р Мардна, видный специалист-терапевт, — сырая кровь или сырое мясо, притом съеденное медленно, малыми порциями, это была единственная еда, которая не оказалась бы гибельной после такого продолжительного изнурения — голодом, морозом и переутомлением. Да, вам удивительно повезло в том, что первая пища была эта замороженная сырая конина.

И снова вспомнила я слова старика Кравченко: «...ой, и крепко же за тебя кто-то молится, Фрося!»

«Гора с горой не сходятся...» Парабель. Деловое предложение

Позволю себе отступление, которое лишний раз подтверждает давно доказанную истину, что мир тесен и в нем лишь гора с горой не сходятся, а люди...

Прошло свыше трех лет, стоивших добрых тридцати; за этот период мне пришлось во многих краях нашей необъятной страны тянуть черта за хвост... Но бывали и передышки.

Одной из таких (а вернее — единственной) передышек была моя работа в заполярном тюремном поселке, Норильске (произведенном затем post factum, в «город, построенный энтузиастами-комсомольцами»), в Центральной больнице лагеря, или, короче, в ЦБЛ.

Я работаю в хирургическом отделении. Вечер. Идет раздача лекарств и выполнение назначений вечернего обхода.

Я ношусь из конца в конец по коридору, из одной переполненной до отказа палаты в другую. И куда бы я ни направлялась, я чувствую на себе взор мальчика, лежащего на запасной койке, в коридоре у самого поворота лестницы.

Это — самое «беспокойное» место: ведь каждый, проходя, против воли задевает за койку. Обычно на это место кладут выздоравливающих, перед выпиской, а этот юноша, напротив, лишь сегодня утром был прооперирован в гнойном отделении. Я сама давала наркоз и знаю, что юноша, вернее, подросток, поступил из «штрафной командировки», печальной славы — Калларгона. Он — «членовредитель»: не выдержав нечеловеческих условий Калларгона, он вызвал глубокую флегмону правой ладони — то ли введя шприцем керосин (на Калларгоне были специалисты по такого рода мастыркам), то ли продернув иглой нитку, инфицированную «spiroheta bucalis» (для этого надо было, проснувшись, потереть нитку о зубы, покрывающиеся во время сна зловонным налетом, и, продернув ее сквозь ладонь, оставить там на полчаса или час; гной в подобной флегмоне был поразительно зловонным), а членовредителей, по распоряжению свыше, было велено класть на самые скверные места и давать самое плохое питание — стол № 15.

Мне становилось просто неудобно от его пристального взгляда, и я уже было собиралась спросить его, когда он сам обратился ко мне с вопросом:

— Сестра, ты в Нарге была?

Нарга... Да, это та самая неприветливая деревушка — первый встреченный мною после побега из ссылки населенный пункт, чуть было не ставший для меня и последним!

На меня будто вновь пахнуло тем смертельным отчаянием, которое я испытала, упав на колоду у последнего дома... Морозный туман, наступающая ночь и предчувствие вечной ночи, которая наступит, когда костлявая рука Смерти, тяжесть которой я уже чувствовала на своем плече, сожмет мое горло.

Да, это был он — тот мальчик, который принес мне кусок мерзлой конины, вернувшей меня к жизни, сын той женщины, в убогом доме которой я обогрелась и отдохнула.

В том доме я вернулась к жизни...

Он рассказал мне свою грустную, но, к сожалению, весьма заурядную для того времени историю.

Ему исполнилось 15 лет, и хотя по своему физическому развитию ему вряд ли можно было дать лет 13, его взяли в ФЗУ — или, проще сказать, послали на лесоповал — валить березу, из которой для нужд армии изготовляли лыжи. Он, как и многие другие ФЗУшники, не выдержал голода и самовольно вернулся домой, где сразу стал работать на лесоповале, там он просто в лепешку разбивался от усердия: тяжелый труд, холод и даже голод были все же не так страшны, когда рядом мать. От многих бед может укрыть мать, но перед беспощадным и по-нелепому жестоким законом она бессильна: всех детей, самовольно вернувшихся домой, заочно судили «по

Указу», и всем под одну гребенку влепили 8 лет Исправительных Трудовых Лагерей.

Исправительных (sic!) Трудовых (?) Лагерей... О них будет подробный разговор — это целый раздел в «моих университетах», а пока что скажу лишь одно: «исправляют» провинившихся главным образом при посредстве беспощадного голода.

Бедный преступник совершил еще одно преступление: он подделал талон на обед и таким путем закосил порцию баланды. Пойманный с поличным, нагрубил начальнику режима, и, для более полного «исправления», был направлен на Калларгон... а это почти наверняка — смерть... если не сумеешь стать уркой (урка, уркаган — отпетый преступник — уголовник — своего рода братство уголовных зверей, отбросивших все человеческое), который, губя менее приспособленных фраеров, сам выживает. Чтобы вырваться оттуда, есть три способа:

1. Убить кого-нибудь. Безразлично — кого. Лучше всего — фраера. Тогда — тюрьма, следствие и трафаретных 10 лет по ст. 136.

2. Заразиться сифилисом. Тогда отправляют на «спецлечение» на 102-й километр. Этот способ технически трудно осуществить: на Калларгоне нет женщин... а больных мужчин отсылают.

3. Сделать мастырку — искусственное увечье: флегмону, язву, костоеду, выжигают глаза химическим карандашом, отрубают себе пальцы, руки (помню случай: двое отрубили друг другу по одной ноге, то есть — ступни), суют ногу под поезд, отмораживают руки (перетягивают шпагатом, покрывают тряпкой и... мочатся на нее; на морозе она быстро отмерзает). Риск умереть от сепсиса велик, еще больше — остаться навсегда калекой, но все же это дает возможность попасть из Калларгона в ЦБЛ.

Я недоумевала: как это паренек смог в проворной медсестре в белом халате узнать ту страшную старуху в полосатой юбке и прожженной телогрейке?

«...По голосу... и — по походке», — был ответ.

Мне хотелось хоть чем-нибудь помочь пареньку. Но у меня ничего не было. Я дала ему свой ужин: 2 ложки пшенной каши, черпак супа и стакан кипятка, забеленного сгущенным молоком, — это было все. Утром, получив свою пайку и выпросив у врачей их объедки, я понесла все это в больницу.

Увы, парня я не застала: выписывали больных обычно часам к 10-ти, но для членовредителя сделали исключение... и отправили его вне очереди с попутным конвоем.

Так я ничем, абсолютно ничем не сумела отплатить за добро, сделанное мне матерью этого мальчика. Я даже не узнала его фамилию. Единственное, что мне запомнилось, это название поселка: Нарга. Кажется, по-тунгусски это — «кладбище».

— Вот, идя по этой дороге, попадешь в Парабель! Там в воскресенье будет ярмарка, — напутствовала меня эта добрая женщина. На рассвете, собираясь с обоими мальчиками на работу, она дала мне пригоршню картофельной кожуры и один турнепс. (Турнепс — овощ, до того мною не виденный: с виду — редька; вкусом — репа или брюква, но более водянистая.) Сварив и съев все это, вышла я в морозный рассвет. Тело ныло от усталости, голова кружилась, под ложечкой сосало от голода, но... настроение было бодрое. Позади — Обь, впереди — Парабель. Странное имя! Кто его придумал! Имеет ли оно отношение к «Парабеллуму»? Или к изречению «Sivis pacem — para bellum» (хочешь мира — готовься к войне)? Или это немецкое «Parabel» — притча?

Все равно: там будет ярмарка, будут какие-нибудь продукты — молоко, сыр, мясо, рыба...

Днем ярко светило солнце, и я хорошо отдохнула в снегу у стожка льна и почти всю ночь шагала по дороге, изредка сверяясь со звездами. Помогала мне бороться с усталостью мысль о том, что я куплю на ярмарке.

Но вот, наконец, и Парабель!

Ничего не скажешь: большое село, и когда-то, наверное, богатое. Дома — полутораэтажные, с галерейкой и балкончиком. Много деревянных

резных украшений. Просторные дворы, красивые ограды, тротуары из досок. На окнах — герань, фукаш, занавесочки. Прямая улица — Базарная. А вот и ярмарка — большое огороженное место с рундуками. Но... Чем же тут торгуют?!

У рундуков стоят и сидят старушки, старички. Перед ними аккуратно разложены какие-то конфеты, вроде ирисок, коричневые, зеленоватые, желтые...

— Почем это?.. — спрашиваю я нерешительно, в надежде, что из ответа пойму, что это за товар?

— Бери, красотка, бери, родимая! Не пожалеешь: сера — самая лучшая, лиственничная!

Я отпрянула, будто щелчок в нос получила. Сера! Если есть что-нибудь, способное вызвать у меня отвращение, то это — сибирская манера жевать лиственничную смолу — серу!

Ее жевали поголовно все. И не только жевали, но чавкали и щелкали. Говорят, это помогало бороться с мучениями голода. Но до чего удручающе было видеть, как женщины сидят на завалинке и, жмурясь, пригретые солнцем, дружно и молча жуют.

Я не стану подробно описывать день за днем, шаг за шагом свое путешествие; как воздушный пузырь со дна подымается на поверхность, так и я инстинктивно стремилась на юг. Не было у меня плана, не было цели; был инстинкт самосохранения и непрерывная борьба за жизнь: надо было не замерзнуть, не умереть с голоду и не свалиться без сил. Голод, холод и усталость долгое время были моими постоянными спутниками.

Тайга — не московский перекресток: «проходите» — такая редкость, что при встрече, несмотря на угрюмость и нелюдимость сибиряков, никто не проходит мимо, не поздоровавшись, так что я не удивилась, когда однажды обогнавший меня старик приветствовал:

— Будь здорова, тетка!

Единственное, что меня несколько удивило, то, что дед, которому было никак не меньше, а то и больше 65-ти, обратился ко мне (а было мне 33 года) — «тетка». «Боже мой, во что я превратилась, раз такой старик зовет меня «теткой»! А ведь еще так недавно — всего несколько месяцев тому назад — никто не давал мне больше 18-ти — 20-ти! Но ответила я честь по чести:

— Спасибо на добром слове! Будь здоров и ты!..

— Куда идешь, тетка?

— Вперед...

— Так вот, если не спешишь, то послушай. Я на один глаз слеп, да и нога с германской еще войны не гнется. Но главное в том, что сторож я круглосуточный. Сам никуда отлучиться не могу, а весна — не за горами, того и гляди — без дров на лето останусь.

Из дальнейшего я поняла следующее: в их поселке — не ссыльные, а «вольные»; следовательно — военнообязанные, и все трудоспособное население мобилизовано: мужчины — в армии, бабы — на лесоповале. А места кругом болотистые: зимой санями проедешь, а летом — знай с кочки на кочку перескакивай!

— Дам я тебе кобылу с санями да внучку Нюрку 9-ти лет. Она тебе покажет, где сухостоины смолевки. Лучковой пилой работать умеешь?

— А то как же? Разумеется!

— Ну вот и ладно! Заготовь ты мне дровишек хоть кубометра три! Я накормлю тебя и по 8 рублей за кубометр заплачу. Хлеба — не обещаю, а картошки дам.

И вот — я за работой. Кобыла почтенного возраста (я не встречала более колченогой и лопоухой лошади!) мирно дремлет; спит, свернувшись калачиком и укутавшись дерюгой и... моей полосатой юбкой, сопливая золотушная девчушка; свистит в моих руках пила, стучит топор, и весело мне работается: нет надо мной Хохрина!

Впереди — бесконечная, холодная тайга — ни крова, ни хлеба, но... я поела печеной картошки и работаю, не надрываясь, в меру сил: гнет Хохрина далеко!

И вот я снова шагаю. Дед остался доволен: я наготовила не три ку-

бометра, а добрых пять, а посчитала за три. 24 рубля, и, что самое главное, он меня накормил и дал на дорогу торбу сушеной картошки. (Сибирский рецепт: мелкая картошка отваривается в мундирах, очищается и — в нежаркую печь. Получается нечто невероятно твердое, но съедобное: одной картофелины величиной в лесной фундук хватает на 2 километра пути!)

Этот опыт я учла и нередко пользовалась им, но только в селениях, отстоящих подальше от Оби, — километрах в 60—100; ближе было опасно: в густо населенных прибрежных местностях (там, где от села до села верст 30—40) люди подозрительны и жадны. Мимо таких селений лучше прошмыгнуть, не останавливаясь и ни о чем не расспрашивая.

Но пока что я шла по такой глухомани, где по двое-трое суток можно было не встретить жилья. Дорога, занесенная снегом, скорее угадывалась, чем прощупывалась, и порой оканчивалась в тупике... у навеса для сена, которое косили по полянам и свозили под такие навесы. Некоторые поляны засевались овсом, и тогда можно было неплохо переночевать в остатках соломы.

Среди своих. НКВД не велит. Странная «трапеза»

Солнце заходило, когда еле заметная тропа вывела меня на укатанную дорогу и за вершинами берез я увидела крыши, над которыми так заманчиво вились дымки. Я замедлила шаги и огляделась вокруг: стоит проситься на ночлег или, может, подыскать подходящую ригу? Поселок, кажется, большой, и там, должно быть, крупные шишки из НКВД? А еды все равно не купишь, на ночь глядя. Утром за картошку скорее найдешь работу. Однако мороз крепчал и к ночи мог дойти градусов до 20-ти и более.

И вот, когда я колебалась, вдруг взор мой упал на выцветший транспарант, на котором было написано: «Колхоз имени Ворошилова».

Много колхозов было посвящено Ворошилову, но мне почему-то показалось, что это — тот самый «колхоз имени Ворошилова», куда направили, сняв с баржи, большую группу моих земляков из Сорок, в том числе и агронома Сырбуленко с семьей, — моих хороших знакомых.

— Живут здесь в вашем колхозе бессарабцы? — спросила я, зайдя в первый попавшийся дом.

— Живут бездельники. Но не в колхозе, а вон там, за околицей, на опушке леса, в сарае.

Действительно, в стороне от дороги за поскотиной виднелся полуразвалившийся сарай.

Так, совершенно случайно, я очутилась среди своих земляков. Выяснилось, что была Страстная Суббота, и я смогла встретить Пасху среди «своих». Но, Боже, что это была за печальная Пасхальная ночь!

Собрались все проживающие там бессарабцы — 32 человека, считая и детей, но вскоре они разошлись по своим нарам, чтобы успеть заснуть, пока еще не выветрилось тепло от скоро остывающей буржуйки, и мы — семья Сырбуленко и я — остались одни.

Это были они... и не они. Я не узнавала радушную жизнерадостную хозяюшку, вечно напевавшую веселые песенки; в притихших и напуганных мальчиках, робко жавшихся к отцу, я никак не могла признать «докторов Фаустов», говорящих хором и ставивших самые немыслимые пиротехнические и химические опыты, но тяжелее всего было смотреть на самого Гришу Сырбуленко: он ли это — тот веселый, остроумный собеседник, начиненный шутками и анекдотами? Нет! Этот постаревший, убитый горем, какой-то растерянный человек, поминутно хватающийся за голову? Нет, этот мне незнаком абсолютно...

— Скажите, Ефросиния Антоновна, разве это и есть та советская власть, за которую я так страстно ратовал? Во имя которой я боролся? Нет, о нет!.. Произошла какая-то ужасная ошибка. Надеюсь, что когда-нибудь люди это поймут, но я... до этого не доживу...

Дети вздрагивали и жались к отцу. Жена пыталась поднять настроение.

— Вы знаете, Фрося, ведь сегодня — Пасхальная ночь! И мы с вами разговеемся... Увы! Единственное, что у нас есть, это две картофелины и горсть дробленой пшеницы.

Пока поспевало это «пасхальное блюдо», мы сидели и тихо разговаривали. Кругом все спали: ведь голод легче переносится во сне...

Я вспомнила, что прошлую Пасхальную ночь я провела одна на папиной могиле. Было сыро, пахло прелым летом, я сидела, обхватив руками крест. До меня доносился колокольный звон, и я, поцеловав крест, прошептала «Христос Воскресе!» и затем повернулась лицом к западу — туда, где была моя мать, и повторила это древнее, обнадеживающее приветствие: «Христос Воскресе!».

Думала ли я тогда о том, где я буду через год? Нет! Тогда я вспомнила прошлую Пасху — тревожной весны 1940 года, когда мы опасались войны с Венгрией.

Будущее всегда оказывается далеко не таким, каким мы его себе представляем!

— А вот и угощение! — сказала Феня Сырбуленко, подавая на стол (деревянный ящик) жидкую, мутную, но такую вкусную похлебку.

Судя по тому, с какой жадностью принялись за нее ребята, видно было, что не я одна оценила по заслугам этот «рататуй»...

И вот мы с Григорием одни: дети и жена спят. Я, разомлев от тепла (тепло — весьма условное: в действительности в сарае очень холодно), ужасно хочу спать, но мне бесконечно жаль Сырбуленко, и я сочувственно слушаю его слова, похожие на бред:

— ...Я знаю, что скоро — очень скоро — умру; стоит мне уснуть, как начинает сниться одно и то же. Будто я проваливаюсь в яму или подвал. И на меня обрушиваются доски и сыплется земля. Проснусь, а в ногах у меня сидит белая фигура. Это Смерть за мной приходит.

Через год в КПЗ, где я находилась, втолкнули некую Кристолюк (она ходила из села в село и гадала, пока не заработала 10 лет по ст. 58-10). В ту Пасхальную ночь она была с сестрой и племянницей в том же бараке. Она и рассказала мне, что вскоре Сырбуленко заболел тифом и умер. Феня лежала больная, и бедные дети потащили тело отца на саночках на кладбище, но вырыть могилу не смогли.

Видно, и впрямь Смерть приходила за ним, как она обязательно приходит за теми, кто позволяет тяжелым мыслям одержать верх над волей к жизни.

Так провела я Пасхальную ночь у земляков, и наутро, распрощавшись, пошла дальше.

Я потеряла счет дням, числам. Местность изменилась: чаще попадались села (в 10—20 домов), больше распаханных полян, меньше трясин, болот.

Однажды к вечеру меня застал буран. Снег засыпал тропу, и я шла с трудом, прикидывая в уме, хватит ли у меня сил брести всю ночь до утра или я замерзну? Может, нарубить тесаком лапник, сделать шалаш — пусть заметет его снегом?

А пока что шла и шла...

Вдруг передо мной открылась поляна, а на ней навес, под которым, должно быть, молотили овес — оставалось там еще изрядно соломы...

Это — спасение! И я нырнула под навес. Но что это? Свежий след саней! Кто-то совсем недавно выехал отсюда. Если едет, на ночь глядя, значит — жилье близко. Рискну пойти по следу, пока он не заметен. Так хочется переждать этот буран под крышей, в тепле! Тут, положим, тоже крыша, но... на 4-х столбах, и ветер гуляет под ними по-хозяйски.

Я не ошиблась: очень скоро зачернела поскотина с воротами, а вот — плетень; за ним — стог сена, а дальше — изба. Большая, пятистенная. Так приветливо светится окошко!

Я вошла в просторную горницу, поздоровалась и попросилась переночевать.

Встретили меня угрюмо, но не прогнали. Женщина указала место на полу, возле печи. Я расположилась, и приятное тепло начало проникать

в озябшее, усталое тело. Даже голод показался мне не таким мучительным: я ведь могла согреться.

Уже сон начинал меня осиливать, и я погрузилась в то блаженное чувство покоя, которое предшествует сну, когда услышала шепот:

— ...выйди тихонько... дай знать... захватят сонную,— долетело до меня... и вмиг сна как не бывало!

Я лежала, прислушиваясь: вот парень вышел — за ним стукнула дверь... Вот он уже за воротами. Кого он позовет? Сколько их придет? Когда?

Медлить нельзя. Вот женщина зашла за перегородку. Скомкав одеяло, я подхватила рюкзак и неслышно метнулась в сени. Судорожно нащупала деревянный засов с веревочкой, распахнула дверь.

Ветер швырнул еще в лицо пригоршню снега и завыл насмешливо: «Сибирское гостеприимство». Дрожа, стою на улице, прислонясь к плетню. В каждом доме светятся огоньки. Но... все эти освещенные окошки не кажутся мне больше приветливыми.

Ветер рвал из рук одеяло, которое я так и не успела сложить...

Тяжело, горько было расстаться с мыслью о тепле, о жарко натопленной печке, и я решила опять попытать счастье и постучалась еще в одну дверь.

Дверь была на запоре. Я слышала, что кто-то зашел в сени, но стоит за дверью и прислушивается.

Я постучала сильнее. Молчание. Тогда я сказала:

— Впустите, ради Бога, обогреться! Я одна и сбилась с пути. Впустите переночевать...

— Ступай своей дорогой! — ответил мальчишеский, ломающийся голос.

— Буран, дороги не видать... И — уже ночь... Скажи отцу... Он впустит. Не замерзать же человеку...

— Тятя — в бане. Но и он не впустит. Не велено пускать! Много разных дезертиров нонче шляется. Приказано всех в НКВД сдавать!

Так вот оно что! Ну, раз НКВД занялось перевоспитанием сибиряков, то успех обеспечен: их методы воспитания действуют безотказно — это я интуитивно чувствовала, хотя лишь значительно позже испытала на себе весь ужас этих методов...

Я повернулась и пошла вдоль улицы. Я не заглядывалась на освещенные окна: за ними не было человеческого тепла, а лишь страх и подозрительность. Подозрительность и страх. Одно порождает другое.

Наконец я увидела то, что хотела: скирду соломы. Перемахнув через плетень, по пояс в снегу добралась до скирды, отгребла снег и принялась за дело. К счастью, солома была еще не слежавшаяся, и я смогла сделать нишу, куда заползла задом, заложив вход рюкзаком. Снаружи бесновалась непогода, но скирда была более гостеприимна, чем люди, и я спокойно уснула.

Когда утром я осторожно высунула голову из своего «тайника», то мне пришлось зажмуриться: солнце стояло уже высоко, было ясно и тихо, но свежевыпавший снег сверкал буквально ослепительно!

Оказывается, накануне я прошла через всю деревню — почти до самой околицы: один-два дома, сарай, пара стожков сена — и все. Передо мной замерзшее озеро: местами сквозь снег синеет лед; дальше — поляны, очевидно, распаханные, и вдали до самого горизонта — лес.

Пока я разглядывала эту мирную картину, послышалось конское ржание, и, прокладывая путь сквозь сугробы, резво промчался на водопой табунок лошадей. В первый (и последний) раз видела я сытых, ухоженных лошадей, и сердце защемило сладкой тоской, которую я всегда испытываю, глядя на лошадей...

Сколько воспоминаний, сколько родных картин пронеслось перед моим умственным взором! Вот кобылица пьет воду, изредка поглядывая на жеребенка, который усердно сосет, изогнув шейку и помахивая султанчиком-хвостом; вот крупный жеребец деловито оглядывает свой табун... На фоне яркого снега все они мне кажутся темно-карими или вороными.

Я решительно выкарабкиваюсь, привожу себя и свой «багаж» в порядок и смело плыву по пояс в снегу к воротам: люди, которые так хорошо ухаживают за лошадьми, не могут быть все без исключения злыми. Мне не холодно. Мороз не велик, но ох до чего же я голодна!

На улице (вернее — дороге) ни следа. Удивляюсь, вчера допоздна всюду горел свет, а сегодня солнце уже вон где, а люди спят.

Подхожу к последнему дому. Все указывает на то, что дом строил «хозяин» — и строил не только для себя, а для сыновей, внуков... Бревна кондовые — одно к одному, ладно подогнанные; крыша крутая, высокая; коньки, наличники, ставни — нарядные, резные; окна — большие. Пристройки тоже добротные, но... пустые, и крытый двор, видно, разобран.

Я еще не научилась с первого взгляда читать историю (или, как теперь говорят, автобиографию) хозяина, глядя на его жилье, и потому остановилась, с удивлением разглядывая это несоответствие: хозяйский дом и бесхозяйственность вокруг дома.

Пока я разглядывала жилище, дверь скрипнула, и на пороге появился пожилой, но еще не седой, стройный, суховатый мужик с длинной козлиной бородой.

Не успела я и рта открыть — попроситься в дом, как он поклонился мне сам и со словами:

— Входи, прохожая, гостьей будешь! — посторонился, пропуская меня вовнутрь.

Не веря ни глазам, ни ушам, я робко вошла. Хозяин провел меня в обширное помещение, где возле печи хлопотали старуха и две бабы помоложе, должно быть, снохи.

— Садись, погрейся, а я еще кого-нибудь позову: трое сынов у меня в солдатах — на фронте, вот нас и не хватает к столу.

Я ничего не понимала.

Он вышел, но вскоре вернулся.

— Что-то нет никого, — сказал он вполголоса.

— Сходи, покличь кого победнее, — посоветовала жена.

— Не то, лучше, когда бы сами подошли.

Заметив мое удивление, он усмехнулся и объяснил:

— Сегодня — Пасха. Пасха блаженных, то есть Красная Горка, как еще говорят. А у нас, у латтальцев, такой обычай: к столу должны садиться не меньше 12-ти человек — и тогда Христос будет с нами.

Он еще раз усмехнулся и добавил:

— Зовут меня Климентий Петрус Ким. Родом я из Латвии. В 905-м году за первую революцию боролся; в 907-м сюда за то попал. Работал. Своими руками избу срубил, детей вырастил, хозяйство на ноги поставил. Все было... А теперь — сыновья... Бог знает, вернутся ли! Снохи, внуки... Нелегко без хозяйства жить! Но — не жалуемся и свой обычай чтим: и в этот день за стол нас сядет 12.

С этими словами он вышел.

Вскоре он вернулся, приведя с собой двух растерянных парнишек-дроворубов, они, как объяснил хозяин, сироты и ходят по дворам — дрова колют.

Чинно, не торопясь, хозяин указал каждому на место за столом. Затем, взявши в руки толстую восковую свечу — такую, что в старину называли «венчальной», — он засветил ее от лампады, горевшей перед иконой (должна сказать, что икона была явно католической и изображала святую Цецилию с лилией в руке... и с богатым ожерельем на шее). Эту свечу он торжественно воткнул в макитру, наполненную отборной пшеницей. Затем, стоя и опираясь руками о стол, проговорил не то молитву, не то поучение, смысл которого был, насколько мне помнится, такой:

— Пшеница — это награда человеку за его труд, хлеб наш насущный, дарованный Богом; свеча — из воска, собранного безвестной труженицей-пчелой во славу Божию, и пламя свечи — символ того огненного языка, сошедшего с небес на учеников Христовых как благословение Господа нашего на жизнь праведну, во славу Его!

Затем он сел. Ни он, ни члены его семьи не крестились, садясь за стол. К какой вере или секте принадлежал этот «старый революционер», я не знаю...

Прежде всего хозяйка подала на стол глиняные миски с медом, разведенным водой, и все стали крошить в это сусло белые, тонкие и сухие буб-

лики домашней выпечки и по двое черпать их из миски. (Я оказалась в паре с хозяином.) Как давно я не пробовала ничего сладкого! Но из печи тянуло ароматом жирной свинины, капусты, жареного сала с луком. Можно ли словами описать все эти ароматы?

И это — после стольких месяцев изнуряющего голода! Но вот хозяйка ухватом извлекла из печи огромный чугун со щами и разлила его по глубоким мискам. Щи из свиной головы были такие наваристые, что можно было умереть от восторга, лишь понюхав их! Пока мы хлебали щи с хлебом (хлеб, нарезанный толстыми краюхами, высился горкой возле меня), хозяйка подала на деревянном блюде разделанную на куски жирную свинину и поставила на стол несколько солонок с солью и сырые очищенные луковицы. А краем глаза я уже видела глубокую сковородку, в которой шкворчала картошка, жаренная со свининой и луком.

Разве может с этим сравниться нектар и амброзия, которыми питались небожители?!

Но увы! Этой «амброзией» с жареным луком так и не удалось насладиться... На меня вдруг напала внезапная слабость: перед глазами все поплыло, голова закружилась... Неимоверным усилием я удержалась, не свалилась с лавки. Я слышала, как ложка упала на пол; мне хотелось крикнуть: «нет! я хочу жареной картошки!», но поняла что больше всего хочу спать и сейчас усну.

Помню, пробормотала: «спасибо... я не могу... я хочу спать...»

Кто мне помог выйти из-за стола? Кто отвел меня в горницу? Этого я не помню.

Проснулась, когда уже вечерело. Я лежала на полу, на войлочном коврике, и надо мной висели связки лука. Первое, что я почувствовала, это — блаженное ощущение тепла; второе — запах лука и тогда... Тогда словно каленым железом меня обожгла мысль: могла бы поесть вареного мяса и жареной картошки с салом, а я... уснула!

Ой, до чего мне было обидно!

Очевидно, такая уж моя судьба: мне всегда не везет... к моему же счастью. Тогда я не поняла: отчего, поев жирной пищи, я вдруг опьянела?

Впоследствии доктор Мардна мне объяснил: мой организм и, в частности, органы кровообращения, приспособились к режиму крайнего голода, и стоило мне поесть питательной пищи, пусть в малом количестве, как вся кровь прилила к органам пищеварения, что вызвало резкое малокровие мозга и привело к обморочному состоянию, перешедшему в сон, так как усталость у меня была тоже предельная.

«Колхоз имени Некрасова». Мертвая деревня. Дивная музыка

Этот буран, надувший столько рыхлого снега, заставил меня пренебречь осторожностью и придерживаться дорог, а не проселков и лесных троп. А накатанная дорога, хоть ходить по ней и легче, но... привести она может туда, куда вовсе не рассчитываешь попасть!

В этом я убедилась, когда какой-то «уполномоченный» потребовал от меня документов, и за неимением таковых, доставил меня в сельсовет.

Первое, на что я обратила внимание, это силосные ямы: от них до того воняло, что я от души пожалела тот скот, который вынужден питаться такой отравой!

Второе, это название колхоза: «Колхоз имени Некрасова». Того Некрасова, который всегда заступался за обездоленных. Уж со мной он бы не обошелся так враждебно!

Третье...

Ну, третье было уже в самом здании сельсовета или правлении колхоза — этого я не разобрала. Видела я только одно: в просторной, побеленной мелом комнате — стол, покрытый красным сукном. На стенах — воинственные лозунги и портреты.

Всего «иконостаса» я в ту пору не знала; но достаточно было узнать

усатую физиономию рокового грузина, кошачью улыбку Молотова и признанного иезуита Берию, чтобы догадаться, что я попала в скверную компанию.

У людей, строго и чопорно восседающих вокруг стола, взгляд был мало обнадеживающий.

Вопрос был поставлен прямо:

— Кто вы? Откуда и куда идете? Отчего нет бумаг?

Ответила я без обиняков: и кто я, и откуда; отчего попала в ссылку — сама не слишком понимаю, а почему бежала оттуда — это легко понять...

Строгие и чопорные люди переглядываются. Портреты со стен смотрят грозно.

Ожиданье становится тягостным.

Тот, что в центре, встает.

— Вот что, тетка, — говорит он, — все это нам знакомо. Все мы — такие же ссыльные, и в свое время редко, чтоб не пытались бежать... Ступай своей дорогой, тетка! Ступай! Только смотри, не попадайся...

Подхватываю рюкзак, говорю от всей души: «спасибо вам» — и направляюсь к двери.

На портреты я не смотрю. Почему-то хочется им «натянуть нос».

Не всякий совет, данный с добрым намерением, — добрый совет.

Мы сидим в пустой горнице полуразвалившегося дома. В этом доме, должно быть, жутко во время ледохода: он стоит на самом берегу Оби, и река, размывая из года в год берег, подобралась вплотную.

В горнице невероятно холодно: под гулкими досками пола — пустота, и в давно не конопаченных стенах — щели.

Убранство комнаты говорит само за себя: палата, буржуйка, стол, пара лавок и в углу гора того хлама, который сам собой собирается в жилище одинокого старика: куча истлевших сетей, недоплетенные корзины, рассохшиеся кадушки и прочий, никому не нужный хлам, который вполне гармонирует с тоже никому не нужным, отжившим свой век стариком.

Мы сидим за столом и пьем чай.

«Чай», разумеется, название вполне условное, это — густо заваренная настойка из иван-чая и брусничного листа. И пьем мы ее не вприкуску, не внакладку и даже... не вприглядку. О сахаре, разумеется, речи быть не может. А «прикусываем»... моченой брусникой, невероятно кислой, но ароматной. Время от времени дед вылавливает для себя и для меня несколько ягод из туеска.

Но если чай не настоящий, то самовар — всамделишный, медный, в потеках ярь-медянки и накипи, с погнутым краном, помятым боком, способный долго-долго петь свою песенку.

И сам дед, лысенький, с седым пухом над ушами и седой пушистой бородой, замечательно гармонирует и с помятым самоваром, и полуразвалившимися кадушками, и с полуистлевшим хламом. И вместе с тем чем-то напоминает Николу Чудотворца.

— Нет, милая! — говорит он. — Нет, от станка к станку, вдоль Оби, ты не пройдешь. Раз тебя отпустят, два отпустят, ну, от силы — три... А как попадешь ты этакому безбожнику (а их — ох, как много!), то и быть тебе опять у того же Хохлика или как там его, анафему, звать-то?!

А ты подайся туда, где люди еще страха Божиего не забыли. Я тебя научу! И я здесь всю Сибирь-Матушку знаю — во как! С покойным родителем, Царство ему Небесное, я в обозе ходил и в Иркутск, и в Челябинск — было это еще до гражданской войны. Затем сам извозом промышлял — в Алтай ходил, в Семиречье — хлеб возил, рыбу соленую, а потом — ям держал здесь на Оби. Уж здешние края никто так, как я, не знает. Не смотри, что теперь я нищ и убог, не годы, а злоба антихристова меня к земле пригнула... Теперь уж мне крыльев не расправить! А летывал, бывало, в такие края, куда и волку путь заказан, и лишь орлу доступ есть!

Так вот слушай. Иди ты отсюда до деревни Воробьихи. Пройдя ее, поверни направо и иди вверх по реке Воробейке. Будет много мелких притоков, ты их минуешь, а когда дойдешь до слияния двух одинаковых речушек, ступай вверх по левой, южной. Там — дорога, и ты по ней дойдешь

до деревни Сидоровка. Там расспросишь, как дойти до Измайлова-Петрова. А на всякий случай скажу тебе: дорога проходит по-над Сидоровкой по южной околице — и прямо на заход солнца. Пересекает она одну за другой дюжину полян. Верстах в 20-ти найдешь охотничий домик: там всегда есть спички, соль и запас сухих дров. Оттуда Измайлово-Петрово близко, но к югу; ты же иди по тропе на запад и дойдешь до скита. Живут там староверы. Они живут вдали от мирских треволнений, почитают лишь Господа Бога и ни до кого им дела нет, и советская власть их не трогает. Прохожему, который их о помощи попросит, во имя Божие, они не откажут. Так направят они тебя от скита до скита, пока не выйдешь ты к самому Омску.

...Всегда поверишь тому, чему хочется верить, и вот я с тремя репами, брюквой и пригоршней сушеной картошки смело шагаю вверх по речушке Воробейке. Дорога хорошо видна, но... нет на ней ни следа, ни намека на след. И сама дорога заросла «частым ельничком — горьким осинничком». Удивительно! Может, люди не пользуются этой дорогой, проложенной по косогору? Может, они ездят напрямик?

На второй день к вечеру я добралась до Сидоровки. Деревня открылась мне внезапно. Ничего не предвещало близости жилья: ни лай собак, ни пенье петуха, ни следы санные и пешие, ни столь приятный запах дымка. Просто я вышла на поляну — прямо к поскотине — и увидела в долине, окруженной лесом, десятка два дворов.

Сердце у меня упало: как будто спешишь навстречу с живым человеком, а застаешь его — в гробу. Нет, хуже: как будто нужно самому лечь в гроб.

Солнце садилось. Холмы были окрашены розовым светом, а в долинах залегли голубые и лиловые тени, но, заслонившись ладонью от солнца, тщетно я искала розовых столбов дыма над крышами домов. И на душу упала глубокая черная тень.

Ни на одном оконном стекле не отразился отблеск вечерней зари. Окна и двери чернели, как пустые глазницы черепа.

Но я не хотела верить глазам, мне надо было пощупать руками. И я побрела через сугробы вниз в деревню.

Ближний осмотр лишь подтвердил мою догадку: деревня пуста — жители ее покинули. Почему-то пришла на ум «Семья Вурдалака» Алексея Толстого. Но нет! «Вурдалаки» переселились в могилы... но они не унесли с собой ни дверей, ни окон. Если в этом и замешаны упыри-кровопийцы, то — не те, что в могилах. И осиновый кол тут не поможет! Мне стало жутко при мысли о ночлеге в этом мертвом селении. Но... выбирать было не из чего, и я расположилась в одном из пустых домов и даже развела огонь в разрушенном очаге (благо была целая поленница сухих дров). Холодно мне не было, но «мороз подирал по шкуре» в предчувствии чего-то недоброго.

Казалось бы, все ясно: надо возвращаться, пока не поздно: нет жизни в деревнях, значит нет ее и в скитах; с брюквой и горстью картошки по бездорожью, тайгой немыслимо пройти те 800 верст, о которых говорил дед.

Но утром... я шагала на запад — бесконечной цепью полян. Переночевав в охотничьем домике (в котором обещанных спичек, соли и дров, разумеется, и в помине не было), я повернула прямо на запад, по еле заметной и уже почти заросшей просеке.

Чувствовалось приближение весны: днем снег оседал, а ночью наст был настолько тверд, что выдерживал тяжесть человека, так что я высыпалась днем у корней гигантской сосны, против солнышка, а ночью шагала, сверяясь по звездам.

Дед не ошибся: просека привела меня к скиту или, вернее, к тому, что было когда-то скитом. Вал, увенчанный частоколом, ворота с покосившимся крестом указывали, что здесь действительно спасались пустынники, но о том, что они, в конечном счете, все равно не спаслись, свидетельствовала груда обгорелых бревен — огромных, лиственничных, которые горят неохотно и почти не подвержены гниению.

Наверное, лет 10, а то и больше прошло с тех пор, как скит опустел. Куда делись пустынники? Они его покинули... не все и — не сразу: об этом говорили покосившиеся кресты.

«...Не скажет ни камень, ни крест», — подумала я, вздрогнув: у меня — только одна репка, впереди свыше ста верст по бездорожью, зима, тайга и сил почти нет.

Я уселась на бревно и задумалась.

«Эх, дед, дед! Здорово подвел ты меня: желаемое выдал за реальное, а я теперь в безвыходном положении. Впрочем, я ведь тоже желаемое приняла за реальное. Ну, а чтобы умереть без борьбы — это уж дудки!»

И вот я шагаю назад к охотничьей сторожке. Съедена последняя репка и немного брусники, на которую меня навели какие-то пичуги-лакомки: на гриве, в сосняке, ее легко можно было добыть из-под снега.

Куда теперь? Назад, на Сидоровку-Воробьиху? Дойду ли? Или — на юг, на Измайлово-Петрово? Может, туда и переселились люди из Сидоровки? Должно быть, так оно и есть... Айда на юг!

Еще издали мне стало ясно: Измайлово-Петрово так же мертво, как и Сидоровка.

Я не стала туда заходить, а уселась на поваленную ель и призадумалась. Последняя моя надежда рухнула.

А не попробовать ли... на юг, параллельно Оби? Это — рискованно, однако... Я пересекала много речушек, текущих на юг, значит там — какая-то крупная речка, приток Оби. Я абсолютно не знаю географии здешних мест! Увы, с тех пор, как, проходя программу третьего класса, «сдавала» Сибирь, я, наверное, ни разу не взглянула на карту этих мест. Меня интересовали Амазонка и Ориноко, Анды и Пиренеи; я мечтала побывать в Норвежских фьордах и на Балканах, но Томская губерния, вся заштрихованная болотами, не вызывала к себе интереса. Все же я догадывалась: если будет река, то будут и селения.

А если не будет?

Ну что ж: двум смертям — не бывать... Иду на юг. Тем более, что по реке идти легче: это я уже проверила на опыте!

Но — чур! Опыт необходимо расширять. Появилось непредвиденное обстоятельство: на льду полыньи. Хотя еще оттепель не наступила, но из болот и зыбунов сочится вода и местами лед синий, рыхлый. Может — источники? Неважно! Но нужна осторожность!

Только бы не отступить, не сдаться... Упрямство, говорят, необходимо на войне. Но, разве у меня недостаточно упрямства? Меня всегда попрекали этим пороком.

О, порок! Помоги там, где добродетель бессильна!

Все на свете — относительно. И порой коровье мычание может показаться небесной музыкой: оно вдохновляет, придает силы и энергию, призывает к борьбе и ведет к победе...

Можно ли требовать большего... даже от Орфея?!

Я иду. Сбиваюсь с пути. Вновь его нахожу, отчаиваюсь и вновь обретаю надежду. Теряю силы, но все же иду.

Затрудняюсь теперь сказать, сколько дней (вернее, суток) продолжалось это испытание.

Бесчисленные речушки извивались, текли не туда, куда надо, терялись в болотах или заводили в зыбуны, но я упорно брела на юг: по звездам, по солнцу, по вдохновению.

Упорством можно многого добиться: можно победить голод, усталость, страх. Но нельзя победить Смерть. А эта беспощадная компаньонка моих скитаний, повсюду следовавшая по пятам за своей жертвой, вновь приблизилась ко мне и зашагала со мной в ногу. И шаги мои замедлились, ноги чаще стали заплетаться. Все труднее стало вытаскивать их из снега, или из валежника. Чаще пришлось садиться, отдыхать и все труднее вставать после отдыха.

Но вот настал вечер, когда отчаяние закралось в душу и силы пришли к концу.

Тоненький серп народившегося месяца не давал света, но помогал держать направление, и мне почему-то казалось, что пока он виден мне справа, я не увижу слева Смерть, которая уже не только шагала рядом, но буквально наступала на пятки.

Вот я споткнулась и с трудом удержалась на ногах. Несколько ша-

гов — и опять я споткнулась. На этот раз упала, но сразу встала. Еще несколько шагов, и я снова упала. Полежала и встала.

Я чувствовала, что тело покрывается холодным потом. Надо двигаться во что бы то ни стало. Но... я снова упала и не смогла встать.

Я сбросила рюкзак, с головы свалилась шапка. Повернулась лицом к месяцу — он едва мерцал, скрываясь за деревьями. Я тяжело дышала, открывая рот, и, кажется, единственная мысль, оставшаяся у меня, была: «хоть бы месяц еще немного не заходил...»

И вдруг где-то, совсем близко, заревела корова.

Какая небесная симфония могла бы поднять меня на ноги? А тут, в одно мгновение, я была уже на ногах, и если Смерть в это самое мгновение наклонялась ко мне, то я ее, наверное, огрела затылком по зубам!

Раз — шапка на голове, два — рюкзак за спиной, три — палка в руках. Я осмотрелась, и сразу все стало понятно: кругом — редкий, вырубленный лес, притоптанный местами снег и совсем недалеко, там, где как раз заходит месяц, поскотина, а чуть левее — ворота.

Так я попала в селение Черная Балка на реке того же имени. В первом же доме меня приняли хорошо и, узнав, что я заблудилась, дали мне горячей похлебки, после чего я, положив на стол горсть бумажных рублей, сказала: «Возьмите, сколько надо», — и уснула.

Женщина взяла всего один рубль и наутро напоила меня чаем с молоком и дала на дорогу две вяленые рыбы.

Кроме того, она меня раздела и высушила мою одежду. Ничего этого я не помню. «Сон — прообраз смерти». Дай Бог этой женщине счастья в жизни! Должно быть, она сама знакома со страданием...

На этом закончилась моя попытка попасть в Омск.

Еще один проект — которому не суждено было осуществиться. Слезы

Мне указали дорогу на Пудино и посоветовали оттуда идти в Кенгу, а дальше — на Бахчар. Вскоре, объяснили мне, наступит весна, а с нею такое бездорожье, что тут, в болотах, и вовсе пропадешь.

Совет был дельный, и я, не теряя времени, им воспользовалась.

В тех местах попадалось немало ссыльных «моего издания», но — не бессарабцев, а западников, чаще всего — эстонцев. Работали они большей частью на лесоповале, работали старательно, и, как мне по крайней мере казалось, жилось им не так уж плохо.

Впрочем, бросалось в глаза, что тут были большей частью женщины и подростки, юноши лет до 22-х. Возраст же от 23 до 40, 45 мне не попадался. Должно быть, их, так же как и нас, разделили.

О том, что их тем же порядком, что и нас, умыкнули, — я лишь тогда узнала. Только нас 13-го июня, а их — 14-го.

Впрочем, на откровенность я и не рассчитывала.

Иное дело — поляки.

Как-то я попала в один лесной поселок и... обалдела. По всему было видно, что тут тоже народ пришлый и, очевидно, не по своей воле попавший в эту глушь. Но вели они себя совсем иначе: из дома в дом сновали группы шумных, говорливых горожан. Не было заметно, чтобы кто-либо из них работал или собирался работать. И вместе с тем нужда не наложила на них своего печального клейма.

Не утерпев, я задала вопрос:

— Как это вас не заставляют работать?

— Не смеют! — последовал заносчивый ответ. — Мы — поляки. На наше содержание Англия дает деньги, а Америка — продукты. Нас должны после победы над Гитлером репатриировать в свободную и великую Польшу! «Ну, подумала я, пошла писать губерния! Опять «от можа до можа» *, неисправимы эти поляки!»

* От моря до моря (польск.).

Из дальнейшего я узнала, что в Томске находится польский консул, который о поляках печется и вербует волонтеров в отряд, который будет направлен через Персию на фронт против Германии или ее союзников.

И тут у меня зародился еще один безумный проект.

Я — русская. Это бесспорно. Но дед мой был поляк. Сирота, он по настоянию опекуна в кадетском корпусе принял православие и женился на православной. Но его брат, Ромуальд, остался католиком. А сестра, Ванда, вышла замуж за графа Кандыбу, и там, в Польше, у меня должна быть родня.

Отчего бы мне не обратиться к польскому консулу? Я могу в армии пригодиться в качестве медсестры (хоть по образованию я — ветфельдшер). Кроме того, я знаю хорошо французский, немецкий, румынский и, разумеется, русский языки. Немного — английский, испанский и итальянский. Пожалуй, хуже всего польский, но... почему бы не попытаться?

Гитлер — наш общий враг; значит, против моей родины идти не придется. Напротив! Я могу быть связующим звеном между Польшей и Россией...

Решено: иду в Томск!

Я не плаксива, и поэтому хорошо запомнила те редкие случаи, когда я плакала.

Я плакала, когда хоронила отца, и то лишь вечером, оставшись одна; я плакала, отправив маму за границу, но ночью, посреди поля, и лишь звезды видели мои слезы; я плакала в ссылке 24 декабря — в день своего рождения, когда поняла свое бессилие, крушение всех надежд.

Этих слез можно не стыдиться. Но я должна признаться, что однажды плакала от разочарования, оттого, что... Нет, лучше расскажу.

Шла я большими переходами, расходуя последние деньги на турнепс и картофельную кожуру; я даже не воспользовалась ни разу возможностью подработать заготовкой дров: я понимала, что с наступлением весенней распутицы должна выбраться из этих болот.

Глубокий снег, выпавший недавно, стал рыхлым: приходилось придерживаться дорог, что увеличило опасность, угрожающую беглецу. Я уже боялась расспрашивать о дороге и делала вид, что мне все и так знакомо. Однако внимательно прислушивалась ко всему, что слышала, и мотала на ус все названия, которые могли бы мне пригодиться.

Зайдя однажды в Дом колхозника (подобие заезжего двора, где можно вскипятить чай), я купила тушку бурундука (вид древесной крысы с пятнистой шкуркой) и, пока варила его в своем кофейнике, узнала, что до следующего населенного пункта — 72 км.

Заметив, что на меня косо поглядывает парень, продавший мне бурундука, и о чем-то шепчется, я вынесла сперва рюкзак и, не доварив своего зверька, взяв его вместе с бульоном, зашагала в сырую холодную ночь.

Подкрепившись бурундуком, я шагала всю ночь напролет, и рассвет застал меня в невероятно унылой местности.

На поляне темнел стожок льна, и я свернула к нему в надежде отдохнуть.

«Усталость — самая мягкая подушка», но на сей раз уснуть я не смогла: стоило прилечь и пригреться под снопами льна, как все тело начинало зудеть и гореть...

Увы! Таков удел бродяг всех эпох и всех народов... Откуда взялась первая вошь, я не знаю, но теперь они расплодились, к голоду и стуже прибавился еще и этот бич: я не могла воспользоваться отдыхом. Лишь пока я двигалась, они меня не трогали. И я пошла дальше.

Среди дня солнце выглянуло из-за туч, было не так уж холодно, и я решила воспользоваться получасовой передышкой, чтобы... объявить войну своим мучителям. В сугробе, возле вековой сосны, с солнечной стороны я вытоптала углубление и разделась догола. Затем, надев на голое тело телогрейку и усевшись на другую (у меня их было две) я занялась охотой.

Это не эстетичное воспоминание, но... слова из песни не выкинешь,

а эту песенку мне пришлось повторять ежедневно, дабы не быть заживо съеденной.

Спешу заметить, что, начиная с этого дня, ежедневно от 12-ти до 1 часа дня я систематически проделывала эту процедуру (хотя раздевалась лишь до пояса, так как оплот моих гонителей находился в майке).

Никогда не забуду первый улов: в одной лишь майке я их уничтожила 312 штук! На следующий день — 238; на третий — 112...

Если каждая из них ужалит лишь 10 раз, то это значит — свыше 3000 укусов! Можно ли при таких условиях спокойно отдохнуть?!

И вот я снова иду. Погода испортилась: к вечеру подул сильный ветер и пошел дождь пополам со снегом. Дело приняло плохой оборот: ночью подмерзнет, а я промокла. Чтоб не замерзнуть, надо идти всю ночь. Но я уже иду 40 часов без отдыха (если не считать час или полтора в Доме колхозника); за это время съела полусырого бурундука и силы — на исходе.

«На 72-м километре будет деревня»,— утешаю я себя и жадно вглядываюсь в верстовые столбики: 70, 71, 72, а деревни нет как нет!

Дождь со снегом усиливается. Валенки отсырели. И вдруг вдалеке, за поворотом, я вижу... дохлую лошадь — кроваво-красную, а значит — недавно освежеванную.

Я рванула рысью. Откуда и силы взялись!

Мясо! Пусть — дохлая конина! Но это спасение!

Последний рывок, последнее усилие, и я подбегаю.

Увы! То, что я приняла за труп лошади, оказалось ошкуренным лиственничным сутунком (короткий, толстый чурбан). Заболонь у лиственницы такого темно-красного цвета, что вполне могла сойти за освежеванную тушу.

Без сил я опустилась на это злосчастное бревно и залилась горькими слезами — от обиды и разочарования... Слезы полнейшей беспомощности.

Но тут же я взяла себя в руки и вслух обругала:

«Дура ты, дура стоеросовая! Да разве здесь, в Советском Союзе, в такой голод, когда собак всех поели, разве оставили бы на дороге павшую лошадь? Ведь любую падаль разделили бы в счет зарплаты рабочим! А ты думала — тебе оставили!»

Я встала и, не оглядываясь, пошла дальше, отойдя буквально на несколько десятков шагов, я заметила в наступающих сумерках силуэты домов: поселок оказался не на 72-м, а на 75-м километре.

Не всегда товарищ по несчастью означает — друг.

В трех или в четырех домах меня и на порог не пустили, когда же мне удалось получить кой-какую еду (миску пустых щей, две репы, кружку кислого молока — все это за 1 рубль), то лишь с условием, что, поев, я сразу уйду. Я сделала вид, что это вполне отвечает моим желаниям...

И темная, холодная ночь «открыла мне свои объятья». Но утолив (вернее, обманув) голод, я уже ничего не боялась. Выйдя за околицу, я не пошла прочь, а стала обходить деревню, подыскивая стожок, более гостеприимный, чем дома, и найдя такой, быстро, привычными движениями, устроила себе замечательный ночлег.

Мороз крепчал, тайга гудела, но я уже видела во сне свое родное Цепилово, родных и друзей. Бледный свет пасмурного рассвета вернул меня к действительности.

Но эта «действительность» преподнесла сюрприз: еще не раскрыв глаза, сквозь смеженные веки я увидела, что в трех шагах от меня из того же стога вылазит какой-то лохматый, небритый субъект. В его глазах отразился такой звериный ужас, что инстинкт подсказал мне самый правильный в данном случае поступок: инстинкт заставляет жучка притвориться мертвым, а меня — симулировать сон. Я, не открывая глаз, крякнула, повернулась на бок, что-то пробормотала сквозь сон, и стала дышать глубоко, как во сне. Сквозь ресницы я зорко следила за моим «товарищем по несчастью» и мысленно прикидывала, успею ли я выхватить тесак, который, ложась спать, засунула за пазуху?

Нелегко мне было дышать ровно и глубоко, тогда как сердце колотилось где-то в самом горле! И мысли с еще большей быстротой метались: «Он испугался... Не меня — я сама по себе не страшна, а своего положения. Он, безусловно, скрывается. Кто он? Убийца или дезертир... или — и то, и другое вместе. Я могу его выдать. Я — угроза его жизни. Он боится, а страх делает человека жестоким и беспощадным. Единственное спасение — убедить его, что я сплю».

Кажется, моя тактика была самой мудрой: мой «компаньон по ночлегу», выбравшись из сена, даже не дал себе труда отряхнуться, а, подхватив небольшую котомку, так рванул прямо в лес, что любо-дорого! Я также не заставила себя долго упрашивать. Только все же отряхнула с себя сенную труху и «застелила постель» — то есть привела в прежний вид копну сена, чтобы никто с первого взгляда не смог бы догадаться, что она служила приютом паре бродяг...

С этого дня я поверила, что дезертиромания не была плодом фантазии досужих энкаведистов.

Угощение. За валенки — дельный совет. Вороново

Я — в Кенге. Поселок как поселок, и Дом колхозника, как ему и полагается, при дороге. Но для того, чтобы получить право обогреться, надо... сдать паспорт или удостоверение, что для меня — проблема.

И я опять на улице.

В первом же доме, куда я постучалась, зашла, оказалось, жил учитель. На мою просьбу — пустить погреться — он накинулся на меня с такой бранью, что я даже ее смысла не смогла уловить и предпочла ретироваться.

Отойдя больше, чем на полкилометра, я продолжала слышать тирады этого желчного педагога.

В третьем доме мне повезло еще меньше: войдя, первое, что я увидела, это дюжего энкаведиста, который в фуражке и сапогах спал на постели.

Оттуда я выскочила как пробка из шампанского, проклиная свою неудачу.

Тогда я прибегла к давно проверенному методу: прошла через весь поселок (что нетрудно: весь поселок — одна улица, и то застроена лишь с одной стороны), выбрала самую бедную, захудалую избу и смело вошла.

В комнате — пустой и убогой — возле остывающей буржуйки грелись двое: старичок и старушка. Не было у них курочки рябой да, пожалуй, и разбитого корыта.

Как все бедные люди, они радушно встретили меня, потеснились, чтобы я могла погреться, и старик подкинул дров, чтобы вскипятить чай. Но на мою просьбу — продать чего-либо съестного — оба горестно вздохнули, переглянулись и старуха сказала:

— Вот что скажу я тебе, дочка! Жили мы, два забытых Господом старика. Но был у нас внук — утеха старости, один он у нас остался, сына у нас в 37-м забрали; сноха к другому ушла... но вот два года тому сравнялось и внука, хоть малолеток, в тюрьму забрали. Недалеко — в Томск, пока в годы не вошел. Ох и жаль нам кровиночку свою! Как-то освободился один его кореш, он от внука весточку принес — где он, как там живет. Шибко голодно, жалуется! Пропадает с голоду, да и только! Нелегко нам со стариком живется. Хлеба по 200 грамм получаем, ни огорода, ни живности. Летом старик подрабатывает — где городьбу подправит, где кровлю починит. Опять же — колодцы чистит. А я кудель пряду. Ну, а зимой хворь одолевает. Однако насушили мы из своих граммов сухарей и старик съездил в Томск, в Черемошки, в лагерь. С внуком свиданье получил, сухарики ему-то и передал, порадовал парнишку! Отвез ему и весь свой самосад — парень вроде бы и не курит, но на махорку, сказывают, хлеба выменять можно. Так-то!

Затем переглянулись, старик кивнул головой, и старуха добавила:

— Как видишь, путной корочки у нас нет, а вот крошки... Оченно они сорные — со всяким мусором! Смела я их, на чердаке. Тодысь мы еще курочку держали — она бы их склевала. Да курочку-то у нас за налог забрали: причиталось с нее полста яичек сдать, а она и двух дюжин, чай, не снесла! Вот крошки, они и остались. Если не брезгуешь, слазь на чердак, возьми их!

И вот я на чердаке. Передо мной кучка мусора; в этом мусоре крошки. Но, Боже мой, чего только там, кроме крошек, нет! Даже на меня сомнение напало. Что там был сухой березовый лист от банных веников, мелкий самосад и, разумеется, пыль — это бы еще полбеды: хуже, что первое место в ряду этих примесей занимали сушеные и мелко покрошенные тараканы. Тараканы во всех видах вызывают у меня непреодолимое отвращение.

Но как отказаться от хлебных крошек?! Голод — беспощадный диктатор и его воля — закон. Я надеялась, что сумею отделить крошки от тараканов, но, увы... Ни отвеять на ветру, ни отмыть водой их не удалось.

Пришлось, поборов брезгливость, съесть все подряд.

То ли за Кенгой дорога стала хуже, то ли я сбилась с пути и пошла по таежной тропе, но трудно себе представить что-нибудь более кошмарное, чем тамошние болота в оттепель!

Тропу пересекали речушки: верней — каждая ложбинка превратилась в речушку. Кругом еще лежал снег, и откуда появилось столько воды, мне до сей поры не понять!

Переправы через эти речки... Это была целая серия акробатических трюков!

Этот район летом представляет собой сплошную трясину, а тогда, весной, это была сеть мелких ручьев и речушек. Обычно, идя вдоль такой речушки, можно было найти затор из поваленных стволов или, перебросив вещи через речку, разуться и перелезть по одному наклонившемуся через реку дереву на другое, растущее на противоположном берегу. Хуже всего, однако, было тогда, когда на берегу не было деревьев, а лишь заросли тальника. Такие речки приходилось переходить вброд, раздевшись догола (также перебросив вещи на противоположную сторону).

Теперь, post factum, мне даже трудно себе представить, что я, почти не умея плавать, без всякого колебания лезла в черную на фоне снега воду, по которой плыло «сало» и даже порядочные льдины!

Выбравшись на берег, я, наспех подхватив весь свой скарб, пускалась бегом во все лопатки, пока кожа не просыхала, и я хоть немного не согревалась. Тогда я вновь одевалась и шагала дальше... до очередной речушки, которая перегораживала мне дорогу.

Нечего и говорить, что если бы... не сушеные тараканы с крошками, то я свалилась бы раньше, чем добралась до Бахчара!

И вот я в Бахчаре.

Бахчар даже похож на город: дома двух- и трехэтажные, но деревянные. Как-то непривычно видеть деревянный город! Что-то от времен Ивана Грозного...

Впрочем, как впоследствии я увидела, Томск, прежняя столица Сибири, тоже деревянный.

Бахчар я поторопилась проскочить поскорее, однако позволила себе роскошь: пообедала в столовой. Увы! Тараканы с листьями веников и самосадом были все-таки сытнее обеда в бахчарском ресторане: тараканы были с хлебными крошками, а обед состоял из двух порций рассольника — мутной воды с кусочками кислых огурцов. Хлеб и мясо полагались только командировочным, да и то имеющим карточки.

Однако официантка, славная девушка, сунула мне 100 грамм хлеба, сказав с мольбой: «Только чтобы никто не увидел!»

У какой-то тетки я купила 2 турнепса и 5 порций (горстей) хамсы и пустилась на ночь глядя в путь — благо дорога от Бахчара пошла настоящая, насыпная, с кюветами, полными воды.

Что поделаешь? Все, что имеет темную сторону, должно иметь и светлую, но, к сожалению, и обратная аксиома также неоспорима; на бахчарском тракте не было необходимости переправляться вброд через реки или пользоваться еще более рискованной воздушной переправой, зато можно было нарваться на проверку документов, а поэтому приходилось шагать по ночам, а днем отсыпаться после очередной «гигиенической» процедуры.

Я бы безусловно влипла, так как эта дорога Бахчар — Томск была буквально усеяна мышеловками. Помог мне случай или, может быть, моя непрактичность.

В поисках работы (мои сбережения подходили к концу) я зашла к одному бобылю-инвалиду.

Я сгребла снег с его крыши, попилила, наколола и сложила в поленницы разный хлам — палки, старый тес, чурбаки, за что он меня хорошо накормил: горох, тертый с чесноком, овсяный кисель, и дал на дорогу картошки.

Собираясь в путь, я переобулась в сапоги: промокшие валенки были тяжелы и не грели, и я, не задумываясь над тем, что не так уж богата, чтоб делать подарки, протянула их старику:

— Возьми их, дедушка! Ноги у тебя больные, а ты в онучах. Подсуши, и они еще послужат!

Старик даже прослезился. А затем, лукаво подмигнув, сказал:

— Слушай меня, дочка! Ты мне говорила, что дом, мол, сгорел и пробираешься к сродственникам. Так вот что я тебе скажу: погорельцы своих вещей не раздаривают — что из огня спасли, за то еще как держатся! Но если ты все же надеешься до сродственников добраться, то не ходи днем по большой дороге: там и заставы и патрули; все те, кто сами не хотят на фронт попасть, все из кожи вон лезут, чтобы «подозрительных» вылавливать. Как рассвело, ты сворачивай с тракта на ту свертку, где солома и сено натрушено. Она тебя доведет до риги или навеса, а там — остатки сена или соломы. Вот и отдыхай до ночи! Никто не потревожит: теперь распутица, снег смяк, кони проваливаются — никто возить не будет. Можешь спать спокойно. А и ночью, если навстречу машина или что — ты через канавку и — за сосну! И в Мельникове через Обь не переходи. Спустись к югу — до Воронова. Оттуда на Томск проселком. Так-то вернее будет!

Люди любят давать советы, и хотя не все советы, которые я получила, были разумными, но в том, что я последовала этому совету, я не раскаиваюсь. Все дороги, по которым я шла, могли меня привести лишь к одной из двух конечных целей: к могиле или к тюрьме. Важно было лишь одно: отодвинуть развязку на как можно более отдаленный срок.

Без этого мое «высшее образование» было бы неполным.

С легким сердцем пустилась я в путь. Может быть, оттого, что цель, которую я себе поставила — визит к польскому консулу в Томске — была близка, а может быть, оттого, что в рюкзаке лежала картошка, пригоршня жареного гороха, вяленая рыбина и еще картуза два печеной картошки.

Попутно я делала открытия.

Я привыкла с любовью и уважением относиться к рабочему инвентарю: ни плуг, ни борона после того, что они сделали свое дело, не оставались под открытым небом, а о сеялке, жатке и, тем более, молотилке — и речи быть не могло! Вычищенные, смазанные, покрашенные, помещались они в подкатном сарае, и я следила, чтобы в дверях или крыше не было щелей. Каково же было мое удивление, когда, добравшись до первого тока, куда я свернула днем, чтобы выспаться, я увидела остатки соломы, растоптанную мякину — уйму попорченных отходов и... молотилку — старинную, добротную, тяжелую, стоящую... под открытым небом! Не то что сарая или хотя бы навеса — даже простой крыши из ветвей и соломы — и той не было!

Первый раз увидав подобную бесхозяйственность, я не могла глазам своим поверить; в дальнейшем я так часто видела еще и не такие примеры безобразнейшего головотяпства. И в настоящее время — четверть века спустя, я все еще продолжаю делать подобные открытия, которые теперь уже ничем невозможно ни объяснить, ни оправдать... Тогда я многое объясняла войной, пока не убедилась, что причина — более глубокая и беспощадная и кроется в самом жизненном укладе.

Понятно, ночью ходить по большой дороге безопасней, чем днем, но... ох и надоело же мне, завидя вдали машину, подбирать юбки и скакать через кювет, с тем, чтобы улечься за пнем или стволом дерева! Я знала, что машину не остановят, даже если там представитель властей заметил

меня: бензина не было; машины пользовались «газогенераторами» (на березовых чурках) и плохо стартовали.

И все же, поскольку по мере приближения к Оби почва повысилась, трясины исчезли, леса поредели и появились большие площади распаханных полян, я решила идти на Вороново целиком — по азимуту.

То, что я видела, повергало меня в немалое удивление.

Буквально весь сельхозинвентарь зимовал прямо в поле — где зима или непогода их застала. Тракторы, погрузившиеся в грязь и занесенные снегом, стояли, как огромные надгробья на этом кладбище сельскохозяйственной техники! Даже моему неопытному глазу было видно, что кое-какие части с них сняты.

Но самую печальную картину я увидела в самом Воронове...

Я знала, что Вороново — это «Дом престарелых» и притом — образцовый, лучший в Сибири.

Большие двухэтажные бараки казарменного типа. Выглядят они уныло, но зато очень просторные. Но... неужели это — сами «престарéлые» так суетятся у подъездов! И... откуда там дети?! Да и вообще я не вижу стариков!

Все стало понятно, когда я вошла в дом (должно быть — одного из сотрудников этого учреждения). Вошла я в один, в другой, в третий... И всюду та же картина: невысокая дощатая перегородка отгораживает то часть комнаты, то просто угол; а за загородкой, на соломе... Нет! Я не могу назвать эти фигуры людьми! Но — и не призраки... Скорее всего, больные обезьяны из неблагоустроенного зверинца. Сходство дополнял запах, свойственный зверинцу: смесь запаха мочи, прелости и... больного старого тела.

Говорят, самый счастливый возраст человека тот, когда еще нельзя отличить мальчиков от девочек, и они, не стыдясь друг друга, резвятся на берегу моря. Безусловно, самые несчастные человеческие существа — это одинокие, никому не нужные человеческие обломки, загнанные в угол, за перегородку, на прелую солому.

В этих неестественно маленьких, сгорбленных фигурках, замотанных в лохмотья, неопределенного покроя и неописуемого цвета (не говоря о запахе), нельзя было отличить стариков от старух. Простоволосые старухи и старики, закутанные в подобие женской шали; покрытые пухом, будто паутиной, лица и лысые черепа. Все худые, все беззубые, с гноящимися глазами.

В четвертый дом я не стала входить. Я стояла посреди просторной площади и собиралась с мыслями. Но мысли разбегались и перед глазами стоял сгорбленный, покрытый платком старик, протягивающий дрожащей рукой жестяную кружку и почти беззвучно шамкающий: «Воды бы мне, кипяточку...»

Впоследствии я узнала, что стариков распихали по частным домам, а их бараки отдали беженцам, эвакуированным с Украины.

Война больно ударила по всем, но самый глубокий ужас оставили во мне эти беспомощные обезьяноподобные фигурки в человеческом зверинце.

Я вышла из Воронова, но, поравнявшись с разрушенным подвалом или овощехранилищем, решила в нем заночевать.

Обь ломает не только лед, но и мои проекты и надежды. Встреча

Я стою на берегу Оби.

Море внушает мне ужас во время шторма; степь нагоняет страх, когда по ней гуляет буран; тайга — всегда немного жуткая штука, но особенно, когда в вершинах гудит ветер и стволы вздрагивают... В данном случае погода была тихая, но нельзя было без какого-то суеверного ужаса смотреть, как по бескрайней реке стремительно неслись с грохотом и скрежетом огромные льдины. Земля содрогалась, казалось, что это — тоже от ужаса...

Я стояла на самом берегу и испытывала двойное чувство: во-первых, восторг, который нельзя не испытывать перед лицом такого могучего, полного величия явления природы, а во-вторых, глубокого разочарования... Прощай надежда по льду перебраться на правый берег! Прощай, Томск, и все сумбурные надежды на мифического консула!

На пароме — проверка документов. Нанять лодку? Спросят, зачем не на пароме? Да и ждать долго...

В последнем я ошибалась. Я рассуждала примерно так: «На Днестре ледоход длится 2 недели; Обь — несоизмеримо более могущественная река, и значит, ледоход затянется Бог знает на сколько времени!»

Признаться, я не учла одного: Днестр течет с севера на юг и вскрывается постепенно, частями; затем вскрываются его притоки — Русава, три Мурафы — Верхняя, Нижняя, Средняя. Обь же течет на север; вскрывается она, начиная с верховий, причем по мере того как участок оттаивает, его лед «уходит под лед», и река сразу очищается. Все это я узнала позже, а пока что стояла и грустно думала, как быть, куда деваться?

Постояв около часа на берегу Оби, вдоволь налюбовавшись этой действительно мощной картиной, я закинула рюкзак за плечи, повернулась спиной к реке и зашагала прочь от нее: нечего задерживаться там, где селение следует за селением и в каждом из них НКВД.

Ночью, когда я спала в подвале в Воронове, прошел дождь, и снег превратился в синеватую кашицу, а на открытых местах появились проталинки. Даже воздух стал каким-то весенним, с особым запахом, и солнце светило по-иному.

Я изрядно устала и присела отдохнуть. Я держала в некотором роде военный совет сама с собой. Дело идет к весне. Если зимой я вынуждена была тащить с собой все тряпье, способное защитить меня от мороза, то теперь надо все ненужное выбросить: путь передо мной неблизкий, а сил, увы, мало. Прежде всего, расстаться с моими штанами — теми холщовыми, стегаными мхом. Их уже и «штанами» нельзя было назвать... Целая мозаика дыр и заплат! Но когда я отпорола крючок и пуговицы, я не смогла выбросить эти лохмотья и бережно повесила их на ветку старой дуплистой вербы. Воспоминания нахлынули на меня. Я села на проталинку и, глядя на эти холщовые штаны, погрузилась в прошлое.

...Теплый, летний день — там, далеко... в Бессарабии... Мы, то есть я и две девочки Вани Ротаря — Надя и Таня, мыкаем коноплю на огороде, на поляне нашего леса. Солнце склоняется к горизонту, и мы заканчиваем работу.

Нам весело. Посвежело, и прошла усталость. Певунья Таня, смуглая, кудрявая хохотушка, и ее более серьезная сестра Надя — любительница рассказывать сказки, торопятся связать последние снопы, а я ставлю их шалашами для просушки.

Мы допели песню про Ионела: «Gine vene de la via Ioanel, cu pa lăria...» *. Дома нас ждет ужин: домашняя лапша с брынзой и со шкварками, горячее молоко с калачами, арбузы, фрукты... Я повернулась в сторону заходящего солнца. Оно мне слепит глаза, я ничего не вижу и только слышу звонкие голоса девочек, подбадривающих друг друга...

Но что это? Галлюцинация? Я и впрямь слышу с той стороны, куда заходит солнце, молдавскую речь!

Заслонивши глаза рукой, я всматриваюсь. Да! Я не ошиблась. Это — мои земляки. Это их привычка — громко разговаривать на ходу!

По тропинке, из лесу, идут двое. Я вижу лишь силуэты. По голосу это женщина и мальчик. На спине у обоих большие вязанки хвороста.

Когда они почти поравнялись со мной, я обратилась к ним с приветствием:

— Suna seara! (Добрый вечер).

Оба — пожилая женщина и подросток лет 14-ти — остановились, как вкопанные. Минуту мы молча смотрим друг на друга, и вдруг мальчик бросает наземь свою вязанку и, всплеснув руками, кидается к матери:

— Мама! Да ведь это наша барышня!

Боже, что тут было! Старуха (которая оказалась вовсе не старухой) ринулась ко мне, тоже бросив свою вязанку хвороста, и заголосила.

* «Кто это идет с виноградника? Ионел в шляпе...» (рум.).

Я даже растерялась и не сразу узнала ее — Пержовскую из Околины и ее сына Толика. Пошли расспросы, рассказы... Однако вскоре мы спохватились, что надо засветло добраться «домой».

Выяснилось, что мужа как отделили от них во Флорештах, так и вести о нем нет... как и от всех тех, кого тогда обманом забрали под предлогом «отправить вперед, построить дом». Живут они в деревне со странным именем Гынгаса (может — Гундосово?).

И вот я в гостях у своей гостеприимной землячки. Я видала бедность и нищету во всем ее разнообразии, так что не слишком удивилась их убогому жилью. Угостить, при всем ее желании, было нечем — кроме жидкой похлебки из нескольких картофелин с кожурой и пшеничных «озадков» с кукилем и лебедой — ничего у нее не было, но век буду ей благодарна за лучшее из угощений: она истопила печь, нагрела воду, сделала щёлок и так замечательно меня вымыла, вычесала и выпарила мою одежду, что я избавилась от вшей.

Вымытая, я сидела на печи голышом, закутавшись в домотканую бурку (сукман), а Анна Пержовская стирала, кипятила и сушила мою одежду.

Молодец, ей-Богу, Анна Пержовская! Нашла и лохань, и тазы, и корчаги, ее проворные руки успевали все. Она успела меня подстричь, поштопать и залатать мой изрядно-таки потрепанный гардероб. Да, проворные у нее руки, но следует отдать должное и языку: он нисколько не отставал от рук!

Неисповедимы пути Твои, Господи! Я, отдавая должное ее рукам, даже не догадывалась, что не далее как завтра все те сведения, что она мне с неиссякаемой готовностью выкладывала, мне пригодятся куда больше, чем латки, которые она пришивала, чем щёлок, которым она меня мыла, и та мочалка, которой она меня драила.

Я так давно не слыхала человеческой речи, да еще на молдавском языке, что, превозмогая сон, слушала до утра целую серию более или менее печальных историй обо всех знакомых, полузнакомых, а иногда и почти незнакомых своих земляках из Околины, Конишеску, Застынок и Сорок.

Учитель сельской начальной школы Перепелица с сыном Володей работают на колхозной пасеке (он и дома славился как лучший пчеловод!)...

Гарганчук и его трое сыновей, имевшие в Сороках на горе механическую мастерскую, хорошо зарекомендовали себя на местной МТС...

Доминика Андреевна Попеску с дочкой Зиной и сыновьями Яшей и Манолием кое-как устроились: Зина — учительницей, Яша и Манолий — трактористы...

Самая длинная, запутанная и печальная история (она мне больше всего пригодилась) касалась одной почти незнакомой мне семьи Прокопенко. О них я знала только, что муж был преподавателем, кажется, в семинарии, а жена — акушерка; была еще свояченица, имя и фамилию которой я не знала.

Грустная история заключалась вот в чем. Самого Прокопенко и свояченицу отправили на лесоповал. Жена осталась в колхозе с семилетним сыном и беременная. На лесоповале сам Прокопенко был задавлен деревом, а когда об этом узнала жена, то от потрясения преждевременно родила. Роды оказались тяжелыми, и к тому же родились двойняшки: один ребенок родился, а другой оказался в поперечном положении — нужна была помощь, и ее повезли на санях в село Боборыкино, где есть больница. Это оказалось бесполезным, так как несчастная женщина, истощенная голодом и непосильной работой, умерла, и оба младенца тоже. Остался сирота лет семи, который побирается у чужих. Тетку с работы не отпустили, но пообещали к началу полевых работ (а должны были они начаться 1-го мая) перевести в колхоз...

Не ждала — не гадала я, что все эти байки сослужат мне службу.

Гаечный ключ... и шпиономания. Чего не съест голодный! Загадка, которую я не отгадала

Раннее утро. Я бодро шагаю по замерзшей за ночь дороге, похрустывая тонким ледком, затянувшим лужицы. Лес отступил. Возле дороги — зябь, и борозды дымят, пригретые солнцем.

Удивляюсь: как тут стремительно наступает весна! Еще несколько дней тому назад казалось, что зиме конца-краю не будет! Когда пошел дождь и снег превратился в синеватое месиво, то я полагала, что еще долго буду месить ногами эту «шлемаялу»... А вот сегодня уже совсем весна! В моей земледельческой душе зазвенели какие-то струны, руки тянутся к плугу, и жадно ловлю первую песнь жаворонка.

Вдруг... Что это лежит на дороге? Разводной тракторный ключ — новый, смазанный вазелином. У нас их называли железнодорожными. Не иначе — тракторист обронил... Вот растяпа!

Я смотрела на ключ в раздумии. Потерян он был вчера — успел примерзнуть; потерявший его не вернулся, значит, не заметил. Не сегодня-завтра трактора выйдут на работу. Каково будет этому растяпе без ключа?!

И я сделала непростительную глупость: вместо того, чтобы обойти стороной группу зданий, разукрашенных флагами и лозунгами, я направилась прямо туда, вошла в ворота, над которыми парусил транспарант с приветливыми словами — «Добро пожаловать» под надписью «Колхоз Путь Ленина», вошла в здание правления колхоза и, протягивая ключ одному из тех, кто был в зале, сказала:

— Вот ключ, утерянный кем-то из ваших трактористов, должно быть. Я нашла его на дороге.

Всякий добрый поступок должен быть награжден, но награда моих поступков, верно, на небесах, а на земле с добрыми поступками мне всегда не везло.

Когда я повернулась и пошла к двери, один из присутствовавших заступил мне дорогу, а другой схватил за плечо.

Прежде, чем я разобрала в чем дело, откуда-то набежала целая толпа правленцев (узнать их можно было по раскормленным рожам), и лишь тогда я догадалась, что допустила глупость, когда услышала, как на дворе мальчишки кричат: «Шпиона поймали! Немецкого!» Откуда-то появились два здоровых лба. Один отобрал у меня рюкзак; другой крепко ухватил за ворот телогрейки.

Когда через полчаса я услышала: «Ведите ее в Боборыкино в сельсовет и сдайте под расписку», и меня вывели во двор, то там уже гудела толпа.

В меня полетели камни, палки, комья грязи и под свист и улюлюкание меня повели, причем штук 20 мальчишек еще долго следовали за нами, продолжая швырять камнями.

Вот-те и «спасибо» за добрый поступок!

«Qui pro quo» * случаются не только в оперетте! До Боборыкина — большого села, которое могло бы сойти за небольшой городок, было километров 6, но будь и все 60, я бы не успела опомниться — до того все показалось мне дико, глупо и... неожиданно.

Я знала из литературы и воспоминаний очевидцев прошлой мировой войны и войны гражданской, что, когда на фронте дела плохи, то в тылу, как зараза какая-то, распространяется шпиономания. Но, Боже мой! За тысячи и тысячи верст, в таком медвежьем углу! Может ли быть что-нибудь глупее?!

И вот меня доставили в сельсовет. Было уже часов девять, но в сельсовете еще не было никого. Лишь уборщица мыла полы.

---

* Путаница (лат.).

Один из моих провожатых затеял с нею от нечего делать разговор, и я волей-неволей прислушалась: «Что же это ты, тетя Дуся, в воскресение полы моешь? Ай вчерась недосуг, что ли?»

— И не говори, родной! — вздохнула старуха-уборщица. — Вчера заполночь заседали! Я было сунулась с уборкой. Да, какое там! Ведь приехал самый старший — начальник НКВД из Томска. Ох, и страшный какой! Глазища — так и буравят. О ём говорят, что он не только тебя всего насквозь видит, а и на семь пядей под тобой! Как глянул на меня — аж коленки у меня задрожали. Ты что, тетка, говорит, не знаешь, что теперь война, и никаких воскресениев не положено? Велят — а ты сполняй и рассуждать не смей!

(«Ну, думаю я, повезло! Попала, как кур в ощип! Мало, что начальник НКВД — да еще на семь пядей сквозь землю видит! Пропала моя головушка!»)

Сижу я на ларе под окном и грустно смотрю в окошко. Солнце пригревает, весна... На волю бы!..

Но вот подъезжает бричка, запряженная крупным белым конем. Выскакивает какой-то тип в шинели и подобострастно помогает сойти другому, тоже в шинели, но в фуражке с красным околышем.

— Кого привели? Дезертира? Шпиона, говоришь! Ну, посмотрим.

Входят. Здороваются. Садятся: тот, кто «на семь пядей видит» — во главе стола; другой — я догадываюсь, что это местный комендант, — по правую руку: мне указывают место напротив. Сажусь. Молчим.

Да! У него очень неприятный, пристальный, будто сверлящий взгляд.

— Итак, кто вы?

(Перед ним на столе лежит моя «заборная книжка» из Суйгинского леспромхоза. Скрывать нет смысла).

— Керсновская Ефросиния Антоновна, сослана из Бессарабии, из Сорок.

Начальник — коменданту вполголоса:

— Ваши — из Сорок?

— Да.

— Вы эту знаете?

— Н-нет... Но я здесь недавно...

Я не умею хитрить и обычно «попадаю впросак»: как только открываю рот — выдаю себя с головой. Но бывают мгновения, когда в течение одной секунды принимаешь решение, до которого за целые сутки размышлений не додумался бы. Вот и теперь — сказанные вполголоса слова «...я здесь недавно» меня будто озарили. Мне трудно словами передать все, что я чувствовала в то мгновение. Наверное, нечто подобное чувствует игрок в покер, когда он все поставил на карту, карта у него плохая и вся надежда на блеф.

Смотря в глаза начальнику, я начала быстро и уверенно:

— Меня взяли с сестрой и зятем Прокопенко. У сестры сын был, семи лет... и сама она была в положении. Поселили нас в деревне — Малава... — (взгляд начальника в сторону коменданта; тот утвердительно кивает). Продолжаю:

— Зимой зятя как трудоспособного и меня как одиночку направили на лесозаготовку... И зятя там деревом убило. (Опять взгляд, опять кивок).

— А у сестры преждевременные роды... Да еще — близнецы. Одного родила, а с другим — неправильное положение. Ее повезли сюда, в Бобрыкино, в больницу. Но умерла она. И оба младенца — тоже.

(Опять взгляд и подтверждающий кивок).

— Остался племянник, один-одинешенек, сирота! Меня отпустили. Я зятевы вещи взяла. Вот.

Тут я показываю сапоги и военного образца штаны, которые видны из-под юбки и извлекаю из рюкзака куртку и шапку-кубанку Иры.

— Племянник, значит, , Гынгасе... Я за ним и пошла.

— А кого в Гынгасе знаете?

— Перепелицу, учителя, и сына его Володю, они там в колхозе пасеку организовали. Они хорошие специалисты по части пчел...

(Опять взгляд, опять кивок).

— А еще?

— Гарганчук с тремя сыновьями. Они — слесаря или механики на МТС. И еще — Попеску Домника Андреевна с дочкой Зиной и сыновьями Яшей и Манолием...

(Взгляд, подтверждающий кивок).

До сих пор все идет, как по маслу. И вдруг... Всегда бывает это вдруг.

— Малава... Это — в каком районе?

А и правда, в каком районе Малава? Если мне там назначено жить до самой смерти, то не могу же я не знать, какой это район? А я не знаю.

Где-то здесь — стык трех районов — Шигаловского, Кожушенского и Пихтовского... Но где их граница? В каком из них Малава? В Пихтовском, в Шигаловском, в Кожушенском?

Я растерялась. И инстинктивно опустила глаза. Но что это? Под ногами у меня бумажка — конверт, сложенный треугольником. Бессознательно, совсем машинально читаю адрес: «Иоган Штраус, деревня Ювала Кожушенского района». Ювала — Малава... И то, и другое — чувашские названия, а чуваши, должно быть, селились неподалеку; очевидно — в том же районе.

Подымаю взор, смотря в глаза, отчеканиваю:

— Малава — Кожушенского района!

Комендант кивком головы подтверждает. Я, будто невзначай, роняю шапку и вместе с шапкой подымаю конверт.

Молчим. Пристальный взгляд прямо сверлит. Просто физически неприятное ощущение.

— Вы — ссыльная. И вы самовольно отлучились с места ссылки, а это расценивается как побег. Признайтесь.

Значит, все ни к чему. Карта моя бита.

Странно, но даже как будто... легче стало. Чувство какой-то пустоты. Все потеряно.

— Да, бежала... — сказала я, твердо взглянув в глаза.

— Откуда?

— Суйга. На Чулыме...

— Чулым. Так там — нет лесоповала!

— Как так — нет? Да мы там американским кроскотом — пила двухметровая — такой лесище валили, что на вершину посмотришь — шапка упадет.

— Чулым... Суйга?.. — как бы про себя повторил начальник, бросив беглый взгляд на мою заборную книгу, где действительно эти названия упоминались.

Не знаю, почему мне стало как-то спокойно, все стало на место: нечего ждать, не на что надеяться и, главное, не надо лгать. Судьба! И — это все.

— Вот что! — вскинул голову начальник. — Если вы отлучились дольше, чем на три дня, то вас следует судить за побег. Но я попрошу, чтобы комендант, учтя ваши побуждения, был к вам снисходителен! Возвращайтесь в Малаву, заявите о своем возвращении и впредь не самовольничайте. Послезавтра или даже завтра начнутся полевые работы, и вам будет предоставлена возможность загладить свою вину. А теперь — можете идти.

Если бы рухнул потолок, если бы стол вылетел в окно, а оба начальника очутились на шкафу, я не была бы больше ошарашена, чем услышав слова — «а теперь можете идти».

— Что же, идите! — повторил он.

Стены немного кружились, а пол колебался, как лодка на воде, тошнота подступила к горлу, и я сделала невероятное усилие, чтобы не упасть. Он ничего не понял!!! Он под «побегом» подразумевает отлучку из Малавы — то есть километров на 20 всего-навсего! А о том, что я из Нарымского края, он и не подозревает!!!

Дрожащими руками собрала я «вещи моего зятя», всунула их в рюкзак и, пробормотав что-то непонятное, ринулась к дверям.

— Стойте! А ваша заборная книжка? Она может вам пригодиться.

Стараясь овладеть собой, я вернулась к столу, взяла злосчастную заборную книжку, нашла в себе силы извиниться за рассеянность, поблагодарить, поклониться и спокойно (хотя земля подо мной горела) вышла из помещения сельсовета.

Спокойствия у меня хватило еще шагов на 20—25, до поворота за угол, а потом...

Боже мой! Откуда иногда силы берутся!

Подобрав юбки, я ринулась с такой быстротой, которой позавидовал бы любой спортсмен на беговой дорожке. Куда девались и голод, и усталость! Я неслась, как на крыльях, время от времени с ужасом оборачивалась: мне чудился топот за спиной, и я ожидала, обернувшись, увидеть догоняющую меня бричку, запряженную белым конем.

Так, преследуемая призраком белого коня, я оставляла за собой километр за километром. Давно скрылось в голубоватой дымке Боборыкино, а я—то переходя на гимнастический шаг, то—опять бегом, все продолжала оглядываться.

Обрывки мыслей путались в голове, и я никак не могла понять, что произошло?

А все объяснялось очень просто, и позже я поняла все. Но тогда я была далека от мысли, что та речка, вдоль которой я шла накануне— петлявшая справа от меня в глубоком и крутом овраге, загроможденном льдинами, называлась Суйга, а где-то южнее, на железной дороге, неподалеку от Новосибирска была станция Чулым.

Я—из лесозаготовки «Суйга», в бассейне реки Чулым; а он имел в виду эту речушку Суйгу, на которой расположена станция Чулым!

Это «кви про кво» и оказалось моим спасением... на этот раз.

Наконец, успокоившись (или—просто обессилев), я пошла шагом и вновь обрела способность рассуждать.

Но вот на пути—мост через ручей. При виде воды захотелось пить, и я спустилась в пойму речки. Но что это? Прошлогодний гриб дождевик... Это—далеко не лакомство для гурмана, но...

Гриб (или, вернее, остаток того, что было грибом) был большой, но от него осталась лишь шкурка, похожая на старую замшу: внутри что-то напоминающее горчицу, и немного сухих спор.

И все же я съела его с большим удовольствием и... почувствовала еще более мучительный, раздирающий внутренности голод.

Заслонившись рукой от солнца, я осмотрелась. При некоторой фантазии можно было вообразить себе, что это—не Сибирь, а Бессарабия. Пологие холмы, поросшие прошлогодней травой, березовые колки, напоминающие наши заросли вишен, акации или лозняка—даже пейзаж реки, заросшая сухой осокой вытоптанная скотом толока, на которой торчат бодыли конского щавеля и царской овечки — все это напоминало пойму Кайнары, Куболты или Леурды, куда мы с папой и с «моим Костатием» ездили на дроф или жирующих уток. Не хватало лишь ярких пятен озимых зеленей. Сходство дополнялось выстрелами, раздающимися то тут, то там: было (как я об этом узнала случайно в сельсовете) воскресение; полевые работы еще не начались, и люди торопились воспользоваться, может быть, последним выходным.

И опять, как всегда, внешнее сходство воскресило в памяти другие воспоминания—далекие, мирные, неправдоподобно счастливые времена. Весна. Воскресение. Охота. Но это — не Сибирь, а Бессарабия. И нет этой страшной, исхудалой, измученной и обшарпанной старухи в толстой юбке, а есть жизнерадостная девчонка в ковбойской шляпе, похожая на круглолицего веселого парнишку, гордящегося своею берданкой. Я смотрю влюбленно, как ловко и метко стреляет отец, как легко и проворно пробирается через болото «мой Костатий»—папин товарищ по охоте с детских лет—прообраз всех положительных типов Тургенева из «Записок охотника». И часто забываю стрелять—до того я погружена в восторженное созерцание!

«Чик-чик-чик-чик»,— зацокотала сорока, вспорхнув на молотый тальник.— «Чик-чик-чик-чик»,— тревожно повторила она.

Этот знакомый звук вернул меня к действительности. Я обернулась, как ужаленная: сорок здесь было несколько, которая из них всполошилась?

Взгляд мой упал на траву, и я вздрогнула: на сухой, прошлогодней траве лежало свежее пушистое перышко. И внезапно во мне пробудился тот отдаленный предок, который не ходил в магазин за продуктами, а добывал их сам... стараясь, в свою очередь, не попасть к кому-либо на обед.

Перышко. Свежее—на нем нет следов росы. Оно прилетело по ветру. Откуда ветер? Ага, вон оттуда.

Несколько шагов против ветра и — опять! На этот раз — несколько перьев.

«Чик-чик-чик-чик!»—услышала я вновь и на этот раз увидела сороку, скакавшую с ветки на ветку.

Я направилась прямо к ней, и она не улетела прочь, а лишь перелетела на соседний куст тальника, кивая своим длинным хвостом и продолжая негодующе цокотать.

Заросли сухой осоки, прошлогодняя трава; в тени—снег и всюду чавкает вода... Как жаль, что у меня нет обоняния, свойственного детям природы! Но есть разум, и он служит мне компасом.

Еще перья. Несколько капель крови: я — на верном следу! И вот...

Ура! В траве—мертвый селезень-крыжень. Внутренности у него уже расклеваны, но он совсем свежий, хотя окоченевший.

Прыжок, и я кидаюсь прямо на «добычу»—как будто боюсь, что сороки могут у меня ее отнять!

Дрожащими руками хватаю селезня, прижимаю к себе, готовая защищать свое право на него.

Если кто-нибудь желает знать, чего не может съесть голодный человек, то я могу сказать: я не смогла съесть клюв, когти и маховые перья. Кости я раздробила, изгрызла и съела. Осколки ранили мне рот, и я глотала их вместе со своей кровью.

Затем я лежала, блаженно щурясь от солнца, смотрела на кружившихся в высоте коршунов и... заснула.

Хоть недолго, но я наслаждалась жизнью и покоем! Но сознание постоянной опасности, не покидавшее меня и во сне, скоро заставило меня вскочить на ноги, собрать свой «багаж» и зашагать дальше.

Солнце уже заходило, когда я прошла Малаву. В ней я не задержалась: меня преследовала мысль о коменданте... и о той женщине, за которую я себя выдала, даже не зная ни ее имени, ни имени ее племянника.

После заката не похолодало, а, напротив, потеплело, и пошел дождь. Моросящий, обложной.

Дождь ночью, когда нет крыши над головой,—невеселая штука. В лесу плохо, в степи—в сто раз хуже.

Тишина. Полное безветрие. Слышно лишь легкое шуршание дождя и чавканье грязи под ногами. Единственный ориентир—это шум реки (той самой Суйги), которая беснуется глубоко в овраге, меж нагроможденных льдин.

Опасное соседство, но... выхода нет: темнота, хоть глаз выколи. Иду, прислушиваясь к реву, исходящему как будто из-под земли. Жутко!

Но вот—река притихла. Иду как будто по дороге, но вдруг замечаю, что это не дорога, а борозды зяби.

Я сбилась с пути!

Скажу прямо: ничего страшного в этом не было, температура плюсовая, так что опасности замерзнуть нет; вряд ли и слабость свалила бы меня с ног—ведь я съела селезня... Но мне было невесело, я смертельно устала, промокла, идти по размокшей зяби было тяжело и ко всему этому я не была уверена, не иду ли я назад?!

И вдруг где-то совсем недалеко запел петух, ему откликнулся другой, третий. Вот залаяла спросонья собака.

Я моментально ориентировалась: идти на звук надо, отклоняясь от направления борозд градусов на 45.

Потянуло дымком—печным, домашним, и я пошла увереннее. Вот на фоне почти черного неба вырисовываются силуэты крыш, копен сена.

Тут дорогу мне пересекла канава, заросшая колючим кустарником, и за ней сломанный плетень.

Осторожно перебравшись, я очутилась в огороде — на что указывали ямы на месте выкопанной картошки. Пахло дымом и теплом. Продвигаясь на ощупь к источнику этих приятных ароматов, я наткнулась на баню, как и следовало ожидать—в глубине огорода.

Я обошла ее кругом, нащупала дверь и толкнула. Дверь поддалась и, скрипнув, отворилась. На меня так и пахнуло теплом: баня еще не успела остыть. Какое блаженство! Тепло, даже жарко. И можно уснуть на деревянной полке.

Быстро подстелив юбку, я положила в изголовье рюкзак и, не снимая сапог, только обтерев их веником, закуталась одеялом. По всему телу теплой, ласковой волной пополз приятный сон...

И вдруг меня словно током ударило. Сон как рукой сняло: за стеной послышались крадущиеся шаги.

Кто-то обошел кругом баню — маленькую, наполовину вкопанную в землю, с одним малюсеньким окном, и дернул дверь.

Но дверь я заперла на крючок из толстой проволоки. Крючок звякнул, но не поддался. Опять шаги, на этот раз — к окну.

Внезапно стало совсем темно: чье-то лицо, заслоняясь обеими руками, закрыло все окно...

Я скользнула на пол, закинула рюкзак за плечи, сгребла юбку и шапку, завернув их в одеяло и, подкравшись к двери, оглянулась. Лицо все еще застилало все оконце.

Неслышно откинув крючок, я, осторожно поднимая дверь, чтобы не скрипнула, отворила ее и выскользнула наружу. А там уж рванула во все лопатки, проваливаясь в ямы от картофельных кустов.

Несколько прыжков, и знакомый жуткий рев достиг моих ушей. Исходил он будто из-под земли.

Кровь застыла в моих жилах: левая нога была занесена над пустотой. Передо мной зиял глубокий обрыв, в глубине которого слабо белели льдины, и между ними бесновалась вздувшаяся от полой воды река.

Я отпрянула и оглянулась. Было уже не так темно: занимался мутный, точно больной рассвет. В серую мглу уходили борозды зяби. Никакого признака села! Ни домов, ни силуэтов копен, ни бани, ни огорода, ни канавы с колючим кустарником и поломанным заплотом!

Волосы зашевелились у меня на голове... Что за наваждение!

«...Многое, мой друг Горацио, недоступно нашим мудрецам. Только дурак ничему не удивляется».

Легче всего материалистически объяснить это так:

Я брела по размокшему полю, мечтала об отдыхе, о тепле и... уснула. Село — с криком петуха и запахом дыма, канава, огород с баней и все, что последовало за этим, мне приснилось, и только знакомый грозный звук — рев реки — разбудил меня в последний миг.

Но тогда... отчего я была без шапки? Отчего юбка, которую я, пройдя Малаву, сняла и спрятала в рюкзак, отчего эта юбка вместе с шапкой были наскоро замотаны в одеяло? И, кроме того, у меня было ощущение, что я вышла из теплого помещения!

Можно объяснить и иначе.

Все это было, и я действительно легла спать в теплой бане и даже успела отдохнуть и лишь перед рассветом, увидев страшный сон (а может, под действием угара, остававшегося в бане-землянке), я выскочила, как угорелая, схватив и скомкав юбку, шапку и одеяло, и мчалась, очертя голову, пока не очнулась на краю гибели? Но... я не могла отбежать во сне так далеко, что деревня скрылась из глаз!

Прошло около четверти века, а загадка не разгадана.

Кажется, Толстой говорил, что счастливые — все счастливы одинаково, а несчастные — каждый по-своему. Это относится к отдельным людям и группам людей — семье, обществу, государству, но и к тем или иным отрезкам времени — дням, месяцам и годам.

Мои скитания на воле (если только подобную жизнь, жизнь затравленного зверя, можно назвать прекрасным словом «воля») продолжались в течение 5 месяцев, но более всего пережито было именно в первые после побега два месяца, когда каждый день мог быть последним и когда каждый шаг стоил невероятных усилий.

У меня было мало встреч, и они были короткими: жизнь людей нарымской тайги мелькала передо мной, как пейзаж при свете молнии — резко, ярко, но... некогда присмотреться.

Это был поединок с голодом, холодом, усталостью. Людей я встречала разных и — хоть мельком — но кое-какие наблюдения все же сделала.

В дальнейшем я чаще встречалась с людьми и убедилась, что в этих встречах больше опасности, чем во встречах с грозной, беспощадной, но справедливой природой.

В борьбе с природой побеждает мужество, с людьми нужно хитрить. А значит, там я безоружна.

На Юг. Глухой пророк. Баня

Местность опять изменила свой облик: исчезли большие массивы распаханных земель с холмистым рельефом. Вновь меня окружает тайга, где еще сохраняется снег, опять кругом — болота, трясины. В этих болотах рождается Омь.

Дорога — черт ногу сломит: бревенчатые настилы, которые шевелятся и колышутся под ногами; редкие и бедные таежные поселки.

Я чувствую себя увереннее: зима миновала, а небольшие морозы — не страшны. К тому же есть возможность заработать — не хлеб, а «полхлеба», то есть картошку, а значит угроза голодной смерти — также позади.

Выручают меня... «стайки» и «огуречники».

Парадокс: в таежном краю, где такое обилие строительного материала, не принято строить ни конюшен, ни коровников.

Объясню: как обстояло дело, когда кони были у всех, — я не знаю; теперь кони не имеют хозяев, так как коллективный хозяин — не хозяин, и те кони, которых я видела на лесозаготовках, содержались в ужасных (на мой взгляд) условиях: на морозе, под открытым небом, с обязательной «выстойкой» после работы.

Осенью они были в хорошей форме, зато к весне... Лучше не говорить: замученные перевыполнением норм, обворованные (трудно требовать, чтобы возчик, чьи дети пухнут с голоду, не украл их овес на кашу себе и семье!) и все поголовно — в чесотке.

С коровами — наоборот. Я не видела, как ухаживают за общественным стадом, зато своих коров любят, но... коровников все равно не строят, а содержат их в «стайках», то есть пристройках из теса, кое-как сложенного внахлестку, со щелями. Корм бросают под ноги и навоза всю зиму не чистят — так, говорят, теплее!

Корова постепенно подымается на пласту утрамбованного навоза, а к весне «стайку» раскидывают и навоз вычищают, вывозят (или выносят коробами) на огород, где делают высокие «огуречники», предварительно раскидав прошлогодние гряды — под картошку.

Разумеется, легким этот труд не назовешь, но... «пусть работа меня боится, а я ее не испугаюсь», говорила я себе, разбивая кайлом смерзшиеся края (середина не замерзала). Хорошо, если у хозяев была тачка, но поскольку сами хозяева были в армии, а хозяйки... известное дело — вдовье хозяйство! И чаще всего приходилось таскать навоз в коробах на горбу.

До чего же я выглядела нелепо!

Я так и не научилась толком повязываться платком! Женский платок на мне походил скорее на повязку средневекового флибустьера или на арабский головной убор; юбку же я подтыкала, а еще чаще скидывала и вешала, чтоб она была под рукой — чтобы не скандализировать местных старух.

Поработав день, два, а иногда и три на одном месте, поевши, если не досыта, то хоть в полсыта картошки, иногда — с молоком, я получала на дорогу той же картошки и немного денег. Бывало, угощали меня репой, брюквой, а еще чаще — турнепсом. И я могла шагать дальше, рассуждая: «дал Бог день, даст и пищу». Впрочем, главный расчет был на то, что руки, не боящиеся труда, найдут себе применение. Увы! Еще одно заблуждение!

На «траверзе» Новосибирска дела резко изменились и, разумеется, к худшему.

«Стайки» по-прежнему нуждались в чистке и огуречные гряды —

в навозе, но... разлагающее влияние спекуляции давало о себе знать. Все города были переполнены беженцами. В Новосибирск кроме того эвакуировали многие заводы, города росли, причем не сами города, а их население. Транспорт и снабжение были в хаотическом состоянии. Цены на черном рынке были потрясающие. Килограмм масла стоил 1500 рублей, а буханка хлеба — 250.

Жажда наживы охватила всех, кто жил неподалеку от города. Люди предпочитали не делать «огуречников» и вообще не чистить «стайки», чтобы не кормить работника. Ведь картошку можно продать по баснословной цене! А рабочему можно сунуть несколько рублей, на которые здесь и одного турнепса не купишь.

Так, терпя бедствие, я пересекала транссибирскую железную дорогу возле станции Чик — так близко от Новосибирска, что были видны трубы заводов Кривощекова, пригорода Новосибирска.

Ближайшая цель была — отойти как можно дальше от Новосибирска, безразлично, в каком направлении! Туда, где меньше беженцев... и меньше энкаведистов.

Не помню названия этой деревни. Помню только, что было это уже «по ту сторону экватора», то бишь железнодорожной линии.

Окинув взглядом улицу, я остановилась на большой пятистенной избе — без забора, почти без крыши и с соломой на месте выбитых стекол.

Тот, кто сам живет в такой развалюхе, не погнушается и самым бедным прохожим!

И на этот раз рассуждение оказалось справедливым.

Большая комната с прогнившим во многих местах полом. Большая печь, которую давно не топили: в ней — склад хозяйского «богатства» — очевидно оттого, что туда не попадает вода (потолок весь в потеках). Возле печи — буржуйка, в которой весело потрескивают дрова. Красные блики мечутся по стенам.

На дворе — день, но окна заткнуты соломой, и лишь один или два глазка еще застеклены.

В комнате были трое: старик, похожий одновременно на Распутина, Мельника из «Русалки» и сумасшедшего Архангела из «Принца и Нищего». Остальные двое — коза, оказавшаяся, если обоняние меня не обманывает (и если запах не исходил от самого хозяина) козлом, и петух — большой, рыжий, очень старый и, очевидно, давно вдовствующий.

С первых же слов мне стало ясно, что старик здорово туг на ухо, чтобы не сказать яснее — глух, как пень.

Не помню, я ли ему сказала, он ли сам догадался, но то, что я — в бегах, он воспринял как должное и добавил, что иначе и быть не могло: ведь настали времена, предсказанные Писанием, когда восстанет брат на брата и сын на отца...

Лиха беда начало, когда «начало» было положено, то старик без всякого с моей стороны поощрения приступил к проповеди.

Это легко понять: одинокому (поскольку козел и петух в счет не идут) человеку нужно время от времени отвести душу, выговориться. Беда была лишь в том, что, как все глухие, он плохо соизмерял силу своего голоса... А голосовыми связками Бог его не обидел!

Сперва старик просто ходил по комнате, разглагольствуя о том, какие тяжелые времена переживает Россия. Да! Он не так говорил, как обычно говорят сектанты — о человечестве, о христианстве, а именно о России.

По мере того, как он живописал беды, постигшие нашу родину и народ, возбуждение его росло. Он начал размахивать руками и топать ногами так, что козел в такт его речи стал трясти бородой и кивать рогами, а петух, дремавший на шесте у печи, вздрагивал, открывал глаза и топтался, усаживаясь поудобней. «...Три раза погибала Россия... и три раза вставала из руин и пепла!

Первый раз — от нехристей-татар. Тяжелая беда постигла страну. Да князь Дмитрий Донской и молитвы святого Сергия Радонежского осилили злую орду!

Второй раз погибель нависла над Россией через немцев, пришедших с севера. Но святой князь Александр Невский отвратил и эту беду! Князь бил их на Чудском озере — и небесная рать реяла над его дружиной, вселяя ужас во врага.

Третий раз погибала Россия через ляхов, пришедших с запада. Повержена была во прах Москва и держава — но восстал весь народ и с именем царя на устах и Бога в сердце поднялся на защиту своей родины. И рухнул враг!

Угрожала еще и четвертая беда — Наполеоний с двунадесят языков. Сам Наполеоний с юга родом, и перед войной с Россией к фараонам Египетским за силой и благословением ездил, но рассыпались, как злые чары, все его силы, так как встретили его россияне, сплоченные вокруг Бога и царя, — отчего были они непобедимы!

И объединились тогда злые силы со всех четырех сторон света: с севера и юга, с восхода до заката. Но даже ударив со всех четырех сторон, не повергли б они России! Однако где нет силы, там побеждает коварство. Не зря у Змия язык раздвоен! Своим лживым, раздвоенным языком внес он разлад и вражду меж людей и, отравив их яблоком соблазнов, выкрал из России Сердце ее и Душу!

И вселилися в ее душу враги — с севера и с юга; и раздирают ее тело враги — с запада и с востока! И видит брат врага в лице брата своего, и подымает сын руку на отца своего!

И станет земля бесплодней камня во пустыне, и иссякнут источники, питающие ее! И воцарится во всей стране страх и ужас, ложь и ненависть! И свершится все, предсказанное святым Иоанном в Откровении».

Ни в Нарымской ссылке, ни шагая по тайге, я еще не постигла, до чего в СССР необходимо молчать, как опасно уметь думать и как гибельно высказывать вслух свои мысли, но все же я почувствовала, что в словах этого «пророка» заключена опасность не только ему, говорящему их, но и мне, слушающей.

О! Я была далека от того, чтобы заподозрить существование инквизиторской статьи «о недоносительстве» — такая мерзость и в голову прийти не могла! Но мне хотелось... попросить его говорить потише!

Голос старика гремел так. Нет! Стекла не дрожали: они были выбиты и заменены соломой. И я, поблагодарив старика за гостеприимство, выскочила наружу.

Солнце ярко светило, так, что после полумрака избы я сощурилась. Жаль было уходить, но жаль было и старика...

Большая изба, посреди обширного пустыря, на самом почетном месте, против церкви («бывшей» — от нее остались лишь груды мусора) говорили о грустной истории одинокого старика.

Где его семья? Как и чем он живет? Козел, петух, два столба на месте бывших ворот...

Обломки кораблекрушения...

Обходя стороной Новосибирск, я дала большого крюка и, желая выйти на южное направление, последовала совету спрямить дорогу километров на 10, пройдя через лес, посреди которого должна была находиться маленькая деревушка с заманчивым (учитывая весеннюю распутицу) названием — Сухая Вершина.

«Мокрая Долина» следовало бы назвать эту трущобу!

Снега как будто уже нигде не оставалось, но в этом лесу снега было все еще почти по колено — да еще талого, мокрого, как простокваша!

Всюду текли и бурлили ручьи, и вскоре я устала и промокла.

«Десять километров» давно остались позади, а на близость деревни еще ничего не указывало.

И вдруг она появилась так неожиданно, что я даже удивилась! И, разумеется, обрадовалась.

Однако радость была совсем необоснованная: в какие бы дворы я ни стучала, отовсюду слышала одно и то же приветствие: «Проходи мимо! А то — собак спущу!»

Это меня даже удивило! Здесь, вблизи Новосибирска, привыкли к тому, что эвакуированные ходят толпой; тут всем отворяют, но... впускают лишь тех, кто за миску картошки отдает шелковую рубашку или тюлевую занавеску.

Наконец, из-за одной двери я услышала «войди», толкнула дверь, вошла н... обомлела от удивления. Комната была невелика, но и не мала, а куда ступить ногой, я не сразу поняла.

Против дверей, у окна сидел на стуле не старый еще человек, страдающий тяжелейшей эмфиземой легких: бочкообразная грудь, раскинутые в стороны руки, одутловатое лицо и отечные ноги говорили за то, что дела его плохи.

Широкая кровать под пологом с горой подушек, окна с занавесками и вазонами герани, фуксий и бальзаминов плохо координировали с десятком лавок вдоль стен, на которых, по-видимому, спали. Громоздкая печь с углублением в полу и печка-буржуйка загромождали все свободное пространство, а открытый в подпол люк, по обе стороны которого было привязано к кольцам, ввинченным в пол, по теленку, повергли меня окончательно в замешательство.

Лавируя, как лоцман меж рифов, я добралась до стола, поздоровалась и, повинуясь жесту хозяина, села.

Не успела я произнести просьбу о ночлеге, как больной прерывающимся от одышки голосом заговорил:

— Мой шена... топил... пани... Хочешь... пани?

Какую «пани» и за что утопила жена этого чуваша? (Что он чуваш, стало мне ясно с первого взгляда).

— Мой шена... пани... купаться пани... хочешь?

Тут я поняла! Оказывается, это — приглашение в баню! Хочу ли я? Да, разумеется, хочу!

Он мне объяснил, что баня — через дорогу, в огороде, неподалеку от колодца, и я, оставив рюкзак и обе телогрейки, пошла, предвкушая удовольствие...

Баня — низкая, полуземлянка, из оконца которой валит дым и пар, предбанник — полукруглый плетень под открытым небом.

Прямо на снегу, меж ям от выкопанной картошки, темнеют несколько кучек грязных лохмотьев.

Раздеваясь на снегу, думаю, куда бы положить одежду, чтобы ее еще больше не замочить?

Вдруг дверца бани открывается, и вместе с клубами пара выскакивает голая женщина с распущенными, как у «леди Годивы», волосами, несется по улице к колодцу. На ней — ничего, кроме волос. Но на этом сходство с леди Годивой кончается. А вообще-то она старая, уродливая, с отвислым желтым животом и тонкими ногами.

Набрав бадью воды, она возвращается и ныряет в эту подземную баню.

Что ж... Теперь — мой черед. Я открыла дверь и, согнувшись в три погибели, поползла вниз.

Баня — «по-черному», в полном смысле этого слова: прислонившись к притолоке, я сразу покрылась пятнами сажи.

Однако, прежде чем закрыть дверь, я успела кое-что разглядеть. Клубы густого пара чуть не задушили меня, но я успела разглядеть на полу лохань и в ней двоих, а может, и троих очумелых от духоты младенцев. Несколько женщин (все они показались мне старухами) копошились на корточках, а одна — плескала из шайки на каменку с раскаленными железками.

В следующее мгновение что-то меня толкнуло, подхватило, понесло, и прежде чем я опомнилась, эти мегеры растянули меня, как шкуру на правиле, на полке, и принялись тереть, мять и хлестать чем-то мокрым.

Безусловно, их намерения были самые лучшие, но... для меня слишком непривычные. Мне показалось, что я задыхаюсь! Соскользнув с полки, я вырвалась и как пробка вылетела из этой бани!

Подхватив свои вещи, я отбежала до середины огорода, где и оделась. Вот так баня!

Ночевала я на сеновале. Хозяева предлагали мне лечь в комнате, но перспектива спать в обществе больного старика, его семьи, двух телят и 8 «квартирантов»...

Нет! Это было бы слишком!

Там я узнала, откуда эти «квартиранты» — чуваши, их так же насильственным образом эвакуировали еще задолго до того, как немцы дошли до Сталинграда.

Это еще своего рода «милость»: как-никак поселили среди своих, чувашей.

Смешно и даже глупо было бы говорить: «путешествия — расширяют горизонты» и т. п. применительно к этим моим скитаниям.

Сперва — жест отчаяния, побег, затем — балансирование на грани смерти, а в дальнейшем — весной, летом — целая серия ошибок. Результат такого рода «туризма» мог быть только плачевным: слишком мощная и гениально продуманная была эта машина, меж шестеренок которой я попала, чтобы можно было на что-то надеяться!

Но я благодарю свою судьбу за то, что, прежде чем за мной захлопнулась дверь тюрьмы, я много видела своими глазами, а, как известно, «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать».

«Лунный пейзаж». Опричники. Сожженный хлеб. Весенние полевые работы

Удивлялась я деревням, которые были когда-то большими, богатыми селами, а превратились... в «лунный пейзаж»: подвалы и кучи битого кирпича.

Помню: «Алексеевка».

По всему видно, что были тут — широкие улицы, большие, богатые дома (на что указывают обширные, облицованные кирпичом подвалы), а теперь от дома до дома — полверсты; ни двора, ни забора. Кладбище! Да еще такое, где побывали мародеры.

Спрашиваю: «что тут произошло?» В ответ — косой взгляд и нечто невразумительное: «ушли в город». От такой богатой и удобной земли? От бескрайних полей и лугов? От благоустроенных домов? Одним словом — от хозяйства? От достатка?

Да! Нельзя быть богатым. Хозяев надо уничтожать.

Человек себе не враг, никто не стремится стать бедным.

Зачем заставляют людей ходить вверх ногами... и требуют, чтобы они уверовали, что так — лучше? Результат: поля пустуют, села становятся кладбищами. Где хлеб, который сеяли? Где скот, который водили?

Весна идет, земля поспела. Я иду, и сердце у меня щемит: пора выходить в поле! Пора сеять! Судя по тому, как стремительно наступает весна, тут и лето не заставит себя ждать!

Но никаких признаков полевых работ! И все же никак не скажешь, чтобы поля были пусты. Напротив! Куда ни глянешь, на полях маячат одинокие фигурки — дети, женщины, реже — мужчины. Если присмотреться, то видно, что они что-то подбирают. Но что? Ага! Наверное — сморчки: у нас весной их на стерне — видимо-невидимо! Но нет! Сморчки собирали бы в лукошко, короба, ведра, а эти бродят с котомками.

И не только на стерне, а и в картофелищах. Тут ясно видно, что они роются в грязи и выбирают пропущенную при копке картошку — мягкую, водянистую гниль.

Но что это? Где-то тоненький голосок прозвенел: «и-и-и-о-е-и-и-и!» — и фигурки, разбросанные по полю, заметались и кинулись в сторону недалекого колка (березового перелеска).

Тут я разглядела, в чем дело: какой-то всадник тяжело скакал, разбрасывая копытами мокрую землю.

Вот те на! Опричник это, что ли? — с удивлением смотрела я на поднятый им переполох. Похоже было, что дело обстоит именно так. Но я совсем не поняла, чем провинились эти дети, собирающие сморчки — или что бы там ни было?

Но у этого опричника к седлу были приторочены — не волчья го-

лова и метла, а... целая связка котомок — от крошечной сумки до порядочной торбы.

Мое недоумение было разрешено в ближайшей деревне. Удивляясь моей наивности, человек, к которому я обратилась с вопросом, мне объяснил:

— Люди ходят на жниво, собирают прошлогодние колоски, а конные стражники следят, чтобы они этого не делали: их избивают, отнимают котомки, штрафуют...

— Но отчего, Боже мой? Всюду нужда, голод... Отчего лишать их этой горсти пшеницы?

— Позволь им — так они все разбредутся по полям! А кто же будет работать? Трудодень — это палочка на бумаге. За этой палочкой — ничего нет или от силы — грамм 100, то есть опять же ничего, так как харчи после все равно взыскивают. А за день колосками можно набрать до десяти килограммов зерна.

— Но зерно все равно пропадет!

— И так потери велики, а если дать людям то, что не подобрано, то они еще хуже подбирать будут.

— Людей нет... Лошадей нет... А тут верховые носятся!

— Для этого и люди, и кони найдутся. А ты, тетка, проходи лучше! С тобою тут и до беды недалеко...

Хорошо весной в степи. Ветер, бывший зимой беспощадным врагом, сейчас теплой рукой ворошит мои волосы. Светло-голубое небо с чуть золотистыми облаками, всюду жаворонки. И кажется, что этот золотистый оттенок — и есть песня жаворонка, его переливчатая трель так приятно пахнет: немного прошлогодней стерней, немного — молодой травой, пробивающейся кое-где в долинах, немного — почками вербы и больше всего — запахом согретой, влажной земли. И все это вместе взятое — аромат весны.

Эх, до чего же легко дышится весной, даже — голодному бродяге!..

Но... Не умею я бездумно наслаждаться текущей минутой! Бродяга я сегодня, но в прошлом я — землероб, хозяин. И при виде вопиющей бесхозяйственности в душе встает вопрос: кто виноват, как помочь?

Как плохо убран хлеб! На каждом повороте — широкий огрех, вот — целая полоса пропущена; вот — просто затоптанный хлеб, а вот — долинка, скошенная вручную и неубранная. Гниет в валках хлеб. И невольно вспоминаю деревню, через которую только что прошла: потемневшие от голода люди; худющий, косматый, вываленный в навозе скот — кости вот-вот проткнут натянутую на них кожу. Видела я толпы женщин и детей, перекапывающих специальными вилками огороды в поисках пропущенной осенью картошки...

Ела я вместе с хозяевами драники из этой вонючей гнили, сдобренной дурандой, т. е. жмыхом. Видела я конников, не пускающих людей к прошлогодней пшенице. И мучительно искала объяснение того, чего не могла понять.

Не спеша, шла уже по подсохшей полевой дороге. Меня обогнала толпа ребятишек, идущих в том же направлении. Вот они рассыпались цепочкой вдоль... Вдоль чего? Неужели это — целый массив неубранной пшеницы? Да, это так. Учитель что-то кричит. Сильный ветер рвет в клочья его слова и уносит их вдаль. Но вот я понимаю все и без слов: ребята опускаются на корточки; то тут, то там кружится дымок. Вот вспыхнуло неяркое в солнечном свете пламя, и через минуту-другую низко над землей заклубился дым и рыжим змеем с голубовато-бурым хвостом покатился огонь по полю...

Я стояла, точно жена Лотова, обращенная в соляной столп. А учитель со своими помощниками пошел дальше, разбрасывая ногами снопы искр и облака черного пепла. Ветер гнал огонь, и казалось, вслед огню гнал и поджигателей, возглавляемых учителем.

Я подошла к кромке сгоревшего поля. Пахло горьким дымом и подгоревшим хлебом.

На фоне черного пепла ярко выделялись растекавшиеся, побелевшие или оранжеватые чуть поджаренные зерна. На черном фоне они казались особенно крупными.

Долго стояла я, опираясь на свой посох, и глядела вслед удаляющемуся палу.

От вида черного поля все вокруг почернело; в ушах вместо пенья жаворонка, казалось, слышался лишь треск огня.

Весна пахла пожарищем.

Долго я не могла забыть этого непонятного для меня мероприятия; меня преследовал вид голодных, истощенных людей и скота и... я ничего не понимала!

Правда, кроме первой версии — люди, мол, не станут работать, если им разрешить собирать то, что осталось в поле, — слышала я и вторую, официальную: перезимовавшая под снегом пшеница становится ядовитой, и люди, поедающие ее, заболевают злокачественной ангиной — гемолитической, со смертельным исходом.

Пророк Моисей, а позже — Магомет для того, чтобы заставить своих последователей выполнять то или иное медицински целесообразное мероприятие, делали его обязательным религиозным ритуалом, а нарушение его провозгласили грехом. Не подобным ли методом объясняется забота о здоровье умирающих людей? Плесень — вредна. Особенно стельным овцам, а также коровам. Однако их кормили плесневелой соломой с крыш, а пшеницу на корню — без признаков (по крайней мере — микроскопических) плесени — жгли.

Где правда — трудно сказать. Но я ела зерна этой пшеницы и притом — сырые. И ничего — жива...

Я люблю землю. Люблю работу на земле. Но больше всего я люблю весеннюю работу — посев.

Приятно собирать урожай, но... Жатва — это страда, это — напряженная работа, а в напряжении есть элемент страдания...

То ли дело работа весенняя, веселая. Светлая, как надежда!

И вот — весна. Я иду полями. Иду и удивляюсь. Нигде не видно крестьянина — хозяина, пришедшего с любовью навестить свою кормилицу-землю: пощупать, растереть в руках комок земли, понюхать, спросить — готова ли ты, матушка-земля, к посеву?

В этом вопросе чувствуется что-то торжественное, родное и понятное.

А тут?..

Крикливые воинственные лозунги мозолят глаза на всех правленческих зданиях. Надписи над улицей хлопают на ветру вылинявшими полотнищами.

Молодежь согнали на кулстаны (барак в поле, далеко от деревни), и там они чего-то ждали: не то — семян, не то — контролеров над семенами, не то — технику, еще не отремонтированную...

Время шло, время бежало, и тогда началась горячка.

Аврал: «Выполним досрочно» — без техники, без горючего... Кое-где приспособили газогенераторы, и трактор изрыгал тучи искр от березовых чурок; в большинстве случаев техника стояла на мертвом якоре, а «выполнять обязательства» досталось... коровам и, разумеется, женщинам, детям.

Это была кошмарная весна!

«Наш хлеб — удар по фашистам», «Поможем Армии!» — пестрели на каждом шагу лозунги: «Посевная — это наш участок фронта!»

Не знаю и теперь, что было в ту пору на фронте, а тогда — я даже не пыталась себе этого и представить! Зато картины этого тылового фронта врезались глубоко в мою память. Навсегда!

Моросит холодный дождь. Слякоть. В такую погоду не работают, но... приказано помогать армии. И помогают.

От взлохмаченных, мокрых лошаденок валит пар. Мальчишка лет восьми-девяти, весь в мыле, бежит рядом: картуз, сбившийся набок, упирается в покрасневшие уши; где-то валяются раскисшие, непомерно тяжелые обутки, и мальчишка трусит босиком, время от времени очищая бо-

рону. Борон — две, парень не успевает встряхнуть их обе. Бороны набирают ком пырея с мокрой землей и окончательно «плывут». Мальчишка останавливает лошадей и пытается поднять борону на попá. Покрасневшие тонкие детские ручонки бледнеют от напряжения, но... сил не хватает, и борона опять и опять шлепается, едва оторвавшись от земли. Картуз сполз, закрывая нос, виден только растянувшийся как щель рот, трудяга в отчаянии плачет в голос: «м-а-амка-аа!»

Пелена дождя сузила горизонт. Где твоя мамка, несчастное, продрогшее и испуганное дитя?

Подхожу, очищаю обе бороны; немного укорачиваю гужи, чтобы бороны меньше загружались...

Продолжай свой путь к победе, герой!

Пашут большой участок залежи. Должно быть, под свеклу. Жарко. Участок разбит на отдельные загонки. Их около десятка. В каждой загонке — плуг, в каждом плуге — корова.

Нет! Я не за женское равноправие. По крайней мере — не в этом смысле!

Даже привычным к ярму волам весной, особенно в жаркую погоду, тяжело в борозде... Что же можно сказать о корове?!

Не скажу, чтобы мне не было жаль и женщин.

Жаль! Очень жаль. Но... корову — больше...

Шлея рассчитана на лошадь; с коровы она сползает: верх перескакивает через голову, а низ жмет на горло.

Корова, пройдя несколько шагов, с хрипом падает в борозду. Встает на колени и снова валится. Язык вывален изо рта. С него стекают длинные нити слюны. В выпученных, налитых кровью, глазах — страх и удивление.

И еще — боль и упрек.

Корова дойная. Вымя, растертое в кровь, болтается; женщина ломает руки и голосит: то ли оттого, что не справится с работой, то ли — что пропадет молоко... Ведь корова — кормилица семьи: весной — вся надежда на молоко, которым можно забелить пареную крапиву и лебеду, единственное питание тех, кто должен накормить армию. Девочка лет 10—11, подоткнув юбчонку, упирается голыми по самый пах ножонками и храбро пытается удержать плуг в борозде.

Да! Досталось русским женщинам в те тяжелые годы. Но удивительно: тысячи верст от фронта! Глубокий тыл...

«...Ты — и убогая, ты и обильная...» Но, больше всего... нелепая.

Я — в деревне Качки. Это — кусочек Украины.

Странно видеть в самом сердце Сибири родную картину: чистенькие, побеленные хаты, крытые аккуратными снопами; возле хаты — садочек, обнесенный затейливым плетнем. Только подойдя поближе, видишь свою ошибку: хаты — обыкновенные бревенчатые избы, но оштукатуренные и побеленные (извести нет, белят белой глиной, за которой ходят... за 30 верст!); снопы на крыше не ржаные, а из яровой пшеницы, а «садочки» — отнюдь не вишневые, а черемуха, малина, кислица... И — цветы. (Сейчас их еще, положим, нет, но хозяйка с гордостью показывает, какой высоты у нее подсолнухи и мальвы!)

Село основали выходцы из Украины еще во второй половине прошлого века. Язык, на котором они говорят, — русский, вернее «сибирский», но изредка проскальзывает что-то украинское. И хотя изнутри стены их не побелены (как мне говорили — из-за тараканов и клопов, неразлучных спутников бревенчатых построек), но повсюду рушники с родным украинским узором.

Аким Бердач, у которого я работаю, видно, был когда-то зажиточным хозяином, сумевшим устоять на ногах, когда становление колхозов сметало и уничтожало все, что свидетельствовало о труде настоящих хозяев.

Семья большая: две дочери замужем, живут отдельно. Молодежь еще на Пасху угнали на кульстан. С тех пор дома не были, но обещались на Троицу ночью приехать тайком — в бане попариться.

Мать — больная язвой желудка, а может быть, и раком, ждет с нетерпением этой ночи, соскучившись по детям.

Дом Бердача — на околице села. Приусадебный участок большой (должно быть — на нескольких хозяев). Надо засадить огороды: ведь картошка — главная еда! Но как управиться, когда ни одного рабочего человека? Старуха больна, а сам Аким работает в кузнице: изготовляет и точит ножницы для стрижки овец. Я для них — просто находка. И я рада немного пожить оседлой жизнью.

Я работаю на совесть, не жалея сил, но, разумеется, со всем мне не справиться! А поэтому мне предоставлен самый тяжелый участок — тот, что идет до самого озера, а другой, на изволоке, решено вспахать сохой, которая, к счастью, у Акима сохранена на чердаке.

Соха хорошая: крепкая, легкая, кленовая. Но еще лучше — упряжка: запрягутся в нее... шестеро людей! То есть — пятеро: старуха, две замужних дочери, сватья и старшая внучка, а внук — мальчишка лет десяти — будет вести соху. Аким же станет... пристяжным.

Аким наладил лямки, каждый занял указанную ему позицию, скомандовал «с Богом!», все перекрестились... и так рванули, что земля винтом пошла.

Картина была и сама по себе довольно дикая, но больше всего меня удивляло, что, работая, они озирались по сторонам, и время от времени Аким бросал лямку, бежал к дому, прятался за плетнем, в прошлогоднем бурьяне, выглядывая оттуда, как заяц.

Тогда я еще не знала, что он не имел права работать у себя на огороде, так как должен был в колхозной кузнице точить ножницы: был сезон стрижки овец.

За те три недели (самых спокойных, и я бы сказала — счастливых за долгие годы мытарств) молодежь Бердачей лишь один раз наведалась домой, разумеется, также нелегально. Было это в ночь под Троицу. Старуха их ждала — истопила баньку, и поздно, близко к полночи, они явились. Тайком, в темноте, они попарились; в темноте же поели домашнего варева и еще задолго до зари опять ушли на кульстан.

Я всегда поминаю добром стариков Бердачей. Оба были не очень стары, но худы и измотаны жизнью, хотя видно, что в прошлом это была крепкая семья. Теперь все пошло прахом: взрослые сыновья — на войне, подростки — в поле, откуда домой не отпускают... На трудодни не давали ничего (все заработанное вычиталось за питание во время работы). Жить надо было с приусадебного участка, который старуха явно была не в силах обработать. Справедливость требует сказать, что и я старалась изо всех сил: от темна до темна я копала, не разгибая спины, а в дождь — рубила сечкой в деревянном корыте махорку-самосад. В тесной бане, в клубах едкой пыли, стучала я сечкой, кашляя и утирая слезы.

Я хотела от всей души отблагодарить людей, работая у которых я была сыта.

Но это счастье не могло длиться долго.

И вот я снова шагаю по Сибири.

О, это было отнюдь не по моему желанию, но... по моей вине.

Я так была измучена теми неожиданными и незаслуженными пинками и ударами, при посредстве которых Судьба (или — «злой рок») гоняли меня с одного места на другое, от одного тяжелого испытания к другому, еще горшему, что жизнь в Качках у Бердачей показалась мне верхом счастья! Как хорошо было бы осесть там окончательно, вступить в колхоз, работать. Я плохо разбиралась в том, что такое колхоз! Порой мне казалось, что это тоже одна из уродливых гримас какой-то неестественной (даже противоестественной) жизни, навязанной людям, заслуживающим более человеческой доли, но... Я видела лишь то, что хотела видеть: над головой — небо, под ногами — землю, в руках — работу и в награду за эту работу — котелок картошки, ломоть хлеба и возможность лечь и уснуть — пусть на голых досках, с уверенностью в том, что там, где я спала вчера, я могла бы уснуть и завтра.

Я так истосковалась по оседлой жизни.

Была ли к тому возможность? Наверное — да... По крайней мере тогда, в 1942 году.

Что было в Европейской части страны, я не знаю, но тут, в Сибири, была неразбериха и невероятный разнобой. Я видела толпы беженцев, стоящих табором вдоль железной дороги — семипалатинской? Барнаульской? Среди этой толпы было много одесситов, и я могла бы как-нибудь втереться, влиться в общий поток и разделить их судьбу.

Но для этого необходимо было постигнуть две премудрости, без которых у нас немыслима жизнь: молчать и лгать. Лгать всегда и молчать... тоже всегда или почти всегда.

Этой «науки» я так и не освоила до конца своей жизни.

Итак, опять — дорога без конца, без смысла... без дороги.

Виновата была я сама. Ведь не могу же я обвинить Бердачей в том, что они знали жизнь в этой стране, а я — нет?

Я не сумела отмолчаться; не сумела и соврать, сочинив что-либо более или менее правдоподобное о себе. А тех нескольких признаний, которые сорвались с моего языка, было достаточно.

— Фрося, голубушка, родная ты моя! Спасибо тебе за то, что ты нам в работе помогла, но... Тебе лучше идти дальше... Куда-нибудь, в более глухие места — подальше от Новосибирска... Тут у нас могут документы спросить...

Легко сказать — «куда-нибудь подальше»! В глухих местах прохожих меньше и чужой человек заметней. Это и так было ясно! Понимала это и сама старуха. Но страх — беспощадный хозяин. Я еще не знала, до чего ее страх обоснован! И мне было очень обидно... Старуха явно старалась от меня откупиться и проявила излишнюю, с моей точки зрения, щедрость: кроме торбы «каральков» (своего рода плюшек) она всунула мне две сорочки, красиво вышитые на украинский лад, полотенце и 120 рублей деньгами.

Это был последний дом, где я прожила сравнительно долго и где окончательно развеялись мои надежды как-нибудь осесть. Дальше, до самого 25 августа, дня, когда за мной захлопнулась тюремная дверь, я просто брела без цели и надежды.

Не стоит описывать день за днем, шаг за шагом перипетии этого печального пути, в котором я теряла иллюзии, зато приобретала опыт и... отвращение к этому опыту.

Сибирь и все связанное с нею было для меня очень ново, неожиданно, непонятно, и, как это ни странно, — скорее интересно, чем страшно.

Сперва пошла, придерживаясь большака, вдоль речушки под названием Карасюк или Карасук: так идти было легче, да и направление — хоть и не на юг, а на юго-запад — меня устраивало. Все шло гладко, пока я не завернула в одно село, в надежде пополнить свой запас провианта. Но стоило мне открыть рот, чтобы попросить продать картошки, как меня задержали, отвели в сельсовет, заперли в какую-то камору, сквозь щели в стенах которой я могла слушать, о чем говорили в комнате секретаря. Кое-что из услышанного не было лишено интереса.

Куда-то, в полевые станы, выезжала «агитбригада» — для читки газет. Им выписывали продукты, выдавали подъемные и пр.

Когда дверь за ними захлопнулась и загремели колеса, в комнате произошел оживленный обмен мнениями:

— У! Бездельники! Чтоб вам передохнуть, басурманы проклятые! — Бабы на себе семена в поле возят, а они на коне разъезжают! — У моей старухи все внутренности наружу вываливаются, а она день-деньской пашет и раз в месяц в баню не вырвется, а тут — здоровые лбы разъезжают, газеты почитывают!

— Нам на трудодень и соломы охапку для животинки не дадут, а им — вишь сколько пшена отвалили... И хлеба, паразиты проклятые! Для того ли наши сыновья на фронте погибают, чтобы разные-всякие в тылу за их спиной прятаться могли.

Шум поднялся изрядный, и в нем потонул голос секретаря, пытавшегося объяснить, насколько нужное дело выполняют агитбригады. Затем хлопнула дверь, и кто-то спросил:

— Кто тут высказывает недовольство? Кто сомневается в правильности правительственных директив?

Говорят, что когда Нептун ударял своим трезубцем и восклицал «Quos ego!» (Я вас!), в морском царстве наступала такая же тишина.

Двое суток продержали меня в этом чулане. Два раза в день выводили в нужник, но ни разу не накормили и даже не дали напиться. Я стучала в дверь, и мне говорили: «Как только нас соединят со Славгородом — все решится».

И решилось. Я слышала, когда, наконец, Славгород отозвался. Разговор был недолог:

— Задержали человека, без документов... Да... Старая... Да, баба... Если баба — то гнать в шею?.. Хорошо. — Затем сказал кому-то: «Говорит, если баба — гони в шею».

Загремели ключи, дверь открылась, мне сунули мой рюкзак и сказали: «Можете идти».

Меня шатало от голода и мучительно хотелось пить, но я не задержалась у бочки с водой, не подошла к колодцу. Лишь выйдя за околицу, я напилась у родника.

В бескрайней степи. Маслозавод. Последние... не могикане

Небо светло-голубое, высокое. По нему не плывут, а будто стоят на месте легкие барашки. Шуршит сухая, прошлогодняя трава и чуть шелестит мягкая, молодая, зеленая, как изумруд. Все кругом звенит и поет — как это бывает только весной. Весна! Нет, пожалуй, это уже лето? Но какое-то для меня непривычное. Как будто бы — ненастоящее. В моей жизни это уже 33-я весна; но те 32 были бессарабские, южные. Начинается у нас весна в феврале. Развивается она постепенно, не спеша, и длится — как и положено по календарю, все свои три месяца, и в мае уже может назваться «летом». В Сибири же она наступает как-то внезапно, торопясь, и, достигнув очень скоро летней зрелости, так и не становится по-настоящему летом!

Уже — начало июня, а если посмотреть на все моими «бессарабскими» глазами, то похоже... на апрель. Яркая, молодая зелень, чавканье влажной земли создавали полное впечатление весны, и это впечатление еще усилилось при виде перелетных птиц и при этом — самых разнообразных. Однажды я как-то на закате увидела вереницу лебедей, неуклюже шагавших от лужи к луже. Серые, с прямыми, длинными шеями, они совсем не были похожи на «царственную птицу», а скорее — на худого гуся. А сколько уток носилось тучами над многочисленными озерами! Во мне заговорила дочь моего отца, страстного охотника.

Эх! Вот бы мне «Зауэр» или, на худой конец, мою берданку с боеприпасами!

Я шла на юг. Все на юг.

Жарко. Над степью — марево. Вот уже третий день бреду по густой траве. Кругом, сколько глаз видит, почти абсолютно плоская степь и... ни признака жилья! Ни следа, ни дымка. Тишина степная: степь поет, звенит. Но все — и песнь жаворонка, и скрип коростеля, стрекотанье кузнечиков и шелест трав — не имеет никакого отношения к человеку и всем немелодичным звукам — грохоту, скрежету, реву машин и пр., которыми знаменуется присутствие его. На груди необъятной степи нет следов от ран, которые он наносит своей кормилице-земле: не клубится пыль на дорогах, не зияют, как дыры канавы и карьеры, не торчат, как бородавки, терри-

коны; не видать и наростов населенных пунктов с гигантскими занозами фабричных труб, воткнутых в небо...

Иногда мне кажется, что я иду по бывшей дороге. След ее то исчезает, то вновь выступает в виде полосы травы, характерной придорожной травы, отороченной пышным бурьяном. А вот и церковь белеет вдали у самого горизонта! Значит все же там — село.

Я прибавила шагу. Церковь вырисовывалась все ярче, все ближе, но... никаких признаков села!

И вот я стою перед странным зданием. Церковь? Нет.

Высокое, двухэтажное, белое, с нелепым фронтоном и еще более нелепым куполом. Верхние окна выбиты; нижние — заколочены, но дверь настежь, и одна створка даже полусорвана. Перед зданием — двор, обнесенный каменной стеной (впрочем, полуразрушенной).

Но самое удивительное — крапива. Сочная, темно-зеленая, она почти достигает второго этажа.

Картина полнейшего запустения! Но тут все же кто-то живет: двор пересекает тропинка и посреди двора расстелен брезент, а на нем — что-то белое, вроде крупы.

Пока я смотрела с любопытством на это здание, силясь угадать, что же это такое, из пролома в стене вышла женщина в белом халате не первой свежести.

Я с ней поздоровалась, и, не дожидаясь расспросов, сказала:

— Я издалека. Мне говорили, что здесь можно устроиться на работу.

— Какая тут работа? Последних коров, что еще не издохли, на мясо сдали. Я вот сушу отсыревший казеин. Пока здесь с ребятами до осени. А как выкопаю картошку — подамся куда-нибудь. Мужик на фронте. Еще вернется ли? А от маслозавода — сама видишь, что осталось!

Маслозавод? Я с удивлением взглянула на это нелепое здание, но промолчала.

— Что же, значит, меня зря так далеко погнали! Как отсюда поскорее пройти к станции?

— Станция? — она с удивлением на меня посмотрела. — Какая такая станция? Это прежде был ямской тракт, шел на Камень-на-Оби. А то еще есть чугунка — на Барнаул, а в ту сторону — Кулунда. Но я там не бывала. Я здешняя, из Соленого Озера. А тебе — куда?

— Вот война окончится, тогда скажу — домой, а пока что — где работу дадут, там жить и буду.

— Все в городе работу ищут, а ты вон куда зашла!

— В городе — очень уж голодно: народу видимо-невидимо понагнали (это я еще от Бердачей узнала). Я бы на ферме предпочла или в лесу.

— Эх, горемычная ты! Какие тут фермы! Видишь сама, какой у нас маслозавод! А ведь было время — сколько здесь скота люди держали! На вольных травах к осени, бывало, нагуляет сала! — Спина — как стол, хоть ложись! А сена... Да тут, как начнут стога метать — куда, не перечтешь! Меня отец замуж отдавать не хотел: твой жених, говорит, голодранец — у него всего только сорок коров! Да! Так оно было... Ну, потом, когда пошли колхозы, то и понастроили вот этих маслозаводов — перерабатывать молоко. Поначалу хорошо было: масло, сыры... ну, из обрата казеин делали. Да только затем все прахом пошло: то сено не убрали — оно и погнило, а как зима — скот с голоду отощал. К весне — половина, почитай, осталась. А там — то чесотка, то — парша, то — еще какая болячка. И вот...

Она пожала плечами и махнула рукой.

— У нас говорят: от хозяйского глаза — жиреет скотина, — сказала я.

Она вдруг испугалась и торопливо стала объяснять:

— Тут, понятно, злодеи виноваты, эти самые вредители. Их враги народа научили. И свои, и из-за границы.

— Самый большой враг — это глупость. Своя и заграничная.

— Так вот что: ты иди на полдень, а как выйдешь на большак, так там и расспросишь. Там найдутся и лес, и фермы.

Женщина поняла, что сболтнула лишнее, и торопилась исправить ошибку. Все же я у нее переночевала на сене (у нее была своя корова).

Но спала плохо: вкусны были картофельные галушки в молоке, но... я отвыкла от человеческой еды, и резь в животе была ужасная!

Да! Я еще успела их повидать, этих «последних могикан»... хотя были они отнюдь не могикане.

Много сотен верст исходила я, потеряв уже всякую надежду куда-либо дойти... или где-либо прижиться. Я видела феноменальную по своему плодородию землю с плодородным слоем в несколько аршин... и людей, питающихся пареной крапивой, чуть сдобренной молоком. Я видела бескрайние степи, в которых пропадала дивная трава... И худых коров, пасущихся в вытоптанных поскотинах или на привязи возле огородов.

Всему я искала объяснение, так как хоть война и легла тяжелым бременем на всех, но оправдывала она далеко не все.

Мужчины ушли на фронт. Это объясняет ту непосильную нагрузку, легшую на плечи женщин и детей. Пашут мало и пашут плохо. Это тоже легко объяснить тем, что дизельного топлива нет, и машины приходится заменять... коровами или своим горбом. Труднее объяснить, отчего люди, выращивающие хлеб, жестоко голодают. Ведь урожай 41-го года они смогли собрать? Ну, допустим, что хлеб целиком забрали на покрытие нужд армии и городов... хоть это еще не оправдание, но по крайней мере — объяснение... То, что коровы — единственные кормилицы и надежда колхозников — голодают, на привязи, меж тем как травы в степи пропадают, неиспользованные, тут — просто головотяпство: все земли, окружающие село, вспаханы; нет ни прогона, ни водопоя. Лучше было оставить за селом выгон, а пахать ту землю чуть дальше! Колхозное стадо — где-то на ферме, далеко в степи, а для собственных кормилиц-коров пастбища нет!..

Многое довелось мне намотать на ус, и прежде всего то, что в липкой паутине страха никто не осмеливается не только указать на недостаток, но не смеет его и заметить. Никакой критики! А это значит — никакой надежды на улучшение.

Какая грустная жизнь... на фоне ликующей природы, когда под ногами — величайшее богатство, плодороднейшая земля!

Но самую грустную, нелепую по своей жестокости сцену я наблюдала где-то уже в Рубцовской области. Пришла я в большое село, домики которого разбежались по довольно крутым берегам какой-то речушки.

Выспалась я превосходно в каком-то овине — погода была теплая, за короткие летние ночи земля не успевала остыть, — и, не спеша помывшись и «причепурившись», собиралась хорошо позавтракать. Я была очень богатой: проработав три дня на прополке картошки и гороха (в тех местах их сеяли вместе: картошку — под лопату, а горох — по 3 горошины в куст втыкали, закапывая, и горох как бы расстилался поверх ботвы), я получила — неслыханная роскошь! — торбочку пшена, пережаренного с постным маслом. Горсть этого пшена, брошенная в мой кофейник — и готов суп! Но на сей раз я захотела сварить кулеш по-настоящему, в настоящем котелке и на настоящем огне. Окинув критическим взором всю деревню, я остановилась на полуразвалившейся избе. Она стояла в центре села, возле места, где угадывалась в прошлом церковь. Казалось, изба больна проказой, и все другие избы отшатнулись от нее в страхе. И стояла она на голом месте, заживо распадаясь: половина пятистенной избы отсутствовала; оставшаяся же половина выглядела странно: окна с резными наличниками, но почти без стекол; венцы из «кондового» леса и крыша — из провалившегося, гнилого теса и еще более гнилой соломы.

«Наверное, там живет какой-нибудь старичок-бобыль, который не станет подозрительно допрашивать», — подумала я.

Я ошиблась. Но об ошибке не жалею. Я осталась голодной (хотя могла еще дня 3—4 не голодать), но и об этом не жалею. Знакомство с обитателями этой избы приоткрыло завесу над еще одной стороной советской действительности тех времен, которую иначе я могла бы не заметить.

Подходя к избе, я услышала, что за ней кто-то плачет, и несколько голосов о чем-то разговаривают. Желая оставить себе возможность незаметно ретироваться, я тихонько подошла и спряталась за угол.

Прямо передо мной стояла девушка-подросток, с материнской лаской обнимавшая за плечи худенького мальчика лет 14—15. На завалинке сидела старуха, низко опустив голову и зажав руки меж колен. Рядом с ней девушка, оживленно жестикулируя, говорила:

— Не надо было! Вовсе ходить не надо было! Когда на наряде Пантелеич, то ходить — лишь себя позорить! Ох, горюшко! Хоть бы умереть... А так — хуже смерти!

Стоя в дверях, тихо плакала, закрывая лицо руками, еще одна девушка, а против них — высокий, красивый, но очень худой и обшарпанный парень лет 20-ти в чем-то оправдывался.

— А может бы и взяли? Я же — не о себе думаю: о вас обо всех! Легко мне, что ли, глядеть, как вы все пропадаете?!

Я шагнула вперед и, сбрасывая наземь рюкзак, низко поклонилась со словами: «Слава Иисусу Христу!»

— Во веки веков, аминь! — ответила, подымая голову, старуха, и я заметила, что она вовсе не стара, а только очень измождена — должно быть, голодом и заботой:

— Вы, я вижу, голодны... Я тоже. Вот здесь у меня немного пшена... Сварите из него похлебку и поснедаем чем Бог послал!

Не знаю, что побудило меня отдать весь мой драгоценный запас? Но мне показалось, что знакомый голос мне шептал: «Помогай! И Бог тебе поможет».

Вот, вкратце, что я узнала.

Когда в океане произошло подводное землетрясение, то кораблю, застигнутому гигантской волной, нет дела до его эпицентра: реальная опасность — это цунами. Жители этого медвежьего угла не слишком вникали в то, какие последствия будет иметь для них революция. Была война. Это — плохо. Окончилась война. Это — хорошо. Не стало батюшки-царя... Не поймешь: плохо это — или хорошо? А гражданская война их и вовсе не коснулась. Менялись названия властей, но жизненный уклад оставался тот же — неторопливый, размеренный, основанный на почитании старших.

Прежде все было проще, понятней: в семье — отец, в стране — царь, а над всем и всеми — Бог. У царя и у Бога было много посредников, хороших или плохих, от которых, однако, можно было держаться в стороне. Самая же реальная власть — был отец, хозяин.

Но вот в начале тридцатых годов до них докатилась волна-цунами: началась коллективизация. Судна, успевшие поднять якорь и отдаться «на волю Божью», могли уцелеть.

Но крепко цеплялся якорем за родную, надежную землю хозяин — свекр и ни в чем не уступал ему сын, муж женщины, рассказывающей мне об этом.

— Пусть беднота вступает в колхоз! А я на своем хозяйстве своей головой думать хочу и своими руками справлюсь!

Захлестнула его волна, сорвала с якорей и швырнула на берег, разбила в щепки все его благосостояние.

Но — не сразу.

Сперва его взяли за горло, душа разверсткой — налогами, поборами. А тут подошел 33-й голодный год.

Ему бы — смириться, сдаться... Не захотел упрямый старик: «Пройдет лихая година! Распадется нелепая затея, провалится! А настоящий хозяин не станет на колени!»

В чем именно была его вина, я так и не поняла. Но вот однажды вызвали его в сельсовет, и обратно он уже не вернулся. Говорят — в Рубцовку его угнали, а где и как он помер — один Бог о том знает! Не то сердце, говорят, разорвалось, не то — пристрелили при попытке бежать...

Дело было весной. Надо было сеять... А тут пришли и описали за налог все: семена, лошадей... Оставили корову, и то — яловую! И потребовали уплатить поставку — молоко, мясо и полкожи...

Кинулся сын в Правление — проситься в колхоз...

Не тут-то было! Не нужны, дескать, пережитки прошлого!

Чего только в те годы не пришлось повидать! Кто был подогадливей, тот сразу собрался с семьей и уехал куда глаза глядят. Иные семью бросили, — бабу, мол, и ребят авось пощадят, — и сами скрылись. Кто знает? Может, где-нибудь живут, а может, и сгинули? Других среди ночи собрали и вывезли куда-то. Когда — со стариками и детьми; когда — лишь тех, кто «в силе».

Ее мужик был тихий. Уж как он старался: день и ночь работал, вся семья голодом сидела. Все отдавал в счет поставок. Но пришел 37-й, страшный год. Не помогла ему покорность! Не помогло молчаливое терпение: взяли его среди ночи. И — не одного, а со старшим сыном Кешей. Говорят, здесь же за селом обоих порешили. А где закопали — Бог весть! И попрощаться не довелось...

Осталась с пятью ребятами. Старшей девахе, Панке, 19 лет — невеста, да где уж! Пять лет с той поры прошло. Не жизнь, а мучение. Живем, как зачумленные. Не то, чтобы девок замуж отдать (а они — все трое — и работящи, и красивы), а слова сказать им — и то боятся, а может — брезгают... За сына Васятку так сердце и болит-замирает: ему уже 19 лет. Кешу забрали по восемнадцатому. Ведь подумать: я — мать — а хотела бы, чтобы его... в армию взяли! С войны все же ворочаются иногда, а «оттуда» нет возврата! Но нет! Не берут! «Репрессированный», говорят. Это значит — опасный, вроде бы — заразный...

И так повелось, что всякий над нами измывается! Вроде, чтобы другим, глядя на нас, страшнее стало! Только и ждешь, какую новую казнь для нас выдумают?!

Уйти — никуда нельзя: ремеслом каким заняться — запрещено. Даже вокруг дома — пустырь, картошку, и ту сажать не смей! Выделили нам одну десятину... верст за 20 в степу. Кругом — луга, выпас. Ферма там колхозная. Вот эту десятину обрабатывать мы должны и государству с нее 60 пудов пшеницы отдать. Обязаны! Вскопать лопатой, засеять... Это — за 20 верст, ходить, копать, сеять... А скотина там пасется — все начисто стопчет! Жить при той десятине не разрешают; бросить ее — не смей! Копай, засей. И купи 60 пудов, отдай государству.

А есть-то нам что?! Ни картошки, ни репы, ни зерна! Крапиву сваришь, истолчешь. Даже соли нет посолить! А то — лебеда. Она с отрубями еще кое-как, но ведь и отрубей-то нет!

Вот, как утро, идут дети — все пятеро — на колхозный двор, на работу просятся. Даром поработать — и то рады! Все хоть похлебки дадут или обрату и хлеба грамм 300—400. Народа-то мало... А брать их все равно не хотят. Постоят, постоят... и домой вернутся, плачут от голода. А мне, матери, каково на это смотреть?!

Нет, мне не жаль было, что я отдала им то пшено, которого мне бы хватило еще на несколько дней.

«Последние могикане» — недобитые единоличники. Как назвать эту продуманную жестокость — месть тем, кто был лучшим сыном своей земли — крестьянином?

Еще не раз и не два встречалась я с этими отчаявшимися единоличниками, которым не давали ни жить, ни умереть, и которых держали как бы другим в устрашение. И каждый раз удивлялась той изобретательности, с которой их подвергали пытке. Ни одна семья не была в полном составе, так как вместе все же им было бы легче. Не всех мужчин забирали сразу, так как пытка страхом, ожидание неизбежной беды вдвойне мучительны. У них не отбирали все сразу, с каждой потерей они могли страдать снова и снова, могли надеяться... и вновь терять надежду, и каждый раз вновь отчаиваться.

Но последовательность и дозировка издевательств обладала довольно широким диапазоном, хотя результат был один и тот же: физическая гибель после долгой моральной агонии.

Кто этого не видел — не поверит, как никто в Европе не верил ужасам голода 33-го года, террору 37-го, раскулачиванию и ссылкам, начавшимся в тридцатых годах, испытанных нами в 42-м... и конца которым никто не мог бы предсказать!

Оптимистическая старуха Логинова. Мой компас размагнитился. И бродягу можно ограбить

Забегая вперед, расскажу еще одну историю недобитой «единоличницы». Услышала я ее уже в неволе, в КПЗ (камера предварительного заключения).

Я не заметила, когда именно ее привели. Признаюсь, что первое впечатление было скорее неблагоприятное: как можно шутить и балагурить, когда за тобой захлопнулась тюремная дверь, и ты потеряла свободу?

Свобода!

Это слово выглядит по-разному... в зависимости от угла зрения.

Но вскоре я заметила, что ее бесшабашность — не что иное, как маскировка: что-то в ее глазах выдавало затаенное, безнадежное горе.

Говорить по душам можно лишь с глазу на глаз... что довольно затруднительно, когда в клетушке в 7 м² втиснуто двенадцать человек.

И все же она рассказала мне свою историю. Обычную и... ужасную (для того, кто еще слишком «европеец» и не привык к тому, что стало обычным и признается нормальным, почти законным).

«В школу мы не ходили; книг, газет не читали и казалось нам, что в жизни все просто, все понятно. Есть Земля — Мать и Кормилица наша, есть хлебопашец — Хозяин и Слуга этой земли. Не всходить солнцу с запада; не жить мужику без своей земли, которой он всю свою жизнь посвящал... и которая снабжала всем, что было нужно, его, его семью, его скотину. Словом — все хозяйство его.

И вдруг — колхоз... Да чья же это затея? Чья?

Кто первый пошел в колхоз? Голь, пришлый люд — те, кто никогда хозяином не был и кому терять было нечего.

За ними потянулись многие... Было это тогда, когда стали выселять и угонять невесть куда тех, кто показался властям подозрительным. Лучше — в колхоз, чем в Нарымские болота!

Но это от нечистого можно отчураться! А нам, крепким хозяевам, пощады не вышло. Мой мужик с германской войны не вернулся. Жила я при сыне. Вот его-то, беднягу, и угнали однажды ночью. Угнали с семьей — с женой и тремя ребятками, а меня, сама не знаю почему, оставили: живи, как знаешь — только налог плати и все поставки справляй! А налоги — как снежный ком! Где уж! Разве выплатишь? Да им вовсе и не нужно было, чтобы единоличник мог уплатить налог! Нужны были единоличники как бы для острастки: «вот, мол, какая кара ждет тех, кто вовремя не подчинился!» И тут уже изощрялись. Откуда выдумки у них хватало?! Умереть я хотела. Да Бог смерти не давал!

Казалось — хуже быть не может! Ан — не тут-то было. Как-то — Филипповский пост уж к концу подходил — постучалась ко мне старуха-нищенка с узлом в руках. Глянула я... да так замертво и свалилась: сноха это моя из ссылки домой добрела, с дитем, дочкой Надей...

Не столько с ее слов — говорить она, почитай, что и не могла, лишь зубами лязгала, а поняла я, что сын и оба внука там, в тех болотах... Ох, Господи, пошто караешь?!

Так и не оправилась сноха! Да и с чего бы ей поправляться! Изба нетоплена. Не то что хлеба — картошки и той нет!

Была у меня картошка. Двор я перекопала, глазки всю зиму собирала: срезала с картофелины верхушку и донышко, для семян оставляла. Так, значит, была картошка, но осенью, как я ее выкопала, должна была я отдать колхозному правлению три кучи, а четвертую — себе. Я поделила: приходите, выбирайте! Я вашу долю вам снесу, тогда и свою приберу — иначе не имею я права ее трогать, ни Боже мой! Так нет! Не выбирают! Я — что ни день — плачу! Разрешите хоть в горницу затащить! Нет! Не смеешь трогать! Ударили морозы, промерзла вся картошка. Тогда и говорят: «Купи 3 кучи хорошей картошки и сдай, мороженая нам не нужна!»

И что думаешь? Купила! Отдала! Все, что в сундуке было — даже смертную сорочку и ту продала, чтобы расплатиться за картошку.

А тут — потеплело. Картошка размерзла, потекла... Прокисла, протухла. Тем и питалась. И не одна — овечку держала и три курицы.

Да! Не дожила до весны сноха: померла! Осталась я с внучкой, Надюшей. Больше жизни полюбила я сиротку! Такая она ласковая да приятная! Будто самим Богом мне на утешение... Как ее, живой, сноха до дому донесла? Как она выжила — без хлеба, без молока? На одной гнилой картошке, да изредка яичко.

Однако — перезимовали.

Оягнилась овечка, куры нестись стали. Крапива молодая пошла. Сварю крапивы, натолку с картошкой (зимой, пока она еще мороженая, я ее варила, чистила и сушила. Дров только не было — по межам бурьян ломала, да что он греет-то, бурьян?), Надюше — яичко добавлю.

Расцвела сиротка — что вешний цвет! Румяная, голубоглазая, волосенки — что колечки золотые. Глядишь — не наглядишься!

Но недолго мы радовались! Перед самой Троицей пришли изверги. Забрали овечку и двух кур. Третья каким-то чудом уцелела — недоглядели!

Ох, горе-горькое. Огород я вскопала, да посадить было нечего: мерзлая картошка ростков не дает. Думала я, променяю овечку на семенную картошку — только обстричь бы ее до того — Надюше носочки вывязать или еще чего.

Вот и остались ни с чем: мы с Надюшей да курица Пеструшка. Так что ты думаешь? Подсмотрели-таки, что курица осталась, и за ней пришли.

Хочешь верь, а хочешь — не верь, но и смеялись же мы с Надюшей!

Пришли — чуть не весь сельсовет да еще с понятыми: «Давай курицу!»

— Берите! — говорю... что скажешь?

И пошла тут потеха! Семеро дюжих мужиков гоняются по бурьяну за одной курицей. Испугалась Надя, за юбку уцепилась...

— Маманька! — кричит (это она меня после смерти матери маманькой звать стала; видно, легче дитяти на свете жить, если это слово, «маманя» хоть кому сказать можно), — маманька, спасай Пеструшку!

— Не плачь, дитятко, не плачь! Пеструшку все равно кормить нечем. Ей там лучше будет.

Успокоилась девочка, смотрит... да как засмеется! Гляжу — и впрямь от смеха не удержаться: бурьян вырос густой да высокий! Канав, рытвин и не видать. Пеструшка — поджарая, проворная, никак им в руки не дается. Мужики спотыкаются, падают, а курица — как змей меж них вьется.

Однако поймали.

Не стало и яичка, чтобы крапиву толченую сдобрить.

А там повестка пришла: поставку сдать — яйца и шерсть...

Всегда все выплачивала. Покупала и отдавала. Голодала, из кожи лезла. Но тут уж нечего было из дому нести, продавать...

Не смогла я выплатить поставку эту — шерсть и яйца. Не помогли слезы. Не пожалели и ребенка. Обвинили меня в саботаже — статья 58-14, и вот я здесь.

Эх! Что тут говорить-то! Так оно и лучше! Надюшу в детдом отправили, меня — в тюрьму.

Каждый день кусок хлеба дают. 350 грамм. И кипяток. У себя я хлеба уж с каких пор не видала! И Надюша хлеб получает. Пусть и горький, но каждый день. Так лучше... Лучше! И для нее, и для меня. Только горько подумать, что ласки она не узнает, отца-мать да и меня, старуху, сперва забудет, а потом и возненавидит. Научат ее, мою кровинушку, на Сталина молиться, а родных ненавидеть. Ох! Горько мне, горько»...

Когда Логинова начала свою горькую повесть, все спали валетом, и то полулежа, так как было невероятно тесно. Но не крепок и не сладок сон на тюремном полу! Проснулись и постепенно придвинулись к порогу, где, на параше, сидела рассказчица, и я — рядом. Тускло светила

мигалка, все вздыхали. Каждый думал о своем горе, но воздух камеры был пропитан общим горем. Оно было всюду. И — во всем.

— Эх, бабоньки, — встрепенулась Логинова, — нечего грустить. Двум смертям не бывать, а тюрьмы — не миновать! Давайте лучше вспоминать, как мы замуж выходили, как первую ночь с мужем проводили! Только чур всю правду, без утайки!

И, не ожидая приглашения, первая начала свои воспоминания, пересыпая и без того разухабистый рассказ весьма солеными шутками и прибаутками. А в глазах затаилась тоска и где-то звучало с надрывом: «Надюша, дитятко родное, кровинка ты моя последняя».

Птица знает, куда ей лететь, зверь знает, как ему жить. А человек — царь природы — вынужден полагаться не на безошибочный инстинкт, а на свой зыбкий разум и... горький опыт.

Я шла дальше. И делала ошибку за ошибкой. Я потеряла счет дням, не знала чисел, и если и говорила изредка с людьми, то убеждалась, что они живут по своему календарю, в котором фигурируют праздники, посты и какие-то непонятные мне приметы.

Я плохо, слишком плохо знала Сибирь и приобретала опыт ценой «быстротекущего» времени.

Долгое время я шла вверх по Алею, думая, что иду по Бии, по направлению к Чуйскому тракту... а попала опять в окрестности Рубцовска.

Я хорошо, слишком хорошо, знала Бессарабию и допустила грубую ошибку, перенеся бессарабские масштабы времени сюда, в Сибирь. У нас пшеница созревает в разгар лета и молотьба заканчивается задолго до наступления осени. А здесь пшеница порой уходит под снег, а молотьба приходится на зиму.

Как ни мало я знала горы, тем более Алтайские, но мне стало ясно, что через Алтай, а тем паче Памир мне осенью не пройти.

А осень, как оказалось, совсем не за горами.

И я растерялась.

Если до того я шла на юг, как воздушный пузырек со дна к поверхности, то теперь следовало думать о том, что где-то надо зимовать и прежде всего «осесть», устроиться на любую, пусть самую трудную работу.

Когда жизнь выходит из своей привычной колеи, она превращается просто в цепь случайностей. Я уже вышла за околицу деревни, когда красота пейзажа привлекла к себе мое внимание. Я люблю деревья. Они редко сохраняются здесь вблизи жилья. Поэтому русские деревни выглядят на редкость непривлекательно. Здесь же меня очаровали огромные дуплистые ветлы, росшие возле живописной речушки. По ту сторону — развалившаяся мельница с почерневшим колесом и дальше — группы деревьев, заслоняющих деревню.

Зеленый луг, голубое небо, деревья, освещенные еще не поднявшимся солнцем, осока, седая от реки, — все это заставило меня остановиться, чтобы полюбоваться пейзажем.

Левитан, Поленов, а может быть, и Шишкин не прошли бы мимо.

Я уселась на корень ветлы и погрузилась в созерцание.

— Здравствуй! Далече путь держишь?

Я вздрогнула. За моей спиной стояла старуха. Что-то меня в ней удивило, и, лишь присмотревшись, я заметила, что левая рука от локтя отсутствовала, старуха курила.

— Спасибо на добром слове. А иду я в Славгород.

— Далеко, значит. — Она меня словно ощупала взглядом, так что даже стало неприятно. — Зайди ко мне, вот возле мельницы моя изба. Подсоби калеке управиться с дровами, а там — поснедаем и с Богом, в добрый путь.

Дров оказалось больше, чем я ожидала. Частью — уже распиленные, часть мы распилили вдвоем, а затем, пока я принялась их колоть и складывать в поленницу, старуха пошла в дом стряпать, как она сказала.

Время подходило к полудню, когда я управилась, старуха вышла с папиросой в зубах и позвала закусить.

На столе стояла гороховая похлебка, горшок молока и несколько лепешек из отрубей с картошкой.

Я давно не ела горячего, и у меня даже помутилось в глазах от голода.

Не успела я выхлебать похлебку, как обратила внимание, что за стулом, на котором сидела старуха, лежит мое одеяло. Я с удивлением взглянула на тетку, и... снова в ней мне показалось что-то странное... Это уже не была та старуха, что просила помочь ей с дровами! Передо мной сидела наглого вида женщина, попыхивающая самокруткой. Я растерянно перевела взгляд с одеяла на рюкзак, чтобы удостовериться. Проследив за моим взглядом, она усмехнулась:

— Я покупаю это одеяло! Сошью из него пальто.

— Но я его не продаю!

— Я тебе положила в сумку килограмм топленого масла.

— Но я ж говорю вам, что одеяла не продаю.

— Килограмм масла — хорошая цена... за краденую вещь.

— Как краденую?! — вскочила я, чуть не перевернув стул.

— А так! Машка! — продолжала она в сторону горницы, где кто-то шевелился. — Поторопи-ка оперативника! Скажи — дезертир, с крадеными вещами, безобразничает!

Сомневаюсь, чтобы там был какой-нибудь оперативник. Эта особа, скорее всего — настоящая бандерша, одна из тех, которые безбожно обирали несчастных эвакуированных. Но все это я сообразила значительно позже. В ту минуту, однако, я поняла лишь одно: меня ограбили, и если я не скроюсь и не смолчу, то прощай, свобода.

На минуту я остановилась возле тех ветел, сидя на корнях которых я любовалась пейзажем, и оглянулась. На сей раз пейзаж утратил свою прелесть. И отнюдь не только оттого, что изменилось освещение.

Чепуха! Неужели потеря одеяла — такая уж тяжелая утрата?

Как сказать...

В первую же ночь... (и — во все последующие) я могла в этом убедиться. Осень еще не наступила, но... «если миновала Санта Мария, можешь положить свою шапку», говорил «мой Костатий», а если в нашей благословенной Бессарабии после Успенья соломенная шляпа не нужна, то что сказать о Сибири?! До Успенья было уже не так далеко — считанные дни, ночи были уже прохладные, хотя днем солнце жгло еще по-летнему.

Физически я была в форме; худая, загорелая (вернее — обожженная солнцем и ветром), я могла идти, не ощущая своего тела и не чувствуя усталости. Я была голодна. Чувство голода — ни на минуту не покидало меня. Но это не было истощение.

Однако рассуждать надо было здраво: как ни отчаянно мое положение после побега, но у меня были: теплая смушковая шапка (даже не упомню, где и когда я ее потеряла); две телогрейки (ту, что была более рваной, я выбросила); стеганные (не шерстью, не ватой, а мхом) брюки (повешенные мною на вербе где-то на уровне Томска); валенки я отдала. И вот у меня отобрали шерстяное одеяло.

Ясно было одно: до наступления холодов нужно бросить где-нибудь якорь. Но где? Как?

То, что я видела, — колхозы, совхозы, — вселило в меня глубочайшее уныние. Поистине тяжела доля русского крестьянства! Просто уму непостижимо, как умудряется оно с бедой пополам сохранять свою жизнь?

И все же изредка на этом безрадостном фоне бывали проблески чего-то похожего на жизнь.

Еще весной случилось мне быть в деревне со странным названием Мохнатка. Меня удивила тогда разница между благосостоянием колхозников в двух колхозах этого села: в одном — все было, как обычно, — мякина, лебеда, березовая гнилушка заменяли хлеб, а толченая крапива, чуть заправленная молоком, — приварок. В другом колхозе «Имени Крупской» — все выглядело по-иному: дома имели жилой вид, скотина могла стоять на ногах и у людей был хлеб.

Из восторженных рассказов самих колхозников я поняла: колхоз «Имени Крупской» был ничуть не лучше других... пока председателя не призвали в армию. Колхозники наотрез отказались от председателя, которого им прислали, и выбрали... женщину — некую Курочкину. «Хватит

с нас,—говорили колхозники, почти сплошь женщины,—мужиков-пьяниц! Они только горлопанят да перед начальством пресмыкаются, а сами—все пропивают с этим самым начальством. Работники — сплошь бабы, а председатель и его подпевалы—мужики—над нами измываются! И Курочкина оправдала доверие людей.

Что тут—правда, а что—фантазия, я судить не берусь. Я приняла это на веру и решила так: «пойду-ка, поговорю напрямки с этой председательницей. Скажу ей всю правду. Должна же она понять! Я ведь не преступник, не лодырь, не враг. Я умею работать честно, бескорыстно, с полной отдачей! Сейчас—война. Стране, моей родине, нужны все ее силы, все люди там, где они могут принести хоть небольшую пользу. Пусть до окончания войны я проработаю свой «испытательный срок»! Должны же, наконец, оценить меня, как работника?! Я—зоотехник и агроном, землю я люблю и знаю. Я могу быть полезной... Неужели же этого не поймут?» До чего же я была наивна!

Я не дошла до колхоза. Самый пустяк—несколько часов пути. Здесь, в какой-то захолустной деревеньке, имени которой я даже не запомнила, закончился мой поход. И закончился самым плачевным образом: меня задержала... какая-то плюгавая девчонка. Рыжая. Слабосильная. Из тех комсомолок, которые ни за что не станут работать, а предпочитают корчить из себя начальство.

О таких говорят: «...соплей перешибешь». Мне бы плюнуть, и она перевернулась бы, но... она потребовала предъявить ей документы, и когда я сказала, что у меня их нет, повела в сельсовет.

И по нынешний день не пойму, что заставило меня подчиниться?

Надеялась ли я, что меня и на этот раз отпустят? Нет, конечно.

Так что же? Я не чувствовала за собой вины. Я самовольно ушла с места ссылки... Но у меня не было выбора! Хохрин — безусловно садист. Такому нельзя доверять жизнь людей!

Может быть, я надеялась, что мое желание работать в колхозе «Имени Крупской»—здесь, по соседству, встретит сочувствие и одобрение?..

Иногда мне кажется, что просто меня морально вымотала бездомная, волчья жизнь, и я полагала, что в самом худшем случае, если меня вновь отправят в Нарымскую ссылку, то на сей раз мне будет лучше. Я просто не могла себе представить, что «хохринский деспотизм» мог еще существовать! И это рассуждение достаточно правдоподобно...

Одно лишь верно: никогда ни под каким видом я не могла угадать, что ждет меня... Злая ирония судьбы!

Как раз когда я сидела, запертая в чулане при сельсовете, там, проездом, была эта самая председательша колхоза «Имени Крупской», Курочкина. Узнала она о том, что я хотела бы у нее работать? Или просто пожалела меня? Во всяком случае мне принесли от ее имени передачу—первую, последнюю и единственную за все долгие годы неволи. Были это: крынка молока и отварная картошка.

Не в добрый час, должно быть, пришлось мне это приношение! От нервного потрясения, что ли, но после этой картошки с молоком у меня началась такая резь, что я была вся в холодном поту, и от боли в глазах темнело. Ночью меня выпустили—«за нуждой». Было темно. Небо заволокло тучами. Падали редкие капли дождя. Чуть белел частокол, а за ним—вершины деревьев, должно быть, ракитников, вдоль речки Карасук.

Отчего я не махнула через ограду?

Не решилась расстаться с рюкзаком, в котором было все мое имущество, и самое дорогое для меня: папины часы и папин портрет?

Или врожденная порядочность не разрешила обмануть доверие того, кто меня выпустил? А может—боль и слабость сломили меня, и просто не хватило сил? Не знаю. Возможно, и то, и другое, и третье.

И все же мне кажется, причиной была надежда. Да — надежда! Я надеялась, что мне поверят, ко мне проявят сочувствие.

Если бы я знала, что меня ждет... О, если б хоть на мгновение предо мной чуть приоткрылось будущее!

Я не колебалась бы ни минуты: смерть стала бы моим избавлением.

г. Ессентуки

Зинаида Гиппиус

ИЗБРАННОЕ

Крылатое

И. А. Бунину

В дыму зеленом ивы...
Камелии—бледны.
Нежданно торопливы
Шаги чужой весны.

Томленье, воскресанье
Фиалковых полей.
И белое дыханье
Зацветших миндалей.

По зорям—все краснеь
Долинная река,
Воздушней Пиренеи,
Червонней облака.

И, средь небес горящих,
Как золото желты—
Людей, в зарю летящих,
Певучие кресты.

Февраль 1912. По.

Божья

Милая, верная, от века Суженая,
Чистый цветок миндаля,
Божьим дыханьем к любви разбуженная,
Радость моя,—Земля!

Рощи лимонные—и березовые,
Месяца тихий круг,
Зори Сицилии, зори розовые,—
Пенье таежных вьюг,

Даль неохватная и неистовая,
Серых болот туман,—
Корсика призрачная, аметистовая
Вечером, с берега Канн,

Ласка нежданная, утоляющая
Неутолимую боль,

Шелест, дыхание, память страдающая,
Слез непролитых соль—

Всю я тебя люблю, Единственная,
Вся ты моя, моя!
Вместе воскреснем, за гранью таинственною,
Вместе — и ты, и я!

Ноябрь 1916. СПБ.

Юный март

Allons, enfants de la patrie...

Пойдем на весенние улицы,
Пойдем в золотую метель.
Там солнце со снегом целуется
И льет огнерадостный хмель.

По ветру, под белыми пчелами,
Взлетает пылающий стяг.
Цвети меж домами веселыми
Наш гордый, наш мартовский мак!

Еще не изжито проклятие,
Позор небывалой войны.
Дерзайте! Поможет нам снять его
Свобода великой страны.

Пойдем в испытания встречные,
Пока не опущен наш меч.
Но свяжемся клятвой навечною
Весеннюю волю беречь!

8 марта 1917. СПБ.

Сейчас

Как скользки улицы отвратные,
Какая стыдь!
Как в эти дни невероятные
Позорно — жить!

Лежим, заплеваны и связаны,
По всем углам.
Плевки матросские размазаны
У нас по лбам.

Столпы, радетели, водители
Давно в бегах.
И только вьются согласители
В своих Це-ках.

Мы стали псами подзаборными,
Не уползти!
Уж разобрал руками черными
Викжель — пути...

9 ноября 1917. СПБ.

У. С.

Наших дедов мечта невозможная,
Наших героев жертва острожная,
Наша молитва устами несмелыми,
Наша надежда и воздыхание,—
Учредительное Собрание,—
Что мы с ним сделали?..

12 ноября 1917. СПБ.

Если

Если гаснет свет — я ничего не вижу.
Если человек зверь — я его ненавижу.
Если человек хуже зверя — я его убиваю.
Если кончена моя Россия — я умираю.

Февраль 1918. СПБ.

Шел...

I

Белому и Блоку

По торцам оледенелым,
В майский утренний мороз,
Шел, блестя хитоном белым,
Опечаленный Христос.

Он смотрел вдоль улиц длинных,
В стекла запертых дверей.
Он искал своих невинных
Потерявшихся детей.

Все — потерянные дети,—
Гневом Отчим дышат дни,—
Но вот эти, но вот эти,
Эти двое — где они?

Кто сирот похитил малых,
Кто их держит взаперти?
Я их знаю, Ты мне дал их,
Если отнял — возврати...

Покрывало в ветре билось,
Божьи волосы крутя...
Не хочу, чтоб заблудилось
Неразумное дитя...

В покрывале ветер свищет,
Гонит с севера мороз...
Никогда их не отыщет,
Двух потерянных — Христос.

Май 1918. СПБ.

Шел

II

Всем, всем, всем

По камням ночной столицы,
Провозвестник Божьих гроз,
Шел, сверкая багряницей,
Негодующий Христос.

Темен лик Его суровый,
Очи гневные светлы.
На веревке, на пеньковой,
Тугосвитые узлы.

Волочатся, пыль целуют
Змиевидные концы...
Он придет, Он не минует,
В ваши храмы и дворцы,

К вам, убийцы, изуверы,
Расточители, скопцы,
Торгаши и лицемеры,
Фарисеи и слепцы!

Вот, на празднике нечистом
Он застигнет палачей,
И вопьются в них со свистом
Жала тонкие бичей.

Хлещут, мечут, рвут и режут,
Опрокинуты столы...
Будет вой и будет скрежет—
Злы пеньковые узлы!

Тише город. Ночь безмолвней.
Даль притайная пуста.
Но сверкает ярче молний
Лик идущего Христа.

Май 1918. СПБ.

14 декабря 18 года

Нас больше нет. Мы все забыли,
Взвихрясь в невиданной игре.
Чуть вспоминаем, как вы стыли
В каре, в далеком декабре.

И как гремящий Зверь железный
Вас победив—не победил...
Его уж нет—но зверь из бездны
Покрыл нас ныне смрадом крыл.

Наш конь домчался, бездорожен,
Безузден, яр,—куда? куда?

И вот, исхлестан и стреножен,
Последнего он ждет суда.

Заветов тайных Муравьева
Свились напрасные листы...
Напрасно, Пестель, вождь суровый,
В узле пеньковом умер ты,

Напрасно все: душа ослепла,
Мы преданы червю и тле,
И не осталось даже пепла
От «Русской Правды» на земле.

Декабрь 1918. СПБ.

●

Господи, дай увидеть!
Молюсь я в часы ночные.
Дай мне еще увидеть
Родную мою Россию.

Как Симеону увидеть
Дал Ты, Господь, Мессию,
Дай мне, дай увидеть
Родную мою Россию.

Грех

И мы простим, и Бог простит.
Мы жаждем мести от незнанья.
Но злое дело—воздаянье
Само в себе, таясь, таит.

И путь наш чист, и долг наш прост.
Не надо мстить, не нам отмщенье.
Змея сама, свернувши звенья,
В свой собственный вопьется хвост.

И мы простим, и Бог простит.
Но грех прощения не знает,
Он для себя себя хранит,
Своею кровью кровь смывает,
Себя вовеки не прощает—
Хотя и мы простим, и Бог простит.

1938

Владимир Ротов

НЕ ТОТ

РАССКАЗ

Брат Витька искал холодильник, теперь это почти неразрешимая проблема, а у Михаила Ильича свободный день, он сел на телефон: методически и как бы невозмутимо (но, конечно, душою уже доходя до белого каления) крутил диск, слушал бесконечные короткие гудочки, слабо дергал усом, переходил к следующему подбору цифр, слышал те же гудочки и из третьего магазина, и из пятого, а где-то не брали трубку, и он возвращался к прежним номерам, куда-то прорывался, и ему отвечали: холодильников нет, он уж из чистого упрямства или инерции крутил обрыдший диск, пока вдруг не сказали: есть, но немного. Шут с ним, что в Измайлове, а Витька живет в Филях, довезет, коль достанется. Не переводя духа, набрал Витькин рабочий номер.

Было три гудка. Трубку сняли. Молодой мужской голос: алё.

— Озерцова, пожалуйста.

Почти мгиовенная пауза.

— Он умер.— Трубку положили.

Помолчали, сказали и положили.

— Что? — переспросил Михаил Ильич и улыбнулся. Улыбка вместе с губами растянула его и без того длинные острые усы и застыла. Михаил Ильич попытался ее убрать, но не мог, так и сидел, вроде бы задумчиво-веселый, смотрел на телефонный аппарат. Трубку он продолжал держать возле уха. Потом машинально положил.

Витькина Лида не знает, иначе бы уже позвонила ему. Михаил Ильич представлял себе, нет, ему представлялось (потому что мысли несло, он не управлял ими): он звонит Лиде, она... что она? — вскрикивает? плачет?.. да, он слышит ее недоуменные возгласы, затем рыдания... Мысли несло дальше — хлопоты, похороны... Он не шевелился. Наконец улыбку стерло, взгляд стал осмысленным, шею и лоб окатила испарина — рука судорожно рванулась к трубке, палец прыгал, крутя диск.

В этот раз был всего лишь один гудок.

— Слушаю.

— Ви...— Михаил Ильич поперхнулся.— Витька?!

— Миша? Ты что кричишь?

— Витька!

— Что случилось? — Витькин голос испуган.— Ты чего, Миш?

— Порядок,— сказал Михаил Ильич.— Все в порядке. Какой-то подонок лажанул, что ты умер. Я ошибся номером, понимаешь? Ну, этот скот и выдал мне информацию. С-с-собака...

— Нельзя быть таким доверчивым.

Обычная Витькина манера: все серьезное прятать за ерничеством. Манера, к которой Михаил Ильич относился снисходительно, понимая: иначе ранимому Витьке слишком тяжко было бы жить. Но сейчас этот тон разозлил.

— Умник,— проворчал, отходя, старший Озерцов.— Я, собственно, чего звоню: холодильники есть в Измайлове. Сможешь умотать?

— Правда? — Витька обрадовался.— Да уж как-нибудь... Лидуха будет довольна. А какие?

Михаил Ильич сказал. Фоном разговора все время было тревожащее чувство — он вспоминал. И вспомнил.

— Слушай, я ведь как лажанулся-то: вместо двойки тройку набрал. Понял, какая башка у меня дыр-рявая!

— Склероз,— сказал Витька.— Как твои?

— Нормально.

— Ну, все, пока. Мне ж еще за деньгами...

Вот башка, снова подумал Михаил Ильич. Но... это что за шутки? «Он умер». Так спокойненько. Сколько их нынче развелось, шутников. За такое надо бить по мордасам. Знают безнаказанность... Он сидел и потихоньку багровел. Экая беспардонная, хамская разнузданность. И, главное, ничего не сделаешь... Пока не налился до макушки свирепым гневом. Ничего не сделаешь?.. А ну-ка...

Михаил Ильич круто дернул усом (с каких пор появился тик, он не заметил), хищно схватил трубку, номер набирал рывками, несколько раз палец срывался. Гудки, тот же голос: алё.

— Ты,— Михаил Ильич задохнулся,— ты... щенок! Выпорю! Понял? Ты меня понял?

— Чи-во? — голос несказанно изумленный, но без испуга.— Это кто еще такой? Кто говорит-то?

— Неважно! — рявкнул Михаил Ильич.— Представляться тебе... дерьма кусок...

— Мужик, ты чего? — изумление возрастало, теперь тот вдобавок развеселился.— Не, ты чего? Откуда сорвался? А, мужик?

— Я вот тебе сорвусь!.. Я звонил недавно. Ты мне что ответил? Ты что ответил мне, а? Что умер — с этим разве шутят, паразит ты...

Было после этого молчание: Михаил Ильич как-то обмяк, выплеснув гнев, а тот, видать, силился вспомнить.

— Не, ты чего? Мужик! Ты даешь! Да мало ли я чего кому сказал. А ты, вообще, откуда мой телефон узнал?

— Извинись.

— Чи-во?

— Извинись хоть.

— А за дерьмо? За паразита? Не надо извиняться? — Опять молчание, после чего тот, юный, сказал: — Давай так, мужик: говоришь свои координаты, я еду и делаю тебе больно. Или где хошь встречаемся.

Михаил Ильич голос потерял от такой наглости — хотел говорить, но только глотал.

— Чего молчишь-то? — напирал тот.— Я тогда пошутил, а сейчас не шучу. Ну?.. Ладно, с тобой все ясно. Иди штаны суши.— И собеседник пропал.

— Стой! — заорал вослед Михаил Ильич.— Не клади трубку! Стой, пас-скудник!..

Но уже неслись быстрые гудочки, наполняя все существо Михаила Ильича мерзостным чувством беспомощной ярости. Она побуждала к действию. Теперь прибавились прямые оскорбления и насмешки. И со стороны кого? Какого-то наглого салажонка (Михаил Ильич два десятка лет назад демобилизовался с флота). Он бросил трубку, но потом снова ее поднял. Подержал и опять бросил. Телефонный вариант мести или хотя бы выплеска ярости его не устраивал. Этот вариант попросту исчерпал себя: что нового мог Михаил Ильич сказать нахальному балбесу? Вот если узнать адрес...

Однажды младший из братьев Озерцовых сказал старшему: ты, сказал он, все делаешь правильно и справедливо, но этого правильного и справедливого ты иногда делаешь больше, чем нужно. Получается перебор.

Что перебор, Михаилу Ильичу и сейчас не впало в голову, когда набирал он телефон Кости Петрова, как по наитию всплывший в памяти. Школьный приятель Костя трудился инженером на АТС. Кто-то ворожил Михаилу Ильичу: Петров оказался на месте, узнать по номеру телефона адрес было для него делом плевым.

Витька работал на Новослободской, и искомый дом оказался там же, чуть ли не соседний. Михаил Ильич записал и, чтоб не остыть, тотчас начал собираться. При этом ход мыслей его был прямым и незатейливым:

увидеть, сказать в лицо, в глаза юному подонку, что не по-людски так себя вести, а может, разок и приложить, коли слов не уразумеет,— вряд ли, впрочем, уразумеет... А если окажется не один, если будут при сем домашние?.. Тут Михаил Ильич, в прихожей мотавший шарф вокруг шеи, на секунду замер. Это была новая мысль, и неприятная. Что ж, в таком случае состоится серьезный разговор на тему воспитания, тут же с досадой решил он, а захлопнув дверь, пожелал мысленно, чтобы никого, кроме самого юнца, дома не оказалось.

Сгущались ранние сумерки, но час «пик» еще не наступил, в метро не было давки: Михаил Ильич по эскалатору вольно сбежал, целеустремленно глядя вниз, и в вагон вошел свободно, и сел, грузно расставив ноги, никого рядом не потревожив. Усы его торчали воинственно.

Никакие фразы он не жевал, никакую речь заранее не готовил, полагался на естественный ход событий — никаких речей, понимал он вполне трезво, ему произнести не дадут, разговор пойдет круто и быстро.

Его, главное, грызло и точило то, как он сидел после дурацкого розыгрыша, не в силах собраться с мыслями, уже похоронив, можно сказать, Витьку, сидел в ужасе и оцепенении,— не давали покоя те несколько кошмарных секунд, когда он поверил придурку.

Дверь, как он и опасался, открыл не тот юнец, а человек изрядно пожилой. Мелькнувшее было предположение, не этот ли с ним говорил по телефону, сразу же показалось нелепым: человек был не просто серьезен, он был насупленно строг, глядел на Михаила Ильича как-то по-особому тяжело, ничего не спрашивая, а только ожидая слов гостя; Михаил Ильич, будь он настроен менее решительно, стушевался бы мигом под его взглядом. Хотя тушеваться он не имел, как говорится, привычки.

Хозяин ждал. Гость сказал:

— Здравствуйте.

Тот еле заметно повел головой сверху вниз — поздоровался.

— Это ваш телефон? — Михаил Ильич назвал номер.

В ответ опять то же движение головой.

— А коли ваш, есть маленькое дело.— Михаил Ильич решительно дернул усом и расправил плечи.— Собственно... я час назад по телефону говорил с вашим... сыном, что ли? Или внуком? Кто у вас тут?

— У меня тут внук, допустим,— впервые подал голос хозяин. Голос был негромкий, но очень сильный, тоже не оставляющий сомнений в характере его владельца, с которым лучше не шутить.

Хозяин помолчал и, как раз когда Михаил Ильич только собрался попросить, нет, потребовать, чтобы вышел внук, неожиданно заговорил:

— Я предупреждал его: не бросит к чертям это занятие — выгоню. Как ответственный съемщик имею право. И пусть катится к отцу-матери. Мне надоели эти визиты, я хочу спокойно жить. Вот так. Уголовщину я не допущу. Развелось вас...— Он близко, остро заглянул в глаза Михаилу Ильичу, посмотрел затем на его руки.— Приносят, уносят... Развел барахолку... Ну, что надо? — вдруг резко, громко вопросил он, наступая на незваного пришельца, отчего тот чуть откачнулся назад.— Что надо, ну?

— Внука вашего надо,— тоже повышенным голосом ответил Михаил Ильич.

— Нету его.

— Как это нету? Час назад был.

— Нету, ушел.

Михаил Ильич почему-то поверил.

— Жаль. Я бы ему сказал пару слов.

Он испытал глубокое разочарование. Получалось, весь запал его пропадал впустую. Не на старика же набрасываться. Да и не набросишься на такого. Оставалось ретироваться, но просто так уйти было тоже глупо. Обида продолжала жечь, Михаил Ильич сказал:

— Ну и фрукт он у вас, понимаешь...

— Не поделили чего? — спросил старик, глядя на него сурово.

Все же стариком его можно было назвать с натяжкой: стариковского в нем было — разве что глубокие морщины, прорезавшие чисто выбритые впалые щеки, да седина, да внук уже взрослый — значит, дед он давно. А так — пожилой, крепкий мужик. Вдобавок от щек молодо разило одеколоном, а одет был в обтягивающие сухую фигуру, плоский живот спортивные брюки, вообще весь был этакий спортивный, моложавый — грузнеющему бы Михаилу Ильичу так в его годы.

Впрочем, об этом Михаил Ильич подумал с завистью позже, а сейчас, услышав вопрос, возмутился самим предположением, будто ему с салагой было что делить.

— Я его знать не знаю и знать не желаю, ясно? За хамство по телефону хотел ему уши надрать, щенку,— сказал он, глядя с вызовом: попробуй, мол, заступись за щенка своего, да, да, именно щенка, и еще раз могу повторить — щенка. Вид у него был такой, что он презрение как бы распространял и на деда.

Деда — странно — нисколько этот тон не задел, наоборот, посмотрел на гостя немного приветливее, что ли, и уж явно с интересом:

— По телефону? Да он и так... А что такое было по телефону?

Хмурый Михаил Ильич уже рот раскрыл, чтобы выложить историю: может, хотя бы суровый дед вправит мозги внуку,— как тот неожиданно предложил, отступая в глубь прихожей:

— Заходите. Заходите, заходите,— повторил он тоном, не допускающим возражений.— Вы расскажете, я послушаю. По телефону... По телефону еще не было.

Михаил Ильич вошел. Хозяин закрыл входную дверь. Гость снял шапку. Хозяин молча кивнул на пальто. Михаил Ильич стал машинально расстегивать пуговицы, уже начав рассказывать. Он совсем не собирался располагаться здесь даже на незначительное время, но манеры ставшего вдруг гостеприимным хозяина были столь властны, что противиться оказалось невозможно.

Прихожая была тесна, узка, раздеваясь, он едва не грохнул круглый столик об одной ножке — на нем лежала в полиэтиленовом пакете одинокая шапка, видимо, самого хозяина, ондатровая, почти неношеная шапка, лежала отдельно на столике, а не висела на вешалке, ее лелеяли. Эта мысль прошла вскользь, оставив в сознании Михаила Ильича некую как бы зарубку, некий памятный знак, вставший в законный ряд с другими: и дорогие тренировочные брюки, и одеколонный аромат щек,— хозяин обихаживал себя с наивозможным тщанием, видно, крепко помнил о себе. Мысль скользнула, а меж тем рассказ шел своим ходом, да, собственно, рассказа не было — несколько фраз, информация куцая (как и все событие, приведшее сюда Михаила Ильича), большая часть слов пришлась на эмоции, на возмущение и апелляцию к деду, которому следовало бы внуком заняться.

Дед, слушая, отступал в кухню, тем самым приглашая Михаила Ильича за собой. Почему в кухню? Невольно Михаил Ильич двигался следом, кухня тоже оказалась крохотной, зато порядок в ней был образцовый, раковина блистала чистой эмалью, как и газовая плита. Единственное, чего здесь как-то не чувствовалось,— это женской руки, женского присутствия. Ни салфеточек каких вышитых, ни цветастых занавесочек — одна холодная голая чистота. Хозяин сел, гость машинально тоже.

— Ну-у, это...— даже с разочарованием, чуть ли не с обидой, что инцидент оказался таким незначительным, а столько вокруг него шума, протянул старик, едва Михаил Ильич примолк.— Это вы меня не удивили. Я думал чего... Ну, сказал. А чего он мне говорит! Вы бы послушали! — внезапно загремел он. Глаза его загорелись.— Как со мной разговаривает! Прописал его, думал, в старости поддержка будет, а вместо этого одни волнения да безобразия. А мне волноваться — ни-ни, инфарктик уж был, того и жди новый стукнет. Я же добро сделал, и мне же страдать, вот как получается. Жалею! Сидел бы в своей Калуге, мотал бы нервы родителям — нет, пустил, прописал, дурень! Пустил подлеца! — с нешуточной злобой, от которой Михаилу Ильичу, как он ни жаждал мести, стало не по себе, крикнул старик — в этот миг он казался самым настоящим стариком, источающим лютую стариковскую злобу.— А теперь выгони его. Он, понимаешь, тут хозяин, на шею сел, понимаешь...

Сильно наболело у деда, раз так внука честит,— в некоторой растерянности подумал Михаил Ильич, отвлеченный обвинительными выкриками от цели собственного визита: тут свои обиды и страсти клокотали.

В сущности, надо было уходить. Сказать по правде, хозяин квартиры не вызывал симпатий, не вызывал почему-то и сочувствия, хотя кто ему, казалось бы, и мог посочувствовать больше Михаила Ильича? Но к этой злобе присоединяться как-то не хотелось.

— Не щенок он,— вспомнив, видать, разговор в дверях, сказал дед,— не щенок, а... пес вполне.

— Насолил вам внук,— покачал головой Михаил Ильич.

— Не те слова говорите,— наставил тот на него мрачный взгляд.— Что значит «насолил»? В этом слове вроде неодобрение ваше, дескать, жалуюсь зря. Так, что ли?

— Внука я вашего не видел,— уклончиво сказал Михаил Ильич,— откуда мне судить? По телефону вот имел удовольствие...

Странно получалось: будто бы он сторону внука брал.

— Вы полагаете — ребенок, воспитывать надо. Поздно воспитывать. Он уже в армии отслужил, детина под потолок.— Старик оценивающе оглядел Озерцова.— Хорошо, не застали вы его. Мне еще скандалов тут не хватало.

В квартире резко зазвонил телефон. Хозяин чутко дернул головой в ту сторону, покосился на гостя, пробормотал: я сейчас, стремительно исчез. За окном уже было черно. С потолка лился слишком яркий свет лампы в белом плафоне — здесь бы вполне сгодилась лампочка в 60 ватт, а не эта, по-видимому, стосвечовка, придававшая кухоньке хирургически-стерильный вид. Михаил Ильич уже в некоторой неловкости поерзал на скользкой табуретке: из роли жалобщика он незаметно выпал, гостем же в законном значении этого слова назваться тоже не мог, невежливо было и «слинять», как он подумал сразу по исчезновении хозяина. Оставалось глупо сидеть, слушать чужой разговор.

— Так точно,— громко и четко доносилось из комнаты.— Ну-у-у... Дорогой... Я же всегда, ты знаешь... Нет. Никак нет... Что? Не придумывай. Да что... Тянет. Как-то... ну что сделаешь? Не сорок лет, вот именно. Последние дни как-то... тянет, чую. Не то чтоб боль, а тянет. Оно у меня капризное... да уж берегу, можешь быть спокоен. Все ходим, как говорится, под Богом. Что? Не переживаю. Никак нет. Пусть пишут, они за это деньги получают. Ничего, пусть порезвятся. Их время. Так точно. Так точно. Вот тут ты прав. Золотые слова...

Михаил Ильич от нечего делать размышлял, в каком звании ушел на пенсион этот, похоже, отставник: что он косточка военная, было и раньше подсознательное чувство, теперь вполне оформившееся. Полковником или, может, генералом? Нет, квартира не генеральская.

Разговор продолжался недолго, хозяин сказал:

— Слушай, я тут не один. Извини, я тебе перезвоню.

Он вернулся на кухню и несколько секунд, по-видимому, еще переживал разговор, саркастически кривя обритые губы. При этом смотрел на Озерцова — сначала отсутствующе смотрел, а потом пристально, тяжело и осмысленно уставился на его усы. Когда Михаил Ильич, тяготясь этим пронизывающим взглядом, как бы с вызовом дернул усом, тот встрепенулся и, все не отрываясь глазами от его богемных усов, спросил:

— Журналист?

Теперь Озерцов, в свою очередь, воззрился на него. Смекнул: это о журналистах шла речь, о них он сказал: «пусть пишут». Михаил Ильич поднялся, мысленно вытянувшись по стойке «смирно», и ответил громко:

— Никак нет, товарищ полковник!

И тут же понял, что так отвечать не следовало. Взгляд «полковника» сузился, Михаил Ильич был в мгновение ока испепелен. Видно, старик учуял насмешку, которая, право слово, если и была, то была добродушна, не должна бы обидеть. Но старик и не обиделся, как стало ясно. Его заботило совсем другое.

— Документы у вас есть с собой какие-нибудь? — Вопрос грянул для Озерцова воистину громом с безоблачного неба.

— Документы? — И он насупился.— А вам зачем?

— Так есть или нет?

— Ну, предположим, есть... служебное удостоверение.

— Глянуть позвольте.

— Да зачем вам? Вы что, в органах работали? — вырвалось у Михаила Ильича.

— Почему в органах? Я в войсках служил. Но вам-то откуда известно?.. вот только в звании ошибка: я подполковником демобилизован был. А кто вы такой, хотелось бы узнать.

— Раз хотелось бы...— Михаил Ильич решил не усложнять ситуацию. Полез во внутренний карман пиджака.— Раз такое жгучее желание...

Удостоверение тот взял деловито и просто, как проверяет в вестибюле метро документы у выловленного в толпе подозрительного типа сотрудник милиции. Быстрым взглядом сличил фотографию. «А на гражданке кадровиком работал. Может, работает до сих пор»,— уверенно мелькнуло у Михаила Ильича.

Старик вслух прочитал:

— «Главтех...» — так, старший, значит, инженер. Ну вот, понятно и ясно. Михаил Ильич Озерцов. Очень приятно. А меня, уж заодно представлюсь, зовут Николай Степанович. Фамилия Шорин.

Глаза его оттаивали медленно, неохотно, держался в них ледок недоверия. Они говорили: по документу все в порядке, а вот каков человек?

Михаил Ильич тоже сказал: очень приятно. Приятнее всего было бы ему уйти отсюда сейчас. Но нежданно обретенный новый знакомец Николай Степанович Шорин загородил выход из кухни, пытался решить поразившую его загадку:

— Откуда ж вы узнали? Просто даже интересно. А,— осенило его,— фуражку увидели, вот оно что. На вешалке фуражка старая.

Никакой фуражки Михаил Ильич не видел. Но он кивнул.

Последний ледок растаял, Шорин сказал:

— Я ведь почему так на вас: подумал, с целью вы ко мне. Сейчас ко всем лезут. Я человек невеликий, не так заметный, уж чего ко мне-то, про меня-то писать? Теперь сам вижу, глупость подумал, так что-то втемяшилось. Сейчас историю копают, кое-что и я повидал, а человек вы незнакомый, вид у вас такой... словом, обмишулился. Бывает.

— Но я же объяснил,— ошеломленно сказал Озерцов, успев отметить, что в глазах Николая Степановича Шорина одинаково: что журналист, что уголовник. Сначала за фарцовщика принял, теперь вот...— Я же объяснил. Я же вам рассказал...

— Про Эдьку-то? — пренебрежительно переспросил Шорин.— Ну и что? Можно поверить, а можно и нет. Сомнительно, чтоб вы специально из-за него сюда перлись, извините.

— Вы что, мне не поверили? — до крайности удивился Михаил Ильич.

— Поверил вроде сперва. А вообще чудно: если каждый поговорит и потом поедет, это транспорта не хватит. Он, подлец, с телефона-то не слезает, но кроме вас никто что-то не приходил. Вы, значит, такой чувствительный человек, Михал Ильич. А я, между прочим, тоже не дерево. Он вообще свалился мне на голову. Я дочь-то сто лет не видел, не балует отца вниманием. Она-то сама без меня выросла, с матерью ее мы разошлись еще в молодости, почти и не жили. Ну, вам это не интересно, я биографию свою рассказывать не собираюсь — к тому говорю, что Эдьку, пока он не появился здесь после службы, я и не знал. Знал, что есть в Калуге внук, карточку однажды прислала — голый на клеенке. А он потом вырос, голый-то, вымахал эвон как, и, между прочим, в его-то годы — живот, я уж сказал: хоть бы со мной зарядкой занимался, гантели бы, как я, крутил. Нет, Михал Ильич, не будет толку от этого поколения,— решительно заключил Шорин и сумрачно покачал головой.— Какое там! Да и ваше, извините, не больно радует, если честно.

Вывод был для Озерцова неожиданный.

— Ну, зато ваше — наилучшее,— не выдержал он, задетый за живое, обруганный вдруг за свое поколение, не самое худшее, он считал.— Вам себя упрекнуть не в чем.

Так все это было знакомо, так часто звучало со всех сторон, на работе, в автобусе или метро — поколения сводили меж собой счеты. Подобные разговоры уже несколько вязли у него в зубах.

— А в чем, позвольте, нам себя упрекать? — Перед ним был тот же суровый старик, который открывал ему дверь, с тем же тяжелым взглядом из-под сведенных бровей. — В чем это, интересно! Горазды вы все судить. Что бы с вами теперь было, если б мы не воевали, не строили?

— И что же вы построили?

Шорин мог не отвечать, и так было понятно, что он скажет. И об ошибках того времени, разумеется, тоже было сказано, об ошибках, которые никто не отрицает, но не они определяли эпоху. А теперь судить да рядить легко, теперь простор для измышлений, для очернительства...

Сухощавое лицо Шорина по мере произнесения им монолога наливалось румянцем, сначала нежным, затем все густеющим и распространяющимся со щек на лоб, нос и все лицо, до надлобной седины. Михаил Ильич тягостно сообразил, как трудно дается старику, каких волнений стоит ему эта речь. Между тем как лицо Шорина становилось все темнее от приливающей крови и как бы все более оживало и даже молодело от ее мощного тока, глаза его все заметнее скучнели, а голос все чаще спотыкался, уже казалось, говорит Шорин через силу и к тому же не совсем то, что желает высказать. Михаил Ильич понял, что у старика поднимается давление прямо на глазах, и всполошился. Хотел перебить, оборвать разговор.

— Так что... не надо. Те вон тоже чуть что — вы такие, сякие, а я скажу, на себя посмотрите, уж не знаете, чего надеть, чего навесить, кресты эти, орденами торговать — это как называется? Этому без разницы, хоть барахлом, хоть орденами... Не так? Говорю, не так?

Он смотрел на Михаила Ильича и садился на табуретку, в глазах была отрешенность, но в самой их глубине бился страх.

Михаил Ильич подался вперед.

— Э, э, Николай, э... Степаныч! — окликнул он беспокойно. — Вам нехорошо?

Старик шарил пальцами обеих рук: левой царапал грудь, правой, выдвинув ящичек стола, искал, можно было догадаться, лекарство. Валидол лежал сверху, и он судорожно сунул его под язык.

Затем сидели и молчали. Уйти, оставить больного человека одного казалось Михаилу Ильичу невозможным. А сидеть и ждать — чего ждать? Может, вызвать «скорую»?

Шорин отрицательно помотал головой: видимо, отпускало. Поднялся осторожно, молча пошел в комнату. Михаил Ильич, чувствуя себя окончательно не в своей тарелке, посидел с минуту и тоже встал, почему-то на цыпочках двинулся следом за ним. В комнату не стал входить, медлил, стоя в дверях.

Шорин успел прилечь, как был в спортивных брюках и рубахе с большим воротом, сейчас широко распахнутым. Лежал он на высоко поднятой подушке и неподвижно глядел в потолок, левую руку держал на сердце. Лицо его было строго-каменным и немного как бы торжественным. Уловив появление в дверях Михаила Ильича, он скосил на него успевшие слегка ожить глаза и показал: входи, мол. И на стул показал.

Комната тоже была чиста и спартански скупо убрана: полутораспальная кровать, на которой лежал хозяин, да платяной шкаф, да стол посреди комнаты с четырьмя стульями. Ковров на стенах и на полу не было, на стенах вообще ничего не висело, обои однотонные, свежие. Белела еще одна прикрытая дверь — наверное, в комнату внука. Горел торшер.

Хозяин лежал, гость сидел. Угнетало молчание. Хоть убей, в таком положении не найти приличной темы для разговора.

Михаил Ильич поинтересовался, как себя чувствует старик. Шорин едва заметно пожал плечами: вроде получше, но не совсем еще хорошо. И опять молчали, а вокруг стояла тишина, видно, окна квартиры выходили во двор.

— Чего мне стоило его прописать, вы и не представляете. — Шорин заговорил в тот момент, когда Михаил Ильич предался полному унынию, не решаясь оставить его одного и не видя конца своему, как уже давно стало ясно, нелепому визиту. — И то уж пошли навстречу как ветерану войны, как одинокому, ну и инфаркт я перенес, тоже справка была. Ну и что в итоге? Хотя бы благодарность! Ладно, было когда-то, чего не случается в жизни, а время-то какое! Теперь легко осуждать, а если у меня самого из-за этого жизнь сложилась не так, как думалось? Наталью я что, не любил? А пришлось. Не все от меня зависело, не все от нас зависит... — Михаил Ильич догадался, что говорит старик уже не ему, скорее — самому себе, оправдывается вроде бы в чем-то. Лицо неподвижно-торжественное, словно на исповеди. — Коли у нее отец попал по неосторожности или там был в чем замешан, а на ней клеймо, это уж так велось, еще спасибо, сама не загремела — конец сороковых, годы строгие... Коли уж так вышло, почему мне страдать? Да не звездочка лишняя, этот в глаза теперь тычет звездочкой, а отношение общее такое было, понятно? — отношение, вроде я и сам какой враг через жену. Как-никак я был уже член партии, это надо понимать, да и сказали откровенно: пачкает она анкету... А потом вторая моя устроила мне жизнь, не приведи Бог, здесь уж я женился, в Москве, грех про покойницу плохо говорить, но на откровенность если, устроила мне жизнь. Характер был тяжелейший, моя выдержка только и спасала. Да убралась быстро, мало хоть пожили. Грех говорить, а так и было.

Так же внезапно Шорин умолк.

Посидев в тишине (ибо тут уж вовсе не знал, что сказать), Михаил Ильич глянул на часы: ого, вечер глубокий. Шорин зашевелился и сел. Повел плечами, как бы пробуя силы — может ли двигаться.

— Всяко бывает, — сказал Шорин, строгим взором гипнотизируя Михаила Ильича. — Что я вам рассказал — это мою жизнь не определяет. Лишений я не избегал и в мирное время, офицерская жизнь — суровая школа. А уж как вышло тогда — я, собственно, по поводу внука пытался пояснить, что он имеет против меня, да скажу по чести — плевать ему, просто такой шантаж избрал против деда, чтоб виноватым я себя чувствовал, и больше ничего. Так что... разболтался я зря, тем более человек вы случайный...

— Пойду я, — перебил, вставая, Михаил Ильич.

Хозяин его не задерживал. Даже с видимой охотой простился, высказав соображение, что лучше ему с внуком-то, с Эдькой-то не встретиться.

Вышел Михаил Ильич из этого дома с нескрываемым облегчением. И вздохнул глубоко, набирая в грудь зимнего холода, уличной свежести. Падающий снег искрился в свете фонарей.

Скорее всего из-за какой-то неудовлетворенности, смутно им ощущаемой (но было и легкое беспокойство — что там со стариком?), Михаил Ильич вечером следующего дня позвонил по уже знакомому телефону.

Как и вчера, молодой голос сказал: алё.

Михаил Ильич счеты отринул, спросил Николая Степановича.

Такая же, вчерашняя, пауза, после чего услышал:

— Он умер.

Михаил Ильич не успел даже оторопеть — реакция его была мгновенной и свирепой.

— Ты! Смени пластинку! — заорал он. — Не надоело вчера?

Теперь уж была долгая пауза: там вспоминали и сопоставляли.

— Мужи-ик!.. Ты, что ли? — Изумление безграничное было в голосе, быстро, однако, сменившееся тоже яростью. — Ты чего... тебе чего надо? Ну, ты напрашиваешься, хрен моржовый! Чего надо тебе?

— Я сказал уже: Николая Степаныча. — Михаил Ильич заставил себя остыть и не обращать на него внимания.

— А я тебе русским языком ответил: умер он. Ночью «скорая» увезла. В реанимации окочурился.

— «Окочурился»?! — Михаил Ильич не нашел слов.

— Точно так. Отправился на строевой смотр к Богу.

Теперь Михаил Ильич поверил. И крикнул:

— А ты что веселишься? Радуешься-то что, Эдька?

— А что мне, плакать? — Тот искренне удивился.

— Дед же все-таки...

— Чи-во?..

Аркадий Ваксберг

СТРАНИЦЫ ОДНОЙ ЖИЗНИ

(ШТРИХИ К ПОЛИТИЧЕСКОМУ ПОРТРЕТУ ВЫШИНСКОГО)

При удивительной цельности биографии поражает полифоничность его натуры. Нам удастся представить, причем очень пунктирно и фрагментарно, лишь несколько его ипостасей. Журнальный вариант вместил лишь одну шестую документального повествования «Царица доказательств», которое вскоре, надеюсь, увидит свет. Здесь опущено почти все, что касается самой главной страницы богатой событиями жизни Андрея Януарьевича Вышинского. Той, где наш герой предстает в качестве грозного обвинителя на так называемых «Больших московских процессах». Эта страница является самой (а может быть, и единственно) известной. Именно она принесла ему страшную, однако всемирную славу. Но все, что ей предшествовало и следовало за ней, ничуть не менее интересно.

Предваряя публикацию этих фрагментов, скажу лишь, что такой человек, как Вышинский, появился на политической сцене отнюдь не случайно. Он был необходим своему времени. Сталину, если точнее. На много голов выше, чем другие «соратники» и «ученики», умный и образованный, находчивый и решительный, властный и дальновидный, необычайно чуткий к политической реальности. Лишенный при этом такой обузы, как совесть и сострадание.

Ревностных исполнителей, орудовавших за плотно закрытыми дверьми, в подвалах, камерах и кабинетах, хватало с избытком. Но мало кто мог столь успешно витийствовать на сцене — пред очами всего человечества, доводя до публики потаенные замыслы «отца народов», беря на себя и хулу, и хвалу, не стыдясь, а гордясь своей палаческой ролью. Во всяком случае, второго Вышинского — пусть даже слабой его копии — мы не имели. И это говорит само за себя.

Предлагаемая работа — лишь первый опыт приближения к неразгаданным тайнам. Многие вопросы так н остались вопросами без ответов — поставить их я счел своим долгом.

Приношу сердечную благодарность советским и зарубежным архивам, книгохранилищам, ученым, юристам, дипломатам, помогавшим мне по крупицам собирать материал для этого повествования, щедро делившимся своими воспоминаниями и всем, чем они располагали.

1

В Одессе, давшей миру столько блестящих писателей, актеров и музыкантов, в неприметной и пришлой семье 10 декабря 1883 года родился рыжеголовый мальчик, имени которого суждено будет прогреметь на весь мир. Почти сто лет спустя именно этот день — 10 декабря — Организация Объединенных Наций объявит Международным Днем прав человека: случайное совпадение, в котором, право же, есть историческая закономерность.

Есть версия, что Андрей (Анджей, если быть более точным) Вышинский происходит из древнего польского рода и даже — в каком-то боковом ответвлении — приходится будто бы дальним родственником знаменитому польскому кардиналу. Утверждают даже, что по крайней мере до конца тридцатых годов некоторые не очень дальние его родственники занимали весьма высокое положение в политической иерархии Польского государ-

ства. Впрочем, фамилия «Вышинский» относится в Польше к числу самых распространенных, и, вполне возможно, речь идет лишь об однофамильцах, а вовсе не родственниках.

Ему еще не было пяти лет, когда семья отправилась из Одессы искать счастья в Баку. Этот город отличался большой терпимостью к языкам и верованиям, к происхождению и биографическим данным. И еще высоким накалом революционной борьбы, политическими страстями, которыми была проннзана общественная и духовная жизнь.

Опытный провизор, Януарий Вышинский сначала поступил на службу в Кавказское товарищество торговли аптекарскими товарами (управляющим бакинским отделением), а потом открыл и свое дело — аптеку (на нынешнем бульваре Губанова), приносившую немалый доход. Все шло хорошо, семья не знала материальных забот, но, видимо, произошли какие-то нелады в супружеских отношениях, потому что мать, пианистка, забрав детей, переехала в Харьков, жила уроками музыки да еще содержанием домашней столовой, где за умеренную плату питались малоимущие студенты и служилый люд.

Лишь через три или четыре года семья снова собралась в Баку, и Андрей, которому уже исполнилось восемь лет, стал учиться в классической гимназии, давшей ему блестящее образование, тем более что учился он превосходно — без понуждений и понуканий. Многие годы спустя бакинский адвокат Григорий Мелик-Шахназаров вспоминал в письме к «дорогому Андрею» их совместную учебу в третьем, четвертом и пятом классах, где будущий прокурор «особенно отличался своими бицепсами, так что небезопасно было вступать в единоборство с их обладателем».

«Обладатель» бицепсов был еще и большим поклонником муз: в доме Вышинских устраивались литературно-музыкально-вокальные вечеринки с танцами, на которые собирались дети «своего круга».

На гимназическом балу познакомился Андрей Вышинский с юной красавицей Капой Михайловой, за которой увивались десятки поклонников. Но пробиться к сердцу Капы удалось лишь ему — несколько лет спустя он женился на ней и безоблачно прожил с нею всю жизнь. Капитолина Исидоровна Вышинская умерла в глубокой старости, пережив своего мужа на 19 лет.

Революционный дух города оказался сильнее консервативного духа благоденствующей семьи. Когда отец послал своего сына учиться на юридический факультет Киевского университета, за плечами Андрея было уже бунтарское прошлое. Ни одна гимназическая сходка противников самодержавия не проходила без его участия.

Киев тоже был городом с революционными традициями — студент-новичок сразу же включился в работу нелегальных марксистских кружков. Уже через несколько месяцев участников студенческих «беспорядков» изгнали из университета и даже из города. Андрей вернулся под родительский кров, где его ждала отцовская любовь, но отнюдь не отцовское одобрение. Впрочем, идейно расколотых семей было тогда в России великое множество.

Изгнанный студент не сделал для себя желанных властям (и родителям) выводов, а еще активнее включился в запрещенную деятельность, вступив в партию социал-демократов. Но не большевиков — меньшевиков! Его имя стало известно «всему Баку», если учесть, что по ту или по эту стороны революционной баррикады был тогда действительно весь Баку. Крутая волна рабочих и студенческих волнений вознесла его наверх благодаря темпераменту и ораторскому дару. Осенью-зимой 1905 года он принял участие в массовой железнодорожной стачке, к которой присоединились и другие рабочие.

Сорок с лишним лет спустя один из участников этой стачки, рабочий консервного завода из грузинского города Гурджаани Василий Одзелашвили, в письме к Вышинскому красочно описал роль своего адресата в этой акции. Правда, целью письма было желание увеличить пенсию «за боевое революционное прошлое», и автор явно стремился польстить другу юности, но скорее всего он не особенно грешил против истины, поскольку те же или очень похожие детали содержатся и в иных письмах от людей, не знавших друг друга.

«...Товарищ Вышинский, помните, Вами была организована боевая

дружина, которая состояла из рабочих (Вышинскому был тогда 21 год. — **А. В.**). Все мы были вооружены... Вы жили тогда угол Армянской и Гимназической, вход со двора, как входим — направо. Я к Вам в дом очень часто ходил за прокламациями... Помните, в 1905 г. была большая забастовка, которой Вы руководили. Тогда боевая дружина сыграла большую роль... Товарищ Вышинский, Вы работали в полотняном магазине Дорожнова бухгалтером. Вы там укрывались... Черносотенцы охотились на Вас, Ваш дом обыскали охранники и все перевернули, но ничего не нашли, мы за 3—4 дня до этого забрали от Вас оружие, прокламации, шрифты...

Помните Александровский собор, напротив была хулиганская типография, печатала прокламации. Вы послали нас туда отобрать их, я взвалил мешок на плечи и принес Вам, но Вас дома не было, а была только Ваша супруга, и я ей сказал: «Вот, передайте товарищу Андрюше». (Автор письма явно был рядовым исполнителем. Для доверенных лиц у Вышинского было нелегальное имя Юрий. — **А. В.**)

Помните, когда черносотенцы убили Петра Монтина и под Вашим личным руководством были организованы крупные похороны, вся наша боевая дружина была там... Вы шли впереди, шагов на 10 от нас, в студенческой шапке и летнем пальто. Когда дошли до крепости, там что-то рухнуло, народ шарахнулся, мы думали, что на нас напала черносотня. Вы обернулись и сурово сказали нам: «Дружина, не разбегайтесь, будьте готовы». Мы ответили: «Умрем, товарищ Вышинский, вместе»... Вы поднялись на ступеньку вагона и произнесли речь. Долго Вы говорили, там было море народу, а мы, дружинники, все время были около Вас. Последнее Ваше слово помню, как будто это было вчера. Вы сказали: «Придет время, отомстим врагу за все». И действительно, это сбылось».

По неосведомленности или из желания не напоминать адресату о других сторонах его деятельности, Васо Одзелашвили не написал о том, чем главным образом занималась руководимая Вышинским боевая дружина.

Сначала послушаем самого Вышинского. В начале тридцатых годов им написана автобиография для личного дела в связи с намечавшимися поворотами его бурной служебной карьеры. Этот период своей жизни он описывал так: «Под влиянием ужасов февральской армяно-татарской резни, этой чудовищной полицейской бойни, устроенной бакинской полицией и татарскими беками под прикрытием казаков Лабинской сотни и солдат Сальянского полка, в течение трех дней расстреливавших на бакинских улицах армянское беззащитное население и сжигавших женщин и детей в пылающих домах армянских кварталов, я решил приложить все силы на организацию боевых сил партии. Я занялся в эти дни организацией боевой дружины, в которую вошло несколько сот бакинских рабочих — меньшевиков и большевиков». (В середине тридцатых годов Вышинский отредактировал этот текст. Конец последней фразы зазвучал так: «главным образом большевиков».)

И опять об основном назначении той боевой дружины Вышинский умолчал. Занималась она преимущественно убийствами тех, на кого пало подозрение в связях с полицией. Он сам организовал и осуществил — наряду, конечно, с другими — убийство провокаторов Александра Григорьева, Мовсумова и Плакиды. За это (или за все «по совокупности») в 1907 г. Вышинский вместе с женой подвергся — есть такая версия, вошедшая даже в старые справочники, — нападению черносотенца из «Союза русского народа». Правда, нет нигде и намека на то, как, когда, с каким результатом нападение это было осуществлено, хотя социал-демократическая печать освещала такие события очень подробно, требовала наказания виновных, добивалась суда. Да и сами жертвы потом, после революции, рассказывали об этом детально. Комментировать эту странность пока не берусь...

24 мая 1950 года — такая дата стоит на письме доцента Азербайджанского университета Алиовсата Гулиева, отправленном А. Я. Вышинскому.

«Глубокоуважаемый Андрей Януарьевич!

При архивном исследовании в гор. Тбилиси мною были обнаружены некоторые документы, касающиеся Вашей революционной деятельности в Баку в 1905 г., с которых мною сняты копии.

Если эти документы вызовут у Вас интерес, то я мог бы представить их Вам **при личной** (подчеркнуто автором письма. — **А. В.**) встрече».

Такая встреча, видимо, состоялась, потому что копии некоторых архивных документов из Центрального государственного исторического архива и архива Музея Революции оказались в личных бумагах Вышинского.

Из представления прокурора Бакинского окружного суда прокурору Тифлисской судебной палаты от 30 января 1906 г. явствует, что по делу о железнодорожной стачке 1905 года привлечены к уголовной ответственности 15 человек, причем Андрей Вышинский значится третьим в этом списке. Там же имеется указание, что мерой пресечения избрано содержание под стражей и что Вышинский арестован 21 января.

Чем же закончилось следствие? Достоверно известно, что в 1906 и в 1907 годах Вышинский благополучно пребывал на свободе, занимаясь куда более опасной, с точки зрения властей и закона, деятельностью, чем участие в забастовке, и даже, если верить приведенной выше версии, был ранен черносотенцем. Значит, Вышинский вскоре после ареста был освобожден. Почему? Ответа на этот вопрос я не имею.

К этому же периоду относится сохранившееся в архиве донесение (от 20 января 1906 г.) секретного полицейского сотрудника под псевдонимом Южный, где сообщается, что в ходе забастовки «выдвинулись люди, которым суждено играть весьма важную роль в местном движении рабочих». Эти люди названы полицейским агентом поименно: братья Шендриковы — Лев, Илья и Глеб — и Андрей Вышинский, чья речь «против доктора Сорокина, сыгравшего некрасивую роль во время октябрьской резни, приобрела огромное значение и вызвала весьма сильный революционный подъем». (Среди прочих акций Вышинского, сведения о которых проникли в газеты того времени: публичная лекция «1848 год в Европе» и сбор средств на организацию кухни в пользу бастующих рабочих.)

Между тем вскоре стало известно, что братья Шендриковы — это, в сущности, полицейские пособники, местные зубатовцы, создавшие «Союз бакинских рабочих», действовавший с молчаливого одобрения властей для отвлечения членов союза от политической борьбы. На различных собраниях, где Шендриковым предъявлялось обвинение в действиях, направленных против рабочих, с громовыми речами в их защиту выступал Вышинский. Он играл видную роль в Бакинском совете (был его секретарем), куда полиции тоже удалось забросить незримых своих контролеров. Большевики в этом совете находились в меньшинстве, но формального деления на большевиков и меньшевиков в совете не было — существовала единая группа социал-демократов.

Однако в конце 1907 года, когда с Шендриковыми как политическими фигурами было покончено, террористическая деятельность боевой дружины прекратилась, а революционная волна пошла на убыль, Вышинский неожиданно снова оказался в тюрьме — все по тому же старому (более чем двухлетней давности) делу о железнодорожной забастовке, причем теперь в вину ему был поставлен лишь один, даже не второстепенный, а третьестепенный эпизод: «В декабре 1905 г. в г. Баку в одном из собраний в железнодорожном театре произносил речь, в коей возбуждал железнодорожных служащих примкнуть ко всеобщей политической забастовке...» В феврале 1908 года Особое присутствие Тифлисской судебной палаты только за это и приговорило Вышинского к одному году крепости.

Обращают на себя внимание по крайней мере два загадочных факта.

Первый: если имеется документ о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения (1906 год), то должен быть и документ о прекращении дела. Или хотя бы о том, что мера пресечения отменена (изменена?). Нельзя же выпустить арестованного из тюрьмы вообще без всякого документа, этот акт обосновывающего. Но где он, этот документ? То, что он был, в этом нет никакого сомнения...

Доцент А. Гулиев сделал подборку имеющихся в архивах полицейских и судебных материалов и передал их Вышинскому. В подборке документа, объясняющего, чтó произошло после ареста Вышинского в январе 1906 г., не оказалось. Потому ли, что такого документа в архивах не было (это

более чем странно)? Или потому, что Вышинский именно его из подборки изъял (это было бы еще более странно)?

Второй: в личном деле Вышинского хранятся три автобиографии, собственноручно написанные им в двадцатые — тридцатые годы. История с его судимостью и пребыванием в крепости изложена весьма скупо — в нескольких строках, — причем об аресте в 1906 г. и освобождении вскоре же из тюрьмы нет ни слова. Как ни слова о том, почему, привлеченный сначала (в 1906 г.) по статьям 102 («Насильственное посягательство на изменение образа правления», да притом «с наличием оружия», — грозит бессрочная каторга) и 126 («Участие в сообществе, поставившем целью ниспровержение существующего строя», — грозит каторга на определенный срок) Уголовного Уложения, он был осужден в 1908 г. лишь по 129-й («произнесение публично противоправительственной речи»)! Разница в тяжести содеянного и в санкциях, предусмотренных этими статьями, огромна.

Обе загадки ждут своего разрешения.

После проволочек, связанных с утверждением приговора в высших инстанциях, он наконец вступил в силу и был «обращен к исполнению». Вышинского отправили отбывать наказание в Баиловскую тюрьму.

Сохранившаяся и до наших дней Баиловская тюрьма была переполнена тогда арестантами. Ее вместимость — по плану и санитарным нормам — составляла 400 человек, набили же туда более полутора тысяч. Режим был достаточно свободным, двери камер не закрывались, арестанты ходили «в гости» из камеры в камеру, многие спали в коридорах.

Камера, куда попал Вышинский, как и все остальные, вместила много больше обитателей, чем полагалось. Одно из мест на нарах занимал осужденный, доставленный сюда еще в марте. В полицейских документах он значился как Гайоз Нижарадзе, арестанты звали его «Коба», настоящее же имя его было Иосиф Виссарионович Джугашвили, или, проще говоря, Сталин. Забившись в угол и поджав под себя ноги, повернувшись ко всем спиной, в синей косоворотке без пояса, с перекинутым через плечо башлыком, он часами изучал «язык будущего» — эсперанто. (Ни эсперанто, ни немецкий, которым он увлекался раньше, в Батумской тюрьме, Сталин так и не выучил.)

Отрываясь время от времени от учебника, Сталин вступал в жаркие споры с меньшевиками и эсерами, составлявшими основную часть «политических». Уголовники относились к нему с почтением и в споры никогда не вступали. Вышинский, как и другие меньшевики, был среди основных оппонентов. Трудно сказать, кто оказывался победителем, — ведь ни «судей», ни жюри на тех поединках не существовало, — но Коба, вспоминают его сокамерники, участвовал в спорах, доводил своих противников до исступления: на тюремном языке это называлось «загнать в пузырь». Одним из тех, кто всегда его поддерживал — зачастую не словами, а «действием», — был Серго Орджоникидзе.

Страсти подчас накалялись до предела, спорили до хрипоты — ведь спешить было некуда, — но, пожалуй, лишь двух человек никогда не удавалось вывести из равновесия: «Кобу» и «Юрия». Как ни отличались они друг от друга по темпераменту, знаниям и манерам, у обоих были железные нервы. А железные нервы Коба чтил еще и тогда.

«Политические» жили коммуной, деля по-братски продукты, приходившие с воли. Когда было из чего, Коба с удовольствием готовил харчо и острый грузинский соус. Впрочем, мало кому шли продуктовые передачи: в большинстве своем заключенные происходили из беднейших семейств, родственники чаще всего жили далеко от Баку. Среди очень и очень немногих, кого не забывали и кто снабжался «по высшему уровню», был Вышинский. Никаких ограничений не существовало, и любящая молодая жена регулярно приносила вкусную домашнюю еду. Она шла в общий котел, но в знак примирения — и с общего одобрения — Вышинский нередко отдавал свою долю угрюмому Кобе. И Коба ел с удовольствием. А поев, вместо спасибо начинал новый спор, браня на чем стоит свет речистого меньшевика.

Так продолжалось четыре месяца. 23 октября 1908 г. Вышинский

отбыл определенный ему тюремный срок и в тот же день был освобожден. Через 17 дней Сталин отправился в сибирскую ссылку. Теперь они встретятся почти через десять лет.

Освобожденный из тюрьмы и отдохнувший в семейном кругу от нервных перегрузок (этот отдых даст ему и большую личную радость: в 1909 году на свет появилась дочь Зинаида, любовь к которой он пронесет через всю жизнь), Вышинский вскоре оказался в Киеве; здесь его сразу же зачислили в университет, на юридический, разумеется, факультет; посреди года восстановили в студенческих правах — через семь лет после изгнания по причинам политической неблагонадежности. Эти семь лет вместили столько фактов бурной биографии бакинского меньшевика, которые вряд ли могли его сделать более благонадежным: организатор политических забастовок, руководитель боевой дружины, террорист, секретарь президиума выборного совета, претендовавшего на реальную власть в городе, наконец, только что отбывший наказание государственный преступник — полицейская аттестация хоть куда!.. И все-таки университет безропотно принял Вышинского в свое лоно и более уже не ставил ему никаких палок в колеса.

Может быть, и не следует этому удивляться: ведь учился Вышинский прекрасно, сразу же обнаружил и способности, и трудолюбие. Он активно участвовал в работе студенческих кружков, испытывая в равной мере влечение к разным областям науки. Особенное внимание оказывал ему известный специалист по истории русского права профессор Владимирский-Буданов, под руководством которого он подготовил доклад «О происхождении права», открывший зрелому студенту (ему ведь уже почти тридцать) путь в науку: ученый совет единодушно проголосовал за оставление выпускника Вышинского на кафедре уголовного судопроизводства для подготовки к профессорскому званию.

Но тут вдруг университетская администрация снова вспомнила о том, что он бунтовщик, хотя за последние пять лет он никак себя на этом поприще не проявил. Чем он так их прогневал, этот вполне лояльный студент, ставший юристом? В чем неожиданно провинился?..

Опять Вышинского приютил Баку. Найти работу по специальности не удавалось, а на нем уже висела семья — вполне житейские заботы не погасили амбиций, но заставили подумать прежде всего о хлебе насущном. Давно известно: у кого есть руки, — не пропадет. У кого голова, — тем более. Молодой интеллигент с университетским дипломом производил хорошее впечатление на богатых родителей нерадивых учеников: его охотно приглашали за вполне приличную плату давать частные уроки. Слух о способном учителе дошел до директора частной гимназии Анания Павловича Емельянова — он пригласил Вышинского преподавать русскую литературу, географию и латинский язык: поистине этот одаренный специалист был мастером на все руки.

Однако влекла профессия — все-таки он был юрист не только по диплому, но по призванию. Все попытки заполучить адвокатскую практику в Баку окончились неудачей. Вышинский отправился за счастьем в Москву. Но у каждого практикующего адвоката вполне хватало расторопных помощников. А иного пути пробиться к самостоятельной практике не было: предварительный стаж работы в кабинете какого-либо присяжного поверенного являлся обязательным условием допуска к судебной трибуне.

После долгих мытарств (Вышинский и в Москве перебивался частными уроками) ему улыбнулось счастье: безработного юриста 32 лет от роду заметил один из самых выдающихся адвокатов того времени, Павел Николаевич Малянтович, участник множества политических процессов: защитник Льва Троцкого, защитник по делу о декабрьском вооруженном восстании в Москве (1905 год), по делу восставших моряков крейсера «Азов» и других, других, других... Это был человек с ярко выраженными либерально-демократическими убеждениями, которого политическое прошлое Вышинского не шокировало, а напротив, привлекало. Он взял его в помощники, и лишь благодаря этому Вышинский смог официально быть зачисленным в состав адвокатского сословия Московской судебной палаты. Его

скромная, но дававшая надежды на перспективы юридическая практика длилась около полутора лет.

Свержение монархии вновь призвало его под революционные знамена. Мало где было — в процентном, разумеется, отношении — такое количество активных деятелей, поставивших себя на службу Февральской революции, как в адвокатуре. Сотни присяжных поверенных и их помощников заняли те или иные должности в новых органах местного самоуправления. Вышинский сначала пристроился в «Земгор» (объединенный комитет Земского и Городского союзов, созданный для организации снабжения воюющей армии), точнее, в редакцию издававшегося им бюллетеня, а затем почти сразу же был назначен комиссаром 1-го участка милиции Якиманского района Москвы. Тем временем стали складываться новые органы власти, в Якиманском районе образовалась своя управа (мэрия), и Вышинского выбрали председателем опять же 1-го ее участка.

Уже начавшего полнеть рыжеватого джентльмена в лоснящихся брюках и потертом пиджаке (тогда это считалось признаком хорошего тона) часто видели на партийных собраниях меньшевиков, реже — на митингах «для народа», где в его обязанность входило распределение предвыборной литературы: приближались выборы в районную и городскую думы. В районную (Калужскую) он был избран по списку меньшевиков, в городскую — был кооптирован: его зажигательные речи производили впечатление. Впрочем, самым заметным его делом была организация бесплатных кухонь для нуждающихся рабочих. Еду раздавали под лозунгами меньшевиков, и Вышинский острил, вкладывая в шутку отнюдь не шуточный смысл: «С каждой ложкой супа в наших едоков вливаются идеи меньшевизма».

Эти идеи он вливал в своих слушателей и с думских трибун — районной, городской. Принимая установившуюся власть как свою, отвечающую его идеалу, он с увлечением пропагандировал ее практические шаги. К примеру, в спешно изданной брошюре «Какие нам нужны городские думы?» он утверждал, что муниципальная реформа Временного правительства «превзошла самые смелые ожидания».

Но, конечно, главным событием недолгой карьеры районного мэра был подписанный им приказ, которому сам он, ставя подпись, не придавал особого значения. И, однако же, именно этот приказ наложил печать на всю его дальнейшую жизнь и определил выбор линии поведения, которой он следовал до конца дней.

В сентябре 1917 года, когда под влиянием угрожающе менявшейся политической ситуации Временное правительство готовилось к очередной реорганизации, его глава Александр Керенский, в совсем недавнем прошлом один из самых громких политических защитников (в частности, защитник большевиков — членов Государственной Думы, обвинявшихся в измене), вспомнил о своем московском коллеге Павле Малянтовиче и попросил министра финансов Терещенко передать ему приглашение войти в состав кабинета. Малянтович согласился, но он не состоял ни в какой партии, а кабинет был межпартийным. По зову сердца и совету министра внутренних дел меньшевика Никитина Малянтович вступил в меньшевистскую партию и приступил к исполнению обязанностей министра юстиции и одновременно Верховного прокурора. Исполнение это длилось ровно один месяц — день в день: с 25 сентября по 25 октября, когда вместе с другими министрами Временного правительства Малянтович был арестован и препровожден в Петропавловскую крепость, где пробыл два дня.

Но месяц его министерского служения ознаменовался судьбоносным решением — и для него самого, и для Вышинского тоже. С диаметрально различными последствиями и, однако же, для обоих в полном смысле слова поистине судьбоносным.

Вот какое распоряжение получил, как и все другие районные мэры, председатель Якиманской управы Вышинский в октябре 1917 года: «...постановлением Петроградской следственной власти Ульянова-Ленина Владимира Ильича надлежит арестовать в качестве обвиняемого по делу о вооруженном выступлении третьего, пятого июля в Петрограде (это лишь повод, причина — в стремлении предотвратить переворот, о подготовке которого Временному правительству стало известно. — **А. В.**). Ввиду сего поручаю Вам распорядиться о немедленном исполнении этого постановления в случае появления названного лица в пределах вверенного Вам округа. О последующем донести. Министр юстиции П. Н. Малянтович». (Такое же распоряжение дал Верховный прокурор П. Н. Малянтович прокурорам окружных судов).

Что должен был сделать представитель самого низшего звена исполнительной власти, получив указание от представителя самого высшего ее звена? Естественно, он распорядился «о немедленном исполнении»: соответствующие афиши с портретом «названного лица» были расклеены на стенах домов вверенного ему округа. Но донести «о последующем» не удалось: уже через несколько дней не стало — в этом качестве — ни министра, ни мэра. Сам Малянтович впоследствии считал свое распоряжение печальной ошибкой.

Судьба П. Н. Малянтовича — готовая документальная драма с поразительными зигзагами, на которые только была способна наша эпоха.

Сам Ленин не придал распоряжению Малянтовича о своем аресте того значения, которое навязывали историки и юристы сталинской школы. Он знал его не только как выдающегося политического защитника и общественного деятеля, изгнанного московским генерал-губернатором из университета с воспрещением жительства в Москве и Московской губернии; не только как автора гремевших на всю страну речей против политики царского правительства, в поддержку рабочих и их прав; не только как защитника известного большевика Вацлава Воровского, знаменитого Петра Заломова, ставшего прообразом Павла Власова — героя романа М. Горького «Мать»... Но еще и как юриста, выступавшего по делу о наследстве миллионера Саввы Морозова и отсудившего для партии большевиков 100 тысяч рублей. И как человека, спасавшего известного большевика Виргилия Шанцера (Марата): после его ареста Малянтович взял на воспитание двух детей своего подзащитного.

По личному предложению Ленина Петроградский Совет принял решение о немедленном освобождении Малянтовича из крепости. В дальнейшем, во избежание возможных недоразумений, нарком юстиции Курский и нарком просвещения Луначарский снабдили его соответствующими мандатами, гарантирующими неприкосновенность личности. Три года спустя Ленин распорядился привлечь Малянтовича к работе в Главполитпросвете, а еще год спустя Дзержинский пригласил его возглавить юридическую часть руководимого им Высшего Совета народного хозяйства (ВСНХ). То есть, иначе говоря, приказ об аресте Ленина ни сам Ленин, ни ближайшие сотрудники Ленина никогда не ставили ему в вину.

Но наступили «проклятые тридцатые», и все повернулось. 1 ноября 1937 г. Малянтовича постигла общая судьба миллионов: его бросили на Лубянку, оттуда в камеру пыток Лефортовской тюрьмы, потом в Бутырку. Было намерение объявить его руководителем «заговора» в московской адвокатуре, членом которой он тогда состоял. Судя по их сановным подписям в материалах следствия, к «делу» Малянтовича приложили руку деятели НКВД высокого уровня: Лев Влодзимирский, Соломон Мильштейн, Всеволод Меркулов. Тяжелобольной, 68-летний арестант героически выдержал все пытки и ни в чем виновным себя не признал. Его истязали более двух лет — и все напрасно. Вот выдержка из протокола от 14 января 1939 г.: «**Следователь Миронович:** намерены ли Вы сегодня дать показания о своей контрреволюционной деятельности? **Малянтович:** я намерен сегодня сказать то же, что скажу завтра и послезавтра, — что никогда контрреволюционной деятельностью не занимался, ни в каких контрреволюционных организациях не состоял и ими не руководил. **Следователь:** Ваши увертки, Малянтович, Вам не помогут... Не дожидайтесь, Малянтович, дальнейшего изобличения».

Малянтович верил в то, что его бывший помощник, человек, которого он вытащил из беды, ставший, как некогда и он, во главе прокуратуры страны, не даст свершиться расправе. Писал Вышинскому он сам — из тюрьмы. Писала жена — ослепшая и прикованная к постели Анжелика Павловна Кранихфельд-Малянтович, которой 20 с небольшим лет назад Андрей Януарьевич целовал ручки, благодаря за душистый чай и булочки с кремом, и которая, будучи известным московским дантистом, бесплатно лечила ему зубы. Писала дочь Галли Павловна Малянтович-Шел-

ковникова... Прокурор СССР А. Я. Вышинский повелел не отвечать на эти письма. Почти год Малянтовича ни разу не вызвали на допрос — он ждал очереди предстать перед Военной коллегией Верховного Суда СССР. 22 января 1940 г., после 15-минутного рассмотрения дела, Малянтовича расстреляли. Вместе с ним погибли два его сына, брат и семья брата...

Сразу после смерти Сталина оставшаяся в живых дочь Малянтовича начала борьбу за его посмертную реабилитацию. Вышинский способствовать восстановлению доброго имени своего спасителя и патрона не пожелал. О восстановлении справедливости просили старые большевики А. С. Курская, В. П. Антонов-Саратовский, П. И. Воеводин и многие другие — Екатерина Павловна Пешкова, С. Я. Маршак, известный юрист, член-корреспондент Академии наук СССР А. Н. Трайнин, виднейшие московские адвокаты... Пять лет понадобилось для того, чтобы преодолеть консерватизм тогдашней прокуратуры. В 1959 г. состоялась формальная реабилитация. Имя этого выдающегося деятеля российской демократии замалчивается до сих пор.

Октябрьская революция сокрушила честолюбивые планы начавшего делать политическую карьеру юриста. Меньшевик Вышинский сразу же понял, что при большевиках ему на своем посту долго не задержаться. Надо было срочно искать другую работу: стабильную и перспективную. Опять помогли личные связи.

В Баку семья Вышинских поддерживала соседскую дружбу с семьей Халатовых. Когда у Баграта и Кати родился первенец — Артемий, — участвовал в дружеской вечеринке по этому поводу и гимназист Андрей.

Халатов-младший подрос, стал студентом Московского коммерческого института. Когда дипломированный сосед — бездомный и неприкаянный — приехал искать фортуну в Москве, юный Артемий охотно делил с неюным Андреем свою койку. Вышинский в долгу не остался: став большим человеком в районе, он сделал Артемия членом Замоскворецкой думы и, что гораздо важнее, членом ее продовольственной управы. Сразу же после революции в Петрограде, не дожидаясь исхода боев в Москве, Артемий Багратович, которому только что исполнился 21 год, вступил в партию большевиков.

Прошла неделя-другая, и ситуация в корне изменилась. Уже не Вышинский тянул Халатова, а Халатов — Вышинского: долг платежом красен. Меньшевик Вышинский покинул мэрию и стал рядовым продинспектором, а большевик Халатов занял кресло заместителя московского чрезвычайного комиссара по продовольствию и транспорту.

Вскоре в Москве появился третий бакинец — не по рождению, правда, но по стажу работы. Сталин — некогда тюремный сокамерник, а теперь влиятельный член большевистского руководства, нарком по делам национальностей. Мог ли «товарищ Андрюша» тогда, в Баиловской тюрьме, даже отдаленно предположить, что его неистовый оппонент, бестолку зубривший эсперанто и благосклонно принимавший чужие дары, заберется на такие высоты?! Правительство переехало в Москву, двери гостиницы, где расположились наркомы, были всегда открыты: мания всеобщей секретности и всеобщего страха еще не настала...

Именно в их первую московскую встречу Вышинский совершил самый провидческий и самый мудрый за всю свою жизнь поступок, а таковых — будем справедливы — окажется на его веку немало: ни единым словом не напомнил он о благодеяниях, некогда оказанных им узнику Баиловской тюрьмы, и с порога обратился к нему на «вы», хотя невозможно себе представить, чтобы в тюрьме товарищи по несчастью и по борьбе общались так между собою. Камера, споры, дележ продуктов — все было напрочь забыто. У Вышинского хватило ума и такта не предпринять ни малейшей попытки реанимировать прошлое, дабы извлекать выгоду из него.

И как раз потому, что он ее не извлекал, она к нему шла: парадокс лишь для тех, кто не слишком разбирается в людях.

Итак, вчера еще мучительно ищущий, где бы приткнуться, — он обрел наконец не просто хлебное место — трамплин для карьеры. Стоит вспомнить, чем стало продовольствие и вообще чем являлась система снабжения уже в конце 1917 года, чтобы понять, какая реальная

власть и какие реальные перспективы открылись сразу же перед Вышинским. Какая реальная власть (не над городом или районом — над жизнью и смертью) оказалась в его руках.

Его прямыми начальниками были Артемий Халатов и Алексей Рыков — оба члены коллегии Наркомпрода, ответственные за снабжение продовольствием Москвы. Штаб состоял при Московском Совете, во главе которого находился Лев Каменев. Под началом этой «тройки» Вышинский сделал два главных броска наверх: сначала он стал заведующим реквизиторским (!) отделом Московского железнодорожного узла (этот отдел отнимал у крестьян продукты, которые они везли на продажу в Москву), а потом — начальником управления распределения Наркомпрода. То есть, проще сказать, человеком, занявшим ключевой пост: ведь именно в его монопольном распоряжении находилось распределение продуктов и предметов первой необходимости по всей голодной, раздетой, разутой — по разоренной великой стране.

Дружными усилиями Сталина, Рыкова, Каменева он уверенно поднимался все выше и выше. Добрым гением, который вывел его на широкий простор, был Халатов [1].

Он не только осуществлял, но и теоретически обосновывал ту безумную систему «распределения», которая пришла на смену нормальной купле-продаже. (Кстати, именно тогда — уж не с легкой ли руки Вышинского — устаревшее слово «магазин» было заменено в разговорной речи словом «распределитель»? Перестали спрашивать: «Что продают в магазине?» Стали спрашивать: «Что дают в вашем распределителе?») Эта страсть — находить фундаментальное обоснование и вгонять в наукообразные формулы очередной политический поворот, очередную прихоть «высшего руководства» — сохранится за ним на всю жизнь и сделает его незаменимым на любом витке многострадальной нашей истории.

Любопытно и горько читать сегодня его глубокомысленные рассуждения из брошюры, вобравшей в себя две статьи — «Политика Советской власти в области распределения и обмена» и «Кооперация и ее виды», брошюры, изданной в качестве «пособия для участковых школ»: «Буржуазное общество не знало проблемы распределения... Распределение требует единства, обобщающей и руководящей идеи... Установленная уже 27 октября 1917 г. (на третий день после взятия власти! — А. В.) государственная монополия на предметы питания и широкого потребления, уничтожившая свободный обмен этими предметами и ограничившая возможность самоснабжения до крайних пределов, возлагала на государство прямую заботу о снабжении трудящегося населения всем, что охватывалось понятием «первой необходимости».

Но, пожалуй, самым беззастенчивым по цинизму, самым обнаженным и откровенным был такой пассаж из выступления Вышинского на Первом Всероссийском совещании распределительных комитетов (ноябрь 1919 г.): «Ныне в деле распределения не приходится руководствоваться общечеловеческим принципом справедливости... Мы переходим от принципа уравнительного распределения к принципу классового распределения». И — в подтверждение правильности этого тезиса — упоенно ссылается на «как всегда, афористично меткое высказывание товарища Зиновьева: «Мы даем рабочим селедку и оставляем буржуазии селедочный хвостик». Семнадцать лет спустя он будет требовать для афористично меткого товарища Зиновьева, превратившегося к тому времени в «буржуазную падаль» и «взбесившуюся собаку», смертной казни и вечного проклятия.

---

[1] Этот крупный деятель государства не имел какой-либо узкой специальности, а, как верный солдат, шел туда, куда его посылали. Главную известность получил как заведующий объединением государственных издательств, когда сблизился с Горьким и другими виднейшими писателями.

27 июня 1937 г. Халатов был арестован. Двумя неделями позже та же участь постигла его жену. Сразу же прогнали с работы (она заведовала книжным фондом Библиотеки им. Ленина) и выслали из Москвы его мать, Екатерину Герасимовну. На ее письма, в которых она, конечно, ни словом не обмолвилась ни о встречах в Баку, ни о том, чем обязан прокурор страны ее сыну, Вышинский вообще не ответил. И на письма жены Артемия Халатова — Татьяны Павловны Худяковой — тоже. Мать и жена, проведя в лагерях и ссылке 17 лет, дожили до посмертной реабилитации Халатова, которой активно добивались Екатерина Павловна Пешкова, академик Кржижановский и известный режиссер и актер Николай Охлопков.

Впервые прикоснувшись к реальной власти, Вышинский не мог не почувствовать ее вкуса. Однако его отличала не только проницательность, но еще и осторожность. Ощущения безраздельной победы большевиков пока что не было, и принадлежность к меньшевистской социал-демократии его пока не беспокоила. С одной стороны, эта принадлежность не мешала ему занимать высокое должностное положение и даже взбираться по служебной лестнице, с другой же — «в случае чего» — сохраняла за ним политическое алиби: если бы события вдруг круто повернулись, он легко и убедительно смог бы доказать, что всего лишь лояльно сотрудничал с большевиками.

Его хватало и на работу в Наркомпроде, и на партийную активность. Уже примелькавшееся, уже обратившее на себя внимание имя Вышинского фигурирует и среди организаторов социал-демократического (меньшевистского) клуба «Искра» (все в том же Замоскворечье), и среди членов Московского комитета партии меньшевиков, где он представлял опять-таки родной Замоскворецкий район. Человек феноменальной работоспособности и неутомимого здоровья, он не увиливал от общественных акций, не отрывался от коллектива, был доступным и равным. Один из сотрудников Вышинского, так же, как и он, работавший до революции помощником присяжного поверенного — В. А. Краузе, — вспоминал много позже в письме своему бывшему шефу, как тот вместе со всеми ездил по Савеловской железной дороге на погрузку дров, как он воодушевлял мобилизованных своей «заражающей бодростью, энергией, веселостью и пением песен».

Когда наступили особо тревожные дни, и было уже не до песен, — Деникин стремительно продвигался к Москве, — Вышинский и группа других левых меньшевиков добровольно отправились в Тулу, передав себя в распоряжение местных властей. Явившись к секретарю губкома и председателю губисполкома, ставшему и начальником Тульского укрепленного района, Григорию Каминскому, Вышинский произнес пылкую речь — о том, что лозунг «Москва в опасности» он и его товарищи воспринимают как призыв «лично включиться в борьбу за спасение Советской власти от смертельной угрозы». Каминский поморщился (как и все ортодоксальные большевики старой закваски, он меньшевиков недолюбливал, относился к ним с подозрением и недоверием), но опасность действительно была велика, так что любое подспорье могло оказаться кстати. Вышинский даже рыл окопы и вообще не чурался никакой работы, заслужив в конце концов похвальный отзыв самого Каминского [1].

Разгром Деникина скорее всего подтолкнул Вышинского как можно скорее определиться. Ждать уже было нечего. Остатки Добровольческой армии бежали на юг — готовилась их эвакуация. Впереди еще был Врангель, впереди Кронштадт и другие антибольшевистские выступления, но сколько-нибудь разумному человеку не могла не открыться очевидная истина: большевики победили.

Очередная встреча со Сталиным решила все: пока что еще не генсек, но уже член Политбюро и член правительства, обладавший большим влиянием и авторитетом у партийных чиновников, Сталин не мог тогда, разумеется, единолично решать вопросы большой государственной важности, но такой пустяковый — мог безусловно. Пустяковым, впрочем, этот вопрос был в масштабах страны, а в масштабах его, Вышинского, личной судьбы — первостатейным. Вопрос о разрыве с меньшевиками и вступлении в партию большевиков.

Слово Сталина оказалось решающим: в феврале двадцатого года Замоскворецкий райком принял Вышинского в ряды Российской коммунистической партии большевиков.

Сначала это радовало открывшейся перспективой. Позже — вселяло

---

[1] Вряд ли Вышинский забыл этот похвальный отзыв. Нарком здравоохранения СССР и кандидат в члены ЦК Григорий Наумович Каминский был арестован 25 июня 1937 г., через 4 месяца после того, как осмелился на пленуме ЦК открыто, хотя и весьма осторожно, выступить против готовившейся расправы над Бухариным и Рыковым. Его объявили диверсантом, террористом и руководителем контрреволюционной группы. 10 февраля 1938 г. Каминского казнили — на месяц раньше, чем Бухарина, которого он пытался спасти.

ужас. Не вступление, разумеется, а то, что было оно запоздалым: почти два с половиной года он выжидал.

Да, конечно, иные из бывших единомышленников сделали это еще позже, чем он. Майский — позже на год. Заславский — на целых четырнадцать [1]. Но это служило слабым утешением: факт оставался фактом — колебался товарищ Андрюша, уже успевший к тому времени в голодной Москве отрастить небольшой животик, слишком уж долго.

Был, однако, человек, которого эта страница его биографии могла только радовать. Сталин понимал преотлично, какой занозой сидит — и будет всегда сидеть — в сознании бывшего меньшевика щекотливейший тот эпизод. Насколько сделает его покорным и преданным.

2

Вышинский действительно любил свою профессию и только в ней себя чувствовал как рыба в воде. Поэтому просьба, с которой он, попав в номенклатуру (понятия такого еще не было, а сущность уже была), обратился в Московский городской комитет своей, родной большевистской партии, казалась искренней: он просил найти ему место по юридической части.

Место нашлось: его послали в адвокатуру (тогда она называлась коллегией защитников), рекомендовав (уже появилось вошедшее вскоре в политический обиход такое словечко — лукавый эвфемизм необсуждаемого приказа) на пост председателя. «Рекомендацию», конечно, уважили, избрав товарища Вышинского главой столичной адвокатуры открытым голосованием. Осмелившихся голосовать против, разумеется, не нашлось.

С уничтожением старой судебной системы была разгромлена и адвокатура, и теперь на новых началах (самое главное — по классовому признаку) она рождалась заново: бессмысленный декоративный довесок к зависимому суду, псевдогарантия прав обвиняемых и подсудимых. Создать и возглавить этот правовой институт — так, чтобы, оставаясь ничем, он выглядел всем, — задача труднейшая и в высшей степени ответственная. По плечу только верным и преданным.

Уже через два или три месяца защитник сменил квалификацию: стал обвинителем. Прокурором судебной коллегии только что образованного Верховного Суда Российской Федеративной Республики. Начавшая отлаживаться бюрократически-чиновничья номенклатурная машина нашла ему более подходящее место, вывела на нужную орбиту. Здесь произнесены им первые речи, часть которых в стенографической записи сохранилась для будущих поколений.

Сюжеты тех — первых — судебных процессов, на которых Вышинский пробовал голос, удивительно напоминают сюжеты, до боли знакомые: следователи и судьи, обложившие данью бакалейщиков-казнокрадов и освобождавшие их за это от наказания; крупные шишки плодившихся ведомств, чинодралы с партбилетами, превратившие в барахолку свои служебные кресла; вельможные хозяйственники из легендарного Помгола, жиревшие на народной беде...

---

[1] Давид Иосифович Заславский (1880—1965) — меньшевик, член ЦК Бунда. Учился на юридическом факультете Киевского университета в то же время, что и Вышинский. В 1917 г. вел злобную кампанию против Ленина, печатая о нем статьи как о немецком шпионе. Мало кого Ленин клеймил с такой яростью, как Заславского. Он называл его негодяем, заведомым клеветником, сплетником, подлецом, осуждая тех, кто подает Заславскому руку. Впоследствии Заславский стал официальным советским журналистом, главным фельетонистом «Правды», получив неограниченное право шельмовать честных людей. Сталин открыл ему двери в партию лишь в 1934 г. После этого Заславский еще усерднее стал травить политических деятелей, всю жизнь верно служивших большевизму. Жертвами его разнузданного пера были многие деятели культуры. Имя этого перевертыша наводило ужас и страх. Я сам видел два приговора: по первому человека осудили на 10 лет за то, что в компании приятелей он назвал Заславского «грязной личностью»; по второму 8 лет получил тот, кто показывал сослуживцам статьи Ленина о Заславском. Этот второй приговор был Вышинским опротестован: «за мягкостью», а судья изгнан с работы: «товарищ Заславский олицетворяет собой партийную печать, его дискредитация — это гнусный вражеский выпад против Советской власти».

Страшные гримасы времени, достойные гневного пафоса обвинителя, не могли, естественно, не привлечь широчайшего общественного внимания. О прокуроре заговорили. Имя его снискало популярность. Его устами кричала сама справедливость. Он клеймил оборотней и перерожденцев — клеймил за дело: осоловевшие от пьянок, шулерства и поборов нувориши в кожаных куртках вызывали омерзение у любого нормального человека, ни одно даже самое резкое слово в их адрес не казалось чрезмерным.

И однако... Лишь теперь, обогатившись горьким историческим опытом, перечитывая заново эту кровоточащую «устную литературу», замечаешь то, что вряд ли замечалось тогда. А если и замечалось, то считалось, наверно, естественным: стремление придать тошнотворной, но, увы, обыденной уголовщине непременно политическую окраску. Еще робко, исподволь, между прочим, чужеродно вклинившись в обычный криминалистический анализ, вдруг промелькнут и «агенты», и «лазутчики», и «духовные диверсанты», и «всевозможный буржуазный смрад». Эти словосочетания, лишь входившие в обиход и носившие, скорее, характер ораторского приема, митинговой метафоры, чем реальности, тогда не резали слух.

Вышинский очень старался не только заслужить доверие коллег и товарищей по партии, но и показать, насколько лучше он выполняет роль судебного трибуна. Лучше — чем первый судебный оратор того времени Николай Крыленко. Если уж быть объективным, его речи и в самом деле сочетали в себе страсть, логику, сарказм и убежденность. Они были рассчитаны и на судей, и на слушателей, и на читателей — на разные социальные и культурные слои: каждый находил в них хоть что-нибудь для себя. Тогда как речи Крыленко отличались многословием, натужной риторикой, бедностью языка, злоупотреблением маловразумительной псевдомарксистской фразеологией.

В этом незримом поединке Вышинский с самого начала выглядел профессионалом, а Крыленко дилетантом, однако очевидное превосходство отнюдь не сопровождалось ростом престижа Вышинского в партийных кругах. Там по-прежнему относились к нему с нескрываемой неприязнью, тем более что во всем — в манере одеваться, разговаривать, острить — он решительно отличался от новых своих товарищей по партии. Так что вряд ли можно считать удивительным, что первую же партийную чистку он прошел мучительно...

Свою преданность большевизму Вышинский доказывал не только стоя перед парткомиссией. Он был плодовитым автором, и особое место в печатной продукции, вышедшей под его именем, занимали «Очерки по истории коммунизма» — двухтомный труд, вобравший в себя лекции, которые он читал в Институте народного хозяйства и разных других аудиториях Москвы. (В этом институте, заметим кстати, он как-то незаметно — по совместительству — дослужился до декана, показав, повторю это снова, редчайшую работоспособность.)

Эти очерки лишь недавно рассекречены (мрачная гримаса судьбы: много книг Вышинского было изъято из общего пользования и заточено на годы и годы в спецхран!): в них обильно и более чем почтительно цитируются тогдашние кумиры — те, кто был у руля — Каменев, Зиновьев, Бухарин. Да, Сталин тоже — разумеется, тоже, — но в компании с теми тремя... Надо представить себе, как хотел Вышинский ее уничтожить, эту двухтомную книгу, и, наверно, где только можно, ее уничтожили. Но не везде. Теперь мы можем воочию убедиться, как старался он приспособить теорию — на сей раз не правовую, а историко-философскую — к практике «текущего момента». Впрочем, не он один, не он один.

Сейчас, когда только-только входит в жизнь совершенно новая для нас практика не назначения, а выборов директоров предприятий, руководителей высших учебных заведений, кому-то, наверно, покажется невероятным, что в 1925 году ученый совет Московского университета, состоявший в немалой части из старой, дореволюционной профессуры, выбирал нового ректора открытым голосованием. Правда, кандидатура была только одна, рекомендованная свыше. Но оформили все честь по чести, весьма пристойно и демократично — профессора дружно подняли руки.

Как читатель, видимо, догадался, ректором стал профессор (уже профессор!) Вышинский. Позади осталась высокоответственная и разнообразная государственная служба. Теперь его бросили не только сеять разумное, доброе, вечное, но и — главное! — руководить всеми сеятелями в самом престижном учебном центре страны.

Сразу же священная колыбель гуманизма под его руководством начала отторгать проникших туда в изобилии классовых врагов. Таковыми были объявлены выходцы из непролетарских семей. Бастион цивилизации и культуры постепенно начал освобождаться и от неугодных профессоров.

Вот весьма красноречивый отрывок из его статьи того времени, она называлась «Актуальные вопросы высшей школы»: «В высшей школе, как и во всем обществе, идет классовая борьба, усиливающаяся и углубляющаяся... Классовые интересы, враждебные пролетариату, пытаются опереться на авторитет университетских кафедр, закрепиться на этих позициях и от обороны перейти иной раз даже в нападение... Проповедь кулацкой, поповской и народнической мелкобуржуазной идеологии должна быть решительно устранена из стен высшей советской школы».

Собственное, не слишком пролетарское, происхождение и политическое прошлое повелевали новому ректору действовать именно так — решительно и непримиримо, — чтобы никто не мог заподозрить его в покровительстве братьям по классу.

Конечно, он не только руководил, но и преподавал. На юридическом... Любимый свой уголовный процесс. Доказывал, как плоха судебная процедура при проклятом царизме (позволившая тем не менее оправдать и Веру Засулич, и Бейлиса, и многих других) и как хороша теперешняя — классово-пролетарская. С невероятной быстротой издал для студентов пухлый «Курс уголовного процесса». Один пассаж в этом курсе привлекает внимание: «Было бы большой ошибкой видеть в обвинительной работе прокуратуры основное ее содержание. Главная задача прокуратуры — быть проводником и стражем законности». Золотые слова! Особенно если помнить, что́ было потом. Не в «Курсе», а в жизни.

Казалось бы, Вышинский достиг всего, к чему стремился. В своей автобиографии — во всех трех ее, мне известных, редакциях — он утверждает, что главной целью его была преподавательская и научная работа. Ректор Московского университета — есть ли что-либо лучшее для осуществления этой цели? Поистине головокружительная карьера, если началом ее считать вступление в сословие помощников присяжных поверенных: десять лет, всего-навсего десять лет!..

Но, видимо, ему предназначались деяния куда более великие. Ибо выбор, который пал на него в 1928 году, сам по себе говорит о многом. Такое назначение, разумеется, утверждалось на самом верху.

Была «раскрыта» некая «вредительская организация» из числа советских и иностранных инженеров, которые, «по указанию из Парижа», решили бороться с большевиками, взрывая и уничтожая шахты Донбасса. На скамье подсудимых оказались 53 человека: такого количества несчастных ни до, ни после не собирал за один раз ни один судебный процесс. Весь смысл его состоял в как можно более широкой публичности, поэтому местом действия определили бывшее Московское Дворянское собрание — беломраморный Колонный зал Дома союзов.

При подготовке к этому — тогда еще беспримерному — политическому шоу проблема номер один состояла не столько в подборе красноречивого обвинителя (трибунов худо-бедно хватало), сколько в подборе послушных и преданных судей. Нужна была фигура, которая совмещала бы в себе множество разнообразных качеств: импозантность и респектабельность, внешнюю культуру и солидность (ожидались иностранные наблюдатели, зарубежные журналисты), находчивость — на случай неожиданных и непредвиденных поворотов процесса, и надежность: с точки зрения устроителей — способность влиять и на подсудимых, и на публику.

Вышинский был счастливой находкой. Другого подходящего кандидата попросту не было. Оставалось единственное препятствие: он не был официальным — формальным — судьей. И, значит, не мог стать во

главе состава Верховного суда (а только этому органу пристало судить «преступников» такого масштаба).

Но хозяин — барин! Росчерком пера был реанимирован известный по не самым светлым страницам истории заменитель суда нормального: Специальное Судебное Присутствие. К нему прибегали и раньше, в дореволюционной России, для придания процессу особой престижности, для подчеркивания его чрезвычайности. И, конечно, для особой весомости выносимого им приговора. Вот во главе этого внесудебного, внепроцессуального органа и встал крупнейший теоретик уголовного процесса, ректор МГУ профессор Вышинский.

Великое прошлое Московского университета освящало его на этом посту.

Кем же был избран он для такой ответственной роли? Для выполнения особого поручения... Троцкий к тому времени уже пребывал в ссылке, Зиновьев и Каменев полностью повержены, острием своим процесс был направлен против Бухарина — Рыкова — Томского, лично задевал Куйбышева (глава ВСНХ, так получалось, пригрел под своим крылышком вредителей и диверсантов). Председатель ОГПУ Менжинский (это достоверно известно) был против процесса. Кто же остается? Если идея организации процесса была сталинской, то, конечно же, делом его рук был и выбор решающей, ключевой фигуры процесса — председателя Специального Судебного Присутствия.

Место государственного обвинителя занял заклятый друг и соперник Вышинского Николай Крыленко. Впервые они оказались в одной команде. Конечно, прирожденному златоусту хотелось играть роль, отданную сопернику: ведь прокурор не только произносит речь, он ведет допрос, он всегда на виду, демонстрируя находчивость, остроумие, напористость — всю совокупность бойцовских качеств. Роль судьи куда более пассивна и невыразительна. Вышинский страдал. Но и гордился: все же хозяином процесса был он, итоговое — главное — слово оставалось за ним.

Именно здесь, на этом процессе, было брошено то зерно, которое вскоре прорастет и даст обильные всходы: все внимание суд сосредоточил не на анализе доказательств (которых попросту не было), а на том, чтобы добиться от подсудимых подтверждения признаний ими своей вины, содержавшихся в протоколах предварительного следствия. Некоторые из подсудимых на открытом суде, при огромном скоплении публики от прежних своих признаний отказались. Иные меняли их в ходе процесса несколько раз, и любому человеку в зале, если только он не был слепцом или недоумком, открывались тайны минувшей ночи: доведенные до отчаяния шантажом, угрозами, а то и прямым рукоприкладством жертвы вновь «сознавались», потом приходили в себя, отвергали ложь, а наутро опять каялись и вымазывали себя грязью.

Крыленко прилюдно глумился над жертвами, тогда как Вышинский, напротив, дожимал их логикой, облеченной в форму изысканной корректности. Воспоминания очевидцев рисуют нам прелюбопытнейшие психологические портреты двух столпов советской юриспруденции того времени. Тогда как Крыленко предстает под пером мемуаристов в облике бесчувственного грубияна, едва ли не хама, о Вышинском вспоминают если не с теплотой, то, во всяком случае, с уважением, признавая за ним такие качества, как вежливость и отзывчивость.

Пользуясь правом хозяина процесса, Вышинский не раз обрывал слишком уж расходившегося Крыленко, гасил его пыл, осаживал и язвил. Он демонстративно покровительствовал защите и выказывал свое пренебрежение обвинению. Позировал перед иностранными наблюдателями? Искал популярности? Или тешил себя возможностью покуражиться над соперником, нелюбовь к которому не считал нужным скрывать? Скорее, и то, и другое, и третье. Особенно раздражал его политический ригоризм прокурора, отсутствие гибкости, та унылая прямолинейность, с которой тот подходил к обличению подсудимых, его примитивные обобщения. «Интеллигенция, — утверждал Крыленко в обвинительной речи, — никогда не была классом или слоем населения, который имел свою определенную отчетливую политическую физиономию. По самому существу своему, как обслуживающий, а не производящий социальный слой, интеллигенция всегда была осуждена на то, чтобы расслаиваться...» Наблюдатели отмечали, что эти школярско-«марксистские» откровения вызывали кривую усмешку председателя Специального Судебного Присутствия.

Сталин в ту пору еще не хотел ссориться с интеллигенцией, тогда как Бухарин требовал для посаженных на скамью подсудимых интеллигентов самого сурового наказания. Вышинский лавировал, стремясь показать себя независимым, объективным и демократичным судьей.

Пройдет несколько лет, и они поменяются местами: о Крыленко будут вспоминать как о безвольном и беспомощном человеке, словно ожидающем ежеминутно удара из-за угла, а Вышинский предстанет во всей своей силе и неуязвимости.

3

Одиннадцать раз из уст профессора, читавшего приговор в переполненном зале, прозвучало слово «расстрел». Пятеро — из одиннадцати приговоренных — были расстреляны. «Приговор приведен в исполнение», — сообщили газеты. Сразу же вослед было сообщено, что товарищ Вышинский выпустил книгу, в которой подвел итоги Шахтинского процесса. Его «мысли» на этот счет, высказанные по горячим следам, очень важны для понимания зреющих процессов (процессов и в социально-политическом, и в юридическом смысле).

Некоторые подсудимые, похоже, искренне делились своими тревогами и опасениями: «я боялся, что Советская власть способна только разрушать, а не создавать» (инженер Братановский), «мне казалось, что развалившуюся промышленность и хозяйство страны советская система восстановить не сможет» (инженер Горлецкий), «скептицизм к происходившему в экономике, конечно, имел место» (инженер Казаринов).

Какой же вывод из этих признаний делал юрист Вышинский? Они, оказывается, «безусловно свидетельствуют о том, что эти люди сознательно вступили на путь вредительства и диверсий».

Появляются словосочетания, которые через несколько лет обретут права гражданства: «московский вредительский центр», «харьковский антисоветский центр» — модель сочинена и опробована, пройдет время, и она заработает вовсю.

В сочинении судьи много цитат. Исчезает коллективный разум, на который еще совсем недавно опирался автор «Очерков по истории коммунизма», — мы не найдем больше на страницах его книги имен Зиновьева, Каменева, Бухарина. Никого — кроме Сталина. Правда, нет еще «мудрого» и «великого», но уже мельтешит в глазах: «как справедливо говорит товарищ Сталин», «как указывает товарищ Сталин»...

Но, пожалуй, самым важным является тезис, сформулированный автором, не предвидевшим еще 37-й год, но чутко уловившим социальный (читай: сталинский. — **А. В.**) заказ: «Советский суд — этот ответственнейший орган пролетарской диктатуры, — должен исходить и всегда исходит исключительно из соображений государственной и хозяйственной целесообразности».

Тогда еще не вошло в моду поспешно награждать орденами. Но награда пришла в ином виде. О ней тоже известили газеты: «Товарищ Вышинский А. Я. назначен членом коллегии Наркомпроса». Никто нам не даст письменных доказательств, насколько ревностное исполнение Вышинским чрезвычайного задания повлияло на решение повысить его должностной статус. Но очевидность причинной связи ясна, мне думается, и без письменных доказательств. Сфера, которой Вышинскому поручено руководить, казалась унылой и неперспективной: профессиональное образование. Трудовые резервы — если следовать более поздней терминологии.

Профессиональная подготовка была слабым звеном, кадров отчаянно не хватало. Попытка сочетать несочетаемое — жесткий классовый подход, идеологическую нетерпимость с планомерной подготовкой достаточного количества высококвалифицированной рабочей силы — терпела неудачу за неудачей. В работу по созданию школы всех ступеней включились так называемые «спецы» — старая профессура, крупные ученые. Рядом с ними Вышинский выглядел политкомиссаром, «спецнадзирателем» в до-

статочно определенном смысле этого слова. Присланным чужаком, которого все боялись.

В письме ко мне видный музыковед И. Я. Рыжкин — со слов своего коллеги профессора Надежды Яковлевны Брюсовой (сестры поэта Валерия Брюсова), в ту пору заведовавшей отделом музыкальных учебных заведений, — рассказывает о том, как Вышинский организовывал регулярные «проверки» содержимого письменных столов, портфелей и сумок сотрудников Наркомпроса в поисках крамолы и «предметов, не относящихся к прямой служебной деятельности проверяемого лица». По сравнению с теми «проверками», которые начали повально осуществляться несколько позже, эти выглядят невинной забавой, почти шутливым розыгрышем, но характерный почерк автора узнается сразу...

Особенно любил он заседания коллегии, на которых утверждались списки запрещенных книг. В то время эта благородная задача входила в функцию Наркомата просвещения, и списки, подготовленные соответствующей комиссией просветителей в штатском, заранее раздавались членам коллегии для одобрения. В первом же списке числилось около 400 книг: из библиотек и книжных магазинов изымались «Бесы» Достоевского, философско-религиозные труды Льва Толстого, романы Жюля Верна — в них нашли воспевание колониализма. Вышинский с обезоруживающей логикой всегда мог доказать, почему освободить неразумного читателя от знакомства с сомнительной книгой лучше, чем оставить его с этой книгой наедине.

На место Луначарского вскоре пришел А. С. Бубнов: получившая хождение в наркомпросовской среде версия, будто Вышинского «подбросили» Луначарскому, чтобы «съесть» его и занять наркомовское кресло, не подтвердилась. Заместителем наркома сделали Крупскую, поручив ей ведать библиотеками. Работавший заместителем наркома профессор (впоследствии академик) Отто Юльевич Шмидт был другом Крыленко, участником его памирских экспедиций. При всех этих убежденных большевиках комиссаром был вчерашний меньшевик, не просто рядовой член той, поверженной, партии, а весьма энергичный и преуспевающий ее активист. Расклад замечательный!

Вышинского уже боялись. Нет, не как правой руки Сталина — тогда это вряд ли еще было кому-нибудь ясно. А как представителя той загадочной системы надзора, которая уже пронизала весь аппарат и все общественные слои. Как обличителя, который все время кого-то ниспровергает, громит.

Вот, к примеру, обсуждается сугубо методологический вопрос: нужно ли вузовскому выпускнику защищать дипломный проект. Для Вышинского этот вопрос был не методологическим, а политическим: никаких дипломных проектов! Ведь огромное большинство студентов — недоучки и «полуучки», малограмотные молодые люди, но зато с классово чистой анкетой, никакой серьезный проект попросту им не под силу, он сразу же обнаружит их жалкий потенциал. Страна получала идеологически преданных невежд, которых нужно было освободить от всего, что их обременяло. Из уст Вышинского сторонники дипломных проектов узнали, кто они такие: «вражеские лазутчики», «скрытые оппортунисты», «идеологические диверсанты» и даже «проводники кулацких взглядов». Тридцатые годы еще не наступили, еще не в ходу эти клички, терминами «кулак» и «кулацкий подголосок» пока еще клеймили лишь тех, кто был лично причастен к классовой борьбе в деревне. Но Вышинский проявил похвальную инициативу, введя в сферу науки и просвещения ярлыки, применявшиеся пока лишь в сфере политики.

Такие же страсти разгорелись вокруг вопроса о студенческой производственной практике. Ясно, что тем, кто учиться не привык, кто способностями не вышел, теоретические знания даются с трудом. Старая профессура дружно выступила против непрерывной производственной практики: истинные ученые, они хотели воспитывать квалифицированных специалистов, а не бездарностей, кичащихся своим происхождением. И подверглись за это со стороны «пролетария» Вышинского жестокой травле. На ректорском совещании в 1930 году Вышинский произнес речь, в которой назвал имена некоторых профессоров (Сеневич, Родионов, Сиротинский и другие), считавших, что отмена дипломных проектов и перенос

обучения из студенческих аудиторий в цеха нанесет урон народному хозяйству (соотношение теоретических и практических занятий уже составило 1 : 11), объявил их позицию «троцкистским вывертом» и «вылазкой классового врага», пообещал «привести в движение все доступные средства», чтобы расправиться со своими оппонентами.

В одном из его выступлений вдруг промелькнула фраза: «Мы сейчас принуждены бросить бригады в районы сплошной коллективизации». Принуждены! Интересно, кто его (их?) принудил? Не иначе как не «кто», а «что»: желание выслужиться на крутом, поистине судьбоносном витке истории. Проводил коллективизацию Сталин, настаивал на ней Сталин... Кто-то еще спорил, еще высказывались доводы против заданных темпов коллективизации, против насаждавшихся форм ее осуществления, а Вышинскому спорить было не о чем: он уже понял с непререкаемой непреложностью, что Сталин всегда прав.

Что делали его посланцы — чиновники из Наркомпроса — в деревне? Создавали общественные бригады для выявления кулаков, подкулачников, середняков. Инструктировали учителей на селе, чтобы те надлежащим образом влияли на своих учеников. И учителя влияли. Собирали детские доносы на родителей, родственников, соседей. Предательство оплачивалось по тем временам достаточно щедро: парой сапог, подпиской на пионерскую или комсомольскую газету. Вместе с бригадами взрослых чиновников Вышинский отправлял на село и детей. Они составили ядро рекламно-показательных детских колхозов: были тогда и такие, сегодня о них не вспоминают.

И нарком Бубнов, и замнаркома Крупская поддерживали грозного своего комиссара, хотя и старались не прибегать к его лексике и терминологии. Они были за политику, им проводимую, хотя и не призывали, подобно Вышинскому, торжествовать «над старой схоластикой и рутиной, над старой академичностью и академической спесью», не сулили «вырвать из рук мертвецов» высшую, среднюю и профессиональную школу. И все-таки были «за»...

Представители поистине «золотого века» русской педагогики — А. П. Пинкевич, М. М. Пистрак, С. Е. Гайсинович, чьи позиции начальнику Главпрофобра Вышинскому были очень хорошо известны, некоторое время спустя стали жертвами прокурора Вышинского. Они были уничтожены. Других виднейших педагогов, изгнав с работы, обрекли на нищенство и бездействие. Такова была судьба Блонского, Венцеля, Иорданского. Конечно, не сам Вышинский был инициатором разгрома русской педагогики. Время, или, если точнее, Система действовали через него. Но исполнителем он оказался отменным.

Затевался новый публичный процесс. Ничуть не менее важный, чем Шахтинский. Он состоялся поздней осенью 1930 года.

Режиссура спектакля была такой же, как и два года назад, основные исполнители — тоже. Опять образовали Специальное Судебное Присутствие, и опять его возглавил Вышинский, а место государственного обвинителя занял прокурор Крыленко. Для Сталина это была мощная репетиция того, что войдет в историю как тридцатые годы, для Вышинского — главный экзамен, от которого зависела будущая карьера.

Скамья подсудимых — в сравнении с Шахтинским процессом и его 53 участниками — была почти пустой: на ней разместились лишь восемь человек. Только восемь — зато не чета безвестным шахтинским инженерам: главным героем был ученый с крупным именем, профессор Московского высшего технического училища, директор Всесоюзного теплотехнического института Рамзин, почти все остальные занимали руководящие должности в Госплане и ВСНХ: обе эти организации возглавлял В. В. Куйбышев. Практически процесс наносил удар по нему. Подсудимым приписали организационную связь с осужденным по Шахтинскому делу инженером Рабиновичем и с так и не появившимся ни на этом суде, ни на каком-либо другом инженером Пальчинским, про которого было глухо сказано, что он «расстрелян за участие в контрреволюционной организации» (по другой, близкой к истине, версии Пальчинский не выдержал пыток и погиб во время следствия). Так называемую «Промпартию» связали так-

же с другой так называемой партией — «трудовой крестьянской», которую в ходе процесса называли «группой Кондратьева — Чаянова» (этих выдающихся ученых и литераторов казнили по приговору закрытого суда). Рамзин и его товарищи были представлены как агенты президента Франции Раймона Пуанкаре (обвинитель издевательски именовал его «гражданином Пуанкаре»), английского разведчика полковника Томаса Лоуренса, нефтяного магната Генри Детердинга и других империалистов. Процесс сопровождался шумной, почти истерической пропагандистской кампанией. Ее апофеозом было выступление в печати сына одного из подсудимых, инженера Всесоюзного текстильного синдиката Ксенофонта Ситнина, требовавшего для своего отца смертной казни.

Отличительной и зловещей особенностью этого процесса было то, что решительным образом отличало его от Шахтинского: все подсудимые сознались в предъявленных им обвинениях. Тут уже не нашлось подобных старику Рабиновичу, который обрезал Крыленко на глазах у всего зала: «Вы можете кричать сколько угодно, все равно никакой клеветы я на себя не возведу». Покорность, с какой Рамзин и его товарищи соглашались признать себя шпионами, вредителями, саботажниками, тогда была новинкой и вызывала полное недоумение. Особое впечатление это производило на западных юристов и вообще иа людей, чье правосознание воспитано на классических представлениях о правосудии: признание обвиняемых как бы исключает возможность спора о вине, ведь тогда еще, да и годы спустя тоже, многим в голову не могло прийти, что признание, заявленное на публичном суде, бывает отнюдь не только свободным и добровольным...

На этот раз Вышинский олицетворял собой карающий меч советского правосудия. Он уверенно входил в образ того обвинителя, который вскоре будет витийствовать на Больших московских процессах. По сути он стал здесь вторым прокурором, активно помогая Крыленко «обличать» подсудимых. Когда ему казалось, что Крыленко не слишком расторопен, не слишком напорист и умел, он сам вторгался в допрос, «помогая» коллеге и давая ему — и всем присутствующим тоже — наглядный урок по тактике ведения политических процессов.

Итог процесса, однако, был неожиданным: все пять смертных приговоров (Крыленко требовал их «из интересов политической целесообразности») были отменены. ЦИК (уж, конечно, ие без участия вождя) помиловал осужденных, заменив расстрел десятилетним тюремным заключением. Профессор Рамзин продолжал и под арестом свою научную деятельность. В самый разгар массового террора, зимой 1936 года, он был полностью амнистирован. Много позже открылась страшная тайна: выдающийся ученый просто-напросто согласился сыграть зловещую роль в кровавом спектакле ОГПУ.

Удивительная судьба Рамзина еще раз подтвердила, что целью процесса являлось обеспечение базы для психологической атаки на население. Эта цель была достигнута — решающий свой экзамен Вышинский успешно сдал: 11 мая 1931 года Андрей Януарьевич был назначен прокурором РСФСР. Десятью днями позже к новому назначению прибавилось еще одно: он стал по совместительству заместителем наркома юстиции РСФСР. Взлет огромный, но радость возвращения в лоно юриспруденции, причем на таких высоких ролях, омрачалась одним обстоятельством: наркомом юстиции был назначен Крыленко — как-никак он тоже обеспечил триумф процесса «Промпартии». Недавнему меньшевику указали место. Теперь Вышинскому предстояло снова доказывать, кто из них подлинный большевик и верный ученик товарища Сталина.

4

Ни один громкий судебный процесс того времени, тем C.лее политический, не обходился без его участия: он со всей очевидностью подал заявку на титул первого юриста страны. Впрочем, в 1931 году, когда затеяли суд над бывшими меньшевиками, Вышинскому места на нем не нашлось. Наверно, изощреннсе коварство вождя могло бы подсказать ему впечатляющую мизансцену: с трибуны обвинителя (он ведь уже был прокурором) вчерашний меньшевик клеймит вчерашних же меньшевиков!

Вчерашних, ибо все подсудимые давно отошли от политической деятельности, работая скромными экономистами в разных советских учреждениях.

Правда, пять лет спустя этот несостоявшийся фарс все же был разыгран. На одном из «московских процессов» Вышинский патетически воскликал: «Известно, что меньшевики и эсеры, эти злейшие враги социализма, всегда прикрывались именем социализма. Но ведь это им не мешало валяться в ногах у буржуазии, у помещиков, у белых генералов. Мы помним, как меньшевики в петлюровской Раде призвали на Украину войска Вильгельма II, как они торговали свободой и честью украинского народа; ...как меньшевистское правительство Ноя Жордания верой и правдой служило иностранным интервентам!.. Всем известно, что не было и нет более последовательных и более жестоких, озверелых врагов социализма, чем меньшевики и эсеры».

Кого же так яростно он обвинял? Уж не себя ли? Или пытался доказать, что сам не был среди жестоких и озверелых, а если и был, то полностью перестроился?

Но все это будет лишь через пять лет. Пока что обязанность громить меньшевиков легла на плечи Крыленко и его помощника Григория Рогинского, который вскоре станет помощником Вышинского, примет участие в «большом терроре», получит за это орден Ленина, сам угодит в лагерь и оттуда будет призывать к еще большей суровости по отношению к «заклятым врагам трудового народа». Привычное место Вышинского за столом председателя Специального Судебного Присутствия занял Н. М. Шверник — в то время глава советских профсоюзов. Ему способствовали два других старых большевика с репутацией порядочных людей, оба — члены Верховного Суда СССР: Антонов-Саратовский (доживет до 1965 года) и Муранов, бывший депутат IV Государственной думы (доживет до 1959-го).

Среди подсудимых окажется несколько известных в прошлом деятелей меньшевистской партии, которые не могли не быть некогда для Вышинского безусловными авторитетами: Владимир Громан, Василий Шер, Михаил Якубович и особенно Николай Суханов, труды которого по истории революции читал Ленин, соиздатель — вместе с Горьким — газеты «Новая жизнь», где Горький опубликовал свои «Несвоевременные мысли». Именно на его квартире, у жены Суханова, большевички Галины Флаксерман, собрался в октябре 1917 г. ленинский штаб, чтобы решить вопрос о вооруженном восстании.

Теперь Суханов и его товарищи отвечали на издевательские вопросы обвинителей и судей, стремившихся убедить мир, что давно отошедшие от политики бывшие меньшевики создали контрреволюционное «Союзное бюро», вошли в связь с внешними и внутренними врагами (включая «Промпартию» и «Трудовую крестьянскую партию»), вредили, шпионили, готовили интервенцию... Суханова допрашивал (и вообще расследовал вмененные ему в вину деяния) следователь по важнейшим делам при Прокуроре республики М. С. Строгович, в недалеком будущем ближайший сподвижник Вышинского, а в более отдаленном — его оппонент и антипод.

Поразительная особенность процесса состояла в том, что подсудимые, признаваясь в деяниях, которые они не только не совершали, но и не могли совершить (алиби их «сообщников» было доказано документально, а некоторые задолго до того, как стать «сообщниками», успели уйти в мир иной), не скрывали вместе с тем своих подлинных взглядов. Так, отвечая на вопрос защиты, Суханов, например, заявил: «Я считал, что огромные, никем не предусмотренные и неожиданные темпы колхозного движения вызывались не чем иным, как бедствиями крестьян-товаропроизводителей от нереальных тягот хлебозаготовок. Я считал, что хлебозаготовительный план 1929 года преувеличен и непосилен, ...что колхозное движение и вся хлебозаготовительная кампания 1929 — 1930 гг. неизбежно будут иметь катастрофическое значение для всего нашего народного хозяйства. И стало быть, катастрофа на почве разорения деревни, на почве кризиса сельского хозяйства, на почве недоснабжения города — эта катастрофа мне представлялась неизбежной в самом близком будущем». Он утверждал также, что отказ от НЭПа «бьет по социализму и благосостоянию народа».

Когда за судейским столом сидел Вышинский, таких откровений под-

судимые себе не позволяли. И когда он займет место государственного обвинителя, не позволят тоже.

Французский писатель Виктор Серж уверял, что во время следствия обвиняемых склоняли оговорить себя в обмен на тайную свободу и даже награды и что именно Суханов эту мошенническую операцию разоблачил. Скорее всего так и было. Крыленко был к нему особенно беспощаден. «Никакой общественной полезности, — заявил он в обвинительной речи, — за гражданином Сухановым я признать не могу,... а общественная вредность его доказана достаточно... Ни одной минуты я не колеблюсь утверждать, что наша революция, революция мировая, а уж тем паче мировая история ничего не потеряет от того, что с лица земного шара исчезнет один из тех персонажей, представителем которых является гражданин Суханов».

«Прошу вас, — завершил он обращением к судьям свою речь, — проявить максимальную жесткость по отношению к подсудимым».

Максимальную жесткость они, разумеется, проявили, хотя «с лица земного шара» пока еще и не стерли: Суханову и другим главным обвиняемым определили по десять лет тюрьмы.

«После 1934 года следы Суханова теряются», — пишет Роберт Конквест в книге «Большой террор». Их можно, однако, найти в судебном деле. Суханов провел в заключении 5 лет. 20 марта 1935 г. Президиум ЦИК СССР заменил ему оставшийся срок ссылкой в сибирский город Тобольск, где он работал экономистом «Обьрыбтреста», а затем учителем немецкого языка в татарской школе. 19 сентября 1937 г. по ордеру тобольского прокурора Раппопорта он был вновь арестован — скорее всего по программе ликвидации «социально опасных элементов». Ему вменили в вину «связь с германскими шпионами», а также антисоветскую агитацию при отбывании ссылки. После года пребывания в Тобольской тюрьме его этапировали в Омск, где местный палач Саенко приступил к его истязаниям.

О том, что пришлось ему пережить, рассказал он сам в письме А. И. Микояну, написанном 10 сентября 1939 г., уже после того, как трибунал Сибирского военного округа приговорил его к расстрелу: «Мне было предложено самому изложить мои «преступления» против Советской власти, то есть выдумать их. Это свое требование мои следователи подкрепляли всем арсеналом мер физического воздействия, постепенно пускаемыми в ход в восходящем порядке... Главную же роль в моем поведении сыграли угрозы поставить в аналогичное с моим положением мою жену, старую и больную женщину. На основании прецедента я знал, что это отнюдь не пустые угрозы. Избавить жену от подобной участи было для меня необходимо любой ценой. Я уступил требованиям омских властей... Протокол от 19 ноября 1938 г., подписанный мной, явился ценой, которую я уплатил за... спасение жены. Однако эта цена не казалась мне чрезмерно высокой, и мой компромисс чересчур большим. Ибо в силу некомпетентности моих следователей протокол явился полным несообразностей, нелепым вообще и в частностях. Никакой осведомленный читатель не мог бы признать его правдоподобным и писанным действительно с моих слов в нормальной обстановке следствия». Далее в письме Микояну (трудно сказать, почему выбран именно этот адресат) говорится: «...И чисто политический акт всегда имеется полная возможность обставить не так грубо и примитивно, и в подобном случае дело должно было бы быть передано в более умелые руки, особенно когда оно касается лица, имеющего некоторое историческое имя. Наконец, что касается меня лично, невозможно понять, в чем могла бы заключаться политическая целесообразность моего расстрела... Несомненно, это правильно оценивается высшим правительством...»

Суханов и «высшее правительство» отнеслись, однако, по-разному к «политической целесообразности» его расстрела. 21 июня 1940 г. Президиум Верховного Совета СССР подтвердил правильность приговора, и Суханов был казнен. Все попытки его жены и сына добиться во время хрущевской оттепели реабилитации Н. Н. Суханова окончились неудачей. Центральный государственный особый архив МВД СССР (теперь, видимо, архив КГБ) дал справку, что «по сведениям французской полиции за апрель 1929 г. Суханов... находился на содержании у болгарского посланника в Берлине», что его знакомый Гильгер, «будучи советником германского посольства в Москве, руководил там специальным отделом», а другой знакомый, Шеффер, московский корреспондент газеты «Берлинертагеблатт», служил в «Интеллидженс сервис» и являлся личным агентом Ллойд Джорджа. Вот этой «справки» и было достаточно, чтобы подтвердить обоснованность двух приговоров по делу Суханова. Он не реабилитирован до сих пор.

Больше никогда уже Крыленко не садился за стол обвинителя, никогда не имел возможности обнаружить свой ораторский дар на судебной трибуне. Зато вовсю развернется Вышинский, о котором он почтительно скажет в предсмертном издании своих обвинительных речей: «Этими господами (то есть «троцкистско-зиновьевской бандой, бухаринцами и рыковцами, действовавшими в наших рядах под подлой личиной двурушников...» — такую он даст им характеристику. — **А. В.**) занимался уже тов. Вышинский, и его речи составляют в свою очередь (не утерпел-таки, поставил себя в один ряд. — **А. В.**) ценнейший исторический материал для будущих историков (так и написано: исторический материал для историков... — **А. В.**), не говоря о их политически актуальном значении для нашего времени».

До того, как «тов. Вышинский» стал заниматься «этими господами», в его блестящей карьере был сделан еще один шаг наверх. Учредили наконец общесоюзную прокуратуру, во главе которой стал недавний 1-й заместитель председателя ОГПУ И. А. Акулов. В чекисты нового типа этот «романтик революции» и «убежденный гуманист», как его характеризуют работавшие с ним люди, явно не годился, но он был старым большевиком с боевой биографией и непоколебимой верностью линии партии — ему нашли высокую должность. А комиссаром к нему определили еще более верного сторонника партийной линии — А. Я. Вышинского: с июня 1933 г. тот стал заместителем Прокурора СССР.

Два юбилея сошлись вместе, один вслед за другим, и оба были торжественно отмечены как в общей, так и главным образом в специальной юридической печати: сначала исполнилось 30 лет пребывания Крыленко в рядах партии, а вскоре ему исполнялось от роду полвека. У него было очень громкое имя в стране, так что не заметить обе эти высокоторжественные даты общественность не могла. Журнал «Советская юстиция», например, орган возглавлявшегося Крыленко наркомата, посвятил первому юбилею несколько страниц. С прочувственным приветствием к юбиляру обратились виднейшие юристы. Список подписавших открывает Вышинский. Особо отметив наиболее дорогую именно Вышинскому мысль — о том, как самоотверженно юбиляр боролся с меньшевиками и эсерами, авторы приветствия заключали: «От всей души желаем ему продолжать борьбу за дело рабочего класса и социализма с той же энергией и тем же талантом, с тем же большевистским огнем, как он работал до сегодняшнего дня».

Три месяца спустя отмечался второй юбилей, но тщетно мы будем искать в потоке приветствий имя Вышинского. Знал ли он уже, какой пост его самого ожидает? Или высчитал участь Крыленко? Или решил перестать лицемерить? Этот последний вариант решительно надо отвергнуть, но первые два, как и иные, неперечисленные, исключить невозможно. И однако же это было всего лишь началом. Именно на нем, на Крыленко, Вышинский впервые попробовал зубы. Именно эту жертву избрал, чтобы снять с себя маску корректного коллеги, со всеми лояльного, скромно знающего свое место, и перейти в наступление. По известной пословице: «Бей своих, чтобы чужие боялись»

Случай вскоре представился: Сталин произнес очередную историческую речь о кадрах (там прозвучало знаменитое откровение: «кадры решают все»), и Вышинский тут же откликнулся на нее статьей. «Речь товарища Сталина и задачи органов юстиции». Имя Сталина в статье было названо 69 раз и набрано всюду жирным типографским шрифтом. К этой редкостной еще аллилуйщине автор механически пристегнул резкую критику проекта нового Уголовного кодекса, разработанного под началом Крыленко. Взбешенный нарком поспешил ответить: «Мы не можем оста-

вить статью тов. Вышинского без ответа, хотя и не видим ни особой необходимости, ни особой логики в том, чтобы увязывать данные вопросы с речью товарища Сталина».

Этого-то Вышинский и ждал, затаившись, словно охотник, выслеживающий дичь. Есть, оказывается, такие вопросы, к которым не имеет отношения речь товарища Сталина?! «Товарищ Крыленко явно написал это в полемическом задоре, и я уверен, что он осознает ошибочность своих взглядов, если подумает». Из его «ответа на ответ» вытекало, что сам он об этом хорошенько подумал и пришел к выводу: вопросов, к которым не имеет отношения любое слово, сорвавшееся с языка или пера товарища Сталина, не существует.

Горькая ирония состояла в том, что как теоретик, как юрист-профессионал Вышинский был прав, а Крыленко с защищаемой им позицией выглядел профаном, дилетантом и демагогом. Он отстаивал и пробовал обосновать опаснейший «принцип», согласно которому судье нужно развязать руки, не сковывая его предусмотренными законом четкими и конкретными составами преступлений. Вышинскому ничего не стоило доказать, что это открывает путь судейскому произволу и лишает подсудимого каких бы то ни было правовых гарантий. Получалось, что Крыленко выступает за беззаконие и расправу, а Вышинский за строжайшее ограждение прав человека.

Истинная же суть спора состояла в другом. Абсолютно неспособный к двойному мышлению, Крыленко всерьез пытался обосновать реальную практику «революционного правосудия» и сочинить законы, отвечающие этой практике. Вышинский же проницательно понял сталинскую тактику: записывать и рекламировать демократические правовые институты и под их прикрытием все делать наоборот, пудря мозги легковерным. И на Западе, и в своей стране. Ему прекрасно это удавалось. Вспомним, забегая вперед, что именно сталинская конституция включила в себя статью, подробно развитую вождем в его — разумеется, историческом — докладе, о праве свободного выхода любой союзной республики из СССР. В страшном сне не могло присниться товарищу Сталину, что кто-то воспримет это всерьез как руководство для практики: пусть бы кто-то попробовал!.. Но он в порошок бы стер того, кто лишил бы республику на бумаге этого «священного права». Сталинская конституция (на бумаге!) должна быть самой демократической в мире. И между прочим — на бумаге! — она — написанная Бухариным, а вовсе не Сталиным — такой и была.

И так во всем. Умный и хитрый Вышинский распознал коварство вождя, принял его как ведущую установку. Сталин же понял, что он понял, в этом и был залог их союза. До поры до времени, и притом надолго, они были нужны друг другу.

Упрямый Крыленко закусил удила. Он продолжил полемику: «У меня нет охоты дальше спорить с т. Вышинским. Есть спор и спор. Есть спор, из которого, как говорили древние, рождается истина, и есть спор, который только ее затемняет. Это бывает, когда вместо спора по существу уходят от принципиальных вопросов... Методы спора я оставляю... на совести т. Вышинского (нашел где оставить! — **А. В.**)».

Оба диспутанта высказали одну и ту же надежду: «Решение предоставим будущему» (Крыленко), «Дальнейший ход вещей покажет, кто из нас прав» (Вышинский). Дальнейший ход показал...

...1 июня 1939 г. очередная сессия Верховного Совета утвердила А. Я. Вышинского заместителем Председателя Совнаркома, освободив от обязанностей Прокурора СССР. Его место в кабинете на Пушкинской улице занял безликий и неведомый никому человек — Михаил Панкратьев. Стране не было сообщено ничего — буквально ничего! — о том, что представляет собой тот, кто пришел на смену юристу с мировым именем и занял в государстве ключевую позицию такой огромной важности. И дело не в том даже, что эта фигура была крошечной пешкой в игре, временщиком, которого скоро на этом посту не будет. Дело в том, что сам этот пост никакой ключевой позицией не являлся. Даже в бытность Вышинского. Не пост давал Вышинскому силу, он сам, личным своим присутствием, возвышал этот пост, создавая иллюзию власти, будто бы в нем заключенной. Он оставался на этом посту до тех пор, пока такая иллюзия была нужна для высокой политики. С его уходом эта должность и во внешнем своем проявлении обрела те черты, которые отличали ее сущность. Форма и содержание слились в том гармоничном единстве, о котором так любили рассуждать сталинские философы.

Переход на другую работу дал возможность Вышинскому уделить больше внимания творчеству. Как-никак он только что (январь 1939 г.) стал академиком — положение обязывало время от времени подтверждать свою принадлежность науке.

Вышинский сознавал, что вышедшие за его подписью брошюрки «Подрывная работа разведок капиталистических стран и их троцкистско-бухаринской агентуры» и «Некоторые методы вредительско-диверсионной работы троцкистско-фашистских разведчиков» (почему не шпионов?) вряд ли будут признаны современниками, а тем паче потомками, за исследования ученого. А он, как мы помним, тяготел к научным лаврам — научным, а не каким-то другим. Считал себя ученым, волею обстоятельств призванным на государственный пост, а отнюдь не чиновником, «спущенным» еще и в науку...

За высоким забором роскошной дачи допоздна светилось окно в кабинете на втором этаже. Вся Николина Гора знала: Вышинский работает. Создавалась книга «Теория судебных доказательств в советском праве» — главный труд академика, который выйдет не одним изданием, будет удостоен Сталинской премии первой степени и объявлен классикой правоведения. И действительно, это труд обстоятельный. Даже фундаментальный. Он создан человеком, отлично владеющим материалом, оснащенным железной логикой, сильным своей убежденностью. Книга пересыпана латинскими формулами, крылатыми изречениями, обилием цитат, множеством ссылок на десятки, если не на сотни научных трудов — русских, советских, американских, английских, французских, немецких. Старых, новых, новейших... Слог достаточно легок, не давит тяжеловесным наукообразием, каким отличались и отличаются сочинения иных правоведов. Некоторые главы, мне кажется, и сегодня не устарели — те, где автор далек от политики.

Но не этими главами прославилась книга. Не за них получила награды. А за два основных достоинства, в которых не преуспел ни один коллега Вышинского.

Одно из них особенно трогает: Вышинский страстно и последовательно утверждал в теории именно то, с чем столь же страстно и столь же последовательно боролся на практике. «Подлинно народное правосознание, — сказано в книге, — как и подлинно свободное внутреннее судейское убеждение, возможно лишь в подлинно народной и свободной стране, где самое правосудие осуществляется свободно и независимо, в интересах народа и непосредственно самим народом». Чем же иллюстрировал автор наглядность и точность этих поистине золотых утверждений? Приговорами Военной коллегии под председательством Ульриха.

Или еще один пассаж — он говорит сам за себя. «Оговор, — утверждает Вышинский, — это опаснейшее орудие против правосудия». Лучше не скажешь! Если не вспомнить, как и сколько он сам «орудовал» им.

Второе же достоинство похлестче первого. Оно в теоретическом обосновании того беззастенчивого попрания законности, на ниве которого так преуспел Вышинский-практик. Выше уже упоминалось имя профессора Строговича, вошедшего в Академию на правах члена-корреспондента вместе с действительным членом Вышинским. До какого-то времени он был его близким сотрудником, работал с ним вместе в прокуратуре, поддерживал иные из его «теоретических» догм... Он был против того, чтобы «воспринять в нашем процессе «презумпцию невиновности» как некий абстрактный принцип в том виде, как он сформулирован буржуазной процессуальной теорией... Этот либеральный принцип в его абстрактном виде имел бы демобилизующее, размагничивающее влияние, приводил бы к ослаблению борьбы с преступностью». В разгар начавшихся массовых репрессий профессор Строгович, повторяя Вышинского, утверждал, что «обострение классовой борьбы на том или ином этапе, в отношении тех или иных категорий конкретных дел может вызвать сжатие, свертывание процессуальной формы и связанных с ней процессуальных гарантий», то есть, иначе ска-

зать, давал «теоретическое» обоснование закону от 1 декабря 1934 г., который положил начало повальному уничтожению людей.

Оттого и провел Вышинский своего союзника и соратника в Академию: его ум и его перо могли пригодиться. Но «союзник» был не так прост и не так послушен, как казалось лидеру правовой науки. Он позволил себе иметь личное мнение. Робкое, но личное. Скромное, но мнение. Под влиянием процессов (в смысле социальном и в смысле юридическом), очевидцем которых он был, профессор Строгович пересмотрел свое отношение к такой «абстракции», как «презумпция невиновности», и стал отстаивать ее жизненную необходимость для самого понятия правосудия хотя бы в качестве принципа, ибо о внедрении его в судебную практику не приходилось даже мечтать. Это была открытая полемика с самим Вышинским, никто даже в самой невинной форме не мог тогда осмелиться на такое кощунство.

«Категорическое утверждение профессора Строговича,— небрежно отмахнулся от своего оппонента первый правовед страны,— что «в советском уголовном процессе бремя доказывания... никогда не переходит на обвиняемого и его защитника», лишено основания». И все! Раз академик сказал «лишено», значит, оно лишено, дискутировать не о чем.

«Если ставить вопрос об уничтожении врага, то мы и без суда можем его уничтожить» — завершим столь радостным откровением первого теоретика права наш краткий обзор его главного сочинения. Эта формула замечательна тем, что она практически не камуфлирует бойню под видом юстиции, а предопределяет ее и даже делает чуть ли не закономерной. Судебная и внесудебная расправы, освященные столь высоким теоретическим авторством, как бы смыкались друг с другом, становясь различными формами одного и того же — правого, полезного и нужного — дела.

В качестве «вице-премьера» Вышинский прежде всего курировал культуру. И, конечно же, просвещение. Как неотъемлемую часть культуры. И как очень близкую ему сферу: ведь именно в ней, в этой сфере, так впечатляюще преуспевал он совсем недавно. Все возвращается на круги своя...

Одна из важных задач, выпавших на его долю,— довести до конца процесс перевода письменности многих народов, входящих в состав Союза, на русский алфавит: сменить «латиницу» и арабскую вязь на «кириллицу». Только в РСФСР «по инициативе трудящихся масс» этот процесс, внезапно начавшийся и стремительно развивавшийся, затронул к началу 1940 г. тридцать семь народов! Мучительно шел и процесс постепенного, но неуклонного перехода обучения в национальных республиках на русский язык. Хотя в Постановлении ЦК ВКП(б) и СНК СССР говорилось, что «родной язык является основой преподавания в школах национальных республик и областей» и что «тенденция к превращению русского языка из предмета изучения в язык преподавания и тем самым к ущемлению родного языка является вредной и неправильной», на практике именно эта тенденция стала проявляться довольно отчетливо, подхлестываемая на местах ретивыми администраторами, жаждавшими как можно скорее отправить «наверх» победный рапорт о достигнутых успехах. Немалые трудности принесли школе и чистки учительства: среди арестованных, сосланных и уничтоженных было много лучших представителей педагогических кадров, этого ядра народной интеллигенции, по давней российской традиции сеявшей разумное, доброе, вечное.

О чем же в этот драматичный, критический момент, переживаемый школой, говорил Вышинский, придя на Всероссийское совещание актива учителей? Ну, конечно, прежде всего о «гениальном учении товарища Сталина», который все на свете «поднял на небывалую высоту», «довел до совершенства», «осветил блеском своего великого ума». А еще?

О том, что «в неразрывной связи обучения и воспитания» очень важным звеном является пение «как средство организации, как средство приручения «зверьков», которые бывают иногда в классе, буйных натур, характеров». Пение, заключал Вышинский,— это «прекрасный инструмент», при помощи которого можно «преодолеть ряд больших трудностей». И зал охотно с ним согласился.

Вслед за 60-летием гения всех времен и народов (декабрь 1939 г.), с великим шумом отпразднованным по всей стране, приближалась дата чуть более скромная, но для нашего героя ничуть не менее важная. 9 марта 1940 г. исполнялось 50 лет Вячеславу Михайловичу Молотову, который теперь оказался на вершине сталинского Олимпа. Голос Вышинского в хоре тех, кто славил вождя, был не слишком заметным — нашлись голоса помощнее. Но тут-то он должен был взять реванш.

Его научная статья «Глава советского правительства», открывающая очередной номер академического журнала «Советское государство и право», которым он сам и руководил, поражает беспримерным даже для тех времен раболепием и угодничеством. Ни одна другая публикация в связи с юбилеем «главы советского правительства» не содержит таких немыслимых славословий, облеченных к тому же в наукообразную форму. Перечислить их все нет никакой возможности. Выдающийся политик, непримиримый борец, глубокий мыслитель, крупнейший теоретик, великий ученый, неутомимый труженик, замечательный человек... Это лишь малая доля тех добродетелей, которые рядовой академик приписал будущему почетному академику. Само собой разумеется, тот еще и любимый соратник Ленина, «сподвижник и друг великого Сталина», «первый помощник в осуществлении всех его предначертаний». И наконец поистине академический финал: «...В. М. Молотов делает с новой силой вывод — перед рабочим классом и всей трудящейся массой стоит на данной стадии задача укрепления советского государства. В устах В. М. Молотова это не просто теоретическое положение, научная формула, научный тезис, это — воплощенная в творческую практику государственного строительства гениальная идея...»

Конечно, тезис об «укреплении государства» является глубоко научным откровением, до которого не дано дойти простым смертным,— это ясно. Но то, что тут скрыта некая «гениальная идея», об этом, мне кажется, не всякий сумеет додуматься. А гением, между прочим, мог считаться в те времена лишь один человек. Двум гениям у руля было, пожалуй, тесновато. В своем восторженном раболепии Вышинский малость перехватил. Он шел на очевидный риск, слишком делал ставку на Молотова, принимая вождя и его «правую руку» за единое целое. Правда, Вышинский состоял в прямом подчинении Молотову и поэтому как бы имел право на повышенный накал чувств по отношению к шефу. И однако — решусь повторить,— завысив накал, он мог проиграть.

Но не проиграл.

Окончание следует

Александр Никишин

ПОХОРОНЫ АКАДЕМИКА А. Д. САХАРОВА

«Станцию «Спортивная» поезд проследует без остановки!» — услышал я в метро на Дзержинке и понял, что до Лужников придется добираться пешком.

Поезда на «Спортивной» не останавливали, опасаясь давки, но выглядело это так, будто нарочно чинят препятствие тем, кто хочет пройти в Лужники проститься с Андреем Дмитриевичем Сахаровым. На «Фрунзенской», например, перекрыли проспект. Утром человек семьдесят прорвали милицейский кордон с криками: «Отняли мясо, хотите отнять душу! Хватит!»

Теперь поперек проспекта стояли автобусы, и офицер с мегафоном повторял бесстрастно: «Проход в Лужники справа по вашему движению, проходите по аллее». Я как услышал, сразу вспомнил похороны Брежнева. Я жил тогда на Сретенке: улица эта, обычно бурлящая людьми, была в день похорон пуста. Возле каждого переулочка, в нее впадающего, стояли военные и милиция, весь центр был перекрыт. Какая-то тревога витала в воздухе, все чего-то боялись, говорили чуть ли не о перевороте... Кто шел в магазин за молоком или хлебом, брал с собой паспорт, и офицеры первым делом начинали искать в нем прописку. Брат работал тогда в Колонном зале режиссером и участвовал «от администрации» в правительственных похоронах. Он носил на рукаве черную с красным повязку и по блату водил меня глядеть на высоких покойников. Когда входили в здание, молодой, суетной генерал зашипел на меня: «Опустить воротник!» — и даже протянул руку в перчатке, но я уклонился и опустил воротник сам. Потом он же свистящим шепотом скомандовал людям, которые по двое поднимались по ковровой дорожке наверх: «Возвышенность преодолевать в темпе!», после чего все мы кинулись по лестнице, спотыкаясь и толкая друг друга. Помню, какие были злые лица у людей,— их свозили в центр автобусами со всей Москвы, инсценируя довольно бездарно, фальшиво всенародный траур...

Хоронить Сахарова люди шли сами, никто никого не неволил, автобусами не подвозил. На станции метро «Дзержинская», откуда я ехал, толпилось много народу, но почему-то легко вычислялись те, кто ехал именно в Лужники,— не только по цветам, ехали и без цветов; скорее решительность какая-то в лицах, отстраненность и торжественность выделяли их из бурлящей московской толпы. Это и мужчина, с каким-то вызовом глядевший на всех нас, ростом метра под два, в распахнутой дубленке, пыжиковой шапке и кожаных перчатках, которые он так и не снял, хотя в тот день было довольно тепло, и всю дорогу сжимал кулаки, словно к драке; и несколько молодых женщин, не проронивших за весь путь ни слова; и группка студентов, обсуждавших дела на факультете, но никак не грядущую панихиду. Мы потом все вместе продирались через милицейские кордоны на «Фрунзенской» и, узнавая друг друга, кивали, как старым знакомым.

С маршрута сворачивать не разрешали, во дворы не пускали, если не показывал паспорт со здешней пропиской. Маршрут был очерчен очень зримо, четко — милиционеры по обе стороны проложенной по снегу тропы, веточки елок, цветы. На улице Ефремова возле хлебозавода я насчитал два десятка автобусов с милицией — в Лужниках же сбился со счета, столько там было веселых, румяных ребят в милицейской форме. Гогочут, курят. Меня зло взяло — в такой-то день! Я пошел прямо на них, тут же офицер: «Куда?» Я показал удостоверение, а он, пожав плечами, говорит удивленно: «Проходи, коль не шутишь». Прошел одну милицейскую цепь, за ней другая, а под аркой стадиона еще человек сто — курсанты училища МВД. В тулупах, валенках, ремнями перетянутые, переминаются с ноги на ногу. Чего вас так много-то? Кому это в голову пришло собирать на панихиду такое количество милиции?..

Иду дальше. Кафе, закусочные, скопление общепитовских точек. Люди стоят за стеклами, жуют, смеются, глядят на меня с любопытством — кто это там через кордон рвется? Иду и чувствую, что не туда попал, уж больно тут безмятежно. Спрашиваю девушку в спортивном трико: где будет панихида? Она окидывает меня непонимающим, презрительным взглядом: «Какой еще Сахаров? Какая панихида?» Отхожу, а она мне вслед со злостью: «Совсем с ума сошли — хоронить на стадионе!..»

Проводили панихиду не на стадионе, а возле, на открытой площадке, отданной Моссоветом под митинги. Когда позже стоял в толпе, ожидая гроб с телом А. Д. Сахарова, я много недоуменного услышал: «Почему его на Востряковском хоронят? Не на Новодевичьем?» Одна старушка сказала: «Таких, как Сахаров, должны у Кремлевской стены хоронить»,— но на нее накинулись молодые ребята: «Там палачи лежат! Вышинский! А вы — Сахаров!..» Еще возмущались, что не объявили траур, на что какой-то решительный с бородой сказал зло, что траур у нас только по высокопоставленным, а Сахаров не из этих. «Мы им устроим траур»,— вдруг бросил высокий, длинноволосый...

Выбравшись со стадиона, пошел я на крики-приказы мегафона. Снова наткнулся на милицейскую цепь, за которой уже виделось море людей, бьющиеся на ветру флаги. Их много было — красно-бело-красный латвийский; сине-черно-белый эстонский; желто-зелено-красный литовский, некогда буржуазные, теперь они развеваются всюду в городах Прибалтики, и только в Москве их никак не признают — на ВДНХ по сей день те, что ввели после войны... Андреевский был флаг над толпой и дореволюционный, российский, о котором уже многие успели забыть. Грузинские знамена плескались на ветру, армянские, украинские, и можно диву даться, до чего аккуратно смонтировало Центральное телевидение репортаж с панихиды по А. Д. Сахарову — ни одного «запретного» флага не попало в кадр. Не попала в кадр и шестерка, перечеркнутая крест-накрест жирными полосами,— плакат, призывающий отменить шестую статью Конституции.

«Чем я хуже вас? Встаньте, чтобы всем было видно!» — заранее заполошничала крошечная бабешка. Ей закрыли вид на трибуну, и, не желая отходить в сторону, она накидывалась на здоровенного плечистого дядьку, который, возвышаясь над толпой, закрывал и мне панораму площади. Я стал бродить вдоль цепи солдат внутренних войск, которые не пропускали к трибуне и, натыкаясь на островки людей, останавливался, прислушиваясь к разговорам.

Мужчина без шапки читал вслух статью из «Московских новостей»: «Вещи ничего не значили для него. В доме не было ни хрусталя, ни ковров, ни роскошной посуды. Все приемы проходили на кухне, где отставшая от стены плитка крепилась лентой лейкопластыря...» «Какой был человек! — причитала негромко женщина, утирая слезы.— И имя-то как совпало — Андрей — мужественный!..» Говорили, что писатель, оклеветавший в своей статье жену Сахарова, заявился в Горький предупредить, что если и будет судебный процесс, то Сахарову его не выиграть — прокуратура пообещала. До суда дело не дошло — на эти слова Андрей Дмитриевич ответил ему пощечиной... Полковник в барашковой папахе вздыхает, парень в джинсовом глубоко затягивается сигаретой. «Сыночек, не кури»,— просит бабка, и тот виновато гасит окурок... Другие люди — я прошел дальше — обсуждали хоккейный матч, гол Пряхина,— жизнь продолжалась... «Такого человека довели!» — говорили третьи. Рассказывали, что дом, в котором жил Сахаров после возвращения из горьковской ссылки, весь в цветах, а на многих букетиках бумажки со словами прощания. Но не только. Были и другие слова: «Ты не умер, ты убит!» «Мы знаем, кто тебя мучал, мы отомстим твоим палачам!..» Когда я

В мае этого года академику А. Д. Сахарову исполнилось бы 69 лет...

это услышал, пришла на ум фраза из Герцена о том, что «ужасный, скорбный удел уготован у нас всякому, кто осмелится поднять свою голову выше уровня, начертанного императорским скипетром» и что «будь то поэт, гражданин, мыслитель — всех их толкает в могилу неумолимый рок...».

Еще рассказывали, что над подъездом его дома висел плакат: «Убедительная просьба и требование Елены Георгиевны — никаких речей!» Свечи были у дома, тысячи свечей, горы цветов. Услышал, что к Дворцу молодежи, где был установлен гроб с телом Сахарова, стояли по пять часов — людская цепь тянулась от «Фрунзенской» через Хамовники, аж к Парку культуры. Еще говорили, что спекулянты подняли в тот день цены на цветы. Две-три штуки в окрестностях Дворца молодежи «шли» по пять — восемь рублей. А когда вот так же, что называется, всенародно, стеклись 23 августа 1987 года латыши в Риге к памятнику Свободы, требуя признать незаконность пакта Риббентропа — Молотова, колхозники, торговавшие цветами, отдавали — я тому свидетель! — красные и белые розы и гвоздики бесплатно, а из тех цветов люди складывали цвета национального флага, ощущая себя народом, а не толпой, где каждый сам за себя...

Ну а как же без девушек Чернышевского с горящими глазами, разночинок, из тех, что могут вдруг на кладбище у гроба продекламировать с надрывом: «Пускай ты умер! Но в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь живым примером, призывом гордым к свободе, к свету!» Такое изъявление чувств меня коробит, и когда в одном из кружков симпатичная девушка с распущенными волосами, стянутыми на лбу креповой ленточкой, начала вдруг, закрыв глаза и раскачиваясь, читать вполголоса: «Замучен тяжелой неволей, ты славною смертью почил, в борьбе за народное дело ты голову честно сложил...», я отшатнулся,— что-то во всем этом было фанатично-фальшивое...

Другие люди обсуждали вещи вполне материальные: сколько денег передал Сахаров народу? Двести тысяч долларов? Или двести пятьдесят? Он ли открыл психдома, куда кидали недовольных режимом, или до него кто?

«Природа плачет по хорошим людям»,— слышу из людского островка. Эту фразу повторяли в тот день многие: нежданно-негаданно, после лютых декабрьских морозов, в одночасье началась оттепель, Москва оттаивала, как оттаивает обычно весной, ветер гнал по лужам старые газеты, мусор из-под просевших сугробов. Здесь, на площади, правда, все равно холодно, дует ветер, люди жмутся друг к дружке, и это дает ощущение единства огромной, пестрой толпе... Вот новый людской островок — плотный, наэлектризованный,— вокруг небритого армянина в кепке. О чем он говорит громко, надрывно, стирая с лица слезы? «Нас пять тысяч таких беженцев. А сколько в Красиодарском крае, кто это знает! У многих из нас совместные браки, один мой племянник на русской женат, другой на азербайджанке, как им быть, что им делать, куда детей теперь?.. Вы не представляете, что у нас там, вы в Москве ничего не знаете, вам лгут! Мой дом сожгли, а кто наказан? Никто! Ни один человек! Неужели не могут сто человек изолировать, которые воду мутят? Меня в Москве посадят из-за прописки, а в Баку куда милиция смотрит!.. Андрей Дмитриевич, он один нам в Москве помогал, один! Мы к нему обратились: где та валюта, которую нам дали, которую беженцам обещали? Узнайте, просили. Я вам помогу,— это он сказал, а теперь ни Сахарова, ни валюты! Не верьте чиновникам, они докажут, что валюту мы сами проели!..»

Еще был человек, ждавший помощи от А. Д. Сахарова,— капитан-лейтенант из Севастополя Стефановский. Отчаявшись обнародовать свою статью о причинах аварий на нашем военно-морском флоте, он приехал в Москву к Сахарову, но не успел немного...

«Меж люлькою и гробом спит Москва»,— вспомнил я из Баратынского, увидев женщину с крохотным ребенком на руках. Рядом с ней держали плакат: «Простите нас, Андрей Дмитриевич, мы должны были выйти на площади в 80-м». Шагнул дальше, и вдруг простецкого вида тетка в серых толстых чулках и стоптанных мужских ботинках, дешевом плащике вытащила из старенькой сумки листок бумаги и подняла его над головой. На листке было от руки начертано: «Андрей Дмитриевич Сахаров — луч света в темном царстве агрессивно-послушного большинства!» Она держала его двумя руками, на сгибе правой была сумка, листок бился на ветру, и видно было, что держать ей свой плакатик неудобно. Не успел я об этом подумать, как вдруг какой-то старик с костылем подошел к ней и, слова не говоря, взялся за край плакатика. Так они и стояли вдвоем — тетка в зеленой вязаной шапочке и дед-инвалид с орденскими планками, которые были видны, когда он распахнул пальто. Телевидение «Латвийской республики», как было обозначено на телекамере в руках у худенького оператора, тут же начало их снимать. Те, я видел, очень волновались, листок подрагивал в их руках, стояли они тихие, торжественные, серьезные, и по всему было видно, что решиться на такой поступок им было непросто. Одно дело, когда тебе двадцать и тебе, что называется, море по колено, другое — когда жизнь прожита, когда рушится тот миропорядок, который казался идеальным, когда легче не принять, отторгнуть, оберегая душевный свой комфорт, заткнув попросту уши, чтобы не слышать ничего...

Но вдруг смолкли все разговоры. Разом качнулись люди к автобусам и грузовикам с установленными на них камерами и динамиками — те автобусы и грузовики служили одной большой трибуной, и с этой трибуны первыми увидели катафалк. Толпа сдвинулась с места, потекла вперед, стала напирать на цепь взявшихся под руки солдат, сдерживавших напор. «Назад, пожалуйста, назад!» — это Юрий Афанасьев, стоя на трибуне, пытается образумить людей, которые тесно смыкаются вокруг автобуса с телом А. Д. Сахарова, не давая проезда. «Отойдите назад!» — вторит Афанасьеву Гавриил Попов. Опять Афанасьев: «Освободите проход! За портретом свободное место, встаньте справа и слева от портрета!..»

Перед катафалком несут большой портрет А. Д. Сахарова. Он глядит печально, немного насмешливо и иронично на всех нас, отчаянно толкающихся, рвущихся к нему поближе.

«Я вас прошу,— это уже голос Е. Г. Боннэр. В открытую дверь автобуса она говорит в плохонький мегафон, надсадно хрипящий, из-за чего я слышу только конец фразы: —...то, что было в 53-м! Мы же повзрослели!..» Не помогло, толпа напирает, а особенно молодежь, которая слабо представляет, что м о г л о быть, когда в 53-м хоронили Сталина... «Два-три метра назад!..» «Кто там командует?» «Да Афанасьев же, который про агрессивно-послушных!..» «О-о!» Опять голос Е. Г. Боннэр: «Я вас прошу, послушайте меня!», но толпа не справляется сама с собой, я чувствую, как меня несет прямо на радиатор грузовика. «Тут звери или люди? — голос у Боннэр и просящий, и осуждающе резкий.— Вы пишете: простите нас, Андрей Дмитриевич, а сами!..» Но люди наконец понимают, что так дальше продолжаться не может, медленно, незаметно как-то отступают от автобуса, с трудом, но освобождают проход для тех, кто выносит гроб. «Не открываем, нам не разрешили»,— Е. Г. Боннэр говорит про гроб тихо, но из-за того, что стоит возле микрофона, вся площадь слышит каждое ее слово.

Кто-то откашлялся на трибуне и сказал: «Мы начинаем!», но тут вмешались: «Нет-нет, сейчас полонез Огинского будет!» Сказали, прибавив не совсем вразумительно: «Эта музыка сопровождала польское Сопротивление последние сто пятьдесят лет... Прощание с Родиной!»

Шипение пошло через динамики, треск, словно включили старый-престарый граммофон. Полилась грустная мелодия, пробравшая насквозь, но на трибуне кто-то влез не слишком деликатно: «Долго очень!» И музыку оборвали на высокой ноте, а с ней и пронзительную ясность происходящего на площади. Словно бы по рукам дали пианисту...

Я не старался стенографировать все сказанное на панихиде, да и трудно было это сделать — толпа оттеснила меня далеко от трибуны, а усилители допотопные искажали слова. Многое переспрашивал у людей, кое-что мне диктовали, конечно же, не безошибочно. Я беру из торопливого блокнота только отрывки самых запомнившихся выступлений, оставив за собой право некоторые из них прокомментировать, чтобы читающие это в полной мере представили, как проходила та панихида...

Д. С. Лихачев, народный депутат СССР:

— Глубокоуважаемая Елена Георгиевна! Родные, близкие, ученики, товарищи!..

(Когда его слабый голос, в котором было столько боли и страдания, усилило железо динамиков, над притихшей враз площадью пронесся шелест — стали снимать шапки...)

— Он был пророк, призывавший современников к нравственному обновлению ради будущего. Как всякий пророк он не был понят и был изгнан из своего города... Виновата и Академия наук. Келдыш отстаивал Андрея Дмитриевича, доказывал, что перед нами величайший ученый... Многие академики письмо против него не подписали... Зловещее письмо... Нам этого не простили... Прости и прощай в старом и новом смысле этого слова!..

(Не только Келдыш заступался за Сахарова. В защиту Андрея Дмитриевича в годы его ссылки выступил 86-летний П. Л. Капица. «Я очень старый человек,— писал он Брежневу и Андропову.— Жизнь научила меня, что добрые поступки никогда не забываются. У Сахарова отвратительный характер, но он великий ученый нашей страны...» Многие в те годы молчали, но не Капица, во времена ежовщины возвысивший свой голос в защиту опального Ландау, а в 37-м писавший в Совет Народных Комиссаров: «...Если в биологии ты не Дарвинист, в физике ты не Материалист, в истории ты не Марксист, то ты враг народа. Такой аргумент, конечно, заткнет глотки 99% ученых... Такие методы спора не только вредны для науки, но также компрометируют... Дарвинизм, Материализм или Марксизм. Тут надо авторитетно сказать спорящим: спорьте, полагаясь на свои научные силы, а не на силы товарища Ежова...» Писал он это, рискуя головой, писал, предвосхищая некоторые идеи своего ученика А. Д. Сахарова. Итальянец Мартелли так и сказал на панихиде: Сахаров не подчинял вопросы науки вопросу власти.)

Олжас Сулейменов, народный депутат СССР:

— Андрей Дмитриевич не любил лестных слов. Теперь будет произнесено много лестных слов в его адрес... Последний вечер он провел в гостинице «Москва», в моей комнате. Мы снимаем фильм «Невада — Семипалатинск», и он дал согласие рассказать все, что знает об истории испытаний... Его слова как завещание, как последняя воля. Он настаивал на том, чтобы и подземные испытания были прекращены... Щербинка— поселок под Горьким, он был туда сослан. На каменной совести нашей державы много таких щербинок... Те, кто здесь стоят, не должны испытать того, что выпало на его долю...

Евгений Евтушенко, народный депутат СССР:

— Он был воплощением всего того лучшего, что нам оставила русская интеллигенция... Он доказывал, что лучшее будущее не стоит слезы невинного ребенка. Он отстаивал принципы защиты маленького человека, считая, что нет маленьких людей, нет маленьких страданий...

И взмахнув рукой, без перехода и объяснений, стал читать свое стихотворение на смерть А. Д. Сахарова:

Забастовало сердце, словно шахта.
Еще вчера, от снега все седей,
он вышел из Кремля без шапки, шатко,
сквозь призраки бояр, царей, вождей.
За ним следил Малюта в снежной пыли,
и Берия, и тот палач рябой...
Предсмертные слова такими были
к жене и миру: «Завтра будет бой...»

Сергей Ковалев. (Его так и объявили — без титулов и званий. Да и откуда ему взять и то, и другое, человеку, чье имя десятилетиями произносилось в ряду «отщепенцев», «предателей Родины», людей без чести и совести. Фамилию Ковалева я услышал в 84-м, когда разразился скандал в молодежном журнале, печатавшем фантастический роман Артура Кларка, посвященный А. Д. Сахарову. Волею автора в экипаж космолета попали советские правозащитники, среди которых был и Ковалев. Главного редактора сняли тогда с треском — «за утерю бдительности»...)

— В начале 70-х грязный пакостник написал про Сахарова «простак». Хотел облить грязью, а сказал правду. Это была неслыханная, невыразимая простота. Он ясно и глубоко мыслил и поступал, как говорил. У него не было выбора: что сказать и как сделать, потому что правда, ответственность и добросовестность неотделимы. У него не было выбора — заступиться или нет, он заступался всегда. У него не было выбора — промолчать или не промолчать,— он не молчал. Мерзавцы требовали, чтобы он подписал обращение. «Я не подписывал ничего, с чем не согласен»,— ответил Андрей Дмитриевич. У него не было выбора, когда он шел на трибуну Съезда. Его поносили, и этому поношению стоя аплодировали великие авторитеты. Он умел чувствовать чужую боль. Нехотя он вошел в историю, равнодушно — он давно там свой человек. Было сказано: не стоит село без праведника... Он подтверждал свою точку зрения не словами, а поступками... Говорят о новом политическом мышлении. Он не делил мышление ни на новое, ни на старое. Он был добросовестен и правдив. Он сидел в тюрьме тысячи раз вместе с нами, с каждым из нас, с друзьями, которых он никогда не видел. Аргументы теперь не за ним, «простак» выложил все свои аргументы. Как всякий простой человек, он ничего не таил... Есть еще политические заключенные. Андрей Дмитриевич умер за каждого из них. Давайте добьемся, чтобы их освободили!..

(А ведь они похожи, академик Сахаров и Ковалев, о котором далеко не все знают! Горбачев позвонил Сахарову в Горький, чтобы сообщить об освобождении его из ссылки, а он первым делом сказал о гибели правозащитника Анатолия Марченко в тюрьме. Не о себе стал говорить, а о своем письме в Правительство об освобождении всех узников совести, которые, по словам Сахарова, пострадали за убеждения и никогда не применяли насилие в политической борьбе — на площади об этом много говорили. И еще добавил, что сделает все, чтобы подобного не было никогда... И Ковалев на панихиде — тоже, казалось бы, не ко времени — о политзаключенных. Что это? Истинная солидарность борцов?..

На площади в Лужниках я думал о том, как мало наше знание о тех, кого одни называли «узниками совести», другие — «предателями и отщепенцами»! Мне было 13 лет, когда наши танки вошли в мятежную Прагу. Мы все тогда перестроились искрометно быстро — только что чехи были нашими добрыми союзниками, друзьями, «братьями по классу», но в одночасье стали врагами, ведь они убивали наших ребят и смерть каждого из них отдавалась ненавистью к их убийцам. Почему они там гибли, почему там оказались — зачем нам было это знать! Мы восторгались страхом канцлера ФРГ, который будто бы приказал армиям НАТО не провоцировать приграничных конфликтов — иначе русские дойдут и до Ла Манша!.. От нас скрывали, что Александра Дубчека, когда везли на транспортном самолете в Москву, избили наши десантники. А что изменилось, узнай мы об этом? Что изменилось бы, узнай мы о статье Анатолия Марченко, открыто восставшего против вторжения в Чехословакию,— он призывал наше руководство остановиться и в тот день, когда советские танки входили в Прагу, был судим «за нарушение паспортного режима» народным судом... Что изменилось бы, узнай мы о том, что кто-то там на Красной площади развернул плакат «Оккупанты, вон из Праги!» и за это был избит толпой? Что изменилось, узнай мы о том, что А. Д. Сахаров был против ввода наших войск в Чехословакию? Ничего бы не изменилось, но тем значимее то, что делал и он, и его единомышленники, пытаясь совершить безнадежное — разбудить страну, «что раскисла, опухла от сна»...).

Евдокия Гаер, народный депутат СССР. (Если быть точным, ей дали слово, когда уже увезли гроб с телом А. Д. Сахарова).

— Мы не толпа! Мы уже не толпа!

Она кидала эти слова в микрофон и плакала, плакала, маленькая, хрупкая женщина, едва ли не в одиночку защитившая Сахарова на Съезде народных депутатов. Ее из-за трибуны-то было видно едва-едва, а на́ тебе, никого не побоялась!..

«А что вас так много-то, солдатики?» — спрашивали люди у тех, кто стоял в оцеплении, расчленив толпу на многие части. «А мы и сами не знаем»,— отве-

чали те простодушно, пожимая плечами. Кто-то тогда сказал, как обрезал: «Не трогайте пацанов, пусть стоят! Пусть слышат, что здесь говорится! Эти уже не будут свой народ бить саперными лопатками!..»

Я нарочно переписал в блокнот характерный этот диалог — в тот момент с трибуны выступал майор, чью фамилию ни я, ни те, кто был рядом, не услышали из-за барахливших динамиков. Он представлял неформальную организацию «Щит» и был выдвинут кандидатом в народные депутаты. Когда же в военной академии, его выдвинувшей, узнали, что доверенным лицом согласился быть А. Д. Сахаров, здешнее начальство охватила паника. Фамилия майора исчезла, говорят, из списков.

— Дело Сахарова будет жить! — сказал майор неверным голосом, в котором слышались слезы, рубанул фразу.

Анатолий Собчак, народный депутат СССР:

— Вся его жизнь была символом. И смерть — тоже. Он умер 14 декабря, в тот день, когда много лет назад горстка лучших людей России восстала против рабства. Да святится имя твое!

Витаутас Ландсбергис, народный депутат СССР от Литвы:

— ...В Вильнюсе на Кафедральной площади звучит траурная музыка. Друг справедливости, друг Литвы... В три часа по московскому времени, когда начнутся похороны, в Кафедральном соборе начнется месса по Андрею Дмитриевичу Сахарову... Мы, народные депутаты от Литвы, прощаемся с ним здесь, склоняя головы скорби и поднимая головы в надежде и вере...

Виктор Пальм, народный депутат СССР от Эстонии:

— Народы Литвы, Эстонии и Латвии склоняют головы... Хотя и не было решено объявить день его смерти днем траура, народ рассудил по-своему... Андрей Дмитриевич за многие годы предвосхитил то, что нужно народу... Разработал Конституцию республик Европы и Азии. Может быть, судьба дает нам возможность осуществить его идеи и предотвратить скатывание в пропасть... Не удалось убедить Съезд во многом, и если это не удастся в дальнейшем, слово за народом, скорбящим о своем лучшем гражданине...

Глеб Якунин, священник:

— Я был потрясен, когда увидел его впервые. Дон Кихот! «Сила Божия в немощи совершается»...

(Проехал поезд, слова Якунина потонули в грохоте колес, я услышал только про то, что Елена Георгиевна Боннэр призывает не делать из Сахарова икону, распятие, но, по мнению Глеба Якунина, это и передает суть народной любви к Сахарову... «Поплачь о нем, пока он живой, люби его, какой он есть»,— вспомнились слова из песни популярного рок-ансамбля. Вот уж, воистину...)

— ...В Елоховском соборе пели «Вечная память»... Сахаров — исторический феномен. Он начал безнадежное дело — борьбу с тоталитарной структурой власти... Сделаем же все, чтобы его дело победило! Впереди будет хоругвь — имя и светлый образ Андрея Дмитриевича...

(Бабушка в черном крестилась рядом, шептала что-то о блаженных чистым сердцем, «ибо они бога узрят», а я думал о том, что священник Глеб Якунин свою борьбу с тоталитаризмом начал еще в 60-х, когда Н. С. Хрущев повсеместно закрывал церкви, обещая, что скоро не останется попов. «Поп» Якунин защищал свободу совести, но в тюрьму шел «за политику». Провел в лагерях пять лет, два года в ссылке и освобожден был при Горбачеве вместе со 150 инакомыслящими. В лагерях он не сдавался, требовал, чтобы верующим разрешено было молиться, иметь на руках Библию и Молитвословы,— какой-то по виду бывший заключенный в полунищенском одеянии и рваных ботинках, стоя рядом со мной, объяснял про Якунина вполголоса. «А он чего, Сахарова знал?» — спросила у него женщина, и тот, глянув на нее с изумлением даже, сказал, как отрезал: «А как ты думаешь, если он на зоне сидел?..»).

Аркадий Мурашов, народный депутат СССР:

— Восемьдесят лет назад Россия хоронила Толстого. В этот день происходит событие того же масштаба. Море крови и море горя между этими событиями. Рассвет еще не наступил, но он близок!..

Илья Заславский, народный депутат СССР:

— Почему траур снизу? Почему он умер? Почему сегодня на Съезде, который не приостановили, восстанавливают выборы от общественных организаций! Только его идеи могли и могут что-то изменить. Только широкое движение народа может реально воплотить его идеи...

Митрополит Питирим, народный депутат СССР:

— Дела земные, они велики. Добрые дела идут вслед за ним. Его душа предстанет суду Божиему... Доброту, милосердие, мужество и совесть должна пробуждать минута, когда мы прощаемся не с человеком — с гробом. Пусть этот день останется напоминанием о доброте...

Ромашевский, Польша, «Солидарность»:

— Самолет с Лехом Валенсой не смогли посадить в Москве из-за погоды, и он сейчас в Ленинграде. От имени польского народа, «Солидарности», парламента соболезнуем вам, потерявшим великого сына этой земли. Надеемся, что наши народы смогут следовать путем чести, ответственности, любви, гордости. Следуя этим путем, построим демократическое общество двадцать первого века!..

(...В те дни, когда наши газеты писали о «провокаторах» из «Солидарности», я познакомился с польским коллегой. Нам было по 24 года, но на мир мы смотрели разными глазами. Для меня «Солидарность» была пугалом, для него — делом жизни. Я верил, что Валенса, Куронь, Ольшевский, Юрчик, Руевский — враги социализма, верил в искренность писем, что печатали в те дни «Правда» и «Известия»: «Мы, металлурги Магнитки... на себе ощущаем живительную силу коммунистических идей... 60-тысячный отряд металлургов в один голос заявляет низкопробным политиканам из руководства «Солидарности»: «Не прикасайтесь к нашим святыням!», «Мы, рабочие Минского тракторного завода...», «Мы, рабочие киевского завода «Арсенал»... Он, поляк, доказывая мне, что «Солидарность» — это не экстремисты, а большая часть польского народа, и видя, что до меня это не доходит, едва не хватая меня за грудки, кричал: «Но ведь ваш Сахаров за нас, как ты можешь быть против?!», а я пожимал плечами — я почти ничего не знал тогда про Сахарова... К стыду своему? Или к стыду тех, кто клеветал на него, кто скрывал от нас его идеи?..)

Владимир Яворивский, народный депутат СССР от Украины:

— ...В Киеве зажгли сегодня свечи... В свободе после его смерти образовалась дыра. Кто-то обнаглел теперь и на Съезде, который продолжается в эту минуту... Мы не меньшинство! С нами был и будет Андрей Дмитриевич Сахаров!..

Гавриил Попов, народный депутат СССР:

— ...Андрей Дмитриевич — великий ученый и политик... Он осознал задачу компромисса... Победим консерваторов!..

(Попова было плохо слышно, он говорил тихо, я с трудом разбирал его слова. Еще он говорил о прошлом, об уроках, но как-то сбивчиво, невнятно, видно было, что волновался...)

Анатолий Шабад, Московское объединение избирателей:

— Десятки тысяч людей стояли по многу часов к гробу... Море народной скорби впервые адресовано не к тому, кто убивал народ, а к тому, кто его любил...

Галина Старовойтова, народный депутат СССР:

— ...Не услышим его картавого голоса. Мы привыкли, что язык дан, чтобы скрывать свои мысли. Он был другим...

Виктория Чаликова, «Московская трибуна»:

— ...Осиротели русские шахтеры, крымские татары, неформалы. Осиротела земля. Он был гением неведения. Он не понимал, что надо отличать победу от поражения, он считался плохим политиком. Спор закончился сегодня. Десятки лет его представляли врагом, а он за несколько месяцев покорил народ... Он был великим оппонентом руководителя государства. Он защищал Сергея Кузнецова, умирающего в Свердловске...

(«Кто он такой, Кузнецов?» — спросил меня пожилой мужчина, видя, что я все речи записываю в блокнот. Я сказал то, что сам знал — что судили его за «клевету» на областное начальство в Свердловске и что в тюрьме он объявил го-

лодовку. Об этом я узнал недавно на встрече неформалов с журналистами Москвы. Там был Лев Тимофеев, и кто-то предложил восстановить его в Союзе журналистов СССР, а он возьми и заяви, что для него важнее, чтобы освободили независимого журналиста Сергея Кузнецова. Он же предложил проголосовать за резолюцию в его защиту, но я поймал себя на том, что голосовать не могу, не зная толком, ни кто он такой, Кузнецов, ни того, что он писал. Даже мысль закралась паскудненькая — а черт его знает, что он там мог написать в неформальной газете, надо бы прочесть сперва... А. Д. Сахаров защищал Кузнецова, не спрашивая — что он писал? Он кидался выручать человека, считая, что каждый имеет право и говорить, и писать то, что думает...)

— ...Незнакомые люди обнимают нас и плачут — это начало великого единения... Смерть праведника спасет всех нас...

(«Лучше б он жил!» — плакала женщина рядом, а я, вспомнив рассказ бывшего зэка сталинского Кенгира Д. Н. Абезьянина о том, как «политические» расшифровывали аббревиатуру «СССР» — «смерть Сталина спасет Россию», подумал: но разве такое верно о Сахарове? Видя его, слыша его голос, разве не давили мы из себя по капле раба, перебарывая паскудный свой, липкий страх за себя и ближних? Разве не менялись мы, зная, что он есть?.. Пожилая женщина подняла над площадью самодельный плакатик: фотография А. Д. Сахарова (сидит, подперев подбородок рукой, внимательно вслушиваясь в чьи-то слова), наклеенная на картон и обведенная черной рамой. На обороте — от руки, неровно, косовато выведено: «С ЕГО КОНЧИНОЙ МИР ОСИРОТЕЛ»... Таких плакатиков было несколько, и все они были в руках у людей пожилых. Я глядел на них, вспоминая литгазетовскую статью Юрия Роста «Академик» (в оригинале «Гражданин академик»),— идя в 86-м на вокзал встречать Сахарова из ссылки, он переборол свой страх. Но сколько их, не переборовших! В редакцию, где работаю, прислали вырезку из газеты — ветеран войны едва ли не от имени поколения клеймил позором Сахарова — за его требование отозвать наше посольство из Китая. За то, что выносит «сор из избы», требуя к ответу афганскую войну. За то, что называет партизанами душманов и требует для них компенсацию. Другой ветеран — Г. Л. Чередниченко из Ленинграда, прислав вырезку в редакцию, взывал: «Пожалуйста, заступитесь за А. Д. Сахарова!» Но нуждается ли он в нашем заступничестве? Он, совесть народа, его боль и гордость? А может, наоборот, в его заступничестве мы нуждаемся? И осознав это, поймем, что никакими политическими мотивами не оправдать будет гибель инакомыслия под танками на пекинской площади Тяньаньмэнь. Что требуя правды об Афганистане, он защищал нас от еще большей лжи. Что переступая через ненависть к душманам, убивавшим наших парней, он защищал право любого народа решать свою судьбу без вмешательства извне, как бы оно благостно и пристойно ни обставлялось... Что подставляясь под удары, он защищал не себя — он того ветерана защищал, клеймившего его,— от презрения потомков...).

Зорий Балаян, народный депутат СССР от Армении:

— ...Мы гордимся, что жили в эпоху Сахарова. Он спешил туда, где боль. Его видели на дорогах Нагорного Карабаха, на развалинах Спитака, в завалах разрушенной школы... Сегодня по великому подвижнику плачет армянский народ на площади Андрея Сахарова в Ереване... Армянский народ разделяет вашу боль, припоминая стихи Аветика Саакяна: «Всё суета, всё проходящий сон. И он ничто, пылинка в мире, но боль его громаднее вселенной...»

Лев Пономарев, «Мемориал»:

— ...Шестьдесят тысяч человек подписалось под обращением отменить 6-ю статью Конституции... Кто за ее отмену, поднимите руки!..

(Руки взлетели, частокол рук, но мне вдруг как-то неловко стало — голосовать у гроба? Пришло на ум из Баратынского об «уже кадящих мертвецу, чтобы живых задеть кадилом»...).

— ...Еще несколько десятков тысяч москвичей, устное мнение народа,— слышу с трибуны и думаю о нашей бестактности. На меня даже косятся — зачем ты здесь, если руки не поднял? Что ж, в другом, приличествующем месте, поднял бы...

Юрий Афанасьев, народный депутат СССР:

— ...Мы еще до конца не осознали масштаб случившегося... Те три минуты, которые мы посвятили на Съезде Сахарову, роняют достоинство Съезда и подают урок безнравственности. Последними его словами были: «Завтра будет большой бой...» На завтра было задумано собрание Межрегиональной группы, на которой мы должны были выработать свое отношение к Съезду, к ЦК, к руководству. Позиции группы по принципиальным вопросам расходятся с теми, которых придерживается руководство страны...

(Тут по путям снова пошел монотоннейший, длиннющий состав, заглушил слова Афанасьева. Поезда шли часто, и некоторые машинисты, зная, видимо, зачем тут собралось такое количество людей, давали короткий, резкий гудок, провожая Сахарова...)

— ...Съезд ушел от важнейших вопросов, не счел нужным поднять вопрос о прекращении партийной монополии, о ликвидации имперской сущности СССР. Он не готов преодолеть тот антинародный социализм, который мы имеем. Каким образом заполнить ту брешь, которая образовалась в демократическом движении страны? Я обращаюсь с призывом ко всем тем, кто хотел бы осуществить перестройку, сплотиться в Союз демократических сил имени Андрея Дмитриевича Сахарова!..

Сергей Станкевич, народный депутат СССР:

— ...Не допустим, чтобы властвовала чиновничья рать, чтобы бесценные достояния народа — земля, заводы, интеллект гробились, разваливались, бездарно растрачивались! Вернем то величие, которого заслуживаем! Будем с теми народами, которые прорываются к новой жизни!..

В блокноте кончились чистые листки. Я раскидывал по исписанным страничкам чьи-то слова: «...кто, как Андрей Дмитриевич не был бы подвержен никакой конъюнктуре...», «Снизойдет на нас его прощение...», «...приходили и приезжали к нему со всей страны, тысячи писем стекались к Сахарову, и всем он отвечал, старался помочь...» И еще: «...он был другом тех, кто умер в лагерях или был выдворен за границу...» И еще: «...весь мир работает над расщеплением протона, над великой идеей Сахарова, и горько, что этот триумф он не разделит с нами...» И еще: «...он — величайший русский человек и по отношению к таким людям можно говорить, что он был старшим братом...»

Чьи это слова? Ученых Осипьяна и Фрадкина? Правозащитницы Великановой? Поезда же шли и шли. Давали гудки, проходя мимо. За насыпью слышались крики, усиленные железом рупоров. По насыпи ходили милиционеры и сгоняли тех, кто хотел увидеть панихиду сверху. Было холодно и горько. «...Чтобы кладбище не разрушить, со мной поедут только члены семьи и близкие»,— это голос Е. Г. Боннэр. На прощание включили запись музыки Альбинони. «Любимая мелодия Сахарова»,— пояснила его вдова. Автобус с гробом тронулся медленно, размывая толпу. Сказали, что начнется митинг Межрегиональной группы, но многие стали расходиться — гражданская панихида по А. Д. Сахарову и без митинговой подпитки их пробудила...

Потом объявили, что открыта станция метро «Спортивная», добавив, что идти до нее следует только по проезжей части. Так мы и пошли, не скандаля, не возмущаясь,— нестройной, молчаливой толпой сквозь строй милиционеров, которые густыми цепями стояли до самых дверей метро. Слыша призывы офицеров не выходить на тротуар, я думал о том, что испокон веку в России пристальнее всего приглядывают за теми, «которые учнут в фортеции злые толки распускать и противу службы злое умышлять», что не перевелись у нас городничие, считающие, что «добрые люди сидят дома, а не шатаются по улицам...»

Турникеты в метро отключили, пятаки мы кидали в какую-то пространную, бездонную емкость. Деньги падали со звоном, народ валил и валил, и что-то странное было во всем этом — под сводами станции стояли лишь монетный звон да шарканье ног — людям словно бы не о чем стало говорить.

«Артисты Большого театра пригласили нас всех на «Хованщину», и нам надо закончить»,— такую оптимистическую точку поставили в день похорон А. Д. Сахарова на очередном заседании Съезда народных депутатов.

На Ярославском вокзале кооператоры увещевали прокатиться по Москве — «могила Высоцкого», «могила Даля», «могила Есенина», «могила фигуристки Пахомовой» — тур на тот свет? Слушая бодрый, ярмарочный голос гида, разносившийся над площадью, я подумал, что пройдет немного времени и вот также станут полоскать на московских площадях имя Сахарова, приглашая посетить его могилу на Востряковском кладбище. И повалит туда стар и млад — глазеть...

Умер Сахаров, а по радио — джаз. А по радио кричат «браво!» эстрадной певице. По радио про то, что «наши строители умеют строить сейсмостойкие здания» (ие на их ли развалинах в Спитаке плакал Андрей Дмитриевич Сахаров?). «Кенгуру, кенгуру!» — оперетта включилась. «Прикован я к тебе как будто ворожбою...»

О смерти Сахарова я узнал от коллеги. Пришел на работу, а она вместо приветствия и говорит, чуть ие плача: «Слышал, Сахаров умер?» Я как это услышал, сразу вспомнил, какую ему обструкцию устраивали на Съездах народных депутатов, и как-то горько-горько стало, словио бы при мие били слабого, а я ие вступился, не помог ему, хотя потом, уже на панихиде, понял, что с Сахаровым все было совсем наоборот — он в одиночку всех нас пытался защитить — и сил, главное дело, на это хватало.

«Он счастливую жизнь прожил,— говорили в метро.— Он под конец жизни ощутил торжество своих идей!»

Через несколько дией в Центральном доме литераторов пройдет вечер памяти Сахарова и, открывая его, скажут: «За упокой Сахарова молились в церквах, костелах, мечетях, синагогах, баптистских домах и в храмах униатов...»

Всем он был иужен. Всем ли?

Декабрь 1989 года.

Канат Кабдрахманов

ЛЮДИ НА ПОЛИГОНЕ

1 сентября 1989 года, в Деиь мира, в поселок Кайнар прилетели военные, чтобы предупредить, что завтра будет очередное «занятие» (ядерное испытание), и ребятишки, с криками и слезами выбежав из школы, начали бросать в вертолет камни. Они помешали посадке вертолета, ио не сумели предотвратить взрыв. И 2 сентября взрыв прогремел, стены домов вновь, как и много раз раньше, покачнулись, по ним пробежали новые трещины, а к нищенским амбулаториям потянулись люди, чтобы пожаловаться на ухудшение здоровья.

Ядерных испытаний, аналогичных испытанию 2 сентября, проведено с 1963 года около трехсот. Каждое преследует цель совершенствовать и создавать новые поколения оружия. Только мало кто знает, что каждый такой взрыв обошелся нам в сумму от 12 до 70 миллионов долларов (данные Движения Гринпис), но что гораздо, на мой взгляд, страшнее, повлек за собой неисчислимые беды тем людям, которые живут в соседстве с полигоном.

Чтобы представить более масштабно все это, всю многострадальную историю семипалатинской земли, послушаем рассказ семидесятилетнего ветерана войны и труда Кабдена Есенгарина, проживающего в поселке Саржал:

«Я родился в 1919 году, здесь в Саржале, и был свидетелем взрыва 1949 года. Это было летом, примерио в августе месяце. Со стороны горы Дегелен появился самолет. Сделав в районе Шайгара разворот, сбросил бомбу. Бомба взорвалась на высоте 600—800 метров над землей. Вдруг появилось свечение как при электросварке. Мы стояли иа улице, ничего не понимая. От этой вспышки мой брат Агнаймаи потерял зрение. Зрение потеряла и дочь двоюродной сестры, Майра. Обоих их сейчас в живых нет.

12 августа пятьдесят третьего года в нашей местности взорвали бомбу. В это время я был в райцентре. Через полтора-два часа над райцентром появился черный дым. После этого нас повезли в район Баканаса. Там мы прожили десять — пятнадцать дней. Потом меня направили в Саржал, потому что когда людей увезли, скот разных хозяйств перемешался, и нужно было скот разделить. И я видел, что оставшиеся в селе собаки и кошки облезли, с них выпала вся шерсть. После возвращения люди пили из открытых источников. О том, что зто может быть вредио или опасно, что вода может быть радиоактивной, никто не предупреждал.

В наших местах атомные испытания проводят уже сорок лет.

Особенно сильный взрыв был в 1965 году в районе речек Чаган и Ащису. На дие воронки образовалось озеро. Вода из него попадает в Иртыш. После взрыва у озера стояли часовые. В это время ко мие приехал мой знакомый, Александр Уваров, радиолог. У него был специальный аппарат. Он предложил мне сходить на озеро и проверить радиацию. Мы пошли к озеру, но, боясь часовых, ночевали в степи. Утром мой друг проверил радиацию и говорит мне: слушай, или аппарат не в порядке, или мы уже получили слишком большую дозу, нужно поскорей уходить. И мы ушли.

Недавно тут был заместитель заведующего облздрава. Он сказал, что аппарат Уварова был исправным.

Через два-три года в озеро пустили рыбу. Рыба была полуживой, отравленной. Люди не знали, что рыба отравлена, они ловили и ели. Все это я видел своими глазами.

В 28 километрах от нас на участке Атынай у реки Чаган в год производят по 16—18 взрывов. А Чаган впадает в Иртыш, Иртыш впадает в Обь и так далее. И я не ошибусь, если скажу, что люди, живущие вдоль этих рек, подвергаются радиоактивному заражению.

Примерно в 20 километрах от нас, у зимовки Шрок, есть два озера. Это воронки от взрывов. Воду этих озер никто не проверял. Вода этих озер используется как питьевая.

К нам приезжала медицинская комиссия из Алма-Аты. Проверили 1080 человек. Из них 490 человек оказалось больны разными глазными болезнями. В нашем ауле около 3000 человек, и половина из них больна глазами.

За последние 3—4 года в нашем ауле 22 человека покончили жизнь самоубийством, повесились. 18 человек умерло от рака. Для маленького аула это большая смертность. Но ни Москву, ни Алма-Ату это не интересует».

К тому, что рассказал Кабден Есенгарин, добавлю: с 27 по 30 ноября 1989 года врач-радиолог Павлодарской СЭС Казаков В. М. и санврач Бейсебаев К. Ж. проводили плановые замеры радиационного фона в Майском районе Павлодарской области. На гребне одной из послевзрывных воронок они обнаружили гамма-фон в 400 микрорентген-час, а таких воронок на территории полигона многие десятки. Рабочие совхозов при попустительстве властей, разумеется, косят здесь сено и скармливают его скоту. «При косьбе,— рассказывал А. К. Байгенжин, директор Алма-Атинского диагностического центра, член Советского комитета Движения «Врачи мира за предотвращение ядерной войны»,— рабочие спугивают зайцев, но зайцы настолько больны и обессилены, что не могут даже убежать».

А что же люди? Те, кто подвергался воздействию излучения, часто жалуются на утомляемость, отсутствие интереса к жизни, расстройства памяти. Это нехарактерные, недиагностируемые состояния. Подобное испытывают и те, кто выжил после бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Японский ученый Масао Цузуки ввел в обиход понятие «хроническое заболевание вследствие воздействия атомной бомбы». Не слишком ли опасны параллели, могут сказать читатели. Прежде чем отвечать на этот вопрос, послушаем, что рассказывает Талгат Слямбеков, живущий у полигона. Ему 65 лет, он житель поселка Караул Семипалатинской области.

«Я в этих местах родился и вырос. Уже 3 года на пенсии, часто болею — сердце, высокое давление, кожная болезнь. Разные врачи говорят по-разному. Одни говорят, что это чесотка, другие — кожный рак. Когда чешется, терпеть невозможно. Прикладываю соль, чешу железной расческой. Некоторые советуют съездить на Алаколь искупаться. Там купаются космонавты, говорят, вода снимает радиацию.

В 1953 году мне было 28 лет, работал я в исполкоме бухгалтером. Председателем исполкома был Карим Нурбаев, секретарем райкома — Мусин Каххан. 1 августа вечером прилетел военный самолет и этих товарищей забрали. Куда — не знаю. В 7 утра их привезли обратно. В то время электричества не было, телефона тоже не было. По рации передали по районам, чтобы все эвакуировались вместе с семьями и скотиной. Сроку дали два дня. По спискам выплатили деньги, по 500 рублей (старыми) на человека. После этого эвакуировали всех, кроме работников райкома, райисполкома и райфинотдела. Их созвали и говорят: вы остаетесь здесь. С нами осталась и продавщица магазина Асемжанова Жакен. Всего около сорока человек. 4-го августа после обеда уехала последняя машина. Оставшихся людей собрали в здании райисполкома, дали сухой паек. Вечером и военные уехали, а мы остались. 5-го числа, утром, мы вышли на улицу. Погода была ясная, туч не было, день был жаркий. Ветра тоже не было. Вдруг что-то сверкнуло, появился яркий свет, а мы, раскрыв рты, смотрели, ничего не понимая. Поднялась пыльная буря. Когда буря стала приближаться к нам, вдруг появились военные и приказали всем войти в помещение. Двери закрыли. Военные были одеты в комбинезоны, и у них были противогазы. Через 15 минут нас посадили в машины. Привезли нас на озеро в горах Чингистау, в 40 километрах отсюда. Там нас построили и всех переписали. Потом из машины достали водку, налили по 200 граммов и приказали выпить. После этого нас повезли дальше, в село Баканас, до которого 60 километров. Приехали мы в Баканас, там — еда-питье, все стоит, а людей нет, их увезли в Чубартауский район. Там мы побыли, а к вечеру привезли жителей Баканаса. Прожили мы здесь 15 дней, а потом нас и наши семьи сперва перевезли в Сергиополь, а потом отправили по домам. Через некоторое время приехали военные, вызвали нас в больницу и взяли кровь. Так кончился 53-й год.

В июле 54-го года опять приехали военные и по списку вызвали Ислям Аргымбекова (ныне покойного), Гизата Рахимбаева (в то время председателя сельсовета «Бирлик»), Хафиза Елубаева, меня и других. Повезли нас в Семипалатинск и полтора месяца обследовали. Брали кровь, желудочный сок, мочу. Когда отпустили, выдали справку и сказали, что все, что делается, нужно для народа, для науки. Мы лежали в областной больнице, там освободили одно отделение. Врачи все были военные, из Москвы. На справке был штамп: «Диспансер Министерства Внутренних Дел СССР».

Из тех людей, с которыми я оставался в районе, почти никого уже нет в живых. Все умерли, большинство, не дожив даже до пятидесяти лет: кто болел раком, кто белокровием, и от головной боли страдали.

В начале 89-го года я написал Горбачеву, что нас, переживших тот взрыв, осталось восемь человек. Тулеухасинов Хафиз (тогда он был завврайоно) живет в Бирлике, он инвалид 1 группы. Слямханов Асемхан сейчас калека, тогда он работал в райкоме начальником отдела. Кожахметов Нуртаза (в то время он был инструктором исполкома), Рахимжанов Гизат, который недавно скончался. В тот год ему было 25—26 лет, работал 1-м секретарем райкома комсомола. Недавно вот умер Аргымбеков Ислям, тогдашний инспектор райфинотдела. Сейчас нас уже не восемь, а шесть человек.

В диспансер меня больше не вызывали, но недавно я сам туда ездил. Предложили мне там поехать в Ленинград на обследование, но я не поехал. Некоторые из нас туда ездили, но тех, кого обследовали в Ленинграде, в живых уже нет.

Я участвовал в конференции, которая была в июле 89-го года, показывал академику Цыбу документы тех, кого обследовали в Ленинграде. Они там были как подопытные кролики.

Диспансер МВД СССР в 56-м году переименовали в 4-й противобруцеллезный диспансер. Это чтобы обмануть людей, потому что бруцеллеза там никогда не лечили.

Врач 4-го диспансера приезжал ко мне домой. У него была бумага от 3-го управления Минздрава, чтобы меня срочно обследовали и результаты сообщили в 3-е управление. Но я никому не верю...

С 53-го года у меня умерло трое детей. Один ребенок в два года (опухоль мозга). Все мои дети страдают давлением и сердцем, болеют кожной болезнью, которую никто не может не то что вылечить, но даже определить. Третье поколение в моей семье тоже болеет. В 53-м году первому сыну было три года. Сейчас ему 39 лет. Мой внук родился с врожденным параличом.

У наших домашних животных рождаются уроды: овцы с шестью ногами, с тремя ногами, с одним глазом. Но есть и дети-уроды. Недавно приезжали с «Казахфильма», спрашивали акушер-гинеколога Шалабаеву Батен, снимали у нас в больнице. Она говорила, что с врачей брали подписку не говорить о детях-уродах, которые то без лица рождаются, то с огромной головой и с маленьким телом... Теперь она плачет, когда рассказывает об этом. Она говорит, что наши женщины боятся рожать...»

А вот свидетельство Нуртазы Кожахметова. Ему 62 года, он житель поселка Караул.

«Мне было тогда двадцать пять лет, мы ничего не знали. В 53-м году 5-го августа, когда были испытания, мы верили, что все это делается для народного хозяйства, для нашего блага. Получив «подъемные», семья переехала в Сергиополь. Половину жителей перевезли в Баканас, а около 40 человек, среди которых был и я, оставили здесь. Находились мы в здании райисполкома, слоялись по коридорам. Потом вдруг сверкнуло, а над Дегеленом появился огромный гриб, после чего нам приказали выйти на улицу. Потом подали машину, и мы поехали в Баканас. Нас везли в открытой машине, впереди и сзади ехали военные, у них были какие-то приборы. Они постоянно что-то измеряли этими приборами. Мы ехали, часто останавливаясь. Сидели в открытой машине и видели, как военные проверяли радиацию по направлению ветра. Мы тогда, правда, ничего не знали и не понимали, нам все это было интересно. Оказывается, нас везли так, чтобы ветер дул в спины. Если же ветер изменял направление, мы останавливались в степи, ждали, когда он начнет дуть в другую сторону. В Баканасе мы прожили около двадцати дней, потом нас привезли в Караул. Когда мы приехали, тут никого не было.

До 59-го года я жил в поселке Карауле, потом меня направили в партшколу. Когда вернулся, направили работать секретарем парткома в Саржал, в колхоз Тельмана. Там работал десять лет.

После работал в совхозе Кайнар. Он очень близко от полигона, рядом с которым военные устроили свалку. Мы здесь косили сено. Возле Саржала есть место, Атым-Тай, кругом огромные воронки, а вода в них стоит зеленая-зеленая. Приезжали люди из Москвы, исследовали эту воду, но нам ничего не сказали о результатах. В этих местах после взрыва земля еще долго дымилась, а мы около этого места работали. Ну, а что? Организм молодой, да и знать мы ничего не знали ни о какой опасности. Как-то приехали врачи, обследовали нас, жителей Саржала. Некоторых вызвали в Семипалатинск, в 4-й диспансер (в то время 4-й диспансер был секретным). И все.

Сейчас мне 62 года, здоровья нет. Постоянно высокое давление, все тело болит, а глаза вообще не видят. Головная боль постоянная.

Многие из тех людей, что взрывы пережили, уже умерли. Многих от давления парализовало. Большинство людей здесь умирают в 58—60 лет, и мы только теперь поняли, что над нами все эти годы делали эксперимент.

У меня восемь детей. Все болеют сердцем, легкими. Недавно родился внук, так большой палец у него на ноге ненормальный. У старшего сына часто носом идет кровь...»

Вот рассказ еще одного жителя поселка Караул, Хафиза Тулеухасинова: «В то время я работал в районо, мне было 28 лет. Участвовал в войне, имею ордена Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медали, грамоты. Среди людей, о которых говорил Талгат, был и я. У нас было девять детей, в живых осталось трое. Один ребенок родился уродом. Недавно нашел карточку 57-го года и сам себя не узнал: худой и лысый. Когда я ездил в Семипалатинск, мне врачи сказали, чтобы обрил голову наголо. Потом волосы выросли...

Нашел я и старую карточку жены. На лице у нее были белые пятна.

Продавщица Жакен, которая оставалась с мужем, уже умерла. Оба умерли, и муж, и она. Потом те люди, из сорока переживших взрыв, стали умирать один за другим».

Какую же дозу радиации получили жители поселков, прилегающих к полигону? Из-за последствий наземных и воздушных взрывов более всех пострадали поселки Долонь (876 человек), Кайнар (1930 человек), Саржал (159 человек), Караул (1620 человек), Семеновка (1690 человек). Величины доз радиации для этих поселков составили соответственно: 160 бэр, 24 бэра, 20 бэр, 37 бэр, 2 бэра.

Много это или мало? Судите сами: предел дозы облучения людей не должен превышать 0,5 бэр за год...

Хочу рассказать о том, что я увидел, возвратясь на родину в октябре 1989 года. Попросив у отца его инвалидский «Запорожец», я отправился в Абайский район. За Семипалатинском дорога закружила меж невысоких голубых холмов, и мне подумалось об Абае, Шакариме, Мухтаре Ауэзове, подумалось, что ни книг, которые написали эти люди, ни поэзии холмов я не понимаю. Над темневшими холмами висела одинокая черная туча, напоминавшая тяжелую птицу с распростертыми черными крыльями. Меня она не минула — вдруг наступила тьма и во тьме загорелись электрические огоньки поселка Караул.

Порядочно поколесив по ухабистым черным улицам, я разыскал гостиницу. В вестибюле гремел телевизор, люди что-то напряженно слушали. Выступал секретарь Семипалатинского обкома партии Павлович. Он говорил с бездушной казенной интонацией, с которой повествуют обычно о ходе уборки зерновых и жатве колосовых, но речь шла о другом — о предстоящем ядерном взрыве. На завтра, то есть на 19 октября, намечалось очередное испытание ядерного оружия, и товарищ Павлович убеждал нас, что причин для волнений абсолютно нет, что предстоящее испытание мало того, что из ряда обычных, но еще и из маломощных. Люди, я видел это, словам его не верили, их лица были злыми, отчаянными.

Моего соседа по комнате звали Жуматай. По профессии — технолог-пищевик. За чаепитием он рассказывал, что будто бы через два месяца после Чернобыльской катастрофы на Семипалатинский комбинат привезли с Украины несколько вагонов облученного мяса. Так говорили. Может, это неправда, но никто слухов не опроверг. Рабочие, узнав об этом, заволновались, начали протестовать, но был звонок из обкома партии, и после этого зараженное мясо пошло сперва в переработку, а потом и в продажу...

Но я слишком устал после непрерывной двенадцатичасовой езды, чтобы как-то выразить свое отношение к услышанному. А может, я слишком долго прожил в состоянии униженности, чтобы всегда и всюду быть человеком независимым и свободным? Этой независимости, полной внутренней раскрепощенности требовала от меня моя будущая книга, замысел которой за несколько недель до поездки я изложил представителям Движения «Невада — Семипалатинск». Мысли мои были заняты ею. Я вчитывался в ее страницы, где за каждым словом были заглохшие родники, пересохшие речушки, искрошенные в щебень и труху горы—и люди, люди, люди с неподвижными, усталыми лицами, люди, хранившие в себе до поры до времени столь же нездоровое потомство...

И я был одним из этих людей. Одним из тех, в чьих детских глазах когда-то багровел отсвет ядерного взрыва, отражался черный ядерный гриб. Только я забыл об этом, потому что безмерно долго прожил вдали от родины, не покидая мысленно ее пределов.

Метафорическая обложка этой книги — поселок Караул — была испещрена призывами: претворять решения в жизнь, укреплять единство, всемерно бороться за мир, быть достойными строителями светлого будущего. Порывы ураганного ветра, давным-давно ободравшего деревья до скелетов, отшвыривали появлявшихся из закоулков прохожих к стенам домов.

В кабинете первого секретаря я познакомился с Х. М. Матаевым. Я знал, что он сторонник «Невады», это внушало надежды, но у меня не было ни одной, даже самой захудалой официальной бумажки. Только желание видеть, слышать, понимать и сострадать. Видеть и слышать нужно было многое, очень многое, и мой бедный «Запорожец» долыса истер покрышки, колеса по скалистым серпантинам моего родного Казахстана.

В Абайском районе от стариков слышу: военные разрушили наши кладбищенские мазары. Люди в погонах укрылись в городках с нечеловеческими, зашифрованными названиями, а когда выезжают из городков, они выезжают только с плохими вестями.

Однажды мы поехали на полигон, туда, где начиная с 1949 года взрывали бомбы. Сопровождал меня, показывая дорогу, Болат Жакишев, учитель Кайнарской средней школы. Он активист «Невады», и за любовь к Отечеству и на-

роду ко времени нашей встречи понес наказание: был снят с должности парторга совхоза.

По дороге Болат рассказал, что из жителей села Кайнар, некогда учившихся в школе, где он работает, от раковых болезней умерли 250 человек, 16 из них умерли от белокровия. Из 2600 жителей Кайнара 34 человека умственно неполноценны...

Дорога была длинной, и разговор наш тоже был длинным.

Кайнар — по-казахски «родник». Это действительно родниковые места. Были такими, а теперь родников нет, земля высохла и даже трава тут не растет.

— Пожилые держатся за эти места,— говорил Болат,— тут родина их предков, могилы родных. А вот молодежь, та уезжает сразу. Окончит школу и уезжает и никогда больше сюда не возвращается. На нашей земле словно проклятие какое-то лежит...

Тем временем дорога наша вывернула на полигон. Сорок лет назад здешняя степь была совершенно ровной, теперь же везде маячили огромные кратеры, и земля напоминала безжизненный лунный ландшафт. Мы примолкли, угнетенные безмолвным, но все-таки страшным видом. И так мы ехали довольно долго. У обочины степной дороги валялись куски дюралюминия, обрывки кабеля, непонятные стальные конструкции. В степи было пусто и тихо, но, на всякий случай, мы условились, что, если вдруг нас остановят военные, мы им скажем, что ищем потерявшихся совхозных лошадей. На случай обыска я спрятал на самом дне багажника фотоаппарат и магнитофон, забросав их промасленным тряпьем. Маскируя атрибуты журналиста, я пожалел, что не могу замаскировать и свое обличье. Городская кепка и очки были как нельзя некстати, и меня брало зло, что у себя на родине я не могу быть самим собой.

Вскоре перед нами предстала картина как бы из фантастического фильма. Посреди безжизненной, бескрайней равнины высились огромные железобетонные башни треугольной формы, и каждая следующая была ниже предыдущей. Первые были высотой не менее 15 метров, а последними в этом ряду были приземистые доты. Четыре ряда этих мертвых башен расходились на все стороны света.

Мы подъехали к основанию первой, самой высокой, и увидели, что у башни есть глаза, много глаз, и что мертвые глаза первых четырех башен смотрят друг в друга. Глаза были и у других башен, но почему-то у первых мне показались они самыми страшными. По гулким железным лестницам мы взобрались наверх и вошли в башню. Смотрели на огромный пятачок, образованный нелепыми железобетонными строениями.

— Вот на этом пятачке они взрывали. А вот тут находились приборы, чтобы измерять ударную волну,— объяснял Болат.— Вся земля под башнями в кабелях. Сами они прятались во-о-о-н в тех бетонных укрытиях.

Болат протянул руку, и я увидел, что неподалеку от башен находится множество углубленных в землю железобетонных бункеров и складов.

Мы нескоро спустились вниз. Мы стояли у огромных рубильников, кабелей толщиной в руку, опутавших стены, смотрели на омертвевшую степь перед нами. Было тихо, и все было мертво. Мы ощущали себя выжившими после ядерного безумия, выжившими, но обреченными. По жилам нашим текла гнилая кровь. Степь наша умерла, мир был пуст, безветрен, совершенно тих. Вспышки взрывов уже не могли причинить боли нашим пустым глазницам...

Я немало пережил в жизни огорчений и немногого добился, чтобы нервно цепляться за жизнь, да и что моя жизнь, когда умирает все вокруг. Но, стоя здесь, я понял, как это больно, когда умирает все живое. Далекое, близкое, виденное и нет. Как это страшно, когда безмолвно, потому что нет людей, обваливается крыша твоего младенческого дома, когда навсегда исчезает твоя нежная река...

Оглушенный этими мыслями, я медленно спустился по ступенькам башни. Мне было очень больно. Я не слышал своего спутника и, погруженный в свои

мысли, брел к бункерам, потому что какая-то неведомая сила притягивала меня к ним.

Зев подземелья был совершенно темен. Я сошел по ступенькам вниз. Стальная дверь была отворена. Мой спутник что-то кричал мне сверху, но я зажег спичку и вошел во мрак. Внутри было холодно, звуки шагов ударялись о бетон и металл. Спичка скоро догорела, я сделал несколько шагов во тьме, споткнулся обо что-то железное и упал. Вставать было больно, и я остался сидеть. Кругом была темень, и было мне одиноко...

...Болат крепко обругал меня, когда я вылез на свет. Он говорил какие-то глупости о радиации, бездонных погребах, фонариках и тому подобном.

Но все это не имело значения. Только было чертовски грустно, что неразумные наши чабаны растаскивают по домам листы дюраля, чтобы чинить худые крыши, и куски кабеля, чтобы мастерить антенны...

Потом Болат показал мне то, что некогда было многоэтажным домом из красного кирпича. Разрушенный почти до фундамента взрывной волной, дом этот известен тысячам офицеров запаса по кадрам секретной военной хроники. Но это было уже не столь интересно, сколь досадно.

Кажется, тогда, по дороге с полигона, я начал понимать, что самое горестное, самое непоправимое — не в степи. Нам долго будет терзать душу вид израненной земли, мы не простим издевательства над землей, любовно переданной нам предками, но мы все-таки пусть через тысячу лет вернемся сюда. Но вот какими мы вернемся?

Мы ехали к Раш Оспановой: она живет очень близко от полигона, и она о многом могла рассказать. Разволновавшись перед магнитофоном, она даже не смогла говорить. Что ж, расскажу о ней и о ее судьбе сам.

Раш около сорока лет, у нее много детей, а муж умер. Раш маленькая, хрупкая женщина, удивительно трудолюбивая. В ее гостевой комнате на стене висит большой ковер, но нельзя разобрать узор ковра, потому что весь он увешан алыми вымпелами чемпионки района по выращиванию овец.

Дом ее ветх, крив и убог. В некоторых странах такие строения называют бидонвилями, а здесь почему-то «домами». Однако и в этом кривом и ветхом доме она умудрилась создать уют. Всюду было чисто, тепло, от печи шел запах горячей пищи. Мы с Болатом сидели здесь, отогревая иззябшие руки. Раш торопливо накрывала на стол и без конца извинялась за что-то. Я вспоминал разговор с писателем Мухтаром Магауином, его слова о том, что казахский народ держится благодаря своим женщинам. Я не знал, почему он говорит так о казахском народе, я считал, что всякий народ жив любовью и семьей. Но Мухтар Магауин не объяснял мне этого, потому что считал меня манкуртом. Я вышел из того разговора избитым и раздраженным, а теперь, глядя на Раш, мысленно соглашался с ним...

Детей Раш не было дома. Должно быть, они жили в школе-интернате. Я доктор по специальности, и мне хотелось увидеть их, потому что я знал, что огромное число детей этого региона страдает выраженной анемией. А это значит, что у них фиолетовые губы, что у них часто кружится голова, что они не очень любят подвижные игры. Эти дети не обязательно должны быть худыми, но в них явно не хватает жизни.

Беда в том, уважаемая Раш, думал я, что эта проклятая радиация не проходит бесследно, но еще хуже, жесточе то, что генную ненормальность простым глазом увидеть нельзя. Я бы очень хотел взглянуть через микроскоп на хромосомы ваших детей, чтобы убедиться, что они здоровы. Мне очень хочется верить, что хромосомы у детей Раш в полном порядке, но я не был бы доктором, если б не проверял свои сомнения. Вы, Раш, живете у самой черты полигона, под грохот и землетрясения, но вы даже не знаете, что радиация проникает в нас так глубоко и так прочно, что передается по наследству внукам, правну-

кам и всем тем, кто будет. И вы должны знать, Раш, что уже случилось, может быть, не с вашими, но с внуками других людей.

Я вам это расскажу.

Радиация легла на наши судьбы невыносимым грузом. Мы не знаем в точности, какую дозу ее мы получили, ведь взрывали бомбы и проверяли последствия взрывов одни и те же люди. Они облучили нас, и это факт. И в наших генах неощутимо заложены уродства и болезни. Уродов и больных детей и теперь у нас много, но будет куда больше, пусть даже не родившиеся еще младенцы никогда не услышат взрывов. Взрывы будут записаны в их генной памяти, и взрывы эти аукнутся на века, потому что радиационные последствия сполна выражаются лишь в последующих поколениях. Мы будем потрясены видом этих детей-уродцев, из будущего в нас полетят проклятия.

Любовь очень многое может на этом свете, у любящих супругов рождаются красивые дети, но как бы ни молили господа, вы, Раш, и вы, хранящие душу народа женщины, вы не сумеете уберечь своих детей от горя вечного...

Мне не хотелось говорить об этом, Раш, простите, что я причинил вам боль.

Большинство людей в Абайском районе живут в таких же домах, как у Раш. После каждого взрыва стены домов покрываются змейками трещин, но люди замазывают трещины глиной, поэтому праздный человек, окажись он, к примеру, в Саржале, ни за что не догадается, что здесь бывают 5—6-балльные искусственные землетрясения.

Питаются эти люди плохо. Все мы кормимся не бог весть как, а тут уж совсем плохо. Мяса местные жители едят меньше, чем надо, на 28,1%, молока — на 9,5%, картофеля — на 71,7%, овощей и бахчевых — на 92,4%, фруктов и ягод — на 99,6%, растительного масла — на 45,9%, сахара — на 39,1%, яиц — на 59,5%, а рыбу не видят вовсе. Чем же тогда кормятся люди? — вы спросите. Хлебом. Хлебом в виде баурсаков, хлебом в виде макарон, хлебом в виде печенья. Больше ничем. И чаем, конечно, если чай — это продукт питания, а не просто церемония.

Огородов, чтоб побаловать детей хотя бы морковкой, люди завести не могут: нигде не стало воды. Скотину тоже не очень-то разведешь, нет сена. А если где-то есть, то оно, как бы это выразиться, неполноценное. Раш рассказывала, что в детстве они кормили скотину здешним сеном, и скотина была упитанной. Теперь кормят и фуражом, да все без толку.

В общем, неуютно здесь, тоскливо. В течение двух недель, что пробыл я в Абайском районе, я не видел, чтобы люди смеялись. Поначалу я думал, что это во всем виноваты ветер, холод, но потом понял, что это общее, не проходящее ни днем ни ночью, психологическое напряжение.

Не от постоянного ли напряжения так неуютно и мрачно в конторах совхозов, где люди с утра до вечера сидят в пальто и шапках? Не от напряжения ли ограды домов изломаны и не чинятся, а одежды на людях измяты и грязны? Не неверие ли в будущее постоянно угнетает людей?

И те, кто понежней, ломаются.

Весь мир знает, что матроса со шхуны «Фюкюру-мару № 5», умершего от лучевой болезни после испытания на атолле Бикини, звали Кубояма. Но кто знает, как звали тех моих соотечественников, кто от отчаяния покончил жизнь самоубийством? А ведь казахи никогда не кончали с собой. Никогда прежде.

За девять лет только в маленьком Саржале покончили жизнь самоубийством Акылбеков Картай (1952 года рождения), Абишев Даулет (1961), Алимжанов Мурат (1945), Калиев Мейрам (1957), Абраев (1957), Кемелов Рысбек (1932), Жагыпаров Абилсейт (1966), Толеуов Сайлау (1937), Демеубаев Мейрам (1962), Штайгер Арнольд (1939), Оразханов Болат (1967), Кадыров Разах (1941), Кадыров Куаныш (1972), Орысова Бактыгул (1949), Сагынбаев Серик (1962), Амирханов Секен (1966), Шакаримов Ерлан (1973), Толеубаев Сапархан (1963), Сманов Манат (1932), Мырзакаримов Жумакан (1950), Сулейменов Жетпис (1954), Исабекова Жамал (1928)...

Ученые еще скажут свое слово об этих саржальцах, найдут причины самоубийств. Только нужны ли нам теперь эти причины? Правда, мартиролог этот еще не окончен...

Казахи — люди незаметные, тихие, с некоторой меланхолической расслабленностью. Луженые глотки среди них встречаются крайне редко. Если в один кружок собралось бы десять разнонациональных пастухов, ковбоев и гаучо, казахский чабан был бы совершенно неприметен среди них. Такой вот народ, невысовывающийся.

В среде невысовывающихся, однако, полным-полно интриг и коллизий, но в среде какого народа мало интриг и коллизий?

Многие мои собеседники, будто сговорившись — не сговорившись, конечно, а по причине характера,— убеждали меня, что полигон, конечно, нужен для обороноспособности страны, мы хорошо понимаем государственные интересы...

Но это были голоса несвободных людей. Прежде чем заговорить перед магнитофоном, они переглядывались друг с другом, кивали один на другого. Правда, в основном это были люди с портфелями. Пусть с маленькими замызганными портфелями, но портфели эти когда-то избавили их от трудовых мозолей. А возвратиться к мозольной работе они не согласятся ни за что!

Портфели действуют губительнее водки. От водки казахов охраняют традиции непитья, а жажда власти — это чума. За портфель многие продадутся кому угодно.

Между людьми с портфелями и чабанами лежит пропасть. Так уж устроены мои соотечественники с портфелями, что должность почитают за признак белой кости. А чабаны не верят в себя, привыкли называть себя черной костью.

«Странно я отношусь к своему народу. Не пойму, питаю к нему неприязнь или люблю?

...Здоровый телом, я кажусь себе мертвым и не знаю, какова причина опустошения души: то ли досада на свой народ, то ли неудовлетворенность собой или еще что-то. Я мертв духом. Сержусь, но в груди не рождается гнева, смеюсь, но сердце не задыхается от радости; разговариваю, а слова кажутся чужими.

В юности у меня и в помыслах не было бросить свой народ и уехать куда-нибудь: я любил его и верил в него. Теперь я в совершенстве узнал казахов и не вижу впереди просвета. Но оказалось, у меня не стало сил, чтобы уехать на чужбину и начать новую жизнь. Впрочем, к чему эта попытка?»

Это Абай, который не уехал.

С Бекеном Исабаевым мы сидели в теплой комнатке Мухтара Ауэзова. В дверь ломился октябрьский ветер, от дождя дребезжали стекла. Во всем окружавшем нас мире была несвобода. И даже в теплом музее была эта несвобода.

Бекен-ага рассказывал о дне 5 октября 1989 года, рассказ записывался на пленку.

5 октября после подземного взрыва в поселке Каскабулак и в его окрестностях подохли сотни ворон, сорок и воробьев. В этот день Бекен-ага возвратился из Семипалатинска и, увидев дохлых птиц, позвонил в районное КГБ. Что случилось с птицами?

Работников КГБ несказанно удивил звонок! Какое нам дело до дохлых птиц?! Но прислали из Семипалатинска комиссию из грамотных людей, и грамотные объяснили, что птицы подохли оттого, что прилетели из холодных краев в теплые и не акклиматизировались...

(Создается впечатление, что людей при взрывах всегда эвакуировали. Их эвакуировали только один раз, когда сами не знали, что это за штука — водородная бомба. А когда увидали, эвакуировать и раздаривать деньги перестали...)

И потом, говорили работники КГБ, чего вы шум-то подняли?! Люди же все живы, подохли ведь только птицы?!

В этом они были правы. Подохли только птицы. Только неперелетными были те птицы...

После музея я поехал в сторону своего родительского дома, в Павлодар. Это далеко от полигона, и, пока доедешь, успеешь передумать обо всем на свете.

В 50-е годы ученые Казахстана проводили экспедиционные обследования территории и людей, живущих у полигона. Проверив и перепроверив, стали теребить Центр: эта земля отравлена! Здесь нельзя оставлять людей! Они все погибнут!

В феврале 1960 года в Москве созвали научную конференцию под руководством академиков Лебединского и Горизонтова. Конференцию, увы, секретную. И об этом мне поведал академик С. Балмуханов. На конференции родился «феномен Кайнара». Феномен был в том, что люди Кайнара и других поселков уже болели. Но ни словам, ни цифрам докладчиков ученые поверить не желали. Им не велено было верить, и они не верили. Они витиевато, но очень настойчиво советовали искать другие причины болезней. Не связанные с радиацией. Любые иные причины должны были объяснить «феномен Кайнара»!

А между тем причина была единственной. Взрывы производились именно в те дни, когда ветры дули в сторону гражданских поселений. А такие ветры здесь дуют почти постоянно. Такая у них, за редким исключением, роза. Потому-то в Саржале живет так много уродов, потому-то в Саржале каждый год оплакивают по нескольку самоубийц.

Тогда замминистра здравоохранения СССР А. И. Бурназян издал постановление о запрещении дальнейших работ, мотивируя это тем, что министерство само займется этим сложным делом, в Москве, мол, специалисты пограмотней, и оснащены они получше.

В Семипалатинске с 1962 года начал функционировать 4-й «противобруцеллезный» диспансер, о котором уже упоминалось. В стенах этого диспансера родился не один десяток кандидатских и докторских диссертаций, но, увы, не был излечен ни один больной. В 1962 году диспансер взял на учет 10 тысяч человек, пострадавших в результате взрывов, а к 1989 году в живых остались только 3 тысячи.

— Куда делись люди? — спрашивали казахстанские ученые, заранее зная ответ, но ответ был ошеломляюще прост: — Разъехались...

Но это ложь, потому что казахи (а взятые на учет не были школьниками) никогда не покидают родных мест. Они просто умерли.

Мы не были бы потрясены этим известием — мы люди несвободные и послушные,— если б не знали, что среди японских хибакуся (пострадавших от одной атомной бомбардировки) много долгожителей. Мы не были бы потрясены, если б не знали, что продолжительность жизни американских индейцев из штата Невада выше, чем у здешних казахов... В выборе места для полигона не ошиблись: наряду с прочным скальным грунтом и сухим подвижным воздухом ученые обнаружили на редкость тихих, покладистых людей. Но эти тихие, покладистые люди невыразимо устали, а остатки своих надежд, олицетворенные в пожертвованных рубликах, теперь обратили к Движению «Невада — Семипалатинск».

Политическая цель «Невады» — добиться полного запрещения испытаний и совершенствования ядерного оружия.

«Невада» не была бы ни в чем оригинальной, если б не родилась в нашей стране. Но движение это оригинально и тем, что объединило людей несвободных, еще вчера так или иначе вращавших механизмы политического, духовного и прочего насилия. Так уж устроена наша жизнь, что, если человек интегрирован в систему тоталитаризма, устроен в ней, он соучастник насилия. Но тем достойней, наверное, Движение «Невада», что его участники сумели бросить

вызов тоталитаризму. Появившись на свет как Движение многотысячных митингов, гневных речей, страстных обращений к главам правительств и шумных акций, «Невада» через полгода повзрослела, президент «Невады» Олжас Сулейменов предложил новый курс. Коротко говоря, это поиски путей, ведущих к сердцу и разуму каждого простого жителя нашей земли, потому что каждый отдельный человек, по существу, добр, каждый отдельный человек милосерден. Агрессивными и слепыми нас делают «организующие» формы. И задача, которая стоит теперь перед «Невадой»,— преодолеть эти «формы».

У полигона нет обозначенной границы на земле, и, колеся по степным дорогам, не знаешь, где кончается земля мира и где начинается земля войны. Так же и в судьбах тамошних людей: уберечь себя и близких от смертоносного дыхания полигона нельзя, и люди не знают, заложники ли они войны или жизнь повсюду так устроена, что человек не хозяин своей судьбы?

Тотальное неуважение государства к личности, существовавшее и существующее до сей поры, там, в районах у ядерного полигона, обрело формы преступного презрения к нуждам людей. И ситуация достигла такой остроты, что отчаявшиеся чабаны грозятся осадить городки с нечеловеческими названиями.

Я не был в этих городках, меня туда не пустили, но мне не хочется, чтоб у читателя возникло впечатление, будто там живут лишь хладнокровные, бездушные люди, которые цинично, сознательно глумятся над моим народом. На их плечах погоны, и эти люди действуют в соответствии с присягой. Мне довелось говорить с одним молодым офицером, работающим на полигоне, и я воочию убедился в том, что чувство долга и сострадание борются в нем. Но как, как рассказать об этом, если он просил не говорить никому о наших с ним разговорах?

Секретность порождает замкнутость. Та, в свою очередь,— отчужденность. У гражданских же, не имеющих доступа к правдивой информации, возникают подозрительность и агрессивность. Кто виноват в этом? Военные? Но разве сами они, оградившись частоколом уставов, присяг, параграфами секретности, не страдают?

Я уже говорил о том, что в первом путешествии не было у меня ни одной официальной бумажки. Во второй поездке была бумага, но очень мирная, перед которой не поднимают шлагбаумов. А как хотелось мне попасть в главный город военных атомщиков, как хотелось получить пропуск в город.

Я хочу войти в этот город. Войти, чтобы сказать: объясните же наконец, насколько вредно для людей, живущих за воротами этого городка, в городке, для всей этой земли то дело, которым вы здесь занимаетесь? Насколько продукты этого дела необходимы нам, гражданским, коль скоро то, что тут создают, оплачивается из наших карманов?

И еще я хочу сказать, что отчужденность, секретность всего и вся действительно вбивают клин между армией и народом. Неумением и нежеланием вести диалог с людьми, пугающей внезапностью визитов военных товарищей в окрестные поселки планомерно и плодотворно сеются семена межнациональных конфликтов.

Товарищи военные! Ни вам, ни народу Казахстана не нужен второй Карабах! Мы можем сообща избежать его возникновения. Сделайте то, что вы обязаны сделать,— сказать всю правду о том, что происходит на ваших полигонах. Никакими благими побуждениями, рассуждениями о боеготовности Родины нельзя подменить то, что ради нее лишают этой самой родины людей, которые брошены на произвол. Людей, которых вы призваны защищать, ради безопасности которых вы существуете.

И еще я бы выложил перед ними данные, читая которые, я уверен, содрогнутся сердца самых черствых людей.

В 1951—1959 гг. Министерством здравоохранения КазССР и Академией наук КазССР были организованы комплексные научные экспедиции в районы, прилегающие к месту проводимых ядерных взрывов. В работе экспедиции принимали участие также специалисты института биофизики МЗ СССР. Задачей

исследования явилась оценка состояния здоровья населения этих районов и степени загрязнения внешней среды радиоактивными веществами.

Обследованием были охвачены территории Семипалатинской, Карагандинской, Акмолинской и Павлодарской областей. В качестве контроля изучались отдельные районы Алма-Атинской области. При этом было установлено, что значительная территория Центрального и Восточного Казахстана подвергнута радиоактивному заражению. Это прежде всего относится к Кувскому, Каркаралинскому, Коунрадскому и Абайскому районам Карагандинской и Семипалатинской областей. Источники радиации обнаружены в почве, пищевых продуктах, воде, тканях и выделениях людей и животных и в их жилищах. Так, среднее содержание радиоактивных веществ в молочных продуктах в Кувском, Каркаралинском, Коунрадском районах превышало условную норму в 25—530 раз. Среднее содержание радиоактивных веществ в костях животных в этих районах превышало норму в 4,7—30,7 раза.

Радиоактивность мочи людей в Коунрадском районе была выше в 27—122 раза. Наибольшая загрязненность радионуклидом стронция обнаружена в Абайском районе Семипалатинской области. Общий уровень содержания стронция-90 в почвах поселка Саржал (колхоз им. Тельмана) этого района превосходил таковой в других точках Советского Союза от 366 до 2976 раз. Доза внутреннего облучения овец была больше естественной внутренней дозы по средним данным в 22 раза, в микроучастках в 133 раза и в максимальных пробах в 350 раз.

Радиоактивность крови, мочи, кала людей этих населенных пунктов превышала естественный радиоактивный фон от 5 до 60 раз.

Данные Среднеазиатского геофизического треста свидетельствуют о том, что радиоактивное заражение местности наблюдалось еще в 1951 году. В сентябре этого года в районе поселка Кайнар ими обнаружен участок площадью в 500 км² с высокой радиоактивностью. В направлении города Семипалатинска на протяжении 34 километров радиоактивность была настолько высокой, что прибор ПР-5 зашкаливало...

Население указанных районов подверглось всестороннему медицинскому обследованию. Полученные результаты привели к следующим выводам:

1. В некоторых местах люди подверглись внешнему облучению в суммарной дозе до 250 рентген и более.

2. Патологические изменения обнаружены у людей всех возрастных групп, особенно часто у лиц молодого возраста, а также у сельскохозяйственных животных.

3. Возникновение клинических изменений совпадало со временем радиоактивного загрязнения территории.

4. Частота и выраженность клинических изменений закономерно возрастают от менее загрязненного района к более загрязненному продуктами ядерного взрыва.

5. Отдельные проявления, свойственные лучевой патологии, обнаружились среди обследованных в 70—80 случаях, а более выраженные нарушения — до 50% (приведенные материалы взяты из архива НИИ краевой патологии).

Анализ состояния здоровья населения Семипалатинской области за последние годы свидетельствует о том, что основные показатели ухудшаются.

1. В Семипалатинской области более высокая смертность населения. В 1981—1988 гг. она составила 8,1—8,9 на 1000 жителей, в то время как по республике — 7,2—7,6.

2. Одной из причин увеличения смертности в Семипалатинской области является более высокая заболеваемость злокачественными опухолями, что может находиться в прямой зависимости от продолжительного действия малых доз радиации...

Еще в 1970 году заболеваемость злокачественными новообразованиями в области составляла 172 на 100 тыс. населения, тогда как по республике этот показатель был 156 на 100 тыс. Эта тенденция к росту обнаружилась в 1960 г. в период ожидаемых проявлений последствий лучевого воздействия и сохраняется вплоть до 1988 года.

Особенно высокая частота заболеваемости раком характерна для населения Абайского, Жанасемейского и Бескарагайского районов, прилегающих к полигону. В них число заболевших злокачественными опухолями в 3—3,4 раза превышает заболеваемость в Чубартауском районе...

Особую тревогу вызывают показатели здоровья детей и женщин.

В Семипалатинской области существенную долю в общую высокую смертность вносят врожденные уродства, мертворожденность, младенческая смертность, материнская смертность, обусловленная экстрагенитальными заболеваниями. Уровень детской смертности тут в 88-м году был 34,4 на 1000 родившихся (по республике в среднем — 29,2). С 1960 по 1988 г. прослеживается тенденция к росту мертворожденных (от 6,1 до 12,5 на 1000 родившихся).

Особого внимания заслуживает факт роста врожденных аномалий в структуре детской смертности (в 1980 г. — 11,8 на 1000 родившихся, в 1985 г. — 29,2), а также трехкратное увеличение перинатальной смертности (с 28,6 в 1970 г. до 93,6 в 1988 г. на 1000).

Общая заболеваемость новорожденных в Жанасемейском районе возросла за 1980—1987 гг. на 13%, в Семипалатинске — на 26%, причем в структуре заболеваемости врожденные аномалии составляют 7,4%...

Представленные сведения основаны на отчетах облздравотделов и районных больниц. В частности, врачами Жанасемейской ЦРБ установлено, что число больных, обратившихся за помощью в ближайшие десять дней после испытания, проведенного 16.10.87 г. (2031 чел.), было на 20% выше, чем за десять дней до этого испытания (1682). Аналогичные соотношения были и после испытаний 15.05.88 г. и 21.01.89. Поскольку в прошлом и в настоящее время имеет место повышенное загрязнение региона радиоактивными осадками, нельзя исключить ведущую роль в генезе отмеченных нарушений именно радиоактивного поражения.

Подтверждением такой возможности являются в первую очередь рост числа врожденных аномалий развития, невынашиваемость беременности, перинатальная смертность, анемии у детей и другие заболевания крови, злокачественные заболевания у взрослых.

Приведенные факты не соответствуют данным о якобы существующем благополучии радиологической обстановки в регионе. Они являются основанием для постановки вопроса о полной ликвидации источников радиоактивных заражений. Это является также достаточным основанием для изучения отдаленных генетических последствий на популяционном уровне. Было бы целесообразно с этой целью ставить вопрос о создании филиала Института медицинской радиологии АМН СССР.

Министерством здравоохранения КазССР произведен анализ результатов научных обследований противобруцеллезного диспансера № 4 МЗ СССР. Эти данные подтверждают основные выводы нашей информации. Кроме того, они обнаружили глубокие нарушения в состоянии здоровья лиц первого и второго поколений, родившихся от облученных родителей...

Ю. Каграманов

О ПОЧВЕННОСТИ И ВСЕМИРНОСТИ

Нынешнее жесткое противостояние двух «лагерей» (особенно заметное в литературном мире), условно именуемых иногда «славянофильским» и «западническим», вероятно, не случайно возникло — были на то причины как общественно-политического, так и внутрилитературного характера. Убежден, однако, что не может быть сегодня одиозначного ответа на вопрос, следует ли нам перенимать опыт современного Запада или опираться на собственную культурную почву, национальные традиции. Все зависит от того, о чем конкретно идет речь.

И уж коль скоро наша литературная, и не только литературная, общественность раскололась надвое, хотелось бы, чтобы диалог между «сторонами» меньше походил на спарринг — обмен ударами,— а больше было бы в нем стремления понять оппонента. Тем более что речь идет о вещах, зачастую весьма сложных, таких, о которых «последнее слово» не скоро еще будет сказано.

Я хочу коснуться некоторых моментов этого спора, взятых на фоне едва ли не глобалькой контроверзы почвенности и всемирности (универсализма), длящейся уже более двух столетий, а в последнее время получившей новые смыслы и обертоны.

Проблема почвенности и всемирности, как и многие другие современные проблемы, берет начало в эпохе Великой французской революции. В то время универсализм, представленный философией Просвещения, переживал свой звездный час, обещая единую для всего человечества перспективу бесконечного прогресса, основанного на принципах свободы и автономии личности, на вере в возможность разумной организации общества и в точные науки. С другой стороны, сначала Гердер в Германии, а затем де Местр во Франции заложили основы, как мы ее сегодня можем назвать, философии почвенности. Рационализму Просвещения они противопоставили силу местных традиций, Volksgeist (дух народа), «идиоматические» состояния «коллективной души». Гердер отважно бросился защищать предрассудок, служивший наипервейшей мишенью для просветителей, заявив, что на предрассудках зиждется «мудрость народа» и человек, который их лишен, так же пуст, как пуст, например, лопнувший стручок.

Есть, однако, существенный момент, объединяющий оба направления мысли, на который часто не обращают внимания. А именно, вслед за просветителями почвенники фактически повернулись спиной к трансцендентному. Де Местр обращается к своим оппонентам примерно с такими словами: «Вы низвергли Бога с Его небесного трона. Хорошо. Я не буду забираться в эти эмпиреи. Но взгляните под ноги: вас держит на себе народ, взросший на идее Бога». То есть Бог не отрицается де Местром, но как бы попадает в силки Volksgeist'а. Подобно Гердеру, де Местр видит почву, но не замечает неба. А ведь если почва у каждого народа своя, то небо на всех — одно. «Народный» Бог имеет тенденцию раствориться в том, что фактически дано, что уже сложилось исторически. Впоследствии эту «линию» доводит до логического конца Шатов у Достоевского, допускающий существование некоего почвенного «православия»... без Бога. Я специально отмечаю этот момент потому, что он, как мне кажется, присутствует и в сегодняшних наших идейных противостояниях.

Увы! Многие хорошие или хотя бы и спорные идеи, доставшиеся в наследство от прошлого, наш коварный и жестокий век исказил, перекривил, вывернул наизнанку и чего-чего только с ними не сотворил. Не избегли этой участи идеи всемирности и почвенности.

Последнее время оплотами почвенности стали многие страны «третьего мира», где еще недавно задавали тон усердные имитаторы западных образцов. (Кстати говоря, мы несколько зациклены на наших отношениях с Западом, имеющих многовековую историю, и пока еще недостаточно внимательно смотрим в сторону пришедших в движение Востока и Юга.) В некоторых из этих стран возобладал агрессивный культур-национализм, представляющий собою экстремистский вариант почвенности. Под флагом «возрождения национальной культуры» оправдываются наихудшие из туземных традиций, вплоть до каннибализма, и в то же время предается анафеме все иностранное, точнее, все западное, кроме того, конечно, что служит удовлетворению материальных потребностей.

Идею всемирности тоже постигли не чаемые ранее превращения. «Транснациональная» по своему характеру массовая культура сближает вкусы и пристрастия «потребителей культуры» в самых удаленных друг от друга уголках планеты, но только совсем не так, как об этом мечтали просветители — не возвышая публику до уровня подлинной культуры, а, наоборот, нисходя к ее слабостям, паче того, пробуждая в ней далеко не лучшие инстинкты. В таком контексте уместнее говорить не о всемирности, а о некой всемирной беспочвенности, ибо массовая культура воспитывает упрощенные и, так сказать, облегченные представления обо всем на свете.

Успехи точных наук — и, как их следствие, научно-технический прогресс — давно перестали вызывать к себе однозначное отношение. Интенсивное вмешательство в действия природных стихий нарушило их равновесие и создало реальную угрозу экологической катастрофы. Но даже если в этом отношении со временем все «образуется» (конечно, не само собой, а в результате перехода к новому, чрезвычайно осмотрительному типу хозяйствования — с использованием новых материалов и новых видов энергии, развитием безотходных технологий и т. п.), останется другая опасность, на которую сейчас гораздо меньше обращают внимания. Нынешний путь НТП ведет к созданию общечеловеческого планетарного «дома» — искусственного, рукотворного мира, так сказать, дублирующего природу и отделенного от нее, как в романе Е. Замятина «Мы», некой Стеклянной Стеной. Хотя и считается, что человечество само ставит себе цели, а НТП просто «обслуживает» его, на практике-то выходит иначе. Люди все больше равняются на то, что дают им наука и техника. Привычные законы тяготения, в культурном и этническом смысле этого слова, утрачивают силу — остается что-то вроде необъятного опытного поля. Говоря словами гетевского Мефистофеля, «один сплошной беспочвенный простор».

На творческом уровне культуры старый спор универсалистов с почвенниками вспыхнул с новой силой, причем первые чаще держат оборону, а наступают вторые. Французский философ Ален Финкелькро пишет в своей книге «Поражение разума» (1988), что концепция «культуры как Bildung [1], как поставленной задачи» частично уступает свои позиции иному ее пониманию — как «изначального лона», связь с которым важнее, чем все остальное [2]. Это значит не то, что универсализм выдыхается и все его песенки уже спеты, а только то, что сейчас —

---

[1] Bildung (нем.) — образование.

[2] Известную роль в этом играет (еще раз процитирую Гете) «дух профессоров и их понятий». Работы таких структуралистов, как К. Леви-Строс, Ж. Лакан, Р. Якобсон, М. Фуко, содействовали тому, что в глазах академического сообщества представление о мировой культуре как о едином процессе утрачивает былой кредит. С другой стороны, продолжает пользоваться большим влиянием, особенно в США, теория ценностей известного немецкого социолога Макса Вебера, дающая определенное обоснование идеологии национально-культурной «самости».

вероятно, на какое-то определенное время — «перевесили» его оппоненты и качели качнуло в противоположную сторону.

Ситуация еще осложняется тем, что Запад встречается с вызовом со стороны Востока и Юга. Термин «вызов», получивший широкое хождение, пустил в оборот знаменитый английский историк Арнолд Тойнби. Согласно Тойнби, если из двух культур, имеющих друг с другом контакт, одна обнаруживает явное превосходство, то она тем самым бросает «вызов» другой, которой приходится в ответ либо перестраиваться, либо еще больше замкнуться в себе. По какому признаку определяется превосходство? На протяжении истории это была чаще всего более развитая технология. В этом смысле ни о каком вызове со стороны Востока и Юга (быть может, за единственным исключением Японии) сегодня и речи быть не может. В плане технологии Запад обнаруживает, похоже, неиссякаемые творческие потенции, позволяющие ему быть далеко впереди любых иных регионов. Но в некоторых других отношениях...

Поэты и философы Запада давно уже говорят о его духовном упадке. В поисках альтернативных, как сейчас принято выражаться, культур многие из них обращали и обращают взоры на Восток и на Юг. Порою складывается впечатление, что поэты и философы даже несколько преувеличивают «ущербность» своей культуры и недооценивают ее жизнеспособность. Так или иначе, интеллектуальные верхи в Европе и в США усматривают в некоторых культурах Востока и Юга реальный вызов Западу.

В США, этом последнем оплоте западного универсализма (в определенной его версии), проблема почвы волнует умы сейчас не меньше, чем где-либо еще. Занимая позицию бесспорного культурного гегемона западного мира (хотя и совсем не в том смысле, как некогда Италия или Франция), заокеанская держава тоже поставлена перед проблемой, как ее называют, самоидентификации. Подобно другим народам, американцы (по крайней мере думающие американцы) задают себе простые вопросы типа: «Кто мы?», «Что мы такое в сравнении с прочими?».

Яркое тому свидетельство — вышедшая в 1987 году книга профессора Йельского университета Аллана Блума «Тупик американского мышления», ставшая заметным событием в культурной жизни не только США, но и других западных стран (сразу после своего появления она была переведена на все основные европейские языки). Видный филолог, специалист по Шекспиру и Платону, обратившись к современности, опубликовал работу, которую, по его же словам, «надо читать прежде всего как сводку с фронта». Речь идет о культурном фронте, по одну сторону которого — силы традиционного «американизма», а по другую, грубо говоря, — все, что может выставить против них остальной мир.

Хотя в Соединенных Штатах нет культурной почвы в европейском, вообще старосветском (от Старого Света) смысле, все же и в этой стране есть, как мы знаем, свои традиции, своя бытовая культура, а идеология «американизма», зародившаяся двести с лишком лет назад, в сущности, не так уж значительно изменилась. Сейчас ценность этого наследия, которым американцы всегда так же дорожили, как дорожат своим наследием другие нации, поставлена под вопрос. Ему бросают «вызов» иные культуры, отличающиеся большей глубиной, сложностью и гибкостью. А изнутри его давно уже разбирает по кирпичику контркультурная, как ее называют, критика.

Не так уж давно один из наших писателей, не расположенных «ворошить прошлое», патетически вопрошал: «Есть ли еще в мире какая страна, где бы так очерняли, так односторонне трактовали, если хотите, так втаптывали в грязь свою историю?» («Огонек», 1987, № 46). Вольно автору процитированных строк считать очеркителями тех, кто называет черное черным. Но если всерьез говорить об очернительстве и втаптывании в грязь своей истории, то тут как раз примеры есть. Один из них — Соединенные Штаты. В конце 60-х годов там поднялась мощная волна критики (или национальной самокритики, так можно ее назвать), преднаметом которой стал, по существу, весь американский образ жизни, была подвергнута пересмотру вся американская история. Критика кое в чем была совершенно справедливой, а кое в чем именно очернительской, нигилистической. Дело доходи-

ло до откровенного глумления над историческим прошлым, сладострастного оплевывания национальных святынь.

Такая самокритика нашла отражение в произведениях художественной литературы и кино, публикациях в прессе, предназначенных в первую очередь для «внутреннего рынка». Но вся эта продукция имела широчайшую аудиторию и за пределами Америки, что нисколько не смущало ее создателей. (Здесь, впрочем, необходимо уточнение. В пропагандистских материалах, предназначенных специально для зарубежного читателя, зрителя или слушателя, самокритика никогда не заходила слишком далеко, напротив, всегда заметно было стремление обойти острые углы.)

Трудно сказать, насколько глубок и искренен был этот порыв к самобичеванию, охвативший тогда значительную часть молодежи и образованной элиты. Но в любом случае даром он не прошел. Все последующие усилия вернуть американцам былой «стопроцентный патриотизм» не дали желаемых результатов (тем более что упомянутая контркультурническая критика продолжает свою разрушительную работу, хотя и без прежнего шума). Национальная ограниченность поколеблена до самых своих оснований. Как показывает в своей книге Аллан Блум, среди его соотечественников распространяется терпимость, или, как они предпочитают говорить, открытость в отношении думающих и чувствующих иначе.

Правда, внимание автора привлекает главным образом определенная категория американцев — студенческая молодежь. Точнее, даже не вся студенческая молодежь, а, как он пишет, «лучшие студенты лучших двадцати или тридцати университетов». Но ведь это довольно-таки тонкий слой, масляное пятно на поверхности обширного водоема. Стоит ли придавать большое значение тому, что у них на уме и на сердце? Особенно если учесть, что университетские кэмпусы, как правило, живут своей обособленной жизнью и у «среднего американца» по сию пору вызывают чувство некоторого отчуждения (даром что он посылает туда учиться своих детей).

Так-то оно так, и все же речь идет о тех, кто завтра вольется в интеллектуальную элиту страны, роль которой (то есть элиты) — хочет того или не хочет «средняя Америка» — постоянно растет. Интерес, вызванный книгой Блума, подтверждает, что к «высоколобым» прислушиваются не только в технических, в широком смысле слова, вопросах. Пожалуй, впервые с начала 70-х годов (на которые пришелся подъем контркультуры) имела общеамериканский успех книга на такую широкую и «туманную» с обывательской точки зрения тему, как судьба культуры.

Итак, лучшие студенты из лучших университетов демонстрируют открытость: не разделяют укоренившееся мнение, что Америка, какой они унаследовали ее от предков, есть земля обетованная и что истина глаголет непременно устами американца (или даже вообще «западного человека»), напротив, с готовностью прислушиваются к голосам своих оппонентов, как бы они ни резали порою слух, какие бы странные по первому впечатлению мысли ни высказывали.

Самый термин «открытость» был в ходу и раньше. Американцы считали и считают, что они народ открытый — в противоположность некоторым другим, «закрытым». Если иметь в виду внешнюю сторону — стиль общения, — то, наверное, можно согласиться: сравнительно с другими они обычно более непосредственны, более дружелюбны. Но это не значит, что в них меньше ограниченности и самодовольства. Традиционный американец зачастую открыт, так сказать, в одну сторону: он готов всех учить уму-разуму, более того, по своей доброте и простоте (первое, впрочем, необязательно) наперед убежден, что всюду найдет благодарных учеников (пресловутое мессианство), и крайне не расположен учиться чему-либо сам.

Открытость, о которой говорит Блум, иного рода. Тут с иллюзиями американской исключительности, мессианства и т. п. вроде бы расстались. Сколько-нибудь просвещенному взору или, если угодно, слуху должно быть ясно, что нельзя заставить все человечество тянуть какую-то одну песню, откуда бы она ни исходила. Действительно, американизация в той или иной степени затронула прак-

тически весь мир, но это еще не вся правда, а только часть ее, другая, и притом явно большая часть, состоит в том, что в мире как раз растет разноголосица и, значит, нельзя, оставаясь реалистом, слушать только свой собственный голос. Паче того, разноголосица растет внутри самой Америки, где этнические меньшинства больше не хотят мерить себя общеамериканской меркой.

Такая открытость означает прежде всего терпимость. Это последнее качество и вообще-то относится к числу особенно ценных, а в современном «уплотненном» мире, где все как никогда раньше взаимосвязано, становится вовсе необходимым. Но вот в чем дело: терпимость приходит не одна. Вместе с нею возникает, как пишет Блум, «безразличие к реальному содержанию других культур». На место прежнего «Я прав — ты не прав» ставится «Каждый из нас по-своему прав», но чужая «правда» не вызывает особого интереса, а своя собственная, превращаясь в «одну из многих», утрачивает былое обаяние и былой авторитет.

Релятивизм, таким образом, становится не просто кабинетным учением, каким он был до сих пор, но умонастроением верхнего слоя образованной части общества, имеющим тенденцию к дальнейшему распространению. С точки зрения Блума, в истории европейской (а теперь евроамериканской) культуры это явление знаменует собою столь же решительный поворот, как и распространение христианства в греко-римском языческом мире. Наступает эпоха «беспочвенного человека», ибо почва — это и есть культура, и она, как утверждает Блум, непременно предполагает определенную «закрытость».

Куда ни кинь, всюду клин. С одной стороны — ограниченность и агрессивность, с другой — релятивизм и безразличие. Сцилла и Харибда обозначены достаточно четко, а вот прохода между ними не видно. Но ведь должен же он быть!

Впрочем, косвенным образом Блум все-таки указывает на него — в той части своей книги, где речь идет о другом, смежном, так сказать, вопросе: об упадке культуры.

Вопрос этот не относится к числу легких. Даже ретроспективно, оценивая тот или иной период истории, бывает порою сложно решить, куда же следует его отнести — к периоду подъема культуры или к периоду ее упадка. Еще труднее разобраться с этим в настоящем. Есть «показатели», кривые которых как будто тянутся вверх. Но есть и другие кривые, о которых с достаточной уверенностью можно сказать, что они сползают вниз.

Блум усматривает несомненные, на его взгляд, признаки упадка культуры повсюду на Западе и в первую очередь в той среде, которая у него постоянно перед глазами и которая как раз и предназначена к тому, чтобы подхватить и нести дальше, как говорится, светоч культуры,— в среде студенческой молодежи. Еще в недавние времена, по его словам, было немало студентов, способных зажечься примерами чьей-то далекой, в пространстве и времени, жизни (наподобие Макиавелли, «в каждый из своих загруженных дней находившего несколько часов, чтобы, облачившись в красную тогу, посетить князей античности»). Теперь высечь хоть искорку увлечения чем-то подобным становится чрезвычайно трудно. Далекие образы («Тот берег», по выражению О. Шпенглера) утратили былую притягательность. Напомню: речь идет по-прежнему о лучших студентах из лучших университетов.

Юные души, горящие чистым белым пламенем на поприще наук и искусств, похоже, становятся большой редкостью не только в Соединенных Штатах. И когда читаешь у Блума, что к «любителям классики и гуманистам» даже в студенческой среде (притом гуманитарной!) начинают относиться, как «просто к антикварам (в старинном смысле слова — любителям древностей.— **Ю. К.**) или евнухам, приставленным сторожить гарем со стареющими и уже никого не прельщающими куртизанками», задумываешься: не повсеместное ли это сегодня явление?

А вот «панорамное» видение современного Запада (а не только Соединенных Штатов), каким он представляется Блуму: «Мы подобны невежественным пастухам, живущим в том месте, где некогда процветали великие цивилизации. Эти пастухи играют с обломками предметов и строений, там и сям выступающих из земли: они не имеют ни малейшего представления о том, сколь прекрасны были те конструкции, от которых ныне остались лишь разрозненные обломки...»

Почти по Баратынскому:

> ...Храм упал;
> А руин его потомок
> Языка не разгадал.

Упадок культуры (пусть даже относительный и частичный), ослабление творческого напряжения — это и есть та причина, из-за которой маячащие впереди Сцилла и Харибда кажутся непроходимыми. В самом деле, с бессильно повисшими парусами узкое место не пройти. Только наполненность ветром позволила бы плыть дальше. В противном случае в мире могут возобладать, с одной стороны, эллинистического типа терпимость, равнозначная всеядности, а с другой стороны, отдельные бастионы самодостаточной и агрессивной провинциальности.

Однако продолжим цитату из Блума: «...Но стоит копнуть хоть сколько-нибудь глубоко, и их (нынешних невежественных «пастухов». — **Ю. К.**) взорам предстанет возбуждающее великолепие. История нужна нам не для того, чтобы разобраться, что и как происходило в прошлом, а для того, чтобы ожившее прошлое объяснило нам, кто мы есть, и открыло бы путь в будущее». Все верно. И нам история нужна для того же. Думаю, что нам и американцам — больше, чем остальным. У американцев и корни неглубокие (если, конечно, не считать их европейских корней), и, с другой стороны, утрированный футуризм, привычка к постоянному и безоглядному движению, смысл которого все больше от них ускользает. У нас же история и богатая, и трагическая, но мы ее только сейчас как бы заново открываем, мучительно пытаясь установить, в какой точке исторического пути мы находимся и куда этот путь дальше ведет.

Возвращаясь к нашим «домашним» делам, нельзя не сказать, хотя бы коротко, о той роли, какую играют в споре «западников» и «славянофилов» проблемы близкой нашей истории — советского периода. Чрезвычайно трудный, если рассматривать его всерьез, вопрос о том, кто несет ответственность за совершенные в прошлом ошибки и чудовищные преступления, зачастую используется для поспешных обвинений в адрес тех или иных социальных слоев и групп, исторических традиций и т. д. В частности, делаются попытки противопоставить друг другу интеллигенцию и народ не только в исторической перспективе, но также и в настоящем времени.

В прошлом действительно между интеллигенцией и народом существовал известный разрыв: недопонимание, с одной стороны, и недоверие, с другой, порождали натянутость, которая со временем возрастала, а порою даже переходила в глухую вражду. Достаточно сослаться на резко антиинтеллигентские письма Клюева к Блоку или известные статьи самого Блока (такие, как «Народ и интеллигенция», «Стихия и культура»), которые можно было бы назвать статьями-предупреждениями. Их основная мысль: народ и интеллигенцию разделяет черта, подобная речке Непрядве (что семь ночей подряд текла красная от крови). Ничем хорошим такое противостояние кончиться не может, считал Блок.

Картина эта, однако, не то чтобы излишне драматизирована (реальная история оказалась еще драматичнее, чем это мог представить даже Блок), но просто неполна. Существовали другие уровни отношений между интеллигенцией и народом, где было место сотрудничеству и взаимной приязни; да, наконец, всегда ли можно было провести между ними разделительную черту? Недаром ведь С. Н. Булгаков, в предреволюционные годы не раз упрекавший интеллигенцию в раскрещивании русского народа, тем не менее все-таки писал, притом уже в разгар гражданской войны, что интеллигенция перестает быть сословием и становится «модусом народного бытия, духовным возрастом народа».

Мне кажется, кроме того, что, говоря о предреволюционной интеллигенции, мы сейчас недостаточно различаем ее «идейный» фланг, нацеленный на борьбу и как бы сжавшийся в кулак, и ее большинство, в политическом смысле, как правило, неопределенно-розовое (не вкладываю в это понятие ни капли чего-то уничижительного). Последнее составляли обычные учителя, врачи и т. д., делавшие

каждый свое важное «малое дело», а все вместе создававшие атмосферу того особенного идеализма, который отличал русскую интеллигенцию от любой другой.

Но вернемся к блоковскому образу речки Непрядвы и попробуем применить его к позднейшему развитию событий. Да, явление нового Мамая, к несчастью, состоялось; но ведь так обернулось дело, что он жестоко побил о б а «стана». Кто таков этот Мамай, каково его «культурно-историческое лицо», мы пока еще различаем плохо (никто, например, толком еще не разъяснил, как создавалась и на чем держалась структура власти начиная с 20-х годов). Можно лишь сказать, что это не народ и не интеллигенция, а некая сила, производная как от народа, так и от интеллигенции.

Сейчас много говорят о «белых пятнах» пореволюционной нашей истории, а мне кажется, что и вся она, и уж, во всяком случае, феномен сталинщины, до некоторой степени являет собой загадку. Возможно, что разгадывать ее придется не одному поколению историков. Хотя я все-таки надеюсь, что вот-вот явится кто-то, кто сумеет «все объяснить». Но как бы там дальше ни было, кое-что уже теперь представляется совершенно неоспоримым, а именно, что нельзя искать виноватых только «наверху» или только «внизу». Не столько фанатичный и педантичный революционизм (преимущественно западного происхождения) сам по себе и не столько пробудившееся варварство (отечественное и еще какое-то экзотически восточное) само по себе натворили у нас бед, сколько их сочетание и взаимодействие, если угодно, «встреча».

Можно констатировать, что на знаменитый вопрос Владимира Соловьева, обращенный к России:

> Каким же хочешь быть Востоком —
> Востоком Ксеркса иль Христа?

— история дала неожиданный ответ: сталинская Россия явилась Востоком некоего Ксерксомаркса (или Марксоксеркса). Разбираясь с этим «генетическим недоразумением» и с тем, кто или что поставило его на ноги, полезно было бы проследить за процессом, назовем его так, сюрреализации некоторых идей западнического и славянофильского толка, порою сплетенных столь причудливым образом, что только наш злой и насмешливый век мог до этого додуматься.

Хотя пропаганда и изображала сталинский режим «твердыней», которую со всех сторон лижут чужие, враждебные волны, но размыть не могут, у самого Сталина и в его окружении, наверное, возникало ощущение, что в масштабе истории сталинщина — всего лишь «времянка», не способная долго выдерживать экзамен, постоянно возобновляемый ходом времени. Иначе зачем было так тщательно отгораживаться от остального мира? Вслед за Сталиным и все его преемники проводили политику культурной автаркии, хотя и в значительно смягченной форме. Результат хорошо известен: наше участие в движении наук, искусств и ремесел становилось все более и более скромным, некогда мирового значения центры культуры зарастали тиной провинциальности. По мере того как «островная» чванливость вступала в слишком явное противоречие с реальностью, ее вытесняло подспудно нарастающее чувство собственной неполноценности. То есть вползало через окно то самое «низкопоклонство перед Западом», которое во времена «борьбы с космополитизмом» торжественно выставлялось в дверь.

Сейчас, когда разбираются баррикады, появилась возможность сравнивать напрямую: что есть у нас и что у них. Многие, очень многие сравнения оказались не в нашу пользу. Национальная гордость уязвлена: на уровне бытовой культуры, к примеру, у них — по крайней мере во всех развитых странах — есть такие вещи, очень простые вещи, какие у нас не только отсутствуют — паче того, кажутся невозможными. Что ж, наверное, чем глубже уязвленность, тем лучше! Вызов, по терминологии Тойнби, налицо. Каков-то будет ответ?

Конечно, не «хлебом единым жив человек», но когда «хлеба» остро не хватает, тогда и с «высшими» запросами дело обстоит не лучшим образом. Бывает так, что просто не до них. Другой вопрос, что идеал сконструированного «по международным стандартам» довольства все больше захватывает воображение наших сограждан, особенно младших возрастов, зачастую не оставляя места для чего-

либо иного. Погружение с головой в материальную обыденность — одна из западных традиций. Для России всегда была характерна большая открытость разным «последним вопросам». Удержится ли она? Время-то ведь такое, что без «последних вопросов» теперь никак нельзя; иначе они сами пробьют себе дорогу, когда уже будет слишком поздно браться за ум.

Я начал с бытовой культуры (точнее, с материальной ее стороны) потому, что это первое, что бросается в глаза измученным бытовыми неурядицами соотечественникам. Между тем современный Запад, если иметь в виду только основные его «лики»,— это и огромное и все возрастающее техническое могущество, и пресыщенное эстетство «конца века», и неоварварство, резвящееся среди обломков некогда блестящей цивилизации, и живая, ищущая мысль, все подвергающая сомнению... И что-то еще. Но достаточно и перечисленного: не правда ли, сколь непохожи друг на друга названные здесь «лики»? На что же будем равняться?

К сожалению, именно дурные примеры почему-то особенно заразительны. Изо всей сложной «музыки» западной жизни легче всего доходят до нас бездумно-пританцовывающие звуки. Таково уж свойство пошлости: в «онтологическом» смысле пошлость — то, что пошло́ и легко скользит по поверхности жизни. Будто на воздушной подушке. А западная «масскультовская» пошлость умеет принимать вполне изящные формы, быть по-своему обаятельной, так что далеко не всегда можно предъявить к ней какие-то претензии по линии вкуса.

И все-таки: если бы дурные примеры — отечественного ли, иностранного ли происхождения — давали направление истории, то вся она представляла бы собою процесс непрерывного нисхождения от лучшего к худшему. Чего на самом деле не было и нет. Всегда находится сила, «вытягивающая» даже в самых, казалось бы, безнадежных ситуациях. Будем думать, что и на сей раз выйдет так же. И кто знает, может быть, и впрямь, как на то надеется Солженицын, «одно слово правды весь мир перетянет»?

Но есть на пути нисхождения к худшему более скромная и вместе с тем — на сегодня — более реальная препона: политико-правовая культура. В своем современном, развитом виде она есть детище Запада, векамн ее вырабатывавшего, совершенствовавшего и шлифовавшего; это его реальное достижение, имеющее универсальное значение и применение. И, кстати, многие ее элементы уже были, не без некоторого успеха, пересажены на русскую почву — сначала в период Великих реформ и затем в результате революции 1905 года.

Русские мыслители XIX века (и не только славянофильского направления, но также, например, и Герцен) были, как известно, невысокого мнения о западной политико-правовой культуре, отталкивавшей их своим, как им казалось, мелочным формализмом. Едва ли стоит их сегодня за это упрекать: они держали в уме (и в сердце) более высокий тип человеческих отношений. Но приобретенный исторический опыт обязывает нас взглянуть на данный предмет совсем иначе. Отметим особо в этой связи два момента. Во-первых, обнаружилось, что сострадание, которое русские мыслители ставили выше формальной справедливости,— субстанция, способная быстро улетучиваться. «Открытие» это было зафиксировано еще в предреволюционные годы и дало, например, Ремизову известные основания сказать, что человек человеку бревно.

Во-вторых, государство, в котором русская мысль (во всяком случае, славянофильская) видела, хотя бы в идеале, гаранта нравственности, обмануло эти и подобные им ожидания, показав, что в определенных условиях оно само способно творить преступления в невиданных ранее масштабах. Вот почему становится совершенно необходимой казавшаяся некогда тяжеловесной «формалистика» — параграфы конституции и статьи гражданского кодекса, нормы и процедуры, защищающие каждого гражданина от посягательств со стороны другого, злонамеренного гражданина, а также, и даже и в первую очередь,— от произвола со стороны государства (гарантии второго рода разработаны исключительно в рамках западной политико-правовой культуры).

С другой стороны, славянофильский антипрогрессизм отчасти перекликается сегодня с движением, которое в США именуется альтернативным, а в Западной Европе — движением «зеленых». Это эмпирическое по сути, не нашедшее пока

никакого идеологического «интеграла» движение нащупывает, так сказать, выходы за пределы искусственного планетарного «дома»; прежде всего оно ставит целью сокращение крупного производства, каковое должно быть возмещено нарастанием экономической деятельности, опирающейся на «простые технологии». Альтернативисты выступают за возвращение к более естественному образу жизни, к народной архитектуре и традиционной среде обитания, за возрождение и укрепление местной общины и т. д. Очень трудно пока сказать, может ли (как они на то претендуют) стать нащупываемый ими путь столбовым путем развития цивилизации; в любом случае, однако, альтернативизм представляет собой своеобразную «творческую лабораторию» Запада, чьи поиски и находки будут иметь важное значение для будущего.

Сущность альтернативного движения я бы выразил ученым словом «теллуризм» — это тяга к земле, это жизнь в ритмах природы, в ощущении своей причастности к изначальному органическому целому. Теллуризм был в высокой степени свойствен русской крестьянской культуре, сохранившей многое от язычества, однако облагороженного христианством. Сейчас, конечно, от нее мало что осталось. Но значит ли это, что традиции русской (и не только русской) деревни не имеют никакого будущего? Часто приходится слышать, что те старики и старухи, которых мы встречаем на страницах «деревенской прозы»,— очень хорошие, очень правильные старики и старухи, но они целиком принадлежат прошлому, ибо молодежь воспитывается сейчас в иных понятиях. Это серьезный аргумент, но еще не уничтожающий.

Если вообще мы будем ориентироваться только на то, что е с т ь на поверхности, мы далеко не уедем. Сейчас надо быть трезвейшим реалистом и в то же время не поддаваться гипнозу наличной действительности, видеть возможное в том, что кажется невозможным. Вспомним Достоевского: бывают моменты, когда в человеке (и в человечестве, можем мы сказать) надо ориентироваться на все «необычайное, гадательное и неопределенное» (понятно, в хорошем, а не плохом смысле). Это относится и к тем, кто будет хозяином на земле. Многие элементы русской крестьянской культуры стоят того, чтобы их сохранить или возродить. Мы видим, что в самых развитых странах по-новому оценивается многовековой опыт сельского жителя — эстетический, нравственный, экологический и технологический (да-да, и технологический тоже!). И что горожане, прежде свысока относившиеся к деревенским жителям, теперь нередко сами стремятся кое-чему у них поучиться.

Сказанное никоим образом не занижает роли интеллекта, общей культуры. Совсем наоборот. Мир поставлен на голову, как совершенно справедливо писал Гегель еще в начале XIX века. Значит, голове, интеллекту надо срочно вернуть причитающиеся им место и честь. Говорю «вернуть» потому, что особое уважение к знанию, образованности — одна из отечественных традиций. Как и широта взгляда, готовность собирать «мед духовный», чьим бы он ни был. Ну, чтобы не идеализировать прошлое, признаем, что, например, московские охотнорядческие вылазки против студентов — тоже не случайное явление. Тут уж ничего не поделаешь: «пакет» национальных традиций у каждой нации достаточно противоречив.

Но вот еще одна традиция, из числа добрых: самым сильным русским умам была чужда интеллектуальная гордыня. В конце прошлого — начале нынешнего века наиболее известным, наверное, в мире русским человеком был Лев Толстой, а самым популярным его изображением, фотографическим или каким-либо иным,— то, где он босиком, в крестьянской рубахе идет за сохой. Как ни смотреть на эту картинку, все-таки трудно, я думаю, найти более выразительный символ российской духовности, воспаряющей до всемирных высот и в то же время сохраняющей живую связь с почвой (у Толстого даже в смысле прямо физическом).

Что же касается «охотнорядчества», назовем его так, то это явление скорее урбанистического порядка, нежели почвенного; оно связано с нараставшим — чем дальше, тем больше — у части городского люда ощущением сдвинутости со «своего места», потерянности в «большом мире». При Сталине оно выступало под флагом «передовой теории», а сейчас ищет новые цвета. Я говорю о крикливой разновидности «русофильства», в основе которого не столько какая-то «филия», сколько «фобия» — ксенофобия, неприязнь ко всему чужому, зависть в отношении

чего-либо превосходящего или просто непонятного, «простецкий» подход к вещам, требующим совсем иного подхода. Отсюда и поиски козлов отпущения, «разоблачения» мифических заговорщиков и т. п. (кстати, в этом случае, как и в некоторых других, «разоблачители» следуют по пути, проложенному массовой культурой, которую они обычно усердно бранят). Такое «русофильство» тем менее заслуживает своего имени, что оно способно дискредитировать саму идею сохранения народных начал.

Нетерпимость и демонстрация своих антипатий, откуда бы они ни исходили, только приближают нас к краю пропасти. «Западничество» и «славянофильство» (или русофильство), если иметь в виду их конструктивные стороны,— это должны быть два плеча одного рычага, который позволил бы стране выйти из кризиса. Жесткая односторонность в данном вопросе принесет больше вреда, чем пользы. Сейчас нужна подвижность творческой мысли, гибкость — в хорошем, наилучшем смысле этого слова. Слишком много на карте дня разных стрелочек, слишком много факторов, которые необходимо принять во внимание, если мы не захотим, как это уже однажды было, провести самих себя.

Дух сравнения, пробудившийся после долгой спячки, оборачивается духом подражания и заимствования, и это естественно. Заблудившийся в какой-то момент путник оглядывается на тех, кто идет другими дорогами, и старается делать, как они. Важно, однако, при этом не утратить чувство собственного пути, не забывать о своем genius loci (местном духе-хранителе), вернее о целом рое таких домашних «гениев», которых сегодня и расслышать бывает не так-то просто.

Я бы сказал, что перестройкой поставлен ряд задач, одни из которых можно было бы назвать относительно краткосрочными, а другие долгосрочными. Краткосрочные задачи — в основном они могут быть решены за считанные годы — требуют более или менее широкого использования зарубежного, в первую очередь западного, опыта. Добиваясь, например, резкого повышения эффективности хозяйственной деятельности, естественно так или иначе ориентироваться на лучшие мировые примеры. О политико-правовой культуре я уже говорил. Намечаются радикальные реформы системы образования, научных учреждений и т. д., тоже в значительной степени опирающиеся на зарубежный опыт.

Все эти начатые преобразования — преимущественно структурного порядка. Они необходимы и вместе с тем недостаточны. Общество характеризуют не только структуры, но и дух, его пронизывающий. В годы сталинщины административно-репрессивный механизм имел много общего с соответствующими структурами древневосточных деспотий; сам по себе механизм этот был мертвенно-холоден, но в «винтиках» его — живых людях — еще сохранялись или старая христианская закваска, или новая революционная вера, или, наконец (что, наверное, не было редкостью), сочетание того и другого. Мнение поэта о том, что «Рабы, влачащие оковы, Высоких песней не поют», в данном случае не оправдывалось. Рабы не знали о том, что они рабы, и пели «высокие песни»; в обществе существовала (особенно в тридцатые и военные годы) своя «музыка». Теперь же мы можем столкнуться с прямо противоположной ситуацией: вновь созданные общественные структуры будут действительно отвечать требованиям времени (поскольку таковые могут быть уловлены), а вместе с тем ни «высоких песней», ни какой-либо вообще «музыки», заслуживающей этого имени, в обществе не будет.

Чтобы структурные преобразования стали по-настоящему успешными, должно совершиться нравственное преображение общества, а это задача долгосрочная, на решение которой уйдет, наверное, не одно десятилетие. Не могу представить, чтобы оно стало возможным без возрождения — на каком-то новом уровне — духовно-нравственных традиций, в лоне которых воспиталось все лучшее, что когда-либо было в нашей стране (и к которым все меньше приобщаются, скажем, через бабушек и дедушек, а все больше — через посредство литературы). Нам нужно не музеефицированное прошлое, а живое — участвующее в настоящем. Не восстановив связь времен, обрубленную сталинским топором, мы останемся страной, обокравшей не только саму себя, но и мировую культуру, давно уже недополучающую от наследников Толстого и Достоевского того, что с них «причитается».

Вячеслав Курицын

О ЧЕМ ДУМАЕТ «САПЕРНАЯ ЛОПАТКА»?

(АФГАНСКИЙ ОПЫТ: ПЕСНИ, СТИХИ, ПРОЗА)

В один из дней жаркого лета восемьдесят девятого, когда на Съезде народных депутатов кипели отчаянные дебаты о грузинских событиях, а солдат и академик спорили об Афганистане, мы гуляли по Свердловску с прозаиком Александром Иванченко и вышли к месту, где еще несколько лет назад стоял дом инженера Ипатьева. И как-то, видимо, соотнеся съездовские дебаты и здешний расстрел в июле 1918 года, Александр медленно произнес: «О чем думает голова, пробитая саперной лопаткой, вот что надо писать...» С тех пор — зайдет ли речь о Грузии или об Афганистане — я неизменно вспоминаю эту фразу. В ней, на мой взгляд, скрыто главное противоречие «новой военной литературы».

В одном журнале прозвучал такой примерно вопрос: «Ждать ли нам великих произведений о войне в Афганистане?» Мне такой подход кажется потребительским, что ли, и слишком утилитарным, в той мере, в какой возможно назвать утилитарными гипотетические эстетические приобретения. Говорить об этом как бы рано и как бы некстати: слишком близок еще запах крови и слишком много этических проблем поставила перед нами девятилетняя «спрятанная» война.

Именно этические проблемы требуют теперь обсуждения и разрешения еще и потому, что проблема вины (вины «винтика» и вины руководства, вины «саперной лопатки» и вины руки, поднимавшей эту лопатку) остается едва ли не самой больной точкой наших литературных, исторических и социологических споров.

И сегодня, учитывая сугубую взрывоопасность материала, помня, что академик, поплатившийся за выступления против ввода войск, оказался из-за одного неосторожного слова «врагом» воинов-интернационалистов, помня о том, какое жестокое отношение к «афганцам» можно встретить сегодня в обществе (два схожих примера: в повести Сергея Дышева «Да воздастся» директор ресторана бросает официантке — «Афганцы» эти злы как псы...»; в рассказе Олега Хандуся «Он был мой самый лучший друг» буфетчица кафе говорит: «Он вроде как служил в Афганистане... Иногда я его боюсь — такой убить может»). Помня обо всем этом, можно, наверное, и нужно в рассуждениях этическое и эстетическое «развести», пусть не слишком; не забывая об их общей природе, но развести, говорить по возможности отдельно, дабы дополнительно не запутывать и без того сложный вопрос.

Тем более что и сама этическая проблема дробится в моем понимании на два плана. Есть по крайней мере две точки зрения: одна — нашего общества, жестоко пострадавшего на чужой войне, другая — это общечеловеческие приоритеты, моральные абсолюты, для которых равновелика цена жизни душмана и советского паренька. Жизни обоих бесценны.

Вот об этом я и попытаюсь говорить, анализируя произведения С. Дышева («Юность», 1989, № 8), Ф. Ошевнева («Литературная учеба», 1989, № 4), О. Ермакова («Знамя», 1989, №№ 3, 10; «Новый мир», 1989, № 8), А. Проханова («Москва», 1989, № 1), О. Хандуся («Урал», 1988, № 1), поэтов-«афганцев».

С первым планом проще (не менее больно, но проще). Очевидно, что общество должно дать «афганцам» и десяткам тысяч осиротевших матерей и детей все, что оно дать способно. Разумеется, совершенно однозначен вопрос об отношении, скажем, к волоките, возникающей при обеспечении «афганских» госпиталей оборудованием, или к нашей отечественой дури: когда, например, солдат оказывается обязанным расплачиваться (!) за утерянное в боях оружие. Съезд народных депутатов объявил амнистию всем, кто совершил, воюя в Афганистане, преступления, наказания за которые предусмотрены нашим законодательством. Недавно я говорил с одним «афганцем», который не был согласен с этим решением. «Ты не знаешь, что там было. Там делалось такое, за что прощать нельзя». Но я не знаю и другого, ежеминутной смертельной опасности, свиста пуль, жажды в пустыне, изуродованных тел друзей. Мы — общество — этого не знаем. Мы не испытывали таких ударов, чтобы решать из своих мирных квартир и кабинетов: кто, насколько, как и почему преступил закон?

«Вас здесь не стояло» — об этих словах Ахматовой вспоминает Наталия Ильина; так Анна Андреевна ответила на признание Ильиной в том, что она поддержала, по неведению, известное злобное постановление... Нас там не стояло — нам трудно судить тех, кто там был. В повести С. Дышева два бойца струсили идти на боевое задание: товарищи, конечно, не могут отнестись к этому спокойно, но и особой злобы в их реакции нет. Они знают, какие возможны срывы.

В одном из стихотворений Александра Карпенко (сборник «Разговоры со смертью», «Молодая гвардия», 1989) афганский — дружественный — комбат говорит:

—...Где-то там, у душманов,
воюет мой брат.
Завтра встречу я, может быть, брата.
Чует сердце, он в эти
подался края.

Он, конечно, не прав, только все же...
Не прощу себе я, если пуля моя
Эту жалкую жизнь уничтожит.

Здесь, кажется, речь идет о прямой смертельной вражде. И, однако, такие слова. Значит ли это, что история все же чему-то учит и даже на кровавой войне возможен такой этический посыл: кровные связи — это кровные связи, несмотря на... Несмотря ни на что. Простая формула, в отрицании которой погибли Тарас Бульба и Павлик Морозов,— они ушли из жизни с несчастными душами: запятнанными кровью родных и не успевшими принять очищение... Скажу, впрочем, забегая вперед, что процитированные строки, к сожалению, не показались мне характерными для Карпенко.

И, наконец, Александр Проханов, с именем которого у многих связано что-то вроде прочного имиджа «буревестника афганской войны» и «барда непримиримости». Признаться, я был рад поколебать в себе этот стереотип по прочтении новых вещей Проханова. В рассказе «Родненький» прапорщик-продовольственник Власов — то, что принято называть «крысой»: ни в какие бои, понятно, не ходит, трескает крабов и икру, запивает водочкой, а отправляясь с вертолетчиками сбрасывать сухпаек в район боевых действий, сожалеет: «Опять по «телеку» хороший фильм пропустил». Личность, так скажем, малоприятная. Но после того, как эта личность попадает в огонь, а потом и в плен, после того, как она — совершенно неадекватно образу «крысы» — ведет там себя, после того, наконец, как Власова оскопляют душманы, Проханов не может кинуть камень в своего героя. И — что самое главное — не только потому, что он искупил вину кровью.

Итак, сами участники войны и свидетели (Проханов не был солдатом, но часто бывал в Афганистане) не спешат вершить суд над оступившимися (брат афганского комбата — он тоже «оступившийся»). Тем более нет этого права у нас.

Обращаясь к такой деликатной теме, постоянно приходится оговариваться. В частности, чаще, чем при работе с «мирным» материалом, разъяснять свою позицию. Так, сразу хочу ответить на возможный вопрос относительно А. Проханова: если кажется, что его последние работы нравственно интонированы иначе, чем старые (об этом речь еще пойдет), то не стоит ли порассуждать о том, как двусмысленна, мол, смена позиции при перемене направления «ветра времени». Я уверен, что не стоит. В контексте афганской темы особенно важно оставить подозрительность, счеты и тому подобные привходящие вещи. Тут очень легко обжечься, потому я, когда буду говорить о тех, кто, по моему мнению, «обжегся», вовсе не собираюсь вменять им это в вину.

Возвращаясь к обязательствам общества перед «афганцами», надо сказать, что функции, связанные с этими обязательствами, «афганская» литература выполняет по максимуму. Она — стихами и песнями, повестями и рассказами, любительски и профессионально — напоминает, говорит, что было там, где нас не стояло, повествует о боях и перестрелках, о диких пытках, которые выпали на долю наших парней, о смертельной жажде... Эта литература (тут можно не персонифицировать, сказать о ней, как об общности) активно давит фактурой, страшным материалом: смотрите, читайте, что было с нами там, пока вы здесь... Вот, кстати, единство этики и эстетики: нравственная цель (показать, что делала с ними война) вполне адекватна художественному приему.

Все же — вина руки и вина саперной лопатки. Ну, с рукой, с волей тех, кто бросил через границу войска, казалось бы, все ясно. Акция нашего тогдашнего правительства открыто названа преступной (перессорились с половиной мира), политическое и моральное ее осуждение официально прозвучало на Съезде народных депутатов... Да и при чем тут, господи, Съезд: несколько человек пошушукались и решили, что нашим ребятам надо идти убивать людей и умирать самим, какие тут еще могут быть сомнения. Оказывается, могут.

В большинстве «афганских» текстов на энергетическом уровне чувствуется влияние какой-то злой воли, вбросившей пацанов в войну. Но вот с конкретизацией этой воли — проблемы. Да, в одной повести упоминается «движение бровей», превратившее вчерашних пэтэушников и студентов в «пушечное мясо». Да, на опубликованной журналом «Юность» репродукции картины художника Г. Животова на фоне боя холодно застыла внизу «скульптурная» группка: бледно и зловеще выступающие из темноты лица Брежнева, Суслова, Громыко... На одной из «подвальных» выставок мне довелось как-то увидеть полот-

но, где марионетками-бойцами (и нашими, и душманскими) манипулировал, ловко тягая ниточки, некий мужчина с совмещенными чертами лица нескольких бывших советских руководителей, в том числе и весьма давних. Обобщение, в общем, логичное: не конкретный Брежнев занес лопатку — десятилетиями пестуемая система. Надо было расстрелом детей в горячей екатеринбургской ночи задать такое отношение к человеку, чтобы было затем естественно посылать его гибнуть на чужую землю.

Вопрос трудный: очевидность «злой воли» с одной стороны и очень немногочисленные примеры, подобные только что названным,— не говорит ли это о нежелании признать вину нашей системы как именно системы? В обширном сборнике «афганских» песен (вообще-то самый показательный жанр) на это почти и намека нет. Так кто же виноват?

Кто, например, виноват в страшном исходе жизни героя повести Федора Ошевнева: герой ее потерял в плену руки и ноги, долгие месяцы мучений в «льготной» квартире, дикая боль от осознания бессмысленности существования, голо вой — об пол, полужизнь-полусмерть... И... страстное желание женщины. Отец, унижающийся перед проституткой, умоляющий ее прийти... «...Делала свое дело, словно ежедневную, надоевшую работу... Молча встала, молча оделась. Молча ушла, даже не прикрыв меня одеялом». Но это цветочки.

«Билетик на повторный сеанс купить не удалось. Слишком много запросила та женщина, раскусив выгоду ситуации. Не договорившись с нею, вернулся домой отец, и тогда скрепя сердце к женщине поехала мать.

Увы, она тоже вернулась ни с чем. Но как только мать увидела меня, не выдержала и солгала:

— Потерпи до завтра, она приедет. Ей нужно было выиграть время.

Я, знавший, что мать никогда не лжет, возликовал в душе и почти всю ночь не спал, распаляя свое воображение.

Утром, проводив отца на работу, мать разделась в своей комнате и пришла на мою половину.

Она встала в трех шагах от кресла-качалки и, глядя поверх моей головы, тихо сказала:

— Сынок... Может быть, я смогу помочь тебе?»

На уровне ситуации, на уровне напряжения материала — за гранью литературы. Следующий шаг — если он возможен — должен быть, очевидно, прорывом в душу: что с ней происходит вот в такие моменты?. Впрочем, как-то кощунственно звучат любые рассуждения в связи с уже запредельным случаем.

Вот ситуация — и кто в ней виноват?
Неужели не тот, кто отдавал приказ?

Если Родина приказ
Вдруг отдаст нам необычный,
Как и в прошлом, есть у нас
Опыт службы заграничной.

Эта и несколько следующих цитат — из песен, собранных Петром Ткаченко; из тех песен, что действительно пели наши солдаты. Отношение «саперной лопатки» к поднявшей ее руке? В соседних (сборник «Когда поют солдаты», «Молодая гвардия», 1988) песнях плач по погибшим товарищам, а тут чуть ли не восславление тех сил, что послали погибать. И... готовность бить других. При всей боязни неосторожного слова трудно дать к этим строкам другой комментарий, кроме как: в них вполне отчетливо зафиксирован тот тип мышления, что, будучи перенесенным в плоскость политических решений, становится «имперским», а также — увы — тип массового сознания, позволяющего существовать и процветать имперским амбициям. «Раз надо Родине, мне надо» — немудреная, но до предела четкая формула Николая Кирженко. Нет, я не отказываюсь от своих слов о том, что не собираюсь судить. Авторы этих песен — дети нашей системы, представители нашего общества. Конечно, они не могут быть свободными от наших всеобщих заморочек. Они в конце концов именно что «дети»: молодые ребята, которых окунули в войну не откуда-нибудь, а из объятий нашей насквозь проидеологизированной системы воспитания и образования. Они — это мы. И все же: социальные и исторические причины перекосов сознания не отменяют их объективно зловещего смысла.

В горах у нас один закон,
один завет:
Коли-руби душманского бродягу.
И если не поймаешь в грудь свинец,
Медаль на грудь получишь за отвагу.

Исполним с честью Родины наказ,
Ведь мы солдаты, гвардии отряд.

Или: песня под названием «Афганская», по утверждению Петра Ткаченко, «по праву считающаяся своеобразным **гимном** (разрядка моя.— В. К.) среди песен этого цикла».

Бой гремел в окрестностях Кабула,
Ночь светилась всплесками огня —
Не сломало нас и не согнуло,
Видно, люди крепче, чем броня.
Дипломаты мы не по призванью,
Нам милей братишка-автомат,
Четкие команды приказанья
И в кармане парочка гранат...

Что же, это, к сожалению, действительно гимн И, вероятнее всего, трудно было бы ожидать иных позиций от детей нашей системы. Тем более что подобное говорят и далеко не дети. В первом, стартовом номере газеты «Побратим» (издание Союза ветеранов Афганистана) генерал-майор И. Рябченко представляет за благо ввод войск в декабре 1979-го. А литератор, главный редактор престижного издания «Библиотека поэта» Юрий Андреев противопоставляет в «Советской культуре» некий загадочный «негативный посыл» песен Галича «непоколебимо позитивным» песням воинов-«афганцев». Ну, речь не о Галиче. Но что такое «непоколебимая позитивность»? Вера в человечность, в добро? Этого, однако, нет ни в тех песнях, что вошли в сборники, ни в тех цитатах, что приводит Андреев. Вера в силу «саперной лопатки»? Увы, приходится думать именно так. Ибо Ю. Андреев утверждает, что «для «афганцев» Советская Россия — средоточие смысла их жизни» (напрашивается вопрос: что такое «Советская Россия»? Какая Советская Россия? Посылавшая своих детей за смертью в Афган? Или просто — родина?), а главное: в их песнях — «культ благородства своей страны». Не верите — посмотрите газету за 19 августа 1989(!) года: так и сказано. А я хотел что-то говорить о вине «саперной лопатки»... Оказывается, «благородна» и поднимающая ее рука...

Так, напомню, в массовых песнях, что звучали после боев. Так или почти так в стихах и прозе Ю. Кирсанова, Б. Куценко, Я. Ицкевича, В. Светикова, В. Вовзовикова, В. Верстакова (герой которого сравнивает себя, афганского солдата, с дедом, воевавшим за свободу **своей** земли).

Я обещал вернуться к стихам Александра Карпенко, известного по публикациям во многих изданиях, автора книги «Разговоры со смертью». Здесь тоже достаточно велика доля стихов о страдании, о том, как круто обошлась афганская война с русским солдатом, о том, что солдат, несмотря ни на что, выполнил свой долг с честью: «Уходят, сделав дело, мавры, Оставив память о себе». И какую память? «Но мы из этих смертных петель, Как птица Феникс, поднялись». Поднялись — на что? Нет, у Карпенко нет грубого воспевания азарта войны, двусмысленных параллелей с Великой Отечественной. У него иное: экзистенциальное оправдание, духовное обеспечение и праведности войны, и благородства «лопатки», и того самого имперского самосознания. Одни «мавры» чего стоят...

То ли блудные дети,
а то ли мессии,
Из горящих песков
мы вернулись в Россию...

Вот, пожалуй, ключевое слово — мессианство. Примат воли, уверенность в космической правоте, в праве определять за других, как им жить (в праве, например, на революцию, на переделку общественного строя по собственному разумению, на агрессию, на решение судьбы чужого правительства, на переселение целых народов, на конституционное закрепление своего превосходства — мало ли еще на что!). Сегодня много говорится, что возвратившиеся из Афгана солдаты — самая реальная сила обновления общества. У них, дескать, **воля** и опыт борьбы. «На местах не всегда придают значение боевому заряду, духу наших «афганцев», не используют их патриотизм в работе с молодежью»[1] (В. Паринов, «Золотой фонд», «Побратим», № 1). Нередок такой мотив и в «афганских» песнях. Так и хочется крикнуть вслед за обозревателем одной из центральных газет, сказавшим в день окончательного выхода войск из Афганистана: «Вольно, ребята... В мирной жизни — другие законы». То есть они должны быть другими...

Но:

И в этой странной стороне,
Предвестник озарений ранних,
На красно-огненном
коне
Появится
творящий странник —

вот апофеоз гордого, спокойного, волевого, уверенного в себе мессианства. «Творящие странники», «творящие всадники», испокон веков колесившие по дорогам Земли, явились в Афганистан...

Чего никак нельзя обойти: мессианство Карпенко получается якобы русским мессианством. В его стихах — знакомая поэтика, так сказать, «боевого колокола» (по аналогии с боевой трубой), явные ассоциации со странно освоенной сегодняшними «патриотами» «русской идеей», с упрямой убежденностью в особом пути России и в особом ее предназначении. Здесь не место толковать о действительном наличии или отсутствии этой «особости». Но в исполнении Карпенко она оборачивается недоброй стороной, предстает в весьма неприглядном виде. Но не надо, конечно, равнять мессианство с «русскостью», и только с ней; оно — чувство вот именно что интернациональное, вненациональное, от него самого и от его апостолов не застрахован ни один народ: он может стать «лопаткой», а может и «головой»...

Вопрос о том, что же выступает «верховной виной», в такого рода текстах остается без ответа. Нет, не Родина, которая, собственно, в данной ситуации по большому счету лишь конкретно-исторический псевдоним такого лежащего вне даже политических систем мироощущения, когда возможным считается «прогрессорство» (пагубность которого ярко

---

[1] А. Жданок приводит в «Даугаве» (№ 11, 89) цитату из «Единства», органа Интерфронта Латвии. Стихи о первом депутатском Съезде: «Сквозь налипшую копоть глянца Агрессивно звонких речей Свалит пулею речь афганца Доморощенных басмачей». Басмач — Сахаров. Нет, я не хочу сказать, что эти строки как-то передают мысли наших «афганцев»: я уверен, что большинство из них отнесется к этим «стихам» как к провокации. Речь о другом: «афганцев» кто-то не прочь так вот использовать.

выявлена в книгах освободившихся от шестидесятнических иллюзий Стругацких), «творящие странники», «экспорт революции». Что же, виновник — афганская оппозиция? Конечно, неприятных слов в ее адрес эта литература произносит много, но для мессианства противник — существо низшее, недостойное быть вершителем судеб.

И приходится выдвигать странное предположение, что собственно «виноватых» в бедах наших ребят для этой литературы не существует. А существует некая верховная воля, определяющая ход событий и направляющая «творящих странников» в «горячие точки планеты». А странники, в свою очередь, лишь выразители этой верховной воли. Впрочем, что значит «лишь»? Выразители, богоизбранные, мессии. Достаточно, между прочим, популярная космогония, насквозь пропитанная революционным романтизмом. Военный романтизм — одна из его разновидностей: воспевание воинской доблести и солдатской чести безотносительно к справедливости (несправедливости) войны, к каким угодно другим нравственным категориям[1]. «Литературные способности плюс выработавшийся характер — это серьезный боезапас»,— пишет Евг Долматовский про поэта-«афганца». Лексика, адекватная мироощущению: «боезапас»... Тоже своего рода романтика. В афганских песнях, кстати, вообще нередко воспеваются орудия убийства — КПВГ, АК, ФАБ-500. П. Ткаченко умиляется параллелям со старинными богатырскими песнями: «Только вместо коня — бэтээр, вместо сабли и копья — акаэм». Вот именно — *вместо*. Но чему умиляться?

Да, «верховной вины» нет, есть абстрактный воинский долг, есть *предназначение*. Отсюда и частая интонация «Нате!» — я уже говорил о том, как подается страдание, на перенапряге материала, некоторым даже и *укором* обществу — тем, кто там не был.

Отсюда же — и отношение «лопатки» к «голове». Чувствуя тяжесть собственных ран, «лопатка», увы, не в состоянии понять, что происходит с теми, на кого обрушился ее удар. Афганский народ, «другая сторона» в большинстве публикаций (мне приходится читать довольно много неопубликованных рукописей разного типа, часто встречаются и «афганские»: картина та же) — нечто, не особенно интересное нашим авторам. Редко-редко мелькнет кукольная женщина или кукольный мирный крестьянин: где-то на периферии сюжета, в придаточном предложении, в очень необязательном ключе. Изредка высветится ненадолго крупным планом страшное лицо душмана-палача. Упоминания в стихах и песнях: «все душманы попрятались в норы», «а там таится враг», «коли-руби душманского бродягу», «стереть душманов в порошок». Наши авторы не всматриваются в их лица (и тем более не пытаются заглянуть в душу). Враг он и есть враг. Вопроса о том, кто ты для него, как он должен встречать чужака, пришедшего с мечом на его землю, почти и не возникает. В этом смысле «старшая» литература, литература о Великой Отечественной, где в последнее время все чаще можно встретить искреннюю жалость к немецкому пареньку, выполняющему приказ взрослых сволочей, решает нравственные коллизии иначе. В одном случае — понимание человека, которого послали убивать (и у него в Германии остались мать и невеста), в другом — нет даже попытки понять человека, решающего свои проблемы на своей земле (у него, может быть, все родственники уже унесены этой войной).

Вот первая фраза повести С. Дышева: «Солнце здесь чужое и злое». Афганская природа вообще активно враждебна к нашим ребятам. Ну, а на какой другой прием мог рассчитывать тот, кто пришел с мечом?

«...стал изрыгать проклятия нечеловеческому зною, невыносимому климату, всему этому богом забытому Афганистану, который столько уже унес жизней и исковеркал судеб... Он клял «борцов за ислам», моджахедов...» Или такой пример: презрительное отношение к «четырнадцатому» веку, в который пришлось попасть из двадцатого. Но сколько советский солдат, представитель цивилизованного двадцатого века, в этой «богом забытой» стране унес жизней и исковеркал судеб?

Повести Ф. Ошевнева предпослан эпиграф: «Потери советской стороны в Афганистане на начало мая составили: убитыми — 13 310 человек, ранеными — 35 478 человек, пропавшими без вести — 311 человек». Да, но... Вот кто ответит: правда ли, что в этой войне погиб *миллион* афганцев? Именно эта цифра летает в эфире, появляется иногда в нашей печати, но официальных данных, насколько мне известно, не сообщалось. Миллион. А их, жителей Афганистана, этой «забытой богом» страны, всего-то меньше двадцати миллионов. Вот так — каждый двадцатый... Вот эту, чужую боль, можно ли почувствовать? Можно ли понять, что она не «чужая», ибо человеческая?

Ю. Лощиц пишет в «Литературной учебе»: «...представить себе подлинную картину последствий войны: сегодня в наших городах и селах живут, вернее же, томятся своим обездоленным существованием тысячи ее жертв». А сотни тысяч, что томятся по их кишлакам, трупы их детей и старух — что, к последствиям войны не относится?

Это все к вопросу *о правде* афганской войны... Что думает голова, пробитая «саперной лопаткой»?.. Да, был приказ, а приказы не обсуждаются. Но

[1] Культура (не как совокупность проявлений, а как прогрессирующая система) давно, казалось бы, сделала выбор между двумя древними архетипами — мужчины-воина и мужчины-строителя, творца. Увы...

как, кстати, сказал А. Карпенко: «все не спишешь на приказ». Совесть, например, не спишешь на приказ. А потом, только ли по приказу?

Как же выглядит он, советский воин, в большинстве произведений об афганской войне? Сейчас, конечно, нас уже не кормят сказками, подобными той, что рассказывалась в одной из первых громких повестей о «неучтенных взаимоотношениях» в Советской Армии: солдаты там, открыв рты, слушали повествование командира о том, как дружен «ограниченный контингент», как «дембеля» готовы идти на смерть вместо молодых... Сейчас об этих проблемах говорится вполне открыто. Один из героев документальной повести Артема Боровика «Спрятанная война» (я использую ее не в качестве объекта анализа, а в качестве, что ли, свидетельских показаний) рассказывает: «В моем подразделении служили два казаха. Они ненавидели меня уже за одно то, что я москвич, били по-черному. До потери сознания и чувства боли. И приговаривали: «Служила тут до тебя одна русский — тоже с Москва. Мы его перевоспитывай, как и тебя, потому что дурак, скотина! До тебя русский скотина ушла к душманам. Мы тебя перевоспитывай — ты тоже уйдешь!»... Это про них написано: «солдат, праведно названный в народе интернационалистом»?

Обратимся, однако, к свидетельствам не документальным, а художественным. Вот рассказ Олега Ермакова «Благополучное возвращение». Благополучно возвратиться — это значит остаться живым, заболеть перед самым отлетом домой, проваляться в санчасти, когда все друзья уже дома, вернуться в роту и попытаться переночевать на своей койке... И вступить в смертоубийственную драку с новым хозяином койки, «дедушкой» Хмызиным. «Хмызин дернул левым плечом, отвлекая взгляд Оршева, и правой ударил сбоку и угодил кулаком в висок. Оршев качнулся и побледнел. Хмызин ударил в живот, но Оршев успел закрыться. Хмызин опять рубанул правой, надсадно кхакнув,— Оршев отбил и этот удар... Хмызин распалился, стал неосторожен и был удивлен, и все были удивлены, когда он оказался на полу. Хмызин вскочил, мотая головой и разбрызгивая червонные капли, и Оршев тут же саданул локтем по его скуле — слева, а справа припечатал щеку кулаком...» Нет, вот так отойти и посмотреть откуда-нибудь со стороны, с той стороны, где еще остались какие-нибудь нормальные человеческие ощущения: о чем это? Вовсе, кстати, не исключено, что парой месяцев раньше они вместе ходили в атаку и один прикрывал другого.

Но, если так со своими, то что же тогда говорить о чужих? Может ли в таком случае «саперная лопатка» вообще понимать, что перед ней человек? Вот еще две цитаты из документалистики Боровика — продемонстрировать ту невыгодную для героизации солдатского долга фактуру, что пока с явным трудом пробивается на страницы художественных произведений.

«Командир батальона подполковник Ушаков приказал стрелять в духов, мирных не трогать. Но я духов не видел. Стрелял по тем домам, в которых предполагал, что они есть... Полковник Анненко, приехав к десантникам, схватил АК и стал косить с бедра спускавшихся на дорогу людей... «Они Юрасова пощадили?! Теперь, что же, я буду их щадить?!» Здесь Анненко так и прозвали: «Наш Рэмбо». Эдакий Тарзан Иваныч... А номер на своем БТРе все-таки стер: чтобы духи не опознали. Комбата же нашего он возненавидел за то, что Ушаков дал приказ в мирных не стрелять. Только по духам». Это — раз.

И — два. Три дружка «здорово напились браги. Захотелось им «гаша» и барана. Пошли в соседний кишлак. На дороге повстречали старика. Ну, они бухие... Словом, хрясь его по голове — аж у автомата цевье отскочило... Деда в кусты затащили и пошли дальше. Добрались до кишлака, зашли в дом. Там женщина. Начали ее насиловать, та орать. Выскочила сестра. Молодцам не оставалось ничего другого, как заколоть тех баб. Зашли в следующий дом. Там дети. Солдаты открыли по ним огонь из АК. Всех уложили, но одному удалось скрыться».

(«...если Родина приказ Вдруг отдаст нам необычный.»)

«...Панченко потом на суде говорил, что по пьянке не заметил пацана, потому, дескать, и не удалось его прикончить... Они раскаивались лишь в том, что не прикончили парня».

«Ротный тогда пришел к нам и сказал: «Вот видите, братва, три дурака попались. Делайте, что хотите, но не попадайтесь!»

(«...культ благородства своей страны.»)

Так вот — к *этой* фактуре, к описанию того, что происходило уже не с нашими бойцами, но и с головой, на которую опустилась «саперная лопатка», «афганская» литература обращается не часто. Почему, в общем, понятно. Вряд ли из сознательной установки скрыть всю правду, скорее из инерционной ориентации типа: свое болит сильнее. Так, что нет сил представить, насколько больно развороченной голове.

Теперь пора сказать о редких и от этого особенно ценных исключениях. И в частности, о рассказах уже упоминавшегося Олега Ермакова. Дебютировав в 1989 году тремя публикациями в толстых журналах (напечатано рассказов на небольшую книжку), он сразу был замечен. И потому, что его произведения несут вот эту неуютную для национального самосознания правду (другую часть правды о спрятанной войне). И потому, что они нравственны. В них

не только осуждение руки, поднявшей «саперную лопатку» (это ясно, это фоном), и не только страдания человека, выдернутого из мирной жизни. Он, например, включает в цикл «Афганские рассказы» лиричный текст о том, как юноша и девушка уехали на мирных велосипедах на Кофейные пруды, на Лисий холм, на Рыжую гору. «Она сидела и следила за полосатыми толстыми шмелями. Шмели садились в одуваны и бродили в тычинках, как в желтом мягком лесу, шмели нектар сосали». Мирная природа как фон, на котором и происходят все войны. Как главное, как точка отсчета и точка зрения. Мирная жизнь — как настоящая жизнь в противовес широко и шумно бытующему представлению о «школе войны» как о «настоящем».

И еще в рассказах Олега Ермакова — осознание вины. Нет, не в тех бессмысленных и беспричинных зверствах: пошли — убили. Это за гранью обсуждения, за гранью осуждения даже. А и в осмысленном, в оправданном ситуацией и приказом начальства выстреле в живое. Стрелял — виноват. Да нет, не перед Родиной. Не перед товарищами. Перед собой.

Рассказ «Крещение» — нравственное и физическое вхождение в кровавую купель, первый бой двух солдат — Костомыгина и Опарина. Для Костомыгина бой — последнее звено в цепочке постижения жестокого военного уклада, жестких военных структур. Опарин же жалок, он пресмыкается перед старослужащими, заглядывает им в глаза, стремится всячески угодить... Конец операции удачен: Костомыгин и Опарин имеют возможность в спокойной обстановке, в окружении сослуживцев убить первых своих (безоружных) афганцев. Костомыгин стреляет, а потом всю обратную дорогу курит сигарету за сигаретой на дне БМП... «Ему хотелось, чтобы сердце остановилось сейчас»... Опарин стрелять отказался. По возвращении в часть он, разумеется, был жестоко избит, он, быть может, попытается дезертировать или покончить с собой; словом, вряд ли он вернется живым, если не повезет получить удачное ранение... Мне в этом сюжете вот что кажется важным: оба молодых солдата выступают тут носителями нормального нравственного чувства, основанного на понимании неестественности любого убийства. Но разные темпераменты, характеры, разные понятия о долге и совести не дадут им найти друг в друге поддержку. (Ну, известно, что умные и честные, например, всегда объединяются труднее: у них больше разногласий.) А война, зло во всех его проявлениях — выступают единством, способны раздавить нравственность почти в любой, наверное, душе... И, может быть, с десятого раза Костомыгин нажмет на спусковой крючок совершенно спокойно. И еще зарубку сделает на прикладе... У меня нет права судить: «убил — не убил». Война. Речь о другом: о сохранении этого самого нравственного посыла, когда из тебя ежечасно его вышибают.

Не так уж важно, что в рассказе «Н-ская часть провела учения» пулеметчику Гращенкову не позволили перевязать раны пленному душману: когда Гращенков ослушался запрета и направился к раненому, его опередила автоматная очередь. Это ясно, другого, наверное, не следовало и ожидать. Но важна сама возможность появления такого порыва.

Тут же редчайшая для нашей «афганской» литературы, но вполне логичная в этической системе Ермакова попытка почувствовать боль врага, боль человека, на которого ты обрушил лопатку. «У пленного зудели и горели раздробленные кисти. Ему мерещилось, что руки грызут стаи мохнатых фаланг. Фаланги рвали своими загнутыми клещевидными зубчатыми челюстями кожу, мясо, сосуды и хрящи. Их было много, своей тяжестью они тянули руки книзу»... Причем попытка передать эту боль в гипотетически афганском ощущении: боль русского солдата вряд ли сопровождалась бы ассоциацией с фалангами (членистоногая пустынная мерзость). Боль услышана. Для меня лично это главное этическое приобретение «афганской» литературы, мощный нравственный посыл, без которого невозможны и эстетические удачи.

Было бы несправедливо говорить, что О. Ермаков в этом первый. У его повестей и рассказов был, на мой взгляд, предшественник — небольшой рассказ другого Олега, Хандуся, опубликованный в «Урале». Рассказ заметили, о нем писала критика, но он все же неизбежно воспринимался ею в контексте «экспериментального» номера «Урала», ориентированного больше на новые формы. В дальнейшем Хандусь не поспешил с напоминанием о себе (или, может, не поспешили журналы). Потому нужно вспомнить, что именно этот рассказ первой же своей фразой давал совершенно иное впечатление о действии наших войск в Афганистане, нежели до сих пор это представлялось печатью: «Потом уже нравилось врываться в чужие дома, сбивая прикладом замки, выламывая ударами сапога ветхие двери. Да что там! Просто стоять посреди улочки, возле пестрых лавок, уверенно расставив ноги, задержав пальцы на холодном металле автомата. Чувствовать на себе боязливые взгляды дехкан. В этом было нечто упоительное, пьянящее...» ...Психология ощутивших свою безнаказанность, культ силы, причастность к праву прогрессора, служение абстрактному (внесистемному, вненациональному) божеству войны. Самим фактом признания этого Хандусь это и преодолевает. И у него — рельефно явленная чужая боль, но не боль вражеского солдата, а...

«В центре комнаты, в мятом алюминиевом тазу, сжался смуглый младенец — только что тлевший и еще теплый уголек. Рядом, поджав под себя костлявые ноги и неестественно вывернув в нашу сторону желтую ладонь, замерла старуха. Может быть, в момент взрыва она собиралась купать новорожденного, а сейчас, казалось, молилась, уронив зачем-то голову в таз. Ее старая кровь, собирая в пучки редкие волосы, лениво стекала на дно и, смешиваясь там с младенческой юшкой, через рваное отверстие в тазу выходила наружу. В дальнем углу, под белой с пятнами простыней, вздрагивало тело молодой матери. Еще не растворившийся румянец блуждал по ее усталому лицу».

Здесь — тот же прием, агрессия материала: нате! смотрите! Но уже — не только «что было там с нами», а и то, «что там делали мы». Согласитесь, совершенно иная нравственная основа.

Друг повествователя Лешка отправляется к душманам «договариваться»: «Люди не могут жить по волчьим законам». Разумеется, и могут, и живут, и изуродованное Лешкино тело товарищи находят на берегу реки... Горчайший традиционнейший архетип: ценою жизни герой доказывает возможность нравственного поступка в ситуации, когда все — по волчьим законам; единственная возможная трибуна — крест. Что говорить о дикости такой ситуации... Но с креста-то — услышать сумеем?

И, наконец, не могу обойти еще один рассказ Александра Проханова — «Мусульманская свадьба». Не касаясь сюжетных перипетий, скажу о главном: нравственная основа рассказа — признание одинаковой ценности враждующих миров, нашего и душманского (вообще афганского, но и душманского тоже — часть народа от народа не отделяется). Вот неожиданно бережное описание афганского праздника. «Навруз — Новый год, отмеченный пробуждением злаков, набуханием виноградных сахарных почек. Люди подходят друг к другу с дарами, с тихим поклоном. Кишлаки в сладком прозрачном дыму. Шипит на вертеле румяный кебаб. Дышит на блюде гора стеклянного риса. Льется в пиалы гранатовый сок. В каждом жилище воздают хвалу милосердному, любвеобильному богу. Испрашивают у него благоденствия, продолжения рода, цветения и плодоношения полям...»

И столь же доброе описание двух свадеб — мусульманской (которую волею сюжета расстреливают советские вертолеты) и русской. И та и другая одинаково прекрасны. И жизни — те и другие — одинаково ценны.

Военный переводчик Батурин, имевший к расстрелу свадьбы косвенное отношение, вдруг понимает, что «мертв, что его постигла гибель». Речь, конечно, идет о нравственной смерти, о гибели души человека, который (пусть невольно) творит злодейства на чужой земле. Но, если честно, о происходящем в этой вот выжженной афганской войной и неразрешимыми моральными проблемами душе нам пока эта литература не рассказала. В лучших вещах лишь подступы к этому, лишь внешние сигналы о том, что творятся в душах кошмары. И если говорить о возможности большой литературы, то она на этом пути, поскольку, я убежден, не всех, кто пережил афганскую трагедию и берется теперь за перо, удалось превратить в бездумные «саперные лопатки».

Мне осталось, возвращаясь к переплетенности этики и эстетики, заметить, что именно произведения с сильным нравственным полем (рассказы О. Ермакова) обладают и большей художественной силой; поэтому они и становятся литературой.

Вновь оговорюсь: ни в коем случае не хочу бросить камень в тех литераторов-«афганцев», кто не может преодолеть «психологию саперной лопатки». Не они виноваты: в таком уж мы живем обществе, такие мы. Семьдесят лет подавления человечности в человеке сделали свое дело. Американские ветераны вьетнамской войны возвращали награды, полученные за участие в кровавой бойне. Наши... пока нет. Но всему свое время.

И закончу цитатой из стихотворения Ларисы Васильевой (думаю, что женское сердце всегда страшнее переживает войну):

Будь я проклята, русская баба,
если мне безразлично, куда
сквозь чугунные пальцы Генштаба
утекают мужичьи года!

Будь я проклята, если желанье
помогать в оголтелой борьбе
подведет под закон мирозданья:
ни ему, ни себе, ни тебе!

Трубный звук материнского стона
почему заставляет дрожать?
Пусть засохнет бессмертное лоно,
лишь бы новых убийц не рожать...

г. Свердловск

Возвращение с продолжением

Прошу не оправдать, но понять тот, чего греха таить, скептический настрой, с которым я взял в руки и начал довольно вяло и снисходительно перелистывать первые выпуски новой книжной серии издательства «Юридическая литература» «Возвращение к правде». Привлекли они мое внимание прежде всего тем, что здесь собраны многие из нашумевших статей, еще недавно бережно вырезавшихся читателями из только что полученных газет. Но... как быстро летит время! Сейчас, когда мы позволяем себе усомниться в состоятельности проекта, по которому было выстроено наше общественное здание, когда взыскательным критическим оком отважно исследуем самые глубокие пласты истории нашего государства, еще одна книга «о беззакониях 30—50-х» кажется набившим оскомину повторением, если не наивным анахронизмом. Так казалось мне. Однако начав внимательно и вдумчиво, устыдился своей первоначальной легкомысленности.

Пора уже не только собирать факты, свидетельства беззаконий, воспоминания очевидцев — нужно создавать историю сопротивления народа тоталитарному строю. Мысль, что называется, не первой молодости, но ничего не поделаешь, до тех пор, пока свято место будет пусто, каждая новая книга на «эту» тему, вольно или невольно, осознанно или нет, будет примеряться читателем на эту роль, а попытки авторов отдельных статей «взять числом» будут обречены на неудачу, даже если из этих статей составить такой, например, сборник, как «Реабилитирован посмертно». Но поставить здесь точку значило бы отплатить черной неблагодарностью его создателям. Мы не можем писать историю, не осмыслив, а прежде не собрав фактов. Поэтому нам нужны подобные «материалы к биографии» нашего государства.

Читатель встретит на страницах книги имена Тухачевского, Косарева, Кольцова, Мейерхольда, Чаянова, других политиков и военачальников, ученых и литераторов, судьбы которых эпоха навеки соединила с эпитетом «трагические». Громкие «дела», известные фамилии, например, Федора Раскольникова, автора открытого письма Сталину (оно также публикуется в сборнике), а рядом — история обычного грузчика Ивана Демуры, одного из миллионов тех, кого годы террора отметили «лишь» тем, что сломали им жизнь. Рассказы об арестах, допросах, ссылках, процессах. Воспоминания очевидцев событий и размышления современных историков и публицистов, которые, думаю, равно будут интересны читателю. Но возможен и иного рода интерес.

Сегодня «апрельское» опьянение свободой пятилетней давности иногда кажется чуть ли не таким же далеким, как и первая «оттепель»: мы научились судить себя строже и требовательнее, чем весной 85-го. Но именно поэтому не любопытно ли через пять лет будет взглянуть на «моментальную фотографию», зафиксировавшую состояние умов по части общественно-политической в 1988-м году (именно этим годом датировано большинство статей, составивших сборник)? Да, фотографию и одновременно фрагмент **хроники нашего прозрения**, созданной как бы по горячим следам; последние страницы сборника словно только что выхвачены из-под пера, не останавливающего своей работы, окончание коей пока неразличимо в туманных очертаниях грядущего.

Как ни безнадежно искать «пружину драмы» в книге, которая сопротивляется этой литературоведческой операции всем газетно-журнальным многоцветьем своего текста,— рискнем. Здесь — если продолжать аналогию — драматический конфликт порождается не взаимодействием «героев», тех, **о ком рассказано**, а противостоянием голосов тех, **кто рассказывает**. Это не слаженный хор, но и не разноголосица, потому что все почти об одном, но каждый — по-своему. Разница тембров, диапазонов неизбежна и очевидна. В самом деле, как, например, Александру Мильчакову, бывшему Генеральному секретарю ЦК ВЛКСМ, бывшему начальнику Главзолота, репрессированному в 1938-м, не вступить в заочный диалог с нашей современницей, журналистом Евгенией Альбац? Его, уже в 60-е годы писавшего «в стол» без надежды опубликоваться, мучает мысль: «Ленин не допустил бы, Ленин рано от нас ушел. Ленин не смог дожить, проследить за исполнением его совета, ставшего «завещанием»... Ее, чья статья начинается буквально на следующей странице и носит подзаголовок «Заметки человека, родившегося после XX съезда», не оставляет ощущение, что среди причин террора 30-х годов — и «разрушительная сила разливанного моря крови» гражданской войны, «когда брат пошел на брата, а сын на отца, когда был потерян всякий страх перед чужой кровью и чужой смертью».

«Протест в отношении Ягоды не приносился» — такова лаконичная формулировка, венчающая Постановление Верховного Суда СССР от 4 февраля 1988 года об отмене приговора в отношении осужденных по делу о «правотроцкистском блоке». «Наверное, стоит пояснить, почему»,— читаем в «Заметках с Пленума...» О. Темушкина.— «Конечно, он не шпион, не диверсант, но его вина перед народом, партией в фабрикации многих дел неоспоримо доказана». Несколько лет назад вряд ли кто стал бы спорить. А год назад? «Одинокий Ягода, блуждающий среди томов дела о «блоке»,— комичен. И комичность эта унижает правосудие» — таково мнение Л. Овруцкого, чья статья «Мера закона и безмерность беззакония» также вошла в сборник.

Еще один драматический эпизод. Строчки из очерка Ан. Макарова «Дочь наркома»: «В должности главы Наркомпроса А. С. Бубнов сменил самого Анатолия Васильевича Луначарского. Шутка сказать! Можно вообразить, какую ответственность налагало это обстоятельство на нового руководителя культурного ведомства!» И новый руководитель вроде бы оправдал надежды: «Слово о Пушкине, произнесенное Бубновым в Большом театре (на вечере, приуроченном к 100-летию со дня гибели поэта.— **А. З.**) перед лицом лучших людей страны, получило всесоюзный резонанс. ...бубновский доклад воспринимался как суждение большевистской эпохи, двадцатилетнего Советского государства». Постойте, но кто-то не согласен! Кто? Николай Григорьевич Баюков, герой романа Ю. Трифонова «Исчезновение». Даже сравнение с Луначарским его оппонент повторяет почти дословно: «... доклад очень глубокий, какой анализ, ничуть не хуже Анатолия Васильевича». А Николай Григорьевич «наливался угрюмостью». «Хуже! Анатолий-то Васильевич не заканчивал бы доклад словами: «Книги Пушкина накаляют любовь к великому Сталину».

Я далек от намерения, сталкивая лбами цитаты, раздавать призы за бóльшую или меньшую степень постижения истины, хотя само название серии — «Возвращение к правде» — невольно наводит на мысль, что хоть «возвращение» в идеале — для всех, но возвращаются-то не из одинакового удаления, а некоторые, как выясняется, и вовсе не уходили никуда. Кроме того, очень это все-таки личное и тихое слово — «правда», как ни приучали нас к его официальной восторженности. Так стоит ли продолжать традицию? Может быть, больше бы подошло спокойное «возвращение к норме»? Но это замечание в сторону. Если же вернуться к проблеме оценки пройденного за эти пять с лишним лет пути, то стоит и впредь помнить, что каждой следующей отметки не все участники движения достигают одновременно. (И это только в том случае, если движение считать однонаправленным.) Скорость подчас так велика, что есть определенная опасность для лидеров: в полном соответствии с законами физики за их спинами образуется неустойчивая область низкого давления. Они все настолько озабочены, точнее вынуждены быть озабоченными, тем, чтобы успеть отвоевать еще и еще один сантиметр очередной «зоны умолчания», что это обстоятельство может сыграть с ними злую шутку. «Поточность» разоблачительных материалов может вызвать и уже вызывает у части аудитории вслед за первоначальным шоковым интересом пресыщение, а затем не то чтобы недоверие, а скорее ту самую снисходительную усмешку, за которую я принес свои извинения в начале рецензии. Дело здесь не в чьей-то злонамеренности, а в неумолимом действии законов массовой аудитории, которую журналисты за последнее время, на свою голову, приучили к тому, что правда обязательно сенсационна. Но уже, кажется, вступает в работу «второй эшелон», «тяжелая артиллерия» — достаточно вспомнить работы А. Сахарова в «Вопросах философии», И. Золотусского, И. Клямкина, В. Шубкина в «Новом мире», А. Ципко — в «Науке и жизни» и других. Появляется надежда, что, ужаснувшись сталинским кошмарам, мы всерьез приступаем к анализу их первопричин.

При этом мы, конечно, понимаем, что не «осмысленные», не уложенные в концепцию воспоминания жертв отечественного тоталитаризма тоже не просто страшные сказки, которые рассказываются на ночь для приятного щекотания нервов или для удовлетворения элементарной потребности в политической сплетне. Ведь палачи были не только сталинские, но и брежневские, об этом — «Грустные заметки о крамоле и криминале» Льва Самойлова в январской книжке «Невы».

«По сообщению пресс-бюро КГБ, несколько месяцев назад управление КГБ по борьбе с идеологической диверсией упразднено»,— это редакционное примечание к «Грустным заметкам...» могло

«Реабилитирован посмертно». Выпуски первый и второй. 2-е изд. Серия «Возвращение к правде», М., Юридическая литература, 1989; Лев Самойлов. Страх. Грустные заметки о крамоле и криминале. «Нева», № 1, 1990.

бы закрыть тему. Да, одна из причин страха упразднена. Хочется верить, что навсегда, что уходит в прошлое беззаконие, сделавшееся привычным условием жизни. Но сам страх еще не умер в нас, еще сильны все его условные рефлексы, выработанные уходящей эпохой. Избавиться от них не так-то просто, но именно тогда наше прощание с несвободой может сделаться окончательным.

При чтении книги «Реабилитирован посмертно» снова и снова возникает желание спорить с одно- или двухлетней давности интерпретациями многих событий прошлого, и, скорее всего, с течением времени это желание будет усиливаться.

Что ж — политической конъюнктуре и положено быстро устаревать. А вот цифры, факты, документы... Например, данные об уровне образованности партийного руководства страны к началу 40-х годов, сведения о количестве и национальном составе репрессированных писателей, упоминание о массовых расстрелах бывших участников белого движения, добровольно пришедших на объявленную большевиками регистрацию, и т. д. Очень хочется надеяться, что такие книги, как «Реабилитирован посмертно», такие публикации, как «Страх» Л. Самойлова, непременно со всеми их «родимыми пятнами» прошлого, да и настоящего попадут в поле зрения тех, кто будет писать новую советскую историю, в том числе ее школьный вариант. Не историю бесконечных побед, а историю семидесятилетней войны, в которой воистину нет и не может быть победителей.

А. Зотников

От розги к свирели

Три столетия российской поэзии, обращенной к детям, уместились на шестистах книжных страницах очередного тома «Библиотеки поэта».

Это без вступительной статьи и комментариев.

Это без советской детской поэзии.

Когда-то Корней Чуковский подметил, что смену стилей русской лирики можно изучать по переводам «Слова о полку Игореве». Смену представлений о детстве Е. Путилова наглядно демонстрирует читателям собранного ею тома.

Мне кажется, что составительница очень точно поставила саму задачу этой книги, представив в ней не то, что традиционно понимается под «детской поэзией», а только стихотворные произведения, напрямую обращенные к маленькому читателю. Это значит, что перед нами не круг детского чтения разных эпох, включающий в себя и «присвоенные» детьми фрагменты вполне «взрослой» поэзии (вспомним хотя бы вступление в пушкинскую «Полтаву»), не антологические вершины или стихи о детях, а то, что самими авторами им предназначалось.

На первый взгляд столь субъективный подход может показаться странным. Ну, в самом деле, что нам до того, как думали о своих творениях их создатели? Предназначал или не предназначал Пушкин свое «У лукоморья дуб зеленый...» самым маленьким читателям — факт из пушкинской биографии, а не из истории детской литературы. Да и как-то обидно, что ни единой строки Пушкина нет в собрании, столь полном, почти академическом. Обидно «для человека с предрассудками», если воспользоваться пушкинским же выражением.

Но наука предрассудков не уважает, и, вероятно, правильно делает. Ибо, отступи составительница от такого принципа отбора, ей не удалось бы так последовательно и четко проследить исторически единую линию российской стиховой словесности.

И для человека, и для целой литературы отношение к ребенку — мерило зрелости. А значит, «субъективный фактор» не столь уж и субъективен, и важно отличать круг детского чтения от авторской установки.

Впрочем, открывается книга разделом, составленным, казалось бы, по-моему, антологическому принципу. Фольклорная поэзия для детей трудно датируется, зато представлена она вершинами. Это пролог к авторской детской поэзии, и составительница вполне корректно разделила народную детскую поэзию по жанрам, тем и показав конкретное ее многообразие: колыбельные, пестушки, потешки, заклички, считалки и жеребьевые сговорки, игровые, песни-диалоги и сказки в стихах, шуточные и небыличные песни, дразнилки, скороговорки, прибаутки. За каждым жанром — грань детского мира, богатейшая традиция и тысячи живых связей слова и быта.

Перелистаем почти наугад:

Плевелы от пшеницы жезл тверд
отбивает,
розга буйство из сердец детских
прогоняет.

Это из цикла «Нрав» «Вертограда многоцветного», последняя четверть семнадцатого века. Комментировать нравы и обычаи тут нет нужды: они суровы, равно как и сама стихотворная ткань. Вряд ли предки нуждаются в оправдании правнуков, и все же заметим, что сама суровость никак не самоцель, ведь она произрастает не от жестокости воспитателей, а от корня народного быта. Жезл, то есть цеп, еще претендует на роль наставника, и другие методы народного образования покуда не открыты.

Пройдет сто лет, и А. П. Сумароков в «Письме к девицам г-же Нелидовой и г-же Борщовой» зафиксирует прогресс в нравах:

Девицы, коим мать — Российская
Паллада,
Растущи во стенах сего преславна
града,
Где Петр
Развеял грубости, как некий бурный
ветр...

Иной век, и воздух в строке иной. Это надо читать вслух, и когда привыкнешь к архаике рифмы «Петр—ветр», осознаешь степень свободы и силу исторического рывка: «Наука с разумом соделала союз»!

Правда, свободы прибавилось, а дидактики не убавилось. Напротив, она теперь-то и торжествует по-настоящему. Только розга как средство вочеловечения и просвещения перенесена в другую, темную комнатку. И поэты ее более не сравнивают с твердым цепом.

В «Оде седьмой» М. Н. Муравьева речь уже не о жезле воспитующем, скорее о влаге остужающей:

Тщетна вся храбрость без науки
И без величия души:
Исправи ум, настави руки
И лишню буйность потуши.

Заметим: и сама буйность, следовательно, бывает и «не лишня» (речь все же о бранных подвигах и ратных свершениях). А на пороге — XIX столетие, и вот уже М. М. Херасков вздыхает о судьбе младенца:

Играй, дитя, играй в глазах у некой
мамки:
Верти кубарик твой, ставь
карточные замки.
Твой замок рушится, и ждет тебя
лоза,
Учительская ждет угрюмость и
гроза.

Это написано, когда Пушкин уже готовился к выходу из лицея (там-то телесные наказания отменены!), когда русская армия уже вернулась из Парижа, когда гвардейские офицеры уже разрабатывали планы решительного переустройства государственного порядка, а Польша принимала из рук Александра конституцию. «Лоза» — эвфемизм, но то, что за ним сокрыто, нетрудно извлечь из рифмующейся с ней «грозы». Розга еще не окончательно сгнила в лохани:

Где страсти царствуют, нет дней
безбурных тамо,
Младенцы на земле благополучны
прямо.

Осознание младенчества как земной нормы, как личного «золотого века», переживаемого каждым человеком,— это уже очень важный шаг и для взрослых стихотворцев, и для всего общества.

А ведь всего двадцать один год назад, в 1795-м, у П. И. Голенищева-Кутузова тот же конфликт взрослого и детского решался почти без труда:

О возраст радостный! о лета дорогие,
От коих так, как дым, бегут печали
злые!
Не чувствуешь ты бурь ярящихся
страстей.
(Придут они, придут, как выдешь
из детей.
Скачи теперь, играй, не зная
непогоды;
Когда же зрелые твои наступят
годы,
То, как невинен ты в младенческий
твой век,
Так в лета мужества будь честный
человек!

Значит, именно детские поэты открыли, что розга бессмысленна как воспитательное средство, поскольку она «буря ярящихся страстей» взрослого, а не ребенка, пусть и нашалившего. И еще одно открытие Хераскова: если Голенищев-Кутузов не разделял младенчества и детства, то Херасков проводит четкую границу. Младенчество кончается с игрой. Детство — это начало учения, в том числе и учения страстям. Замечательно, что именно в 1810-х будущие декабристы выступают за отмену телесных наказаний солдат, изгоняют ту же розгу из Семеновского полка. Значит, у процесса взросления взрослых есть некие объективные закономерности, есть синхронность.

Как и каждый человек, каждый поэт когда-то был ребенком. Но поэт ребенком и остается на всю свою жизнь, и потому, наверное, он так восприимчив к детским обидам.

У А. С. Шишкова есть стихи «Добросердечная Наташа», где братец Петруша, не уговорив сестру играть с ним, бьет сестрицу «толстой дубиной». Испугавшись, он просит ударить его тем же предметом:

Упал он к сестриным ногам,
Словами нежными ласкает,
Целует ту, и, плача сам,
Ее он плакать унимает:
«Сестрица, душенька, прости!
Виновен я перед тобою;
Возьми дубинку и отмсти,

Русская поэзия детям. Вступительная статья, составление, подготовка текста, биографические справки и примечания Е. О. Путиловой. Л., Советский писатель. Ленинградское отделение. 1989.

Ударь меня два раза тою».
В слезах Наташа вопиет:
«Ах нет, голубчик, братец, нет.
Раскаянья твово довольно,
Тому нельзя уж пособить,
А ведая, как это больно,
Я не могу тебя так бить!»

Дата под стихами — 1773 год.

Н. Я. Эйдельман как-то заметил, что декабристы — первое небитое поколение русских дворян. В том смысле, что телесные наказания отменены были указом о вольности дворянской. Видимо, не такие уж это несвязанные вещи — самостояние человека и его сострадание к ближнему, гражданская зрелость и чуткость к пониманию другого мира, к пониманию ребенка.

Мы выбрали лишь одну лежащую на самой поверхности тему, один сюжет, чтобы показать, сколь насыщены исторической динамикой нравов стихи, если составитель антологии изберет корректный принцип их отбора.

Е. О. Путилова проделала огромную работу, и тем горше мне, читателю, видеть в ее предисловии такие строчки: «Сам Пушкин не предназначал ни одного своего произведения специально для детского чтения. Но, как писал В. Г. Белинский, «никто, решительно никто из русских поэтов не стяжал себе такого неоспоримого права быть воспитателем и юных, и возмужалых, и даже старых...»

Вот пример того, как нельзя без проверки принимать на веру сильные утверждения бесспорных авторитетов. Как минимум два пушкинских стихотворения прямо адресованы детям.

Просто Белинский знал не все стихи Пушкина, сохранившиеся в его бумагах. В альбом семилетнему Павлу Вяземскому поэт вписал:

Кн. П. П. ВЯЗЕМСКОМУ

Душа моя Павел,
Держись моих правил:
Люби то-то, то-то,
Не делай того-то.
Кажись, это ясно.
Прощай, мой прекрасный.

Это не только стихи для детского чтения самим автором и предназначенные, но к тому же и пародия на нравоучения в «детских» сочиненьях дидактической поэзии. При жизни Пушкина эти стихи не публиковались. Зато в «Полярной звезде» на 1824 год были опубликованы другие пушкинские стихи, тоже обращенные к ребенку — четырнадцатилетней дочери А. Л. Давыдова:

АДЕЛИ

Играй, Адель,
Не знай печали;
Хариты, Лель
Тебя венчали
И колыбель
Твою качали...
. . . .

Можно спорить о других пушкинских стихах (скажем, «Паж или пятнадцатый год»), но это зияние в книге, столь тщательно собранной, скорее забавно. Кстати, заметим, что первая строка Пушкина не что иное, как парафраза из херасковского «Играй, дитя, играй...» Пушкин лишь приблизил размер к народному, игровому, а лозу заменил свирелью.

Еще подтверждение чьему-то парадоксальному тезису о том, что Пушкин до наших дней остается самым загадочным и неизвестным русским поэтом.

Андрей Чернов

Высоцкий начинается

Скоро минет десять лет с того жаркого дня, когда мы узнали о том, что умер Высоцкий. Узнали, конечно, не по радио и не из газет, а из телефонных звонков и телеграмм от друзей. Узнали и пошли к театру на Таганке, оцепленному милицией и дружинниками, сквозь строй которых приходилось прорываться, чтобы в последний раз взглянуть на успокоившееся лицо того, кого при жизни привыкли видеть взрывчатым и подвижным.

Феноменальная популярность Высоцкого была неоспорима и вполне понятна: он кричал за многих и многих из нас то, о чем другие боялись не только говорить, но часто и думать. И песни его были рассчитаны на мгновенное понимание и сочувствие любого: рабочий и поэт, высокопоставленный чиновник и забулдыга из подворотни, четырнадцатилетний мальчишка и ветеран войны с равным восторгом могли слушать его записи, добывать иноземные пластинки, обмениваться цитатами из его песен в разговоре. Впрочем, об этой стороне его творчества написано и сказано уже очень много.

Но ведь десять лет — срок достаточный для того, чтобы эта популярность — если она моментальная, сиюминутная — отошла в прошлое. Да, тогда об этом надо было говорить, петь, кричать. Но сегодня столько проблем, к счастью, ушло из нашей жизни. И сколько не поделок, а серьезных и профессионально оформленных размышлений, бывших даже еще года два тому назад ко двору, теперь стремительно теряет актуальность и с нею и свое значение для общественного сознания. А Высоцкого слушают, смотрят, читают, как смотрели, слушали, читали десять лет назад, если не более пристально.

Владимир Высоцкий. Поэзия и проза. М., Книжная палата, 1989.

Конечно, спадает мода, пена и шелуха, уходят от Высоцкого те бывшие мальчики, для которых его песни стояли какое-то время в ряду творений разного рода «рок-бардов». Его песни перестают конкурировать с творениями Розенбаума или Макаревича. Распространившись в самый «низок» (паломничества на могилу, календарики с портретами, даже картина Шилова) и тем самым обретя черты, сопутствующие всенародной славе, которая обязательно должна быть в чем-то вульгарной, популярность Высоцкого одновременно возвращается в круг серьезнейших наших размышлений об искусстве, о проблемах современности, о судьбах России, наконец.

Все это темы больших исследований, которые только-только начинаются, и итоги здесь подводить рано. Зато необходимо, как мне кажется, поговорить о самом главном, изначальном для любого серьезного разговора — о том, как мы знакомимся с напечатанными стихами Высоцкого. Ведь изучение начинается с честного пристального чтения.

Не случайно вступительная статья Вл. Новикова, автора многих работ о творчестве Высоцкого, принадлежащих к числу лучшего о нем написанного, называется «Читаем Высоцкого». Действительно, мы сегодня не только слушаем Высоцкого. Слушание всегда ограничено временными рамками звучания песни, мы не можем остановиться и поразмыслить прямо посреди нее, не можем в какой-то момент мысленно вернуться к началу, а потом продолжить слушание с прерванного места. Темп восприятия задан нам автором и исполнителем, соединенными в одном лице. В чтении мы гораздо более свободны, менее подвержены настроению певца, техническому качеству записи и прочим сопутствующим обстоятельствам. Потому чтение произведений, первоначально рассчитанных на слуховое восприятие,— совершенно другое дело, чем прокручивание пленок. Это испытание, которое автору еще надо выдержать. Выдержал ли его Высоцкий? Очевидно, точки зрения тут могут быть разные. Мне кажется, что значение Высоцкого как книжного поэта несравненно меньшее, чем как поэта звучащего. В жанре авторской песни он бесспорно занимает место в том триумвирате — Окуджава, Галич и он,— который, в сущности, и делает авторскую песню явлением искусства, а не бытовой вокально-музыкальной культуры. А в собственно поэзии, говорящей лишь черными буквами со страниц книги? Для меня очевидно то, что и об этой стороне его творчества можно и нужно говорить серьезно.

И здесь вступает в действие чрезвычайно сильное подспорье для читателя и исследователя: если на концерте Высоцкого мы слышали 15—20 песен, объединенных каким-то сиюминутным замыслом, то в книге перед нами оказывается громадный ряд, состоящий из многих десятков, а то и — как в данном случае — сотен стихотворений. Микроконтекст заменяется контекстом всего творчества Высоцкого, и стихотворения начинают перекликаться между собой и с прозаическим «Романом о девочках», мы начинаем видеть лейтмотивы, проходящие через все двадцать лет его работы. Маленькое стихотворение оказывается способным пояснить очень многое:

Я никогда не верил в миражи,
В грядущий рай не ладил
чемодана,—
Учителей сожрало море лжи —
И выплюнуло возле Магадана.

И я не отличался от невежд,
А если отличался — очень мало,—
Занозы не оставил Будапешт,
А Прага сердце мне не разорвала.
. . . .
И нас хотя расстрелы не косили,
Но жили мы, поднять не смея глаз,—
Мы тоже дети страшных лет России,
Безвременье вливало водку в нас.

За этими строками оказывается и его собственная трагическая, так рано оборванная судьба, и судьба миллионов людей нашей страны, обреченных сжигать свою жизнь в угоду имперским и просто частным амбициям давным-давно не глядевших в глаза народу правителей. Эти строки как бы аккумулируют то трагическое мироощущение, которое все больше и больше прорывалось в последних песнях Высоцкого. И не случайно песни эти открываются нам только сейчас,— ведь за смешным, безошибочно смешным в них стоит трагедия не только поэта, но и всего народа. И всякий ценящий Высоцкого с легкостью представляет себе, что могло бы стать сюжетом его новой песни, живи он сейчас среди нас: полет Матиаса Руста и гибель «Комсомольца», убийства в Тбилиси и рассчитанная клевета «Правды» на одного из самых популярных народных депутатов, «некрофильство» и «русофобия»... То, о чем даже в годы гласности порой нелегко сказать,— наши общие болевые точки. Об этом — вся книга. Собственно говоря, одного этого было бы достаточно для того, чтобы высоко оценить ее достоинства; к тому же соединение стихов и прозы, удачная библиография, компактная, но очень содержательная статья — все складывается в чрезвычайно привлекательный образ поэта. На мой взгляд, важно и еще одно качество: впервые в

большом объеме в этой книге представлены настоящие тексты Высоцкого.

Полемика о том, как издавать его песни, ведется уже давно, причем тон в ней задают составители «альтернативного» издания (Владимир Высоцкий. Избранное. М., «Советский писатель», 1988). Их принцип — опора на записанный текст, на автограф Высоцкого. А. Крылов, готовивший тексты к рецензируемой книге, придерживается другого принципа, точно сформулированного им в комментарии: «Работа автора над текстом состояла как минимум из двух основных этапов. Созданием рукописного текста заканчивался лишь первый этап этой работы... С того момента, как песня начинала исполняться перед аудиторией, начинался второй этап: это поиск единственного удовлетворяющего автора варианта... Результатом длившейся еще несколько месяцев работы являлся стабильный, не меняющийся от выступления к выступлению текст — как правило, значительно отличающийся от рукописного. Через какое-то время и этот текст мог меняться. Таким образом, некоторые песни имеют по нескольку стабильных редакций».

На первый взгляд спор может показаться чисто научным и не имеющим значения для читателя, на которого рассчитаны обе книги. Однако полемика о текстологических принципах выливается в разное представление о том, что и как хотел сказать Высоцкий своей песней. Первый принцип (впрочем, следует сказать, что его сторонники далеко не всегда последовательны) отбрасывает чрезвычайно важную часть работы автора: обкатывание текста в звучащем слове, во взаимодействии с публикой. Второй принцип ориентируется (опять же в скобках следует сказать, что не всегда это получается) на следование авторской воле согласно последнему творческому замыслу поэта. Формально первый принцип более совпадает с теми, которые выработаны текстологами, занимающимися «чистой» литературой. Но мне видится более плодотворным второй. Его нестандартность объясняется нестандартностью самого текста, ориентированного на устное исполнение. Когда существуют документы (датированные магнитофонные записи), это исполнение фиксирующие, можно реконструировать авторскую волю, не упираясь в «слова на бумаге».

Сравните хотя бы два текста одной из лучших песен Высоцкого «Райские яблоки» в двух изданиях, и вы поразитесь, как мало в них общего. В «Избранном» оказались слиты воедино разные варианты, которые Высоцкий пел в разное время, составители и редакторы текста взяли на себя ответственность за выбор того или иного варианта в зависимости от своих собственных, а не Высоцкого вкусовых пристрастий. В тексте же, подготовленном для «Стихов и прозы», произведено хронологическое размежевание вариантов, из них выбран наиболее поздний, а все остальное убрано в комментарии. Второй текст представляется мне более обоснованным и надежным.

Впрочем, тщательная работа с автографами, хранящимися в архиве, также необходима, поскольку часть стихотворений в авторском исполнении неизвестна, остались только рукописи, и при их публикациях вкрадывались многочисленные ошибки, а то и редактура издателей, иногда очень существенная.

Сегодня с уверенностью можно сказать, что только сейчас, через десять лет после смерти, Высоцкий начинается. Осмысляются его биография и творчество, по-настоящему готовятся к печати тексты, на смену беспорядочным и технически несовершенным записям приходят умело составленные пластинки, у которых тоже есть свои недостатки, но которым все же можно доверять. Высоцкий начинается как поэт, без которого наше время будет непонятно потомкам. Высоцкий начинается как один из «вечных спутников», говорящих чувствам и нового поколения людей, которые уже далеки от его и наших проблем. Высоцкий начинается как явление культуры, загадку которого мы пробуем сейчас разгадать.

Н. Богомолов

Из почты «Знамени»

И снова об учебниках...

В апреле прошлого года в «Знамени» была опубликована моя статья «Наша бедная трудная литература». Речь шла о преподавании литературы в школе, об учебниках для старшеклассников. Уж очень плохи учебники...

С тех пор не переставая и мне и в редакцию идут письма. В некоторых (очень редких) говорится, что статья была неосновательная и плохая, а учебники по литературе, наоборот, очень хорошие. Но в основном люди делятся собственными мыслями о школьной литературе и, соглашаясь, что учебники никуда не годятся, предлагают, как надо бы их изменить.

Несколько раз в течение прошедшего года я была на встречах с преподавателями литературы. Почему мы с вами читаем одно, думаем об одном, а дети наши, взрослые дети, должны в это же самое время читать другое и думать о другом? Мы от своих книг не можем оторваться, ночи напролет не спим, а наши взрослые дети должны умирать от скуки над книжками, которые мы давно задвинули на самые дальние полки? Что важнее — привить человеку любовь к чтению или дать ему сумму знаний, информации? Урок литературы — это урок литературоведения, урок истории литературы или урок чтения? Такие или подобные вопросы мы задавали друг другу во время встреч, возбуждались, произносили страстные монологи во славу изящной словесности... Пока один из нас вдруг не прекращал сладчайшие беседы коротким печальным рассказом. Этот рассказ я слышала во всех без исключения учительских аудиториях, он же часто встречается в письмах. Приведу его.

Итак, учитель, набравшись свободомыслия из современной публицистики и критики, вдохновленный вольными речами главного школьного начальника Ягодина, начитавшийся Солженицына, Гроссмана, Пастернака, Шаламова, Войновича, Ямпольского, Платонова, Осоргина, Ходасевича, Гумилева, решает совсем по-другому преподавать литературу. Он приносит на урок журналы... Читает вслух... У его ребят становятся осмысленными лица, они задают вопросы, на которые учитель отвечает, страдая, радуясь, что знает ответ, или ищет ответ в других книгах и приносит их на следующий урок. И они, ученики, тоже приносят на урок книги и тоже читают учителю. И никто не слышит звонка. И всем хочется, чтобы урок литературы длился бесконечно, и школьные сочинения хочется хранить, давать читать друзьям, и жизнь учителя, и жизнь его учеников становится какой-то небывалой, прекрасной. Всеобщий восторг. Единение душ.

Но однажды на уроке встает хорошая девочка (обыкновенно это бывает именно девочка, они практичнее мальчиков). И говорит: «Знаете, Мария Ивановна (или Петр Петрович), такая литература, конечно, замечательная. Я и сама готова вас без конца слушать. Но, пожалуйста, давайте это все прямо сегодня прекратим. Пожалуйста, диктуйте нам по порядку: образ Татьяны Лариной, образ Павки Корчагина, образ Левинсона... Диктуйте, мы будем записывать. Иначе мы ничего не успеем, мы слишком много уроков потратили. Диктуйте, мы принесли общие тетрадки. А то нам не сдать ни выпускные, ни тем более вступительные экзамены в институты».

Кончается мой сон туманный. Учитель диктует. Ученики пишут. Потому что девочка права. И все это понимают.

Я не буду больше доказывать, что у нас плохие учебники литературы. Они у нас не плохие, они у нас очень плохие, просто безобразные. Год назад, когда я писала свою статью, я старалась писать помягче, старалась поменьше обидеть их создателей, каждое свое утверждение подкрепляла множеством выписок из учебников. Все равно создатели разобиделись. Написали письма в редакции и инстанции. Объясняли, что учебники плохи потому, что создатели были поставлены в не-

выносимые условия министерством просвещения и другим идеологическим руководством. Это с одной стороны. А с другой стороны, учебники вовсе и не плохи, просто автор статьи тенденциозно подобрал цитаты. Но не плохи даже и эти, тенденциозно подобранные цитаты.

С такой логикой я не умею спорить. И не считаю нужным. Выпускники школ не знают и не любят литературу, исключения немногочисленны. Эта очевидность ни в какой аргументации не нуждается. Школа отвращает учеников от классики, многие только спустя десятилетия оказываются в состоянии перечитать Пушкина, Некрасова, Гоголя, Толстого — всех, кого «проходили» в школе. А большинство, увы, сохраняет антипатию к классике до конца своих дней. Это тоже факт. Что касается советской литературы — точнее говоря, литературы последнего семидесятилетия,— школьники получают о ней абсолютно превратное представление. Что и неудивительно. «Взрослая» история литературы этих семи десятков лет писалась в отсутствие по крайней мере двух третей корпуса самой литературы.

Доказывать очевидное, приводить аргументы в пользу точки зрения, которую разделяют все здравомыслящие люди, я больше не считаю нужным. Если третья из названных мною причин плохого литературного образования может считаться объективной, то две другие причины — субъективные и чисто «школьные».

Дети не любят и не знают литературу, потому что им плохо преподают литературу. Негодная методика. И негодные учебники.

Среди писем, полученных мною в ответ на статью, было ровно одно — от школьницы. Я приведу его, это уникальное письмо. «Неужели Татьяна Иванова думает, что мы читаем этот бред, эту чепуху на постном масле, именуемую учебником?! Наверное, думает, потому что беспокоится, что они, учебники, могут нам повредить. Не могут! Не такие мы дураки, чтобы читать эту тягомотину. Для школьника образ учебника являет собой что-то дикое и невообразимое».

Автору письма — Ольге Проскуриной из Мончегорска Мурманской области — пятнадцать лет.

Создателям школьных учебников показалась резкой моя критика. А Ольгина? А если заставить себя забыть, что это слова, а вспомнить и понять, что за этими словами реальное отношение — реальное отношение ученицы к учебнику? Так что́ перед этим отношением все пусть самые резкие, самые ехидные, даже злые слова критика? Отвечу: пустяк перед этим отношением любые критические слова, любые, самые уничтожающие рецензии. Слова и рецензии не страшны. Отношение школьников — страшно.

Если, конечно, исходить из того, что учебники пишутся не для критиков, не для министерств, не для идеологического начальства, а именно для школьников.

Впрочем, за год, прошедший после публикации той статьи, я почитала учебники для старших классов и по другим предметам. Учебник по биологии неинтересен, уныл, сложен. Учебник истории хуже, чем учебник по литературе и учебник по биологии, вместе взятые. Но учебник географии!.. Это за гранью добра и зла.

У меня есть знакомый мальчик. Летом, готовясь изучать в школе природоведение, он сделал в городском дворе грядку. Ему удалось вырастить на этой грядке тридцать пять репок, тридцать пять гороховых стручков, и большая картофелина принесла десяток клубеньков — от совсем маленького до очень большого. Все это он, гордясь и ликуя, принес на первый в жизни урок природоведения. Думал: каждому по репке и по стручку, изучим, расскажу, как растил, потом съедим. Потом расскажу про кота — он тоже природа...

«Молодец, положи все на подоконник.— сказала учительница.— Садитесь, дети. Начинаем урок природоведения. Широки и необъятны просторы нашей родины...»

Эта фраза — «широки и необъятны просторы нашей родины» — ключ ко всем учебникам по гуманитарным предметам и символ этих учебников. По существу в них больше ничего и не содержится. Ни репка, ни картошка, ни кот — ничто не имеет отношения к природоведению, к биологии. Путешествия никак не соотносятся с географией. Интересные книжки не совмещаются с литературой.

Как мы учим детей? И не хватит ли убеждать друг друга, что плохо?..

Конечно, школа — только часть системы, нуждающейся в коренной перестройке и медленно, нерешительно к перестройке приступающей. Какая может быть школа в стране, где идеологизировано все — от экономики и медицины до музыки и огородничества? «Дайте отличнику наробраза полное собрание сочинений М. Булгакова — он заставит учащихся писать «Азазелло как типичный представитель потустороннего мира» или «Положительные и отрицательные черты образа кота Бегемота»,— так пишет И. Л. Климовецкий из деревни Скельки Васильевского района Запорожской области. Он прав. Вы видите сами: даже если учитель хочет и может учить по-другому, сегодня, для сегодняшней жизни это совсем не нужно. Система ждет стандартно, привычно выученного индивида. Система отторгнет его, если он будет «шибко умный». И мы видим каждый день, как она это делает.

Я изучила подшивки ряда наших охранительных газет. В течение года (именно такой срок я изучала) эти газеты из номера в номер вели прицельный огонь по всем, кого люди хотели читать, слушать, кому они аплодировали. Многие обвиняют эти газеты в антисемитизме. Ошибка. Скорее их надо обвинять в русофобии. Ведь и в правительстве, и в парламенте, и в руководстве партии, и в литературе, и в прочих искусствах большинство у нас русские. Много очень умных, очень талантливых русских. Ни один из них не остался не облитым грязью. Разумеется, не был пропущен и ни один умный еврей, латыш, армянин, грузин...

Нам не надо «шибко умных». Зубров не надо нам. И Собчаков не надо. И Грязиных.

А школа... Что ж, школа всегда удовлетворяла потребность общества в тех, кто был больше всего ему нужен. Учебник только часть школы. Учебник литературы — часть части. И у меня никак не писались эти заметки, потому что за прошедший год я слишком хорошо поняла всю безнадежность затеи: в придушенной идеологией стране, где даже хирурга учат в первую очередь марксизму-ленинизму и лишь во вторую (а то и в третью, после истории партии, которая даже по датам не совпадает с реальной историей) анатомии и физиологии,— в такой стране просто невозможен никакой хороший школьный учебник.

Сдаваться? Ждать, когда изменится страна, когда она бесповоротно станет на путь подлинной демократии, когда деидеологизация станет фактом, данностью? И только после этого приступать к созданию новых учебников? Ну, пожалуй, и это было бы противоестественно.

И. А. Фогельсон из Горького прислал мне серию своих «методических рекомендаций для старшеклассников». Книжечки называются «Учитесь учиться на уроках литературы». Я читала их с радостью: простые, насыщенные информацией, весело написанные. Пожалуй, эти методички лучше всяких из ныне существующих учебников. Интересно, что автор тесно соединил изучение литературы с изучением русского языка. Это момент принципиальный. Сейчас в школе эти два предмета для чего-то далеко-далеко разведены. И если бы вы почитали, какие тексты даются для упражнений по русскому языку, если бы вы знали, какие это в основном не русские тексты, если бы вы могли себе только вообразить, как сложен, как безмерно уныл, как непостижимо труден, насколько некрасив школьный русский язык!.. Но довольно. Я уже говорила об этом. Ненадолго вернусь еще к Фогельсону.

Его компактные учебники хороши еще и тем, что включают в себя элементы хрестоматии: обширные отрывки из текстов, большие подборки стихов... Что ж, с такими учебниками школьнику будет легко, интересно, и представление о литературе он получит.

Главное же достоинство книжек Фогельсона: они уж точно не отвратят

учеников от литературы. То есть не совершат самого большого зла, того зла, которое безошибочно совершают обычные школьные учебники.

Правда, когда дело дошло до советской литературы, автора как подменили. Записал казенным языком, впал в пафос, утратил всю выдумку: пошли банальные скучные главы. И это мне понятно. Нельзя радостно и любовно писать о том, что тебе самому неинтересно. Давно уже нет людей, которые хотели бы прочесть, например, «Мать» или «Как закалялась сталь» для души, без надобности, просто так, а не потому что задали. Давно уже нет и людей, которые для удовольствия взяли бы почитать «Разгром» или «Молодую гвардию». Зачем это «проходить»?

Одна учительница сказала мне недавно: «Знаете, ни «Мать», ни «Как закалялась сталь» дети в последние годы не читают». «А сколько это, «последние годы?»,— хотела я уточнить. «Да вот, сколько я преподаю, столько и не читают». «Сколько же вы преподаете?» «Тридцать лет».

Советская классика? Да полно... Не надо нам так унижаться. Книги эти останутся в истории литературы — и довольно.

И изучать в школе «Поднятую целину» тоже довольно. Я пишу об этом не в первый, не во второй, даже не в третий раз. Учителя со всех концов страны шлют письма в поддержку этой идеи. Есть и несогласные учителя русского языка и литературы. Из жалости к ним я не назову их имена. Почему из жалости? Да потому, что они пишут неграмотно, с орфографическими, синтаксическими и, конечно, стилистическими ошибками. И разумеется... они пишут в «инстанции». Если авторам сих опусов будет угодно, я обнародую их письма, пусть покраснеют на всю страну.

«Поднятая целина» не обладает достойными изучения художественными свойствами. Со стороны нравственной это произведение ущербно. Оно дезинформирует людей об одном из страшных преступлений двадцатого века — о коллективизации. Не довольно ли этого всего, чтобы отказаться от изучения «Поднятой целины» в школе?

Есть роман Бориса Можаева «Мужики и бабы», осмысливающий события времен коллективизации на уровне современного мышления. Роман с захватывающим сюжетом, написанный и традиционно, и новаторски, умный. И главное — это книга о нашем сопротивлении. О том, что, даже плохо организованное, оно оказалось полезным.

Убеждена, что уроки сопротивления глупым, непродуманным, преступным приказам едва ли не самые нужные для подрастающего поколения уроки. Иначе ведь дети вырастут похожими на нас. А это не дай бог. Ибо плоды нашего пребывания на земле перед глазами у всех. И не оправдаться нам вовек благими намерениями. Потому что о людях судят по результатам их деятельности. А не по намерениям. Нет, не по намерениям...

Мне прислана и еще одна хорошая книга. «Русская советская литература. Учебник-хрестоматия по литературному чтению для XII класса». Книга издана в Таллинне. Ее составили Ирина Захарова, Любовь Киселева, Светлана Кульюс. «Вы, видимо, получите разные ответы на свою статью,— пишут они.— Нам хотелось бы, чтобы среди них был и наш. Издательский цикл в чем-то, конечно, подрезал нам крылья. Книга издавалась два с половиной года. В наше-то время! Но все-таки, перечитав ее, мы решили: краснеть не приходится».

Правильно решили. Хотела бы я, чтобы в последнем классе всех школ, а не только эстонской, ребята знакомились с литературой последнего семидесятилетия с помощью подобных книг. Твардовский и Заболоцкий, Трифонов и Самойлов, Распутин и Маканин, Высоцкий и Окуджава... Кто-нибудь скажет: какой произвольный подбор имен! Разве они могут дать представление о литературе послевоенных лет?

Но почему же не могут? Ведь каждое из этих имен есть код целого направления общественного сознания, целого пласта культуры. Могут... Ведь нужно же еще очень продуманно строить и сами главы. Авторы блестяще справляются с задачей. Полторы странички об Окуджаве написал Евгений Евтушенко. А воспроизведено стихотворение Окуджавы «Пожелание друзьям» с посвящением Юрию Трифонову: «Давайте понимать друг друга с полуслова...».

Никакой словесной дичи, слегка процитированной мною в статье «Наша бедная трудная литература», в эстонском учебнике на дух нет. Его писали внутренне свободные люди (если сравнивать их с авторами «центральных» учебников, конечно; но сравнение с идеалом мне и недоступно, потому что я сама внутренне далеко не свободна).

Так что люди пытаются что-то сделать, не дожидаясь, когда для реальных перемен будет готова общая ситуация. Что, видимо, и правильно.

Хотя я отдаю себе отчет в том, что сегодня люди думают о чем угодно, только не об учебниках литературы для старших классов нашей средней школы. И испытываю даже некоторую неловкость оттого, что навязываюсь к ним с этим разговором. Но все-таки если мы заставим себя отвлечься от политических прогнозов и споров, от литературной борьбы, от повседневности, которая так безмерно нами сейчас владеет, мы, может быть, поймем, что судьба нашего общества слишком во многом зависит от количества и качества нашей интеллигенции. А количество и качество нашей интеллигенции слишком во многом зависят от того, как преподается в школе литература.

И когда мы дадим себе труд это осознать (только не давайте втянуть себя в дискуссию на тему «а так ли уж плохо она преподается» — будем исходить из очевидного: хуже некуда),— так вот, когда мы это осознаем, мы, может быть, мысленно вернемся еще раз к моему предложению. Оно состояло в том, что писать специальные учебники не нужно, они написаны. Их нужно только составить из работ лучших, самых талантливых литературоведов и критиков, из самых интересных очерков и воспоминаний писателей о писателях, из самых ярких рассказов о литературных героях... Не буду детализировать. Все это подробно описано в той, прошлогодней статье. Там же содержится и посильная мне аргументация в пользу такого подхода.

«Идея о составлении учебника литературы из лучших критических и литературоведческих статей великолепна. Нужен аналогичный учебник мировой литературы — для гуманитарного обучения в негуманитарных институтах. Особенно в медицинских»,— так пишет Эрнст Эпштейн, преподаватель Кемеровского мединститута.

Подобных писем немало. Серьезных отводов своему предложению я ни с какой стороны не получила. Наоборот, получила предложения от нескольких издательств, в том числе и зарубежных, составить именно такие учебники.

От предложений я по ряду соображений отказалась. Мне кажется, составлять эти книги должен был бы другой человек. Например, Владимир Яковлевич Лакшин. Во всяком случае, проблему эту осознавшие могли бы обсудить коллективно. (Дело-то благороднейшее!) И помогли бы мы нашим детям, учителям, всему обществу... Для будущего потрудились бы.

Повторяю: в почте и устных откликах, поступающих целый год, отводов моему предложению не было. Других предложений тоже не было.

Татьяна Иванова

Журналы русского Китая

Почти семьдесят лет тому назад, в 1921 году, в переводе Игоря Северянина вышла в Москве книга Генриха Виснапу «Amores». Свое предисловие к ней Александр Кусиков начал так: «Мало что на Руси известно об Эстонии и эстонцах». Слова поэта-имажиниста можно сей-

час перефразировать следующим образом: мало что известно на Руси и в Зарубежье о русском Китае, его писателях и поэтах, о газетах и его журналах. Русская колония Китая — это настоящая эмигрантская империя. Сегодня она не существует не только в реальности, но даже в памяти. Фразеологическое сочетание — русский Китай — воспринимается чуть ли не как абракадабра.

По своей культурной и политической значимости, по своей близости с Россией эмиграция россиян в Китае занимала особое место в великом исходе из великой страны.

Столицей громадного эмигрантского государства был город Харбин, а ее торгово-промышленным центром — Шанхай. Свыше миллиона россиян жило на территории этой страны: эмигранты-русские, эмигранты-евреи, эмигранты-кавказцы... Процветала русская жизнь и в «колониях» этой империи — в Японии и в Корее. Издавались многочисленные газеты, почти двести журналов — русское печатное слово процветало. И еще никто, к сожалению, не отметил историческую трагедию — гибель огромной дальневосточной колонии. Все меньше и меньше остается счастливчиков, которые чудом избежали геноцида в Китае, а те, кто уцелел, за небольшим исключением, не могут избавиться от страха и по сей день.

По иронии судьбы и русская Европа, и русская Америка всегда относились к своим братьям и сестрам в Китае как к Золушке. В претендующей на фундаментальность книге Глеба Струве «Русская литература в изгнании» дальневосточной периодике не уделено ни слова, а поэзии — всего лишь двадцать четыре строчки. В объемной антологии эмигрантской поэзии «На Западе» (ее составитель Юрий Иваск) предоставлено литераторам русского Китая место в... сноске: «Данные о харбинских поэтах, к сожалению, отсутствуют». Первое, хотя и исключительно робкое признание интеллектуального горения русской эмиграции в Китае было сделано Юрием Терапиано, который в предисловии к антологии «Муза диаспоры» обронил: «...там (в Китае.— Э. Ш.) было много культурных и талантливых людей».

Проведу для наглядности почти социологическое сравнение. В нынешнем Нью-Йорке, где относительно гармонично сосуществуют «вторая» и «третья» волны исхода, выходит только одна ежедневная газета и несколько журналов, просчитываемых на пальцах одной руки. В 1937 году русско-еврейская колония Шанхая исчислялась 25 тысячами, но русская пресса в городе достигла необычайного развития: издавались четыре большие ежедневные газеты, одна вечерняя, пять еженедельников, ряд журналов — «Шанхайская заря», «Слово», «Новый путь», «Новости дня», «Вечерняя заря», «Русский авангард», «Русское знамя», «Эмигрантская мысль», «Путевой знак», «Свет», «Дальневосточный вестник»... Театралы Шанхая посещали и «Русский театр», и «Русскую оперетту», и театр «Русский Сокол», ходили на концерты «Объединения артистов русского балета»...

Война и смерть, победа и торжество маодзедуновского коммунизма, распыление уцелевших по островкам рассеяния привели к гибели целого поколения, точно названного Владимиром Варшавским «незамеченным». Сегодня нет уже великой русской страны в Китае, нет ни театров, ни газет, ни журналов — нет людей. Казалось бы, что история навсегда перевернула одну из своих непрочитанных страниц...

Однако «чудо» свершается в Нью-Йорке. В 1972 году здесь выходит четырехтомник, библиографический справочник Михаила Шатова «Half a century of Russian Serials 1817—1968», до сих пор единственное издание, в котором почти полностью представлена периодика русского Китая. В фундаментальном труде — 3182 наименования, из этого числа зарубежных изданий на долю Китая приходится триста. К этому «китайскому» числу необходимо добавить три издания, осуществленные на филиппинском острове Тубабо, где русские беженцы из Китая в 1949—1951 годах в лагере ожидали виз в страны Латинской Америки, США, Канаду и Австралию. Это, во-первых, бюллетень «Тубабо знает», во-вторых, «Еженедельное обозрение» и, наконец, «Антикоммунистический сборник для друга». Сегодня эти издания менее доступны, чем издания лагерей ДИ-ПИ.

1 октября 1949 года, день создания Китайской Народной Республики,— конец русского Китая. До этого момента, начиная с 1917 года, на территории этой страны выходило более 170 журналов. К сожалению, не все отмечены в библиографическом труде М. Шатова, что и понятно: в американских книгохранилищах их просто не было. Например, ничего не известно о журнале содружества работников искусств «Понедельник», как и об альманахе «Восток», выходивших в Шанхае в самом начале 1930 года. Выпал из поля зрения М. Шатова и просоветский литературно-художественный журнал «Эпоха», который, выходя с марта 1941 года по май 1950-го (рекорд!), дошел до нас в 186 номерах. «Эпоха», кстати, более других русских изданий широко публиковала советских авторов (Вас. Гроссмана, Платонова, Эренбурга, Ал. Толстого, Пастернака, Цветаеву).

Богатство тематических профилей журналов русского Китая поражает. Тут издавались журналы об архитектуре и об армии, экономические журналы и издания, посвященные КВЖД, еврейские журналы на русском языке, многочисленные детские журналы, литературные, журналы по искусству и театру, восемь казачьих журналов — от «Атаманского клича» и «Енисейских казаков» до «Зова казака» и «Россия и казачество». Широкий политический спектр также полно был представлен на журнальной ниве. В течение двух лет (с 1922 по 1924 г.) издавался журнал сменовеховцев—«Далекая окраина». Пять лет просуществовали орган Российского фашистского движения — «Наш путь» и его «побратим» — шанхайский «Фашист»; на год дольше (с 1935 по 1940 г.) просуществовал «толстый» журнал фашистов — «Нация». В свое время большой популярностью пользовались и органы младоросской мысли на Дальнем Востоке — журналы «Наша правда» и «Новый путь».

Жизнь русской эмиграции в Харбине и в Шанхае сложилась иначе, чем у русских в Европе или в Америке. На ее стороне было преимущество более активной жизни, обусловленной тем, что в Китае русская эмиграция была носительницей передовой культуры. Русское население Китая никогда не поглощалось аборигенами, оно всегда было впереди них. «Мы живем на Востоке. Мы держим направление на Россию»,— читаем мы в предисловии к литературно-художественному сборнику «Багульник» (Харбин, 1931 г.), который проникнут определенным дальневосточным патриотизмом, выражением региональной культуры.

Харбинские литераторы назвали свой сборник «Багульник» — по имени растения, самым первым расцветающего в Приморье, Забайкалье, Маньчжурии. Они глубоко проникли в очарование, если хотите, в магию дальневосточной экзотики. О легендарном Китае авторы «Багульника» почти шестьдесят лет тому назад писали: «Восток — это тысячелетнее спокойствие буддийских монастырей, золотые звонки желтых лам. Восток — это зелень, просторы морей, пахнущий медом кэпстен в трубках моряков, океанские пароходы, режущие дали Великого океана, и силуэты китайских кораблей с высоко задранной кормой и с рубиновым фонарем на мачте... Восток — это страна прохладных контор, серебра и «бизнесов», страна, где русские сражаются и охотятся на тигров, торгуют и борются с жизнью». Такая «декларация» позволяет нам понять умонастроения дальневосточников, воскрешающих романтику экзотики Востока. Может быть, поэтому в названиях многих печатных органов присутствовали «китайские» определения: «Шанхайская газета», «Шанхайская заря», «Шанхайская жизнь», «Шанхайское новое время», «Китаец», «Китайский благовестник», «Шанхайский дракон», «Сунгарийские вечера» и многие, многие другие.

Более шестидесяти лет в США своеобразным парламентом русской эмиграции была ежедневная газета — «Новое Русское Слово», издававшаяся Шимкиным и Вейнбаумом. На страницах этого органа сосуществовали все: от русских монархистов до членов меньшевистской партии. Дуализм и полярность мнений были залогом долголетия газеты. Своеобразным парламентом русской эмиграции был в Китае еженедельный литературно-художественный журнал «Рубеж», издававшийся почти двадцать лет — с 1927 по 1945 г.

Точно определить количество выпущенных журналов крайне трудно, поскольку комплект журнала — это исключительнейшая редкость, которой не обладает даже Библиотека Конгресса. В коллекции журналов Зарубежья, принадлежащей автору этих строк, хранится журнал № 825, выпущенный 10 июля 1944 года. Как утверждает Валерий Перелешин в своих воспоминаниях «Два по-

лустанка», «Рубеж» прекратил свое существование в 1945 году. Итак, по количеству выпущенных номеров харбинский журнал «Рубеж» сопоставим в эмиграции разве что лишь с парижским — «Иллюстрированная Россия» и брюссельским — «Часовой».

«Рубеж» — литературно-художественный журнал, читаемый практически всем русским Китаем и далеко за его пределами, был иллюстрированным журналом, откликавшимся довольно живо на события тогдашнего мира, причем событиям на Дальнем Востоке отдавалось заметное предпочтение. Своим полиграфическим «убранством» это издание во многом напоминало журнал «Семь дней», издававшийся в начале 80-х годов в Нью-Йорке. В течение ряда лет «Рубеж» издавался с полуглянцевой обложкой, и лишь в финальном периоде жизни журнала он выходил на плохой бумаге, с очень «слабой» обложкой, что, естественно, объяснялось тяготами войны.

Количество страниц в выпуске за все эти годы колебалось, правда, незначительно: от 20 до 28 страниц. В первые годы своего издания «Рубеж» выходил под «шапкой» — «литературно-художественный, иллюстрированный журнал», потом прилагательное «иллюстрированный» с заглавия журнала было снято. За многие годы существования журнала его редакции практически всегда удавалось находить модус вивенди: каждый из читателей, несмотря на существенные различия в образовательном и социальном статусе, находил для себя в номере что-то полезное, интересное.

В обоснованности такого утверждения легко убедиться, ознакомившись с содержанием отдельных номеров «Рубежа». Например, с № 5, вышедшим 6 февраля 1928 года (тогда журнал выходил еще нерегулярно); он открылся лирическим стихотворением «На рубеже» Арсения Несмелова — талантливого поэта-дальневосточника. Следовавший за ним непритязательный рассказ Я. Дейча «Месть» соответствовал вкусам самых непритязательных читателей. Фотоочерк «Иордан на Сунгари» интересен и информационен и по сей день. Статья Георгия Париса — «Голливуд, как он есть», хоть и написанная непрофессионалом, может стать предметом исследования, поскольку в ней говорится об участии русских в киноиндустрии США (исключительный интерес представляют фотоснимки Ильи Львовича Толстого и поэта Саши Черного, снимавшихся в американских фильмах). Приведенные в журнале заметки Владимира Маяковского о Сергее Есенине «разбавлены» фотографией юной японской актрисы Ямаджи, покончившей самоубийством из-за несчастной любви. Тут же стихотворение поэта Леонида Ещина, посвященное этому грустному событию. Беседа-интервью журнала с комиком-премьером Л. И. Розеном — еще один штрих ко все еще не изученному вполне вопросу — русское искусство за рубежом. Конкурс прелестного ребенка, отдел крестословиц, задач и шарад, уголок «За милых женщин» — дополняли общую картину: «Рубеж» «поставил» на то, чтобы быть журналом для всех.

Один из последних номеров «Рубежа» (825), естественно, отличался от многих своих предшественников обилием военной тематики. Вторая мировая война фактически вошла в свою заключительную фазу. И хоть многие материалы носили явно пропагандный характер, как, например, фотоочерк «Бесстрашные соколы Ниппон» и статья «Железная дорога Токио — Берлин», редакции, несмотря на строгую цензуру со стороны японских оккупационных властей, удавалось «протащить» такие материалы, как статья Марии Ш. «Е. А. Баратынский — поэт-философ», рассказ Василия Логинова «Врубель» и другие.

По количеству «толстых» журналов русский Дальний Восток значительно превзошел русскую Америку, в которой все начинается и кончается «Новым Журналом», начавшим издаваться только лишь в 1943 году. Из самых важных «толстых» журналов Китая отметим «Парус», «Понедельник», «Врата». Каждое из этих изданий заслуживает отдельной подробной статьи. Скажу вкратце о каждом.

Журнал содружества работников искусства — «Понедельник» выходил в Шанхае. Первый его номер вышел в сентябре 1930 года. Вторая и последняя книга журнала — в декабре 1931 года. Две книги «Понедельника» необходимо рассматривать совместно со специальным выпуском альманаха «Восток», посвященным конкурсу поэтов, в большинстве — авторов «Понедельника». К этому изданию примкнули и отдельные авторы, работавшие в Харбине. Литераторы, создавшие «Понедельник», были объединены под знаком широкой терпимости к различным течениям в искусстве. Читая «Понедельник», осознаешь, что восточная ветвь русского народа, осевшая на побережье Тихого океана, оказалась счастливее западной, поскольку попала в обстановку стран древних азиатских культур, неспешный, замедленный бытовой уклад которых гораздо более родствен русскому духу по самому своему существу. Авторы «Понедельника» вошли в литературу не в России, а уже в эмиграции, правда, они скорее всего ощущали себя колонизаторами, чем изгоями. «Понедельник» действительно стал первой попыткой объединения Дальневосточных литераторов и художников, к сожалению, попытка эта не увенчалась успехом, что, однако, не умаляет ее значения.

Второй выпуск «Понедельника» — это попытка дать произведения не только о Востоке, но и Востока самого, в нем были опубликованы исследования, посвященные некоторым сторонам дальневосточной жизни, и несколько публикаций «восточных» сотрудников журнала. Авторы «Понедельника» в своих произведениях отмечали пробуждение Востока и ратовали за достойное заимствование у него всего того, что он может дать. «Восточные» публикации журнала приводят читателя к трудно разрешимым вопросам: «Россия — самый ли восточный из западных миров, или — самый западный из восточных?» «Понедельникцы» в этом вопросе стремились к синкретизму.

Проза журнала «Понедельник», несмотря на такие имена, как Арсений Несмелов, Всеволод Иванов, Михаил Щербаков, значительно уступала поэтическим страницам журнала. Пожалуй, самая большая заслуга «Понедельника» — это публикация поэмы Арсения Несмелова «Через океан», произведения большой силы и мастерства. В 1922 году, в дни эвакуации из Приморья остатков Дальневосточной Белой Армии, несколько кадетов, раздобыв крошечный парусно-моторный бот «Рязань», решили плыть на нем в Америку. Капитаном судна был избран случайно встреченный в порту боцман. Судно благополучно прибыло к берегам США, установив рекорд наименьшего тоннажа для трансокеанского рейса. Как говорит молва, жители города, в гавани которого кадеты бросили якорь, вынесли «Рязань» на берег и на руках, под звуки оркестров, пронесли по улицам. Этому забытому сейчас случаю и посвящена поэма.

Из Шанхая пели поэты Лев Гроссе и Михаил Спургот, и из Кореи вторила им Виктория Янковская:

Кто мне раздвинул широкие скулы,
Бросил зигзаги из черных бровей?
В леность славянскую круто вогнулись
Злобность и скрытность восточных кровей.

«Понедельник» предоставил свои страницы и двум ведущим русским художникам — В. А. Засыпкину и А. А. Ярону, чьи рисунки украсили журнал.

Единственный номер альманаха «Восток» явился результатом «Конкурса Поэтов», устроенного в Шанхае в 1929—1930 годах газетой «Слово». Жюри конкурса состояло из председателя шанхайского содружества работников искусств «Понедельник» М. В. Щербакова, членов правления В. С. Валя, Л. В. Гроссе, Н. К. Соколовского и художника-карикатуриста Г. А. Сапожникова. В альманах «Восток» было включено 30 стихотворений, найденных жюри наиболее интересными из 107 стихотворений, присланных на конкурс — из Шанхая, Таньцзина, Кореи, Японии и Сингапура.

Целью конкурса было, с одной стороны, выявить молодые силы, которые находятся среди русских эмигрантов, осевших на Дальнем Востоке; а во-вторых, выяснить вопросы, наиболее волнующие молодежь, так как тема присылаемых стихов была объявлена совершенно свободной. Конечно, многие из стихотворений, составляющих альманах, несовершенны по форме и небезукоризненны в строфике и рифме, но по своему эмоциональному накалу они заслуживали всяческой похвалы. Первое место в конкурсе заняла Виктория Янковская, удостоенная высшей награды за стихотворение «Чаша страданий». Сегодня, через почти шестьдесят лет после этого конкурса, Виктория Янковская—единственная свидетельни-

ца и участница несуществующей уже литературной среды. Живет поэтесса в Калифорнии, на Русской речке.

В то же самое время, когда из печати вышла вторая книга «Понедельника», в Шанхае начинает свою жизнь еще один «толстый» журнал — «Парус». Этот литературно-художественный и политический журнал, отпечатанный на прекрасной кремовой бумаге и иллюстрированный свыше ста клише, стал как бы дополнением к «Понедельнику», правда, с еще большим уклоном в сторону Востока. Из истории литературы русского Китая в этой первой книге «Паруса» особый интерес представляет статья Николая Щеголева «Что такое «Молодая Чураевка».

В январе 1928 года кружок Христианского Союза Молодых людей (ХСМЛ), отмечая помощь и внимание, оказанные ему писателем Г. Д. Гребенщиковым, взял себе имя «Молодая Чураевка». Г. Д. Гребенщиков — бытописатель Сибири, автор реалистического полотна — романа «Чураевы». Поселившись в Америке, в штате Коннектикут, он создал так называемую «Русскую деревню», или Чураевку. Свой 13-й номер журнала ХСМЛ посвятил «Молодой Чураевке» — русской молодежи и ее старшим друзьям, посвятившим себя творческой работе — научной, литературной, живописи и ваянию. В этот уникальный уже номер включены стихи молодой поросли русских поэтов: Михаила Шмейссера, Ларисы Андерсен, Бориса Волкова, Алексея Ачаира. В 1932 году в Харбине, в качестве приложения к газете на русском языке — «Харбинские Ежедневные Новости» — выходили еженедельные литературные вкладыши «Молодой Чураевки». Первый номер вышел 3 июля, а последний — 6-й — 6 августа. Опыт, приобретенный молодыми литераторами, показал, что им было под силу издание самостоятельного журнала. Прилагательное «Молодая» было снято, и 27 декабря того же 1932 года вышел первый номер литературной газеты «Чураевка», причем редактора у газеты не было, ее выпускал Кружок молодых литераторов ХСМЛ в Харбине.

«Чураевка», бесспорно, была второй литературной газетой всего русского Зарубежья. Ее появление было тепло встречено Георгием Адамовичем, который в парижских «Последних Новостях», в номере от 29 марта 1934 года, писал: «Из далекого Харбина пришло несколько номеров литературного журнала — или, точнее, газеты — «Чураевка». Впервые я видел их в руках одного юного здешнего литератора, который вот-вот готов был рассмеяться и нетерпеливо искал каких-нибудь «перлов» для оправдания иронии. Но перлов не нашлось. Усмешка исчезла. Иронический юноша принялся внимательно читать «Чураевку» и, наконец, воскликнул: —А знаете, совсем неплохо! Действительно: совсем неплохо. Многие русские парижане были бы удивлены, если бы удосужились харбинский журнал внимательно просмотреть». Был отклик на «Чураевку» и в 10-й, последней книге парижских «Чисел». В первом номере «Чураевки» (архив Э. Штейна) опубликованы прекрасные стихи Николая Петереца «Нет! Не Москва, где каждый палисадник...», Валерия Перелешина, Георгия Гранина и других поэтов. Представляет интерес и коротенькое эссе того же Н. Петереца — «Магия и мастерство».

Дабы представление о «толстых» журналах русского Китая было полным, отметим и две книги дальневосточных сборников «Врата», вышедшие из печати в середине 30-х годов в Шанхае при литературно-художественном объединении «Восток». К заслугам этих сборников отнесем, во-первых, публикацию поэмы Арсения Несмелова — «Неронов Сестерций», во-вторых, тончайшей прозы безвременно умершего Бориса Беты («китайский» Агеев) и, в-третьих, воспроизведение картин с китайской тематикой таких мастеров кисти, как В. Засыпкин и М. Лобанов.

Жизнь «толстых» журналов в Китае была значительно короче, чем, скажем, в русской Франции. Скорее всего, это объясняется более высоким образовательным уровнем русских эмигрантов, нежели их собратьев на Дальнем Востоке. Тем не менее тематика журналов русского Китая была исключительно разнообразна. Периодика свободного Дальнего Востока еще ждет своего вдумчивого исследователя.

Э. Штейн

США

Советуем прочитать

Борис Дедюхин. Сердца сокрушенные. Рассказы из жизни современных монастырей. Волга, №№6—9, 1989.

Если порою и начинает казаться, что наша жадность к журналам скоро поостынет и периодику вновь сменят книги, то четыре номера «Волги» убеждают: нет, не зря наши томительные ожидания утренней почты, и волнения, и замирание читательского сердца: что там, под обложкой?

Очеркам Б. Дедюхина привелось выйти в соседстве с такими публикациями, мимо которых не пройти: «Уединенное» В. Розанова, подборка стихов Георгия Иванова, воспоминания В. Ходасевича о В. Брюсове, новая повесть А. Генатулина, стихи Б. Чичибабина, письма А. Платонова, рассказ Е. Замятина, повесть Саши Соколова.

Но нельзя не начать чтение очерков Б. Дедюхина, а начав, невозможно бросить — хотя бы из сострадания к трагической судьбе русских монастырей, путь которых в советское время стал поистине крестным. Разорение, глумление и надругательство преследовали храмы и монастыри. Но что мы знаем об их современных обитателях? Почти ничего. Б. Дедюхин и вводит вас в этот мир, живущий рядом с нашим — и тем не менее не познанный и не открывшийся. Стремление понять — вот главное, что движет автором.

Журналист не скрывает трудностей на этом пути. Даже наоборот: постоянно признается в них, и этот незамысловатый на первый взгляд ход становится в его повествовании ключевым принципом. Такое обнажение собственной слабости, уязвимости требует большого мужества от журналиста. «Я слушаю и молчу, боясь высказать раздражение — на самого себя, на свою бестолковость». Он вынужден признаться, что разговор с монахами и монахинями порой «был похож на общение иностранцев: ни я их не понимал, ни они меня. Можно только удивляться, как далеко в стороны способна развести жизнь, если мы, русские люди, по-разному думаем и чувствуем даже тогда, когда речь идет об очень ясных, казалось бы, вещах...»

Но добрая воля понять другого, и терпение, и такт, проявляемые с обеих сторон, позволяют автору приблизиться к судьбам людей. «Надо понять»,— говорит одна из монахинь. «Надо понять...» — повторяет за ней автор. И потому он сумел расслышать слова матери игуменьи: «...затвор — это не тюрьма, не отгораживание от мира... дело вот как обстоит: уходя из мира, покидая общество людей, монах всю жизнь, без остатка, посвящает делу служения этим людям». Удивительным образом это сошлось с записью В. Розанова (опубликованной в «Волге» номером раньше): «Душа православная — в даре молитвы».

И вот — «келия моя больше мне не кажется убогой», а самое главное — все, с кем встречался автор записок, будто бы приблизились к нему, из чуждых и недоступных пониманию сделались живыми и близкими. Правда, понятыми не до конца, как вообще нельзя постичь тайну *другого*. Но сложенная старцами Оптиной пустыни молитва звучит теперь, наверно, понятнее и автору, и каждому из нас. Ею и заканчиваются рассказы о «сердцах сокрушенных».

Владимир Войнович. Хочу быть честным. Повести. М., Московский рабочий, 1989.

По словам Войновича, он всегда старался изображать жизнь такой, «как она есть». Может, поэтому его книга названа «Хочу быть честным». В годы кончины «хрущевской оттепели», а тем более в 70-е годы (в книгу вошли в основном повести, созданные в период «застоя», в том числе знаменитая «Иванькиада...») подобную прозу ожидали, мягко говоря, неприятности. Беспощадное сатирическое изображение жизни, основанной на тотальной лжи, твердая защита писателей, которые, как и он, говорили в своих произведениях правду и только правду, «обеспечили» Войновичу невыносимые условия жизни, вынудившие его уехать. Многие произведения, вошедшие в эту книгу, предавались официозной критикой насильному, а потому и бессильному забвению.

Не нужно говорить, что творчество Войновича сложно, неоднозначно. Это не мешает ему быть народным в полном смысле слова, ибо подлинное мироощущение народа никогда простым не бывает. Кроме того, в повестях Войновича нашла свое выражение и стихия народной смеховой культуры, оказавшейся в конце концов одним из самых страшных врагов тоталитаризма.

Последние страницы книги привлекут особое внимание читателя. Ведь здесь опубликованы «открытые письма» Брежневу, председателю ВААП Б. Панкину, в секретариат МО СП РСФСР, бывшему министру связи СССР Н. Талызину, в редакцию газеты «Известия».

Сам Войнович однажды сказал: «Мы должны принадлежать советской культуре, иметь возможность возвращаться на Родину, понимая, что не Родина обидела нас, а ее нелепые отдельные стражи...» Советскому читателю предстоит ныне рассудить этот затянувшийся спор писателя с административной системой.

Лицей на Чистых прудах. Мастера прозы и молодые прозаики. Сборник повестей и рассказов. М., Московский рабочий, 1989.

Такое необычное название у нового ежегодного издания — по имени редакции-студии, созданной действительно на Чистых

прудах. Чистые пруды — литературная святыня Москвы, о них уже столько написано, с ними связано столько имен. Но почему же лицей? В лицее происходило формирование лучших сынов России — Пушкина, Дельвига, Кюхельбекера, Пущина, там рождался свободолюбивый «лицейский дух». Именно в «Лицее на Чистых прудах» встречаются прозаики, публицисты, мастера самых разных литературных жанров — те, кто уже твердо стоит на ногах, и кто делает первые шаги в литературе. Многие из вошедших в этот сборник произведений давно вызывают читательский интерес.

В сборнике опубликованы рассказы и повести Нагибина, Радзинского, Эйдельмана, Карелина, Лиходеева — мастеров прозы и молодых прозаиков: В. Кравченко, И. Серкова, С. Чилингаряна, И. Комлева. Сборник, очевидно, привлечет внимание и тех, кто давно следит за творчеством представленных авторов, и тех, кому интересно сопоставить взгляд на нашу жизнь литературной молодежи и известных писателей.

Международный ежегодник «Политика и экономика». М., Политиздат, Выпуск 1989 г.

Традиционно в этом издании научный анализ сочетается с обширным справочным материалом. Специфика книги в том, что она дает возможность ознакомиться как с общими вопросами мирового развития, так и с событиями, происходящими в отдельных регионах и странах, их экономикой, внутренней и внешней политикой. В последний выпуск включены материалы о работе ООН, об играх XXIV Олимпиады в Сеуле, о прекращении войны между Ираном и Ираком, региональных конфликтах на Ближнем Востоке и в Центральной Америке, международной помощи жертвам землетрясения в Армении. Впервые ежегодник публикует краткие биографии политических деятелей. Среди них — М. Горбачев, Дж. Буш, Б. Бхутто. Новым для издания стал и раздел «Калейдоскоп», в котором обнародованы ранее секретные данные криминальной статистики в СССР (задумаемся над тревожными цифрами: в нашей стране каждые 32 минуты совершается умышленное убийство); другие данные, например, о резком увеличении рождаемости в Китае (к концу века численность его населения достигнет 1,32 млрд. человек); небезынтересна и информация о необычных музеях в США, например, о музее иммиграции.

Международный ежегодник подготовлен Институтом мировой экономики и международных отношений АН СССР, в числе его авторов — видные историки, экономисты, политологи.

Радий Фиш. Спящие пробудятся. Исторический роман. М., Советский писатель, 1989.

События, которым посвящена книга, нашим читателям вряд ли знакомы, ученые-историки о них практически не писали. А между тем их значение выходит за европейские рамки. Ровно за сто лет до Томаса Мора, обратившегося со своей «Утопией» к образованным классам Англии, в начале XV века на территории нынешних Турции, Болгарии и Греции разразилась народная война, в которой приняли участие туркмены, греки, армяне и валахи, болгары и албанцы... Мусульмане, христиане и иудаисты. Возглавил народную войну не атаман, не разбойник, вроде Робина Гуда или Стеньки Разина, а крупнейший ученый, бывший в смутное время главой духовенства молодой Османской державы, шейх Бедреддин Симави. В романе живут десятки исторических лиц, его действие переносится из Каира в Мекку из Тебриза в Москву, с острова Хиос в Силистру, но основой сюжета является сложный путь внутреннего духовного развития вождя восстания.

Издавна человечество обуреваемо двумя противоположными стремлениями — особостью и соборностью. Первое вело к идее суверенной личности, второе — к идеалам равенства, братства и справедливости. Попыткой осуществить на деле эти идеалы и было движение под руководством шейха Бедреддина. Восставшие провозгласили равенство людей независимо от языка, сословия и вероисповедания, обобществили землю и богатства, создали свое государственное устройство. В беседе с «мирозавоевателем» Тимуром, который вознамерился переписать и не устраивавшую его историю, Бедреддин утверждал: «История не книга, не летопись, она такое же творение Аллаха, как все сущее, и ее искажение, подобно святотатству, тяжкий грех».

Автор, востоковед-тюрколог, поставил в своем романе многие из тех вопросов, над ответами на которые мы бьемся и в наше время.

Николай Шмелев, Владимир Попов. На переломе. Экономическая перестройка в СССР. М., АПН, 1989.

Обилие схем, диаграмм и таблиц отнюдь не делает эту книгу достоянием только экономистов-профессионалов. Читатель найдет здесь и довольно пространный обзор развития советской экономики, начиная с времен «военного коммунизма» и нэпа, и анализ кризисного состояния нашей экономики сегодня, и немало прогнозов и рекомендаций на будущее.

Работу двух известных экономистов отличает свобода суждений и выводов, которую еще недавно мы считали резкостью и даже «очернительством». Анализируя сложную ситуацию начала 20-х годов, они прямо говорят, что тогда «и сам Ленин, поглощенный ожесточенной борьбой не на жизнь, а на смерть с контрреволюцией, видимо, тоже стал верить в то, что на определенном этапе военно-административные, приказные, насильственные методы — это и есть основные методы строительства социалистической экономики». Но эти методы могли и должны были быть другими! «При развитой системе демократического контроля над правительственными и партийными органами ни Сталин, ни кто-либо еще никогда не сумели бы

привести к власти бюрократию со всеми вытекающими отсюда последствиями».

Крайне интересен раздел «Масштабы статистических искажений», где авторы на основе конкретных цифр и фактов показывают, «что официальные данные об экономическом росте СССР в последние шесть десятилетий нуждаются в серьезной корректировке». Так, за 1928—1985 годы наш национальный доход вырос не в 85 раз, как утверждала официальная статистика, а всего в 6—7...

Давид Гай. Унесу боль твою... М., Юридическая литература, 1989.

На обложке — лицо ребенка, скорбные, излучающие страдание огромные глаза. Это символ несчастья, обрушившегося на Армению 7 декабря 1988 года. Московский журналист, писатель сразу же оказался в зоне землетрясения, воочию увидел горе и мужество, слезы и самопожертвование, отчаяние и надежду, стремление людей разных национальностей помочь жителям армянских городов и сел, оставшимся без крова, испытавшим сильнейший психический стресс.

Взглядом очевидца в первую очередь и привлекательна книга. Но автор, выходя за рамки горячего сиюминутного репортажа, подводит читателя к проблеме, которую трагический опыт Армении поставил со всей очевидностью: мы не готовы, не умеем моментально реагировать на экстремальные ситуации, в стране нет четкой системы организации помощи в чрезвычайных обстоятельствах. Сколько тому печальных примеров... Оттого-то громадные усилия по спасению замурованных в бетонных «склепах», по налаживанию нормальной жизни для тех, кто уцелел, дали столь малый эффект.

Развернувшиеся затем события, связанные с блокадой Армении, конфликты на межнациональной почве резко осложнили ход восстановительных работ, строительство жилья. Уже две зимы тысячи жителей Ленинакана, Спитака, других городов и сел провели в палатках и в наспех сколоченных времянках. До осуществления ли тут оригинального проекта «Экополис Верацнунд» ученого Е. Хваткова, о котором рассказано в книге? Ученый предложил свою программу возрождения двух пятых территории Армении, пострадавшей от разгула стихии. Эти две пятых и должны стать экополисом. Вот только станут ли?..

Михаил Козаков. Фрагменты. М., Искусство, 1989.

Друзья Михаила Козакова по поводу его литературных занятий шутят: «гены заработали» (ведь он сын известного писателя Михаила Эммануиловича Козакова). И хорошо, что заработали, потому что в книге, которую актер и режиссер писал немало лет, в перерывах между работой в театрах, съемками, гастролями, читателя ожидают удивительные встречи. Ведь автор еще ребенком видел и слышал М. Зощенко, А. Ахматову, Б. Пастернака, Е. Шварца... Работал с М. Роммом, Н. Охлопковым, дружил с Олегом Далем и Павлом Луспекаевым. Был не просто свидетелем — одним из активно действующих участников эпохи «шестидесятников», эпохи Хрущева и Фурцевой, молодого Окуджавы и юного Ефремова, одержимого юным «Современником».

Одна из глав называется «Фрагменты из книги «Рисунки на песке». Чьи рисунки и почему на песке? «Удивительная у нас профессия,— пишет автор.— Краткие летописи, рисунки на песке. Актер не может играть в стол, ждать оценок потомков, его труд умирает вместе с ним...» Избирательна память, напрочь забывающая то, что прежде казалось чрезвычайно важным, но сохранившая «живые» мелочи, которые передают сегодня для нас дыхание той эпохи и оживляют «рисунки на песке». Триумф «Современника» и раскол. Первые шаги никому не известного Владимира Высоцкого и безвременное прощание с ним, всеми любимым. Сколько прекрасных ростков прорастало в то время, и как много их потом было незаметно сломлено и уничтожено. И это тоже на памяти М. Козакова. «В России область художественного творчества не один раз была полем смертельных схваток»,— с горечью констатирует он.

Но это не просто книга воспоминаний. За конкретными поступками и событиями автор видит — и пытается разрешить — острейшие проблемы нашей действительности. Рассуждает, к примеру, об актерской судьбе, о нравственности актерской профессии. О том, в какой момент компромисс становится предательством. О совместимости гения и злодейства в наши дни.

Автор порой жесток и беспощаден не только к тем, кто был когда-то его кумиром, но и к самому себе. Рассказывает честно о том, что раньше казалось геройством, а теперь и вспомнить стыдно. Говорит о черных днях в своей судьбе, когда пил, «...катился вниз и спешил к идиотскому концу, не сделав очень многого из того, что было мне, видать, написано на роду...». И считает, что спасся лишь чудом.

Первоначально одна из глав книжки называлась «56-й, или Записки счастливого человека, страдающего радикулитом». Михаил Козаков признается: «Я без всякой иронии считаю себя, в основном и главном, счастливым человеком моего в общем-то относительно счастливого поколения. В трагические дни наших отцов и матерей 37—38-й годы я был очень мал... В 53-м году я, студент первого курса,— свидетель поворота жизни в лучшую, для всех нас счастливую сторону... Мы дожили до времен, когда имена Булгакова, Мандельштама, Пастернака, Цветаевой, Ахматовой могут, например, стоять в афише. Мы многое увидели, прочитали, узнали. Наши родители, их поколение и помышлять об этом не смели!..

Наконец, я пишу эти записки без внутреннего цензора, и это тоже кое о чем говорит...»

Не претендуя на роль писателя, Михаил Козаков видит свою задачу лишь в том, чтобы его актерские наблюдения читались без скуки. И они читаются с неослабевающим интересом.

Ф. Ницше, З. Фрейд, Э. Фромм, А. Камю, Ж. П. Сартр. «Сумерки богов». Сост. и общ. ред. А. А. Яковлева. М., Политиздат (Библиотека атеистической литературы), 1989.

Очевидно, название книги — «Сумерки богов» — выбрано по ассоциации с ницшевским «Сумерки кумиров», тем более что именно «Антихристианин» Ницше открывает предложенный нам сборник трудов крупнейших западных философов XX века. Лишь немногие в нашей стране поклонялись этим «богам», для большинства же это были загадочные, непонятные и чуждые «идолы». Настала пора познакомиться с ними поближе.

Этих столь разных авторов объединяет в сборнике глубокий анализ религиозного сознания, с одной стороны, и критика слепого поклонения разного рода кумирам — с другой.

Несколько особняком стоят здесь Ницше и Фрейд, отрицавшие самые основы религиозного сознания. В основании резких и шокирующих ницшевских призывов и утверждений — «Пусть гибнут слабые и уродливые», «Падающего — толкни», «В боге — провозглашена вражда жизни, природе, воле к жизни» — лежит целая философская система, опирающаяся на ницшевскую онтологию (учение о «воле к власти»), теорию познания и этику («переоценка всех ценностей», теория «сверхчеловека»). По «Антихристианину», одному из поздних произведений философа, составить себе полное представление о всей его философской системе, безусловно, нельзя.

Вопрос о причинах возникновения, о сущности религии постоянно интересовал и создателя психоаналитической теории З. Фрейда. В одной из его основополагающих работ — «Будущее одной иллюзии» — делается попытка выявить психологические причины появления религиозной идеи и доказать ее, по мнению ученого, иллюзорность и опасность.

По-своему развивает положения Фрейда его ученик и последователь Э. Фромм, стремившийся объединить человечество на основе «разоблачения всех современных форм идолопоклонства» и приятия общечеловеческих ценностей, заключенных в христианских заповедях.

Работы А. Камю «Миф о Сизифе» и Ж. П. Сартра «Экзистенциализм — это гуманизм» дают представление о том, как ставились и решались вопросы веры основоположниками современной философии экзистенциализма.

К сведению уважаемых авторов:

Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своем решении.

Рукописи, присылаемые на дом работникам редакции, не рассматриваются.

Рукописи менее двух печатных листов редакция не возвращает.

Адрес редакции: 103863 ГСП, Москва, ул. 25 Октября, 8/1.
Телефоны: главный редактор — 921-24-30, заместители главного редактора — 921-13-81 и 921-08-09, ответственный редактор — 928-22-78, отдел прозы — 923-72-91, отдел публицистики — 921-14-64, отдел критики и библиографии — 928-29-42, отдел поэзии — 921-59-67, для справок — 924-13-46.

Технический редактор Л. С. Алексеева.

Сдано в набор 07.03.90. Подписано к печати 05.04.90. А 03060. Формат 70×108¹/₁₆. Печать высокая. Усл. печ. л. 21,00. Усл. кр.-отт. 21,17. Уч.-изд. л. 23,27. Тираж 1 000 000 экз. (1-й завод 1—354 978 экз.). Заказ № 2009. Цена 90 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.